

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

В Т О Р А Я

Ф Е В Р А Л Ь

М О С К В А

1 · 9 · 2 · 8

Москва. Главлит №А5388.

25.000экз.

Типография „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“, Страстная площ., Б. Путинковский пер.,5.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. И. БАБЕЛЬ. — Закат, <i>пьеса</i>	5
2. Н. ОГНЕВ. — Дневник Кости Рябцева, продолжение . .	36
3. Э. БАГРИЦКИЙ. — Трясина, <i>стихотворение</i>	53
4. Джек АЛТАУЗЕН. — Дед, <i>стихотворение</i>	56
5. Д. КРУТИКОВ. — Кудеяров вир, <i>повесть</i>	58
6. Ал. ТОЛСТОЙ. — Хождение по мукам <i>роман</i> , продолжение	103
7. М. СВЕТЛОВ. — Хлеб, <i>поэма</i> , окончание	126
8. Бор. ПИЛЬНЯК. проф Н. М. ФЕДОРОВСКИЙ. — Дело смерти, <i>рассказ</i>	133
9. Бор. ПИЛЬНЯК — Мальчик из Тралл, <i>рассказ</i>	141
10. Пант. РОМАНОВ. — Новая скрижаль, <i>роман</i> , продолжение	145
11. Николай ДЕМЕНТЬЕВ. — Голос из провинции <i>стихотворение</i>	176
12. Мих. ДИКОВ — Сеятель, <i>рассказ</i>	178
13. Петр ОРЕШИН. — Странник, <i>стихотворение</i>	187
14. Евсей ЭРКИН. — Зимой, <i>стихотворение</i>	188
—————	
15. В. ВЕРЕСАЕВ. — Заметки о Пушкине	189
16. Н. А. НЕКРАСОВ. — Потанин, <i>неопубликованная повесть</i> (с предисл. К. Чуковского)	205
17. Н. СЯТИЦКИЙ. — 5—6 января 1918 года	220

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

18. И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Еорис Пастернак	229
19. Е. ЛАНН — Литература современной Америки. Вальдо Фрэнк	237
20. Вал. ДЫННИК. — Кенозеро	250
21. П. КОЗЛОВ. — Тибет	256
22. П. ПАВЛЕНКО. — Азия Анатолийская	267
23. Н. А. ГАЛКИН. — В собачьем царстве, окончание . . .	273

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Д. ГОРБОВ. — „Недра“, сборник 13-й	296
А. ЛЕЖНЕВ. — П. Ширяев „Цикута“	297
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — А. Бибик „Жесткая учеба“	298
Е. МУСТАНГОВА. — Анна Караваева „Золотой клюв“	299
Виктор КРАСИЛЬНИКОВ. — Алексей Тверяк „У зеленого озера“	299
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Н. Яров „Деятнадцатый год“	300
А. Р. ПАЛЕЙ — Сергей Буданцев „Японская дуэль“	301
В. ГОЛЬЦЕВ. — К. Тренев „Батраки“.	302
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ — Дмитрий Петровский „Галька“	302
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Борис Соловьев „Вехи“; Геннадий Фиш „Разведка“	303

Закат

Пьеса в 5 действиях, 8 сценах

И. БАБЕЛЬ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

- Мендель Крик — владелец извозопромышленного заведения, 62 года.
- Нехама — его жена, 60 лет.
- Беня } их дети: — щеголеватый молодой человек, 26 лет.
- Левка } — гусар в отпуску, 22 года.
- Двойра — перезрелая девица, 30 лет.
- Арье-Лейб — служка в синагоге извозопромышленников, 65 лет.
- Никифор — старший кучер у Криков, 50 лет.
- Иван Пятирубель — кузнец, друг Менделя, 50 лет.
- Бен Зхарья — раввин на Молдаванке, 70 лет.
- Фомин — подрядчик, 40 лет.
- Евдокия Потаповна — торгует живой и битой птицей на рынке, тучная старуха с вывороченным боком. Пьяница, 50 лет.
- Холоденко
- Маруся — ее дочь, 20 лет.
- Рябцов — хозяин трактира.
- Митя — официант в трактире.
- Мирон Попятник — флейтист в трактире Рябцова.
- Мадам Попятник — его жена. Сплетница с неистовыми глазами.
- Урусов — подпольный ходатай по делам. Картавит.
- Семен — лысый мужик.
- Бобринец — шумный еврей. Шумит от того, что богат.
- Вайнер — гундосый богач.
- Мадам Вайнер — богачиха.
- Клаша Зубарева — беременная бабенка.
- Мосье Боярский — владелец конфекциона готовых платьев под фирмой «Шедевр».

Действие происходит в Одессе, в 1913 году.

ПЕРВАЯ СЦЕНА

(Столовая в доме Криков. Низкая, обжитая, мещанская комната. Бумажные цветы, комоды, граммофон, портреты раввинов, и рядом с раввинами семейные фотографии Криков — окаменелых, черных, с выкатившимися глазами, с плечами широкими как шкафы.

В столовой приготовлено к приему гостей. На столе, покрытом красной скатертью, расставлены вина, варенье, пироги.

Старуха Крик заваривает чай. Сбоку на маленьком столике кипящий самовар.

В комнате старуха Нехама, Арье-Лейб, Левка в парадной гусарской форме. Желтая бескозырка косо посажена на его кирпичное лицо, длиннополая шинель брошена на плечи. За Левкой волочится кривая сабля.

Беня Крик, разукрашенный, как испанец на деревенском празднике, вывязывает перед зеркалом цветистый галстук.)

А р ь е - Л е й б. Ну, хорошо, Левка, отлично... Арье-Лейб, сват с Молдаванки и шамес у биндюжников, знает теперь, что такое рубка лозы... Сначала рубят лозу, потом рубят человека... Матери в нашей жизни роли не играют... Но объясни мне, Левка, почему такому гусару, как ты, нельзя опоздать из отпуска на неделю, пока твоя сестра не сделает своего счастья...

Л е в к а *(хохочет. В грубом его голосе движутся громы.)* На неделю... Вы набитый дурак, Арье-Лейб... Опоздать на неделю... Кавалерия — это вам не пехота... Кавалерия плевала на вашу пехоту... Опоздал я на один час и вахмистр берет меня к себе в помещение, пускает мне из души юшку, и из носу пускает мне юшку... И еще под суд меня отдает... Три генерала судят каждого конника, три генерала с медалями за турецкую войну...

А р ь е - Л е й б. Это со всеми так делают или только с евреями?..

Л е в к а. Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским... Вы какой-то болван, Арье-Лейб... При чем тут еврей? *(Сквозь полуоткрытую дверь просовывается лицо Двойры.)*

Д в о й р а. Мама, пока у вас что-нибудь найдешь, можно мозги себе сломать. Куда вы подевали мое зеленое платье?

Н е х а м а *(ни на кого не глядя, бурчит себе под нос).* Посмотри в комод.

Д в о й р а. Я смотрела в комод — нету.

Н е х а м а. В шкафу.

Д в о й р а. В шкафу нету...

Л е в к а. Какое платье?

Д в о й р а. Зеленое с жесткой..

Л е в к а. Кажется, папаша подхватили...

(Полуодетая, нарумяненная, завитая Двойра входит в комнату. Она высока ростом, дебела.)

Д в о й р а *(деревянным голосом).* Ох, я умру.

Левка (*матери*). Вы, небось, признались ему, старая хулиганка, что Боярский придет сегодня смотреть Двойру? Она призналась... Готово дело... Я его еще с утра заметил. Он запрет в биндюг Соломона Мудрого и Муську, поснедал, нажрался водки, как кабан, бросил в козлы что-то зеленое и подался со двора...

Двойра. Ох, я умру (*Она раздражается громовым плачем, сдирает с окна занавеску, топчет ее и бросает старухе.*) Нате вам...

Нехама. Издохни. Сегодня издохни...

(*Рыча и рыдая Двойра убегает. Старуха прячет занавеску в комод.*)

Беня (*вывязывает галстук.*) Папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое...

Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям

Арье - Лейб. Ты это про отца, Левка?

Левка. Пусть не будет босяком.

Арье - Лейб. Отец старше тебя на субботу...

Левка. Пусть не будет грубияном.

Беня (*закалывает в галстук жемчужную булавку*). В прошлом году Семка Муниш хотел Двойру, но папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое... Он сдедал из Семкиной вывески кашу с подливкой и выбросил со всех лестниц...

Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям.

Арье - Лейб. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «если ты вздумаешь, человек, заняться изготовлением свечей, то солнце станет посреди неба, как тумба, и никогда не закатится...»

Левка (*матери*). Сто раз на дню старик убивает нас, а вы молчите ему, как столб. Тут каждую минуту жених может наскочить...

Арье - Лейб. Сказано про меня у Ибн-Эзра: «вздумай саваны шить для мертвых, и ни один человек не умрет отныне и во веки веков, аминь!...»

Беня (*вывязал галстук, сбросил с головы малиновую повязку, поддерживавшую прическу, облачился в кургузый пиджачек, налил в рюмку водки*). Здоровье присутствующих.

Левка (*грубым голосом*). Будем здоровы...

Арье - Лейб. Чтобы было хорошо!

Левка (*грубым голосом*). Пусть будет хорошо!

(*В комнату вкатывается мосье Боярский, бодрый, круглый человек. Он сыплет без умолку.*)

Боярский. Привет... Привет... (*представляется*) Боярский... Приятно, чересчур приятно... Привет...

Арье - Лейб. Вы обещались в четыре, Лазарь, а теперь шесть...

Боярский (*усаживается и берет из рук старухи стакан чая*). Бог мой, мы живем в Одессе, а в нашей Одессе есть заказчики, которые вынимают из вас жизнь, как вы вынимаете косточку из финика, есть добрые приятели, которые согласны скушать вас в одеже и без соли, есть вагон не-

приятностей, тысяча скандалов. Когда тут подумать о здоровьи и зачем купцу здоровье? Насилу забежал в теплые морские ванны и прямо к вам...

А р ь е - Л е й б. Вы принимаете морские ванны, Лазарь?

Б о я р с к и й. Через день, как часы.

А р ь е - Л е й б (*старухе*). Худо-бедно положите пятьдесят копеек на ванну.

Б о я р с к и й. Бог мой, молодое вино есть в нашей Одессе, Греческий базар, Фанкони...

А р ь е - Л е й б. Вы захаживаете к Фанкони, Лазарь?

Б о я р с к и й. Я захаживаю к Фанкони.

А р ь е - Л е й б (*победоносно*). Он захаживает к Фанкони... (*старухе*). Худо-бедно тридцать копеек надо оставить у Фанкони, я не скажу сорок...

Б о я р с к и й. Простите меня, Арье-Лейб, если я, как более молодой, перебыю вас, Фанкони обходится мне ежедневно в рубль и также в полтора рубля...

А р ь е - Л е й б (*с упоением*). Так вы же мот, Лазарь, вы негодяй, какого еще свет не видел... На тридцать рублей живет семья и еще детей учат на скрипке, еще откладывают где какую копейку...

(*В комнату вливается Двойра. На ней оранжевое платье, могучие ее икры стиснуты длинными башмаками.*)

А р ь е - Л е й б. Это наша Вера.

Б о я р с к и й (*вскакивает*). Привет. Боярский.

Д в о й р а (*хрипло*). Очень приятно.

(*Все садятся.*)

Л е в к а. Наша Вера сегодня немножко угорела от утюга.

Б о я р с к и й. Угореть от утюга может всякий, но быть хорошим человеком — это не всякий может...

А р ь е - Л е й б. Тридцать рублей в месяц кошке под хвост... Лазарь, вы не имели права родиться...

Б о я р с к и й. Тысячу раз простите меня, Арье-Лейб, но о Боярском надо вам знать, что он не интересуется капиталом — капитал это ничтожество — Боярский интересуется счастьем... Я спрашиваю вас, дорогие, что вытекает для меня из того, что моя фирма выдает в месяц сто-полтораста костюмов, плюс к этому брючные комплекты, плюс к этому польты?

А р ь е - Л е й б (*старухе*). Положите на костюм пять рублей чистых, я не скажу десять...

Б о я р с к и й. Что вытекает для меня из моей фирмы, когда я интересуюсь исключительно счастьем?

А р ь е - Л е й б. И я вам отвечу на это, Лазарь, что если мы поведем наше дело, как люди, а не как шарлатаны, то вы будете обеспечены счастьем до самой вашей смерти, живите сто двадцать лет... Это я говорю вам, как шамес, а не как сват...

Б е н я (*разливает вино*). Исполнение обоюдных желаний.

Л е в к а (*грубым голосом*). Будем здоровы.

А р ь е - Л е й б. Чтобы было хорошо!..

Л е в к а. Пусть будет хорошо!

Б о я р с к и й. Я начал про Фанкони... Выслушайте, мосье Крик, историю про еврея-нахала... Забегаю сегодня к Фанкони, кофейня набита людьми, как синагога в судный день... Люди закусывают, плюют на пол, расстраиваются... Один расстраивается оттого, что у него плохие дела, другой расстраивается оттого, что у соседа хорошие дела. Присесть, между прочим, некуда... поднимается тут мне навстречу мосье Шапелон, видный из себя француз, заметьте, что это большая редкость, чтобы француз был из себя видный, поднимается мне навстречу и приглашает к своему столику. Мосье Боярский, говорит он мне по-французски, я уважаю вас, как фирму и у меня есть дивная крыша для шубы...

Л е в к а. Крыша?

Б о я р с к и й. Сукно, верх для шубы... дивная крыша для шубы, говорит он мне по-французски, и прошу вас, как фирму, выпить со мною две кружки пива и скушать десять раков...

Л е в к а (*грубым голосом*). Я люблю раков.

А р ь е - Л е й б. Скажи еще, что ты любишь жабу.

Б о я р с к и й ... и скушать десять раков...

Л е в к а (*упрямо*). Я люблю раков.

А р ь е - Л е й б. Рак — это же жаба...

Б о я р с к и й (*Левке*). Вы простите меня, мосье Крик, если я скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это я говорю вам замечание из жизни. Еврей, который уважает раков, может позволить себе с женским полом больше, чем себе надо позволять, он может сказать сальность за столом, и если у него бывают дети — так на сто процентов выродки и миллиардисты. Это я вам сказал замечание из жизни. Теперь выслушайте историю про еврея-нахала...

Б е н я. Боярский!

Б о я р с к и й. Я.

Б е н я. Прикинь мне, Боярский, на скорую руку, во что мне обойдется значный костюм прима?

Б о я р с к и й. Двубортный, однобортный?

Б е н я. Однобортный.

Б о я р с к и й. Фалды вы себе мыслите круглые или отрезанные?

Б е н я. Фалды круглые.

Б о я р с к и й. Сукно ваше или мое?

Б е н я. Сукно твое.

Б о я р с к и й. Какой товар вы себе рисуете — английский, лодзинский. или московский?

Б е н я. Какой лучше?

Б о я р с к и й. Английское сукно, мосье Крик, это хорошее сукно лодзинское сукно — это дерюга, на которой что-то нарисовано, а московское сукно — это дерюга, на которой ничего не нарисовано.

Б е н я. Возьмем английское.

Б о я р с к и й. Доклад ваш или мой?

Беня. Доклад твой.

Боярский. Сколько вам обойдется?

Беня. Сколько мне обойдется?

Боярский (*осененный внезапной мыслью*). Мосье Крик, мы сойдемся!

Арье-Лейб. Вы сойдетесь!..

Боярский. Мы сойдемся... Я начал про Фанкони...

(Слышен гром сапог, окованных гвоздями. Входит Мендель Крик с кнутом и Никифор, старший кучер.)

Арье-Лейб (*оробел*). Познакомьтесь, Мендель, с мосье Боярским...

Боярский (*вскакивает*). Привет. Боярский...

(Гремя сапогами, ни на кого не глядя, старик идет через всю комнату. Он бросает кнут, садится на кушетку, протягивает длинные толстые ноги. Нехам а опускается на колени и стягивает с мужа сапоги.)

Арье-Лейб (*зайкаясь*). Мосье Боярский рассказывал нам здесь про свою фирму. Она выдает полтораста костюмов в месяц...

Мендель. Так что ты говоришь, Никифор?

Никифор (*прислонился к косяку двери и уставился в потолок*).

Я то говорю, хозяин, что с нас люди смеются...

Мендель. Почему с нас люди смеются?

Никифор. Люди говорят — у вас тыща хозяев на конюшне, у вас семь пятниц на неделе... Вчера возили в гавань пшеницу, кинулся я в контору деньги получать, они мне — назад, тут, говорят, молодой хозяин был, Бенчик, он приказание дал, чтобы деньги в банк платить, на квитанцию...

Мендель. Приказание дал?

Никифор. Приказание дал.

Нехам а (*стянула сапог, размотала грязную портянку. Мендель подает ей другую ногу. Старуха поднимает на мужа глаза, полные ненависти, и бормочет сквозь стиснутые зубы*). Чтоб ты света не дождался, мучитель...

Мендель. Так что ты говоришь, Никифор?

Никифор. Я то говорю, хозяин, что от Левки сегодня грубость видели...

Беня (*отставив мизинец, пьет вино*). Обоюдное исполнение желаний.

Левка. Будем здоровы.

Никифор. Повели сегодня Фрейлину ковать, наскочил в кузню Левка, открыл рот, как лоханку, приказывает кузнецу Пятирубелю подковы резиной подбивать. Я тут встречаю — что мы, полицмейстеры, говорю, или мы цари. Николаи Вторые, чтобы резиной подбивать, хозяин не приказывал... А Левка стал красный, как буряк и кричит — кто твой хозяин?..

(Нехам а стянула второй сапог. Мендель встал. Он потянул к себе скатерть. Посуда, пирог, варенье — все полетело на пол.)

Мендель. Кто же твой хозяин, Никифор?

Никифор (*угрюмо*). Вы мой хозяин.

Мендель. А если я твой хозяин *(он подходит к Никифору и берет его за грудь)*, а если я твой хозяин, так бей того, кто вступит ногой в мою конюшню, бей в душу, в жилы, в глаза... *(он трясет Никифора и отшвыривает от себя. Согнувшись, шаркая босыми ногами, Мендель идет через всю комнату к выходу, за ним бредет Никифор. Старуха тащится на коленях к двери.)*

Нехама. Чтоб ты свету не дождался, мучитель...

(Молчание.)

Арье-Лейб. Если я скажу вам, Лазарь, что старик не кончил высших женских курсов...

Боярский... так я поверю вам без честного слова...

Беня: *(подает Боярскому руку)*. Зайдешь другим разом, Боярский.

Боярский. Бог мой, в семье все случается... Бывает холодное, бывает горячее. Привет. Привет. Зайду другим разом *(исчезает)*.

(Беня встает, закуривает папиросу, перекидывает через руку щегольской плащ.)

Арье-Лейб. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «если ты вздумаешь шить саваны для мертвых...».

Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям.

(Двойра откинулась на спинку кресла и завизжала.)

Левка. Здравсте, Двойра получила истерику. *(Он разжимает ножом крепко стиснутые зубы сестры. Она верещит все пронзительнее. В комнату входит Никифор. Беня перекладывает плащ на левую руку и правой бьет Никифора по лицу.)*

Беня. Заложу мне гнедого в дрожки.

Никифор *(из носу у него вытекает нерешительная струйка крови)*. Расчет мне дайте...

Беня *(подходит к Никифору в упор и говорит ласковым, вздрагивающим голосом)*. Ты у меня умрешь сегодня не поужинав, Никифор, дружок мой...

ВТОРАЯ СЦЕНА

(Ночь. Спальня Криков. Черные балки на низком потолке. Лунный луч, роящийся и голубой, входит в окно. Старик и Нехама на двухспальной кровати. Они укрыты одним одеялом. Всклобоченная, грязно-седая старуха сидит на постели. Она бубнит низким голосом, бубнит нескончаемо.)

Нехама. У людей все, как у людей... У людей берут к обеду десять фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот... Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются, а у нас... Бог, милый бог, как темно в моем доме...

Мендель. Дай жить, Нехама. Спи.

Не х а м а ... Бенчик, такой Бенчик, такое солнце на небе, он пошел в эту жизнь... Сегодня один пристав, завтра другой пристав... Сегодня люди имеют кусок хлеба, завтра им обложат ноги железом...

М е н д е л ь Дай дышать, Немаха. Спи.

Не х а м а... такой Левка... Дите придет из солдат и тоже кинется в налеты... Куда ему кинуться? Отец выронок, отец не пускает детей в дело...

М е н д е л ь. Делай ночь, Нехама. Спи.

(Молчание.)

Не х а м а. Раввин сказал, раввин Бен Зхарья—настанет новый месяц, сказал Бен Зхарья, и я не впущу Менделя в синагогу... Евреи не дадут мне...

М е н д е л ь *(сбрасывает одеяло, садится рядом со старухой)*. Чего не дадут еврею?

Не х а м а. Придет новолуние, сказал Бен Зхарья...

М е н д е л ь. Что мне не дадут евреи и что мне дали твои евреи?..

Не х а м а. Не пустят, не пустят в синагогу...

М е н д е л ь. Карбованец с откусанным углом дали мне твои евреи, тебя, клячу, и этот гроб с клопами...

Не х а м а. А кацапы что тебе дали, что кацапы тебе дали?

М е н д е л ь *(укладывается)*. О, кляча на мою голову.

Не х а м а. Водку кацапы тебе дали, матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки... Ему шестьдесят два года, бог, милый бог, и он горячий как печка, он здоровый, как печка...

М е н д е л ь. Выйми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину...

Не х а м а. Горячий, как печка... Как мне стыдно, бог... *(она забирает свою подушку и укладывается на полу, в лунном луче. Молчание. Потом снова раздается ее бормотание.)* В пятницу вечером люди выходят за ворота, люди цацкаются с внуками...

М е н д е л ь. Делай ночь, Нехама.

Не х а м а *(плачет)*. Люди цацкаются с внуками.

(Входит Бенья. Он в нижнем белье.)

Б е н я. Может быть, хватит на сегодня, молодожены?

(Мендель приподнимается. Он смотрит на сына во все глаза.)

Б е н я. Или я должен пойти в гостиницу, чтобы выспаться?

М е н д е л ь *(встал с кровати. Он, как и сын, в нижнем белье)*. Ты... ты вошел?

Б е н я. Дать два рубля за номер, чтобы выспаться?

М е н д е л ь. Ночью, ночью ты вошел?..

Б е н я. Она мне мать. Ты слышишь, супник...

(Отец и сын стоят в нижнем белье друг против друга. Мендель все ближе, все медленнее подходит к Бене. В лунном луче трясется всклоченная грязно-седая голова Нехамы.)

М е н д е л ь. Ночью, ночью ты вошел...

ТРЕТЬЯ СЦЕНА

(Трактир на Привозной площади. Ночь. Хозяин трактира Рябцов, болезненный строгий человек, читает у стойки Евангелие. Безрадостные пыльные его волосы разложены по обеим сторонам лба. На возвышении сидит кроткий флейтист Мирон (в просторечии Майор) Попятник. Флейта его выводит слабую дрожащую мелодию. За одним из столов черноусые, седоватые греки играют в кости с Сенькой Топуном, приятелем Бени Крика. Перед Сенькой разрезанный арбуз, финский нож и бутылка малаги. Два матроса спят, положив на стол литые плечи. В дальнем углу смиренно попивает зельтерскую воду подрядчик Фомин. Его горячо в чем-то убеждает пьяная Потаповна. За передним столом Мендель Крик, пьяный, воспаленный, громадный, и Урусов, ходатай по делам.)

Мендель *(бьет кулаком по столу)*. Темно. Ты в могиле меня держишь, Рябцов, в черной могиле!..

(Официант Митя, старичок с серебряными волосами ежиком, приносит лампу и ставит, ее перед Менделем).

Мендель. Я все лампы приказывал! Я хор требовал! Я со всего трактира лампы приказывал!

Митя. Керосин-то, вишь, нашему брату даром не дают... Вот, вишь, какое дело.

Мендель. Темно!

Митя. *(Рябцову)*. Добавку освещения требует...

Рябцов. Рупь.

Митя. Получайте рупь.

Рябцов. Получил рупь.

Мендель. Урусов!

Урусов. Есть.

Мендель. Сквозь мое сердце сколько, говоришь, крови льется?

Урусов. По науке считается, сквозь человеческое сердце льется в сутки двести пудов крови. А в Америке такое изобрели...

Мендель. Стой! Стой! А если я в Америку хочу ехать — это слободно?

Урусов. Свободно вполне. Сел и поехал...

(Переваливаясь, виляя кривым боком, к столу подходит Потаповна.)

Потаповна. Мендель, мама моя, мы не в Америку, мы в Бессарабию поедем, сады покупать...

Мендель. Сел, говоришь, и поехал?

Урусов. По науке считается, что вы четыре моря проезжаете — Черное море, Ионическое, Эгейское, Средиземное и два всемирных океана — Атлантический океан и Тихий.

Мендель. А ты сказывал — человек через моря лететь может?

Урусов. Может.

Мендель. Через горы, через высокие горы может человек лететь?

Урусов (с твердостью). Может.

Мендель (сжимает ладонями лохматую голову). Конца нет, краю нет... (Рябцову.) Поеду... В Бессарабию поеду...

Рябцов. А делать чего будешь в Бессарабии?

Мендель. Чего захочу — то и буду.

Рябцов. А чего тебе хотеть?

Мендель. Слухай меня, Рябцов, я еще живой...

Рябцов. Не живой ты, если тебя бог убил...

Мендель. Когда это меня бог убил?

Рябцов. Годов-то тебе сколько?

Голос из трактира. Годков ему — всех шестьдесят два...

Рябцов. Шестьдесят два года бог тебя и убивает...

Мендель. Рябцов, я бога хитрей.

Рябцов. Ты русского бога хитрей, а жидовского бога ты не хитрей...

(Митя вносит еще одну лампу. За ним гуськом выступают четыре заспанных толстых девки с засаленными грудями. В руках у каждой из них по зажженной лампе. Ослепительный свет разливается по трактиру.)

Митя. Со светлым тебя, значит, Христовым воскресеньем. Девки, оставь его, бешеного, лампами.

(Девки ставят лампы на стол перед Менделем. Сияние озаряет багровое его лицо.)

Голос из трактира. Из ночи день делаем, Мендель?..

Мендель. Конца нет.

Потаповна (Дергает Урусова за рукав). Прошу вашей дорогой любезности, выпейте со мной, господин... Вот я курями на базаре торгую, мне мужики все летошних куриц всучивают, да рази я к курям этим присужденная? У меня папочка садовник был, первый садовник... Я, какая где яблонька задичится, я ее раздичу...

Голос из трактира. Из понедельника воскресенье делаем, Мендель?

Потаповна (Кофта разошлась на жирной ее груди. Водка, жара, восторг душат ее). Мендель дело свое продаст, получим, бог даст, деньги. мы тогда с ясочкой нашей в сады уедем, на нас, послушайте, господин, на нас с липы цвет лететь будет... Мендель, золотко, я же садовница, папочкина дочка...

Мендель (идет к стойке). Рябцов, у меня глаза были, слухай меня, Рябцов, у меня глаза сильнее телескопов были, а чего я сделал с моими глазами? У меня ноги быстрее паровозов были — мои ноги по морю ходят — а чего я сделал с моими ногами? От обжорки к сортиру, эт сортира к обжорке. Я полы мордой заметал, а теперь я сады поставлю...

Рябцов. Ставь. Кто тебя не пущает?

Голоса из трактира. Найдутся — не пустят... Наступят на хвост — не выдерет...

Мендель. Я песни приказывал. Дай военную, музыкант... Не мотай жилы. Жизнь дай! Еще дай!..

(Колеблясь, срываясь, флейта выводит пронзительную мелодию. Мендель пляшет, топает чугунными ногами.)

Митя *(Урусову шопотом)*. Фомину приходите, или рано?

Урусов. Рано. *(Музыканту.)* Прибавь, Майор...

Голоса из трактира. И прибавлять ничего... Хор пришел... Пятирубель хор приволок...

(Входит хор — слепцы в красных рубахах. Они натываются на стулья, машут перед собой камышевыми тросточками. Их ведет кузнец Пятирубель, азартный человек, друг Менделя.)

Пятирубель. Со сна чертей похватал... Не будем, говорят, песни играть. Ночь, говорят, на всем белом свете, наигрались... Да вы, говорю, перед каким человеком, говорю, стоите?!

Мендель *(бросается к заповале, рябому, рослому слепцу)*. Федя, я в Бессарабию еду.

Слепой *(густым, глубоким басом)*. Счастливо вам, хозяин.

Мендель. Песню, Федя, песню играй.

Слепой. «Славное море», — споем?

Мендель. Песню!.. —

Слепцы *(Настраивают гитары. Тягучие их басы запевают)*.

Славное море, священный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Плыть молодцу недалечко.

Мендель *(швыряет в окно пустую бутылку. Стекло разлетается с треском)*. Бей!

Пятирубель. Ох, и герой же, сукин сын!

Митя *(Рябцову)*. За стекло сколько посчитаем?

Рябцов. Рупь.

Митя. Получайте рупь.

Рябцов. Получил рупь.

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитаюсь в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почую...

Мендель *(ударом кулака вышибает оконную раму)*. Бей!

Пятирубель. Сатана, а не старик.

Голоса из трактира. Форсовито гуляет... Ничего не форсовито... Обнаковенно гуляет... Обнаковенно так не бывает. Помер у него

кто-нибудь? Никто у него не помер... Обнаковенно гуляет. А причина какая, по какой причине гуляет?

Рябцов. Поди, разбери причину. У одного деньги есть—он от денег гуляет, у другого денег нет—он от бедности гуляет... Человек ото всего гуляет...

(Песня гремит все могущественнее. Звон гитар бьется о стены и зажигает сердца. В разбитом окне качается звезда. Заспанные девки стали у косяков, подперли груди шершавыми руками и запели. Матрос качается на расставленных больших ногах и подпевает чистым тенором.)

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала...

Потаповна *(пьяна и счастлива)*. Мендель, мама моя, выпейте со мной. Выпьем за нашу ясочку...

Пятирубель. Швейцару на почте морду бил... Вот какой старик. Телеграфные столбы крал и домой на плечах приносил...

Шел я и ночью и средь бела дня,
Вкруг городов озирался я зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой...

Мендель. Согни мне спину, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы... *(Он бросается на пол, ворочается, стонет, хохочет.)*

Голоса из трактира. Чисто слон... У нас и слоны слезами плакали... Это врешь, слоны не плачут... Говорю тебе, слезами плакал... В зеринце я слона одного задражил...

Митя *(Урусову)*. Фомину приходите или рано?

Урусов. Рано.

(Певцы поют во всю мочь. Песня грохочет. Гитары захлебываются, дрожмя дрожат.)

Славное море, священный Байкал,
Славный мой парус, кафтан дырчатый,
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Слышатся грома раскаты...

(Страшными, радостными, рыдающими голосами поют слепцы последние строки. Окончив песню, они встают и уходят, как по команде.)

Митя. И все?

Запевала. Хватит.

Мендель *(вскочил с пола и затопал)*. Военное мне дай. Жизнь. музыкант, дай!

Митя *(Урусову)*. Фомину взойти или рано?

Урусов. Самое время.

(Митя подмигивает Фомину, сидящему в дальнем углу. Фомин рысью подбирается к столу Менделя.)

Фомин. С приятным заседанием.

Урусов (*Менделю*). Теперь, дорогой, оно у нас так будет—потехе время, делу час... (*Вытаскивает исписанный лист бумаги.*) Читать, что ли?

Фомин. Если вам не желательно, скажем, плясать, то можно читать...

Урусов. Сумму, что ли, читать?

Фомин. Согласен на такое ваше предложение...

Мендель (*во все глаза смотрит на Фомина и отодвигается*). Я песни приказывал...

Фомин. И петь будем, и гулять будем, а придется помирать — помирать будем...

Урусов (*читает очень картаво*). Согласно каковым пунктам, уступаю в полную собственность Фомину Василию Елисеевичу извозопромышленное заведение мое в составе, как поименовано...

Пятирубель. Фомин, ты понимай, паяц, каких коней забираешь... Кони эти миллион пшеницы отвезли, они полмира угля перетаскали... Ты от нас всю Одессу с этими конями забираешь...

Урусов. А всего за сумму двенадцать тысяч рублей, из коих треть при подписании сего, а остальные...

Мендель (*указывает пальцем на турка, безмятежно курящего кальян в углу*). Вои человек сидит, обсуждает меня...

Пятирубель. Верно, обсуждает... А ну, стукнитесь... (*Фомину*) Ей богу, сейчас человека убьет...

Фомин. Авось, не убьет...

Рябцов. Дуришь, дурак, гость этот турок, святой человек...

Потаповна (*потягивает вино мелкими глотками и блаженно смеется*). Папочкина дочка...

Фомин. Вот, дорогой, — тут и распишись...

Потаповна (*хлопает Фомина по груди*). Здесь у него, у Васьки, деньги, здесь они...

Мендель. Расписаться, говоришь? (*Шаркая сапогами, он идет через весь трактир к турку, садится рядом с ним*)... И што я, дорогой человек, девок поимел на моем веку, и што я счастья видел, и дом поставил, и сынов выходил, цена этому, дорогой человек, — двенадцать тысяч. А потом крышка — помирай...

(*Турок кланяется, прикладывает руку к сердцу, ко лбу, Мендель бережно целует его в губы.*)

Фомин (*Потаповне*). Значит, Янкеля со мной вертеть?

Потаповна. Продаст он, Василий Елисеевич, убиться мне, если не продаст.

Мендель (*возвращается, жогает головой*). Скука какая...

Митя. Вот где и скука — платить надо...

Мендель. Уйди.

Митя. Врешь, уплатишь...

Мендель. Убью.

Митя. Ответишь...

Мендель, *(кладет голову на стол и плюет. Длинная его слюна тянется, как резина)*. Уйди, я спать буду...

Митя. Не платишь? Ох, старички, убивать буду...

Пятирубель. Погоди убивать... Ты сколько с него за полбутылки гребешь?...

Митя *(распалился)*. Я мальчик злой, я покусую...

(Мендель, не поднимая головы, выбрасывает из кармана деньги. Монеты катятся по полу. Митя ползет за ними, подбирает. Заспанная девка дует на лампы, тушит их. Темно, Мендель спит, положив голову на стол.)

Фомин *(Потаповне)*. Суешься попередь батьки... Стучишь языком, как собака бегаёт... Всю музыку испортила...

Потаповна *(вынимает слезы из грязных мятых морщин)*. Василий Елисеевич, я дочку жалею...

Фомин. Жалеть умеючи надо.

Потаповна. Жиды, как воши, обсели...

Фомин. Жид умному не помеха.

Потаповна. Продаст он, Василий Елисеевич, покуражится и продаст...

Фомин *(грозно, медленно)*. А не продаст, так богом Иисусом Христом, богом нашим вседержителем божусь тебе, старая, домой придем — я со спины у тебя ремни резать буду...

ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА

(Мансарда Потаповны. Старуха, разодетая в новое яркое платье, лежит на окне и переговаривается с соседкой. Из окна виден порт, блистающее море. На столе ворох покупок — отрез материи, дамские туфли, шелковый зонтик.)

Голос соседки. Погордиться бы пришла, покрасоваться перед нами...

Потаповна. Да приду к вам, проведу...

Голос соседки. А то в одном ряду на птичьей девятнадцать лет торговали и хватать — нету ее, Потаповны...

Потаповна. Да авось я не присужденная к куриям, к этим... Видно не век мне маяться...

Голос соседки. Видно, что не век...

Потаповна. У людей-то небось на Потаповну глаза разбегаются?..

Голос соседки. Каково разбегаются-то. Счастья-то каждому подай... Испеки да подай...

Потаповна *(смеется. Тучное ее тело сотрясается)*. Девка-то, вишь, не у всякого есть.

Голос соседки. Девка-то, говорят, худая.

Потаповна. У кости, мидя, мясо слаще.

Голос соседки. Сыны, слышь, против вас копают...

Потаповна. Девка сынов перетянет.

Голос соседки. И я говорю — перетянет...

Потаповна. Старик, небось, деву не бросает...

Голос соседки. Сады, слышь, он вам покупает?

Потаповна. А еще чего люди говорят?

Голос соседки. Да ничего не говорят, только гавкают... Кто их разберет?

Потаповна. Разберем. Я разберу. Прø полотно-то чего толкуют?

Голос соседки. Толкуют старик вам двадцать аршин справил...

Потаповна. Пятьдесят.

Голос соседки. Башмаков пару...

Потаповна. Три.

Голос соседки. Очень смертно любят старики...

Потаповна. Видно к курям-то мы не присужденные...

Голос соседки. Видно не присужденные... Покрасоваться бы пришла, погордиться перед нами...

Потаповна. Приду. Проведаю вас. Прощай, милая...

Голос соседки. Прощай, милая.

Потаповна *(слезает с окна. Переваливаясь, напевая, бродит она по комнате. Открывает шкаф. Встает на стул, чтобы достать до верхней полки, на которой штоф наливки, пьет, закусывает трубочкой с кремом. В комнату входят Мендель, одетый по-праздничному, и Маруся.)*

Маруся *(очень звонко)*. Птичка-то наша куда взгромоздилась... Сбегайте к Мойсейке, мама...

Потаповна *(слезая со стула)*. А чего купить?

Маруся. Кавуны купите, бутылку вина, копчевой скумбрии полдесятка... *(Менделю)*. Дай ей рубль.

Потаповна. Не хватит рубля.

Маруся. Арапа не заправляйте... Хватит, еще сдачи будет...

Потаповна. Не хватит мне рубля.

Маруся. Хватит. Придете через час. *(Она выталкивает мать, захлопывает дверь, запирает ее на ключ.)*

Голос Потаповны. Я за воротами посижу, надо будет — покличешь...

Маруся. Ладно. *(Она бросает на стул шляпку, распускает волосы, заплетает золотую косу. Голосом, полным силы, звона и веселья, она продолжает прерванный рассказ.)*... Пришли на кладбище, глядим, первый час... Все похороны отошли, народу никого, только в кустах целуются... У крестного могилка хорошенькая — чудо... Я кутью разложила, мадеру, что ты мне дал, две бутылки, побежала за отцом Иоанном... Отец Иоанн старенький, с голу-венькими глазками, ты его знать должен... *(Мендель смотрит на Марусю с обожанием. Он дрожит и мычит что-то в ответ, непонятно, что мычит.)* Батюшка папихиду отслужил, я ему рюмку мадеры налила, рюмку полотенцем вытерла, он выпил, я ему вторую... *(Маруся заплела косу, распушила конец. Она садится на кровать, расшнуровывает желтые, длинные, по тогдашней*

моде, башмаки.)... Ксенька, та, как-будто не у отца на могиле, надулась, как мышь на крупу, вся накрашенная, намазанная, жениха глазами ест, а Сергей Иванович, тот мне все бутерброды мажет... Я Ксеньке в пику и говорю — что вы, говорю, Сергей Иванович, Ксении Матвеевне, невесте вашей, внимание не уделяете?.. Сказала и проехало, мадеру мы твою дочиста выпили. (Маруся снимает башмаки и чулки, она идет босиком к окну, задергивает занавеску.) Крестная все плакала, а потом стала розовая, как барышня, хорошенькая— чудо... Я тоже выпила и Сергею Ивановичу (Маруся раскрывает постель) — «Айда, Сергей Иванович, на Ланжерон купаться»... Он — «Айда»... (Маруся хохочет, стягивает с себя платье, оно поддается туго)... а у Ксеньки-то спина, небось, полна прыщей и ноги три года не мыла... Она на меня тут язык свой спустила (Маруся перекрыта с головой наполовину стянутым платьем)— ты, мол, фасон давишь, ты интересантка, ты то, ты се, на стариковы деньги позарилась, ну, тебя отошьют от этих денег (Маруся сняла платье и прыгнула в постель)... а я ей: знаешь что, Ксенька, — это я ей, — не дразни ты, Ксенька, моих собак... Сергей Иванович слушает нас, помирает со смеху... (голой девической прекрасной рукой Маруся тащит к себе Менделя. Она снимает с него пиджак и швыряет пиджак на пол.) Ну, иди сюда... Скажи— Марусинка...

Мендель. Марусичка...

Маруся. Скажи — Марусичка, солнышко мое...

(Старик хрипит, дрожит, не то плачет, не то смеется.)

Маруся (ласково). Ах, ты, рыло...

ПЯТАЯ СЦЕНА

(Синагога общества извозпромышленников на Молдаванке. Богослужение в пятницу вечером. Зажженные свечи. У амвона кантор Цвибак в талесе и сапогах. Прихожане — красномордые извозчики — оглушительно беседуют с богом, слоняются по синагоге, раскачиваются, отплевываются. Ужаленные внезапной пчелой благодати, они издают громовые восклицания, подпевают кантору неистовыми, привычными голосами, стихают, долго бормочут себе под нос и потом снова режут, как разбуженные волю. В глубине синагоги, над фолиантами талмуда, склонились два древних еврея, два костистых, горбатых гиганта, с желтыми бородами, свороченными на бок. Арье-Лейб, шамес, величественно расхаживает между рядами. На передней скамье толстяк с оттопыренными пушистыми щеками зажал между коленями мальчика лет десяти. Отец тычет мальчика в молитвенник. На боковой скамье Бенья Крик. Позади него сидит Сенька Топун. Они не подают вида, что знакомы друг с другом.)

Кантор (возглашает). Лху нранно ладонай норийо ицур ишейну!

(Извозчики подхватили напев. Гудение молитвы.)

Кантор. Арбоим шоно окут бдойр вооймар. *(Сдавленным голосом)* Арье-Лейб, крысы...

Арье-Лейб. Ширу ладонай шир ходосш... Ой, пойте господу новую песню... *(подходит к молящемуся еврею.)* Как стоит сено?

Еврей *(раскачивается)*. Поднялось...

Арье-Лейб. На много?

Еврей. Пятьдесят две копейки.

Арье-Лейб. Доживем, будет шестьдесят.

Кантор. Лефней адонай ки во, ки во мишпойт гоорец... Арье-Лейб, крысы...

Арье-Лейб. Довольно кричать, буйн...

Кантор *(сдавленным голосом)*. Я увижу еще одну крысу — я сделаю несчастье.

Арье-Лейб *(безмятежно)*. Лифней адонай ки во, ки во... Ой стою, ой стою перед господом... Как стоит сено?

Второй еврей *(не прерывая молитвы)*. Рупь четыре, рупь четыре...

Арье-Лейб. С ума сойти...

Второй еврей *(раскачивается с ожесточением)*. Будет рупь десять, будет рупь десять...

Арье-Лейб. С ума сойти... Лифней адонай — ки во, ки во...

(Все молятся. В наступившей тишине слышны отрывистые приглушенные слова, которыми обмениваются Бенья Крик и Сенька Топун.)

Бенья *(склонился над молитвенником)*. Ну?

Сенька *(за спиной Бени)*. Есть дело.

Бенья. Какое дело?

Сенька. Оптовое дело.

Бенья. Что можно взять?

Сенька. Сукно.

Бенья. Много сукна?

Сенька. Много.

Бенья. Какой городской?

Сенька. Городового не будет.

Бенья. Ночной сторож?

Сенька. Ночной сторож в доле.

Бенья. Соседи?

Сенька. Соседи согласны спать.

Бенья. Что ты хочешь с этого дела?

Сенька. Половину.

Бенья. Мы не сделали дела.

Сенька. Докладываешь батькино наследство?

Бенья. Докладываю батькино наследство.

Сенька. Что ты даешь?

Бенья. Мы не сделали дела.

(Грянул выстрел. Кантор Цвибак застрелил пробежавшую мимо амвона крысу. Молящиеся воззрились на кантора: Мальчик, стиснутый скучными коленями отца, бьется, пытается вырваться. Арье-Лейб застыл с раскрытым ртом. Талмудисты подняли равнодушные большие лица.)

Толстяк с пушистыми щеками. Цвибак, это босяцкая выходка...

Кантор. Я договаривался молиться в синагоге, а не в кладовке с крысами...*(Он оттягивает дуло револьвера, выбрасывает гильзу.)*

Арье-Лейб. Ай, босяк, ай, хам!..

Кантор *(указывает револьвером на убитую крысу)*. Смотрите на эту крысу, евреи, позовите людей... Пусть люди скажут, что это не корова...

Арье-Лейб. Босяк, босяк, босяк...

Кантор *(хладнокровно)*. Конец этим крысам. *(Он заворачивается в талес и подносит к уху камертон.)*

(Мальчик разжал, наконец, плен отцовских коленей, ринулся к гильзе, схватил ее и убежал.)

1-й еврей. Гоняешься целый день за копеечкой, приходишь в синагогу получить удовольствие и — на тебе!..

Арье-Лейб *(визжит)*. Евреи, это шарлатанство!.. Евреи, вы не знаете, что здесь происходит... молочники дают этому босяку на десять рублей больше... Иди к молочникам, босяк, целуй молочников туда, куда ты их должен целовать...

Сенька *(хлопает кулаком по молитвеннику)*. Пусть будет тихо... Нашли себе толчок!

Кантор *(торжественно)*. Мизмойдр лдовид!..

(Все молятся.)

Беня. Ну?

Сенька. Есть люди.

Беня. Какие люди?

Сенька. Грузины.

Беня. Имеют оружие?

Сенька. Имеют оружие.

Беня. Откуда они взялись?

Сенька. Живут рядом с вашим покупателем.

Беня. С каким покупателем?

Сенька. Который ваше дело покупает.

Беня. Какое дело?

Сенька. Ваше дело — площадки, дом, весь извоз...

Беня *(оборачивается)*. Сказился?..

Сенька. Сам говорил.

Беня. Кто говорил?

Сенька. Мендель говорил — отец... Едет с Маруськой в Бессарабию сады покупать...

(Гул молитвы. Евреи завывают очень замысловато.)

Беня. Сказился?

Сенька. Все люди знают.

Беня. Божись!

Сенька. Пусть мне счастья не видеть!

Беня. Матерью божись!

Сенька. Пусть я мать живую не застаю!

Беня. Еще божись, стерва...

Сенька (*пренебрежительно*). Дурак ты!..

Кантор. Борух ато адонай...

ШЕСТАЯ СЦЕНА

(Двор Криков. Закат. Семь часов вечера. У конюшни, на телеге с торчащим дышлом сидит Беня и чистит револьвер. Левка прислонился к двери конюшни. Арье-Лейб объясняет сокровенный смысл «Песни Песней» тому самому мальчику, который в пятницу вечером удрал из синагоги. Никифор без толку мечется по двору. Он, видимо, чем-то обеспокоен.)

Беня. Время идет. Дай времени дорогу!

Левка. Зарезать ко всем свиньям.

Беня. Время идет. Посторонись, Левка. Дай времени дорогу...

Арье-Лейб. «Песня Песней» учит нас — ночью на ложе моем искала я того, кого люблю... Что же говорит нам Рашэ? ¹⁾

Никифор (*указывает Арье-Лейбу на братьев*). Вон выставились коло конюшни, как дубы...

Арье-Лейб. Вот что говорит нам Рашэ: ночью — это значит днем и ночью. Искала я на ложе моем — кто искал? — спрашивает Рашэ. Израиль искал, народ Израиля. Того, кого люблю — кого же любит Израиль, спрашивает Рашэ? Израиль любит Тору, Тору любит Израиль...

Никифор. Я спрашиваю, зачем без дела коло конюшни стоять?

Беня. Кричи больше.

Никифор (*мечется по двору*). Я свое знаю... У меня хомуты пропадают... Кого хочю, того подозревать буду...

Арье-Лейб. Старый человек учит ребенка закону, а ты мешаешь ему, Никифор...

Никифор. Зачем они коло конюшни выставились, как дубы паршивые?

Беня (*разбирает револьвер, чистит*). Замечаю я, Никифор, что ты очень растревожился...

Никифор (*кричит, но в голосе его нет силы*). Я хомутам вашим не присягал... У меня, если хотите знать, брат на деревне живет, еще при силах... Меня, если хотите знать, брат с дорогой душой возьмет...

¹⁾ Рашэ — комментатор священного писания и талмуда.

Беня. Кричи, кричи перед смертью...

Никифор (*Арье-Лейбу*). Старик, скажи, зачем они так делают?

Арье-Лейб (*поднимает на кучера выцветшие глаза*). Один человек учит закон, а другой кричит, как корова. Разве так оно должно быть на свете?..

Никифор. Ты смотришь, старик, а чего ты видишь? (*Уходит.*)

Беня. Растроужился наш Никифор...

Арье-Лейб. Ночью искала я на ложе моем. Кого искала — учит нас Рашэ?

Мальчик. Рашэ учит нас — искала Тору.

(Слышны громкие голоса.)

Беня. Время идет. Посторонись, Левка, дай времени дорогу...

(Входят Мендель, Бобринец, Никифор, Пятирубель под хмельком.)

Бобринец (*оглушительным голосом*). Если не ты, Мендель, отвезешь в гавань мою пшеницу, так кто же отвезет? Если не к тебе, Мендель, я пойду, — так к кому же мне притти?..

Мендель. Есть на свете люди, кроме Менделя. Есть на свете извоз, кроме моего извоза...

Бобринец. Нет в Одессе извоза, кроме твоего... Или ты пошлешь меня к Буцису с его клячами на трех ногах, к Журавленке с его побитыми лоханками?..

Мендель (*не глядя на сыновей*). Люди крутятся около моей конюшни...

Никифор. Выставились, как дубы паршивые.

Бобринец. Запряжешь мне завтра десять пар, Мендель, отвезешь пшеницу, получишь деньги, пропустишь шкалик, споешь песню... Ай, Мендель...

Пятирубель. Ай, Мендель...

Мендель. Зачем люди крутятся около моей конюшни?

Никифор. Хозяин, за ради бога...

Мендель. Ну?

Никифор. Тикай со двора, хозяин, бо сыны твои...

Мендель. Что сыны мои?

Никифор. Сыны твои хотят лупцовать тебя...

Беня (*прыгнув с телеги на землю. Нагнув голову, он говорит раздельно*). Пришлось мне слышать от чужих людей, мне и брату моему Левке, что вы продаете, папаша, дело, в котором есть золотник и нашего пота...

(Соседи, работавшие во дворе, придвигаются поближе к Крикам.)

Мендель (*смотрит в землю*). Люди, хозяева...

Беня. Правильно ли мы слышали — я и брат мой Левка?

Мендель. Люди и хозяева, вот, смотрите на мою кровь (*он поднимает голову и голос его крепнет*), на мою кровь, которая заносит на меня руку.

Беня. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

Мендель. Ой, не возьмете!.. *(Он кидается на Левку, валит его с ног, бьет по лицу.)*

Левка. Ой, возьмем!..

(Небо залито кровью заката. Старик и Левка катаются по земле, раздирают друг другу лица, откатываются за сарай.)

Никифор *(прислонился к стене)*. Ох, грех...

Бобринец. Левка — отца?!..

Беня *(отчаянным голосом)*. Никишка, счастьем тебе клянусь, он коней, дом, жизнь — все девке под ноги бросил...

Никифор. Ох, грех...

Пятирубель. Убью, кто разнимет... Чур, не разнимать...

(Хрипение и стоны доносятся из-за сарая.)

Пятирубель. Не уродился еще на земле человек против Менделя...

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Пятирубель. Я ста рублями отвечу...

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

(Старик и Левка вываливаются из-за сарая. Они вскакивают на ноги, но Мендель снова сшибает сына.)

Бобринец. Левка, отца?!..

Мендель. Не возьмешь... *(Он топчет сына.)*

Пятирубель. Ста рублями любому отвечу...

(Мендель побеждает. У Левки выбиты зубы, вырваны ключья волос.)

Мендель. Не возьмешь...

Беня. Ой, возьмем. *(Он с силой опускает рукоятку револьвера на голову отца. Старик рухнул. Молчание. Все ниже спускаются пылающие леса заката.)*

Никифор. Теперь убили.

Пятирубель *(склонился над неподвижным Менделем)*. Миш?...

Левка *(приподнимается, хватаясь за землю кулаками. Он плачет и топает ногой)*. Он под низ живота меня бил, сука...

Пятирубель. Миш?

Беня *(оборачивается к толпе зевак)*. Что вы здесь забыли?

Пятирубель. А я говорю — еще не вечер... Еще тыща верст до вечера...

Арье-Лейб *(на коленях перед поверженным стариком)*. Ай, русский человек, зачем шуметь, что еще не вечер, когда ты видишь, что перед нами уже нет человека?

Левка *(кривые ручки слез и крови текут по его лицу)*. Он под низ живота меня бил, сука...

Пятирубель *(отходит, пошатываясь)*. Двое на одного...

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Пятирубель. Двое на одного... Стыд, стыд на всю Молдаву... (Уходит, спотыкаясь.)

(Арье-Лейб вытирает мокрым платком раздробленную голову Менделя. В глубине двора неверными кругами движется Нехама, — одичавшая, грязно-седая. Она становится на колени рядом с Арье-Лейбом.)

Нехама. Не молчи, Мендель.

Бобринец (густым голосом). Довольно строить штуки, старый шутник...

Нехама. Кричи что-нибудь, Мендель.

Бобринец. Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, пропусти шкалик...

(На земле, расставив босые ноги, сидит Левка. Он, не торопясь, выплевывает изо рта длинные ленты крови.)

Беня (загнал зевак в тупик, прижал к стене обезумевшего от страха жарня лет двадцати и взял его за грудь). Ну-ка назад!..

(Молчание. Вечер. Синяя тьма, но над тьмою небо еще багрово, раскалено, изрыто огненными ямами.)

СЕДЬМАЯ СЦЕНА

(Каретник Криков — сваленные в кучу хомуты, распряженные дрожки, сбруя. Видна часть двора.

В дверях за небольшим столом пишет Беня. На него наскакивает лысый нескладный мужик Семен, тут же шныряет мадам Попятник.

Во дворе на телеге с торчащим дышлом сидит, свесив ноги, Майор. К стене приставлена новая вывеска. На ней золотыми буквами: «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Вывеска украшена гирляндами подков и скрещенными кнутами.)

Семен. Я ничего не знаю... Мне штоб деньги были...

Беня (продолжает писать). Грубо говоришь, Семен.

Семен. Мне штоб деньги были... Я глотку вырву...

Беня. Добрый человек, я на тебя плевать хочу.

Семен. Ты куда старика дел?

Беня. Старик больной.

Семен. Вон тут на стене он писал — сколько за овес следует, сколько за сено — все чисто... И платил... Двадцать годов ему возил, худого не видел...

Беня (встает). Ты ему возил, а мне не будешь, он на стенке писал, а я не буду писать, он платил тебе, а я, может, и не заплачу, потому что...

Мадам Попятник (с величайшим неодобрением разглядывает мужика). Человек, когда он дурак — это очень паскудно.

Беня. Потому, что ты можешь у меня помереть, не поужинав, добрый человек...

Семен (струсил, но все еще петушится). Мне чтоб деньги были...

М-м Попятник. Я не философка, мосье Крик, но я вижу, что на свете живут люди, которые совсем не должны жить на свете...

Беня. Никифор!

(Входит Никифор, он смотрит исподлобья, говорит нехотя.)

Никифор. Я Никифор.

Беня. Рассчитаешь Семена и возьмешь у Грошева...

Никифор. Там поденные пришли, спрашивают, кто с ними уговариваться будет?

Беня. Я буду уговариваться.

Никифор. Стряпка там шурует. У ней самовар хозяин в заклад брал... У кого, спрашивает, самовар выкупать?

Беня. У меня выкупать. Семена считаешь вчистую, возьмешь у Грошева сена пятьсот пудов...

Семен (остолбенел). Пятьсот... Двадцать годов возил...

М-м Попятник. За свои деньги можно достать и сено, и овес, и вещи получше сена.

Беня. Овса — двести...

Семен. Я возить не отказываюсь...

Беня. Потеряй мой адрес, Семен.

(Семен мнет шапку, вертит шей, уходит, оборачивается, опять уходит.)

М-м Попятник. Один паскудный мужик и так разволновал вас... Боже мой, если бы люди захотели вспомнить, кто им остался должен... Еще сегодня я говорю моему Майору: муж, миленький муж, Мендель Крик заслужил у вас эти несчастные два рубля...

Майор (мелодическим глухим голосом). Рубль девяносто пять...

Беня. Какие два рубля?

М-м Попятник. Не о чем говорить, ей богу, не о чем говорить... В прошлый четверг у мосье Крика было дивное настроение, он заказал военное... Сколько раз военное, Майор?

Майор. Военное — девять раз.

М-м Попятник. И потом танцы...

Майор. Двадцать один танец.

М-м Попятник. Вышло рубль девяносто пять. Боже мой, заплатить музыканту — это было у мосье Крика на первом плане...

(Шлепая сапогами, входит Никифор. Он смотрит в сторону.)

Никифор. Потаповна пришла.

Беня. Зачем мне знать, что кто-то пришел?

Н и к и ф о р. Грозится.

Б е н я. Зачем мне знать...

(Припадая на ногу, ворочая чудовищным бедром, вламывается Потаповна. Старуха пьяна. Она валится на землю и устремляет на Беню мутные немигающие глаза.)

П о т а п о в н а. Цари наши...

Б е н я. Что скажете, мадам Холоденко?

П о т а п о в н а. Цари наши...

Н и к и ф о р. Пошла дурить...

П о т а п о в н а. Д-ж-ж, жидовские шарики жужжат... Прыгают в голосе шарики — д-ж-ж-ж...

Б е н я. В чем суть, мадам Холоденко?

П о т а п о в н а *(бьет по земле кулаком)*. Правильно, правильно. Нехай умный панует, а свинья в монополюку...

М - м П о п я т н и к. Интеллигентная дама.

П о т а п о в н а *(разбрасывает по земле медяки)*. Вот сорок копеек заработала... Встала, света не было, мужиков на Балтской дороге поджидала *(задирает голову к небу)*, теперь сколько часов будет? Три будет?

Б е н я. В чем суть, мадам Холоденко?

П о т а п о в н а *(подмигивает)*. Д-ж-ж-ж, пустил шарики...

Б е н я. Никифор!

Н и к и ф о р. Ну?

П о т а п о в н а *(подманивает Никифора толстым, слабым, пьяным пальцем)*. А девочка-то наша занеслась, Никиша...

М - м П о п я т н и к *(присела и зажглась)*. Интрига, ай, какая интрига...

Б е н я. Что вы потеряли здесь, мадам Попятник, и что вы хотите здесь найти?

М - м П о п я т н и к *(приседает, глазки ее ворочаются, стреляют, сыплют искры)*. Я иду... я иду... Дай бог свидеться в счастье, в удовольствии, в добрый час, в счастливую минуту... *(Она дергает мужа за руку, пятится, вертится, глазки стали у нее косые и светят в бок черным огнем. Майор тащится за женой и шевелит пальцами. Наконец, они исчезают.)*

П о т а п о в н а *(размазывает слезы по мятому, дряблему лицу)*. Ночью я к ней подобралась, грудь тронула, я ей каждую ночь грудь трогаю, а у ней уже налилось, в руке не помещается...

Б е н я *(лоск с него слетел. Он говорит быстро, оглядывается)*. Какой месяц?

П о т а п о в н а *(не мигая смотрит она на Беню с земли)*. Четвертый.

Б е н я. Врешь.

П о т а п о в н а. Ну, третий.

Б е н я. Чего тебе от нас надо?

П о т а п о в н а. Д-ж-ж, пустил шарики...

Б е н я. Чего тебе надо?

П о т а п о в н а *(подвязывает платок)*. Вычистка сто рублей стоит...

Б е н я. Двадцать пять.

Потаповна. Портовых наведу.

Беня. Портовых наведешь? Никифор!!

Никифор. Я Никифор!

Беня. Взойди к папаше и спроси его, приказывает он давать двадцать пять?..

Потаповна. Сто.

Беня. ...двадцать пять рублей на вычку или не приказывает?

Никифор. Не взойду я.

Беня. Не взойдешь? *(Он бросается к ситцевой занавеске, разделяющей каретник на две половины.)*

Никифор *(хватает Беню за руку)*. Парень, я бога не боюсь... Я бога видел и не испугался... Я убью и не испугаюсь...

(Занавеска трепещет и раздвигается. Выходит Мендель. За спину у него закинута сапоги. На нем длинная белая рубаха, как у мертвеца. Лицо его синее и одутловато, как лицо мертвеца.)

Мендель. Отоприте.

Потаповна. Ай, страшно...

Никифор. Хозяин!..

(К каретнику приближаются Арье-Лейб и Левка.)

Мендель. Отоприте.

Потаповна *(лезет по полу)*. Ай, страшно...

Беня. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша.

Мендель. Ты отопрешь мне ворота, Никифор, сердце мое...

Никифор *(падает на колени)*. Великодушно прошу вас, хозяин, не страмитесь передо мной, простым человеком...

Мендель. Почему ты не хочешь отпереть ворота, Никифор? Почему ты не хочешь выпустить меня из двора, в котором я отбыл мою жизнь? *(Голос старика усиливается, свет разгорается на дне его глаз.)* Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены, хозяином над моими конями... Он видел силу мою и двадцать моих жеребцов, и двенадцать площадок, окованных железом... Он видел ноги мои, большие, как столбы, и руки мои, злые руки мои... А теперь отоприте мне, дорогие сыны, пусть будет сегодня так, как я хочу, пусть я уйду из этого двора, который видел слишком много...

Беня. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша! *(Он приближается к отцу.)*

Мендель. Не бей меня, Бенчик...

Левка. Не бей его.

Беня. Низкие люди... *(пауза.)* Как могли вы... *(пауза.)* Как могли вы сказать то, что вы только что сказали?

Арье-Лейб. Отчего вы не видите, люди, что вам надо уйти отсюда?

Беня. Звери, о, звери... *(Он быстро уходит, Левка за ним.)*

Арье-Лейб *(ведет Менделя к лежанке)*. Мы отдохнем, Мендель, мы заснем...

Потаповна (поднялась с земли и заплакала.) Убили сокола...

Арье-Лейб (укладывает Менделя на лежанке за занавеской). Мы заснем, Мендель...

Потаповна (валится на землю рядом с лежанкой, она целует свисающую безжизненную руку старика). Сыночек мой, любочка моя...

Арье-Лейб (перекрывает лицо Менделя платком, садится и начинает тихо, издалека). В старье старинные времена жил человек Давид. Он был пастух и потом был царь, царь над Израилем, над войском Израиля и над мудрецами его...

Потаповна (всхлипывает). Сыночек мой...

Арье-Лейб. ...богатство испытал Давид и славу, но не узнал сытости. Сила жаждет и только печаль утоляет сердце. Состарившись, увидел Давид-царь на крышах Иерусалима, под небом Иерусалима Вирсавию, жену Урии-военачальника. Грудь Вирсавии была красива, ноги ее были красивы, веселье ее было велико. И был послан Урия-военачальник в битву и царь соединился с Вирсавией, с женой мужа, еще не умерщвленного. Грудь ее была красива, веселье ее было велико...

ВОСЬМАЯ СЦЕНА

(Столовая в доме Криков. Вечер. Комната ярко освещена домашней висячей лампой, свечами, вставленными в канделябры, и старинными голубыми лампами, ввинченными в стену. У стола, убранного цветами, заставленного закусками и вином, суетится мадам Попятник, облачившаяся в шелковое платье. В глубине столовой безмолвно сидит Майор. На нем вздулась бумажная манишка, флейта покоится на его коленях, он шевелит пальцами и двигает головой. Много гостей. Одни расхаживают по анфиладе раскрытых комнат, другие сидят у стены. В столовую входит беременная Клаша Зубарева. На ней платок, расписанный гигантскими цветами. За Клашей вваливается пьяный Левка, наряженный в парадную гусарскую форму.)

Левка (орет кавалерийские сигналы).

Всадники, други, вперед!
Рысью вперед!
По временам коням
Освежайте рот.

Клаша (хохочет). Ой, живот... Ой, выкину...

Левка. Левый шенкель приложи и направо поверни...

Клаша. Ой, уморил!..

(Проходят. Навстречу им Боярский в сюртуке и Двойра.)

Боярский. Мамзель Крик, на черное я не скажу, что оно более, и на белое я не позволю себе сказать, что оно черное... С тремя тысячами, мы ставим конфексион на Дерibasовской и венчаемся в добрый час...

Двойра. Но почему сразу все три тысячи?

Боярский. Потому что мы имеем сегодня июль на дворе, а июль это же сентябрь... Демисезонный товар работает у меня июль, а сентябрь работает у меня саки... Что вы имеете после сентября? Ничего. Сентябрь, октяб, нояб, декаб... На ночь я не скажу, что это день, и на день я не позволю себе сказать, что это ночь...

(Проходят. Появляются Бея и Бобринец.)

Беня. У вас готово, мадам Попятник?

Мадам Попятник. Николаю Второму не стыдно сесть за такой стол...

Бобринец. Вырази мне твою мысль, Беня...

Беня. Моя мысль такая — еврей, не первой молодости, еврей, отходивший всю свою жизнь, голый и босый, и замазанный, как ссыльно-поселенец с острова Сахалина... И теперь, когда он, благодаря бога, вошел в свои пожилые года, надо сделать конец этой бессрочной каторге, надо сделать, чтобы суббота была субботой...

(Проходят Боярский и Двойра.)

Боярский. Сентябрь, октяб, нояб, декаб...

Двойра. И потом я хочу, чтоб вы меня немножко любили, Боярский...

Боярский. А что с вами делать, если не любить вас? На котлеты вас рубить? Смешно, ей-богу...

(Проходят. У стены, под голубой лампой, сидят степенный прасол и парень в тройке с толстыми ногами. Парень осторожно грызет подсолнухи и прячет шелуху в карман.)

Парень с толстыми ногами. Р-раз ему в морду, два ему в морду, старик с катушек и слетел...

Прасол. Татары и те стариков почитают... Жизнь пройти не поле перейти...

Парень с толстыми ногами. Кабы человек ловчился жить, а то... *(Сплювывает шелуху.)* А то живет, как поживется... За что почитать-то?

Прасол. Что с дураком толковать-то?

Парень с толстыми ногами. Бенчик сена одного тыщу пудов купил...

Прасол. Старик по сто покупал, хватало.

Парень с толстыми ногами. Старика они все равно зарежут!

Прасол. Это жиды-то? Это отца-то?

Парень с толстыми ногами. Зарежут до смерти.

Прасол. Толкуй с дураком...

(Проходят Беня и Бобринец.)

Бобринец. Что же ты хочешь, Беня?

Беня. Я хочу, чтобы суббота была субботой. Я хочу, чтобы мы были люди не хуже других людей. Я хочу ходить вниз ногами и вверх головой... Ты понял меня, Бобринец?

Б о б р и н е ц. Я понял тебя, Бенчик.

(У стены рядом с Пятирубелем сидят надувшиеся от величия богачи — муж и жена Вайнер.)

П я т и р у б е л ь *(тщето ищет у них сочувствия)*... Городовикам ремни сбрасывал, на главной почте швейцара бил. По четверти выпивал не закусывая, всю Одессу в руках держал... Вот какой старик был!..

(Вайнер долго ворочает тяжелым слюнявым языком, но разобрать, что он говорит, невозможно.)

П я т и р у б е л ь *(робко)*. Они гундосые?

М - м В а й н е р *(злобно)*. Ну, да.

(Проходят Двойра и Боярский.)

Б о я р с к и й. Сентяб, октяб, нояб, декаб...

Д в о й р а. ...И потом я хочу ребенка, Боярский...

Б о я р с к и й. Вот видите — ребенок при конфекционе — это красиво, это имеет вид... А ребенок без дела — какой это может иметь вид?

(В величайшем возбуждении влетает мадам Попятник.)

М - м П о п я т н и к. Бен Зхарья приехал! Раввин... Бен Зхарья...

(Комната наполняется гостями. Среди них Двойра, Левка, Беня, Клаша Зубарева, Сенька Топун, напомаженные кучера, переваливающиеся лавочники, пересмеивающиеся бабы.)

П а р е н ь с толстыми ногами. На деньги и раввин прибежал... Тут как тут...

(Арье-Лейб и Бобринец вкатывают большое кресло. Оно прячет в развороченных своих недрах крохотное тельце Бен Зхарья.)

Б е н З х а р ь я *(визгливо)*... Еще только рассвет чихает, еще бог на небе красной водой умывается...

Б о б р и н е ц *(хохочет, предвкушая замысловатый ответ)*. Почему красной, рабби?

Б е н З х а р ь я. ...Еще я на спине лежу, как таракан...

Б о б р и н е ц. Почему на спине, рабби?

Б е н З х а р ь я. По утрам бог переворачивает меня на спину, чтобы я не мог молиться... Богу надоели мои молитвы...

(Бобринец шумно хохочет.)

Б е н З х а р ь я. Еще курицы не вставали, а меня будит Арье-Лейб: бегите к Крикам, рабби, у них ужин, у них обед. Крики дадут вам пить, они дадут вам есть...

Б е н я. Они дадут вам пить, они дадут вам есть, все, что вы захотите, рабби...

Б е н З х а р ь я. Все, что я захочу... И лошадей твоих отдашь?

Беня. И лошадей моих отдам...

Бен Зхарья. Сбегайте тогда, евреи, в погребальное братство, запрягите его лошадей в их колесницу и отвезите меня, куда?..

Бобринец. Куда, рабби?

Бен Зхарья. На второе еврейское кладбище, дуралей...

Бобринец (*шумно хохочет, срывает с раввина ермолку и целует его облезлую розовую макушку*). Ай, хулиган... Ай, умница...

Арье-Лейб (*представляет Беню.*) Это он и есть, рабби, сын Менделя — Бенцион.

Бен Зхарья (*жует губами*). Бенцион... сын Сиона... (*Молчит.*) Соловья не кормят баснями, сын Сиона, а женщин мудростью.

Левка (*оглушительным голосом*). Кидайтесь на стулья, урканы, жмите скамейки...

Клаша (*качает головой, улыбается*). Ох, здоровый!

Беня (*мечет на брата негодующий взгляд*). Дорогие, присаживайтесь... Мосье Бобринец сядет рядом с рабби...

Бен Зхарья (*ерзает в кресле*). Зачем я сяду с этим евреем, длинным, как наше изгнание? Пусть государственный банк (*тычет пальцем в Клашу*) сядет рядом со мной...

Бобринец (*предвкушая новую острогу*). Почему государственный банк?

Бен Зхарья. Она лучше банка... В нее хорошо положишь, она такой процент даст, что пшенице завидно, плохое в нее положишь — она всеми кишками заскрипит, чтобы выменять поломанную твою копейку на новый золотой... Она лучше банка... Она лучше банка...

Бобринец (*поднял кверху палец*). Надо понимать, что он говорит!..

Бен Зхарья. А где же звезда наша во Израиле, где хозяин дома сего, где рабби Мендель Крик?

Левка. Он сегодня больной.

Беня. Рабби, он здоров. Никифор!

(*В дверях показывается Никифор в затрапезном своем армяке.*)

Беня. Пусть взойдет папаша со своей супругой!..

(*Молчанье.*)

Никифор (*отчаянным голосом*). Уважающие гости...

Беня (*очень медленно*). Пусть взойдет папаша.

Арье-Лейб. Бенчик, у нас, у евреев, отца не срамят перед людьми.

Левка. Рабби, человек так не мучает кабанчика, как он мучает папашу.

Вайнер (*Возмущенно лопочет, брызгается слюной*).

Беня (*склоняется к м-м Вайнер*). Что он говорит?..

М-м Вайнер. Он говорит — стыд и срам...

Арье-Лейб. Евреи так не делают, Беня...

Клаша. Расти сынов...

Беня. Арье-Лейб, старый человек, старый сват, служитель в синагоге биндюжников и кладбищенский кантор, — не расскажешь ли ты мне, как

делаются дела у людей?.. (Он стучит кулаком по столу и говорит с расстановкой, сопровождая каждое слово ударом кулака.) Пусть взойдут папаша!

(Никифор исчез. Склонив голову, расставив ноги, стоит Бенья посреди комнаты. Медленная кровь заливает его лицо. Молчание. И только бессмысленное бормотанье Бен Зхарья нарушает томительную тишину.)

Бен Зхарья. Бог умывается на небе красной водой... (Молчит, ерзает в кресле.) Почему красной, почему не белой? Потому что красная веселее белой...

(Половинки боковой двери скрипят, стонут и расходятся. Все лица оборачиваются в эту сторону. Показывается Мендель с иссеченным запудренным лицом. Он в новом костюме. С ним Нехамма в наkolке, в тяжелом бархатном платье.)

Бенья. Друзья, сидящие в моем доме. Этот бокальчик позвольте мне поднять за моего отца, за труженика Менделя Крика и его супругу Нехамму Борисовну, которые тридцать пять лет идут по совместной дороге жизни. Дорогие! Мы знаем, слишком хорошо мы знаем, что никто не выложил цементом эту дорогу, никто не поставил скамеек на длинном этом пути, и оттого, что великие кучи людей пробежали по этой дороге, она не стала легче, она стала тяжелей... Друзья, сидящие в моем доме! Я жду от вас, что вы не разбавите водой вино в ваших стаканах и вино в ваших сердцах...

Вайнер (Восторженно хлопчет).

Бенья. Что он говорит?

М - м Вайнер. Он говорит — ура!

Бенья (ни на кого не глядя). Учи меня, Арье-Лейб... (Подносит отцу и матери вино.) Наши гости почитают вас, папаша. Скажите слово нашим гостям.

Мендель (озирается и говорит очень тихо). Желаю доброго здоровья...

Бенья. Папаша хочет сказать, что он жертвует сто рублей в чью-нибудь пользу.

Прасол. Толкуют мне про жидов...

Бенья. Пятьсот рублей жертвует папаша. В чью пользу, рабби?

Бен Зхарья. В чью пользу? Молоко в девушке не должно киснуть, евреи... В пользу невест бесприданниц надо пожертвовать!..

Бобринец (заливается хохотом). Ай, хулиган... Ай, умница...

М - м Попятник. Я даю туш...

Бенья. Давайте...

(Заунывный туш оглашает комнату. Вереница гостей с бокалами тянется к Менделю и Нехамме.)

Клаша Зубарева. Ваше здоровье, дедушка...

Сенька Топун. Вагон удовольствий, папаша, сто тысяч на мелкие расходы...

Беня (*ни на кого не глядя*). Учи меня, Арье-Лейб..

Бобринец. Мендель, дай бог мне иметь такого сына, как твой сын..

Левка (*через весь стол*). Папаша, не сердчайте... Папаша, вы свое отгуляли...

Прасол. Толкуют мне про жидов... Я жидов получше вашего знаю..

Пятирубель (*лезет к Бене и порывается целовать его*). Ты нас купишь, чорт, и продашь и в узел завяжешь...

(Громкое рыдание раздается за спиной Бени. Слезы текут по лицу Арье-Лейба и опутывают его бороду. Он трясется и целует плечо Бени.)

Арье-Лейб. Пятьдесят лет, Бенчик. Пятьдесят лет вместе с твоим отцом... (*кричит истерически*.) У тебя был хороший отец, Беня...

Вайнер (*обрел дар речи*). Выведите его.

М-м Вайнер. Боже, какие шутки!..

Боярский. Арье-Лейб, вы ошиблись... Теперь надо смеяться...

Вайнер. Выведите его!..

Арье-Лейб (*всхлипывает*). У тебя был хороший отец, Беня...

(Мендель бледнеет под своей пудрой. Он протягивает Арье-Лейбу носовой платок. Тот вытирает слезы, плачет и смеется.)

Бобринец. Болван, вы не у себя на кладбище...

Пятирубель. Свет наскрозь пройдет, такого Бенчика не сыщите... Я об заклад буду биться...

Беня. Дорогие, присаживайтесь!..

Левка. Жмите скамейки, урканы!

(Гром сдвигаемых стульев. Менделя усаживают рядом с рабби и Клашей Зубаревой.)

Бен Зхарья. Евреи!

Бобринец. Тихо чтоб было!

Бен Зхарья. Старый дуралей Бен Зхарья хочет сказать слово... (*Левка фыркает, падает грудью на стол, но Беня встряхивает его и он замолкает.*) День есть день, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове веера своей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, был всего только сумасброд. Иисус из Назарета, укравший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городовых на каждой улице и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки.

Левка. Выпьем рюмку водки!..

(Дребезжанье флейты, звон бокалов, бессвязные крики, громовой хохот.)

Дневник Кости Рябцева

Н. ОГНЕВ

(Продолжение¹)

Треугольный скорпион

15 августа.

Передо мной во весь рост стоит теперь вопрос о том, какой выбрать факультет. Сначала, конечно, придется поступить на тот факультет и в то отделение, где больше мест. Говорят, что оттуда можно будет перейти на другой в середине года или на второй год; но это надо проверить, потому что может получиться такая история, что поступишь, скажем, на физмат (а там больше всего вакансий), а потом и кончай вуз по физмату, чего я совершенно не желаю: придется всю жизнь делать физические опыты или, еще того хуже, — решать задачки.

Есть еще «архизетис». В него входят отделения: историко-археологическое, этнофак и изобразительное. Мне этот архизетис не нравится потому, что на нем придется копаться в прошлом, а меня больше интересует настоящее. Да к кому не подойди — хоть к тем же рабочим на Ванькиной фабрике — да спроси: как жили раньше? Не очень-то охотно рассказывают. Это только в очередях ругаются, что раньше жизнь лучше была, и какой-то «при царе порядок» вспоминают. А рабочие больше интересуются, какая предстоит жизнь в будущем, как ее устроить в общегосударственном масштабе или в маленьком масштабе каждого отдельного рабочего. Я много об этом разговаривал с рабочими: Даже сезонники, и те больше меня спрашивали: — а чо дальше, паря, будет? По-моему, на архизетисе этого не узнаешь. Вот почему я против архизетиса.

Потом, кроме медфака, на который я итти не хочу, потому что не чувствую в себе призвания к докторской работе (скажите «а», вздохните, сядьте, покажите ваши испражнения), есть еще Лито и Совправо. На факультете советского права есть разные отделения,

¹) См. «Новый Мир», № 1 с. г.

в том числе судебное, административное, хозяйственное и международники. Значит, можно быть народным судьей, председателем или секретарем совета. Самое интересное, конечно, быть дикпурьером. Но здесь вступает в силу пролетарская диктатура. Нужно делать не то, что тебе индивидуально интересно (ведь я могу объявить, что мне интересней всего валяться целыми днями на кровати или сидеть с утра до вечера в кино), а то, что необходимо в этот тяжелый, переходный момент пролетарской республики. Значит, занимать нужно то место, на котором можно больше всего принести пользы, хотя индивидуально это место тебе неинтересно и даже противно.

Тут я должен окончательно себя проверить, чтобы сделать вывод. Если бы у нас во второй ступени были шкрабы получше, то я и не сомневался бы. Но дело в том, что опыт мой с форпостом показал, что я с ребятами управляюсь гораздо лучше, чем наши шкрабы. Во-первых, ребята меня слушаются и охотно, и даже с восторгом делают то, что я им скажу. Во-вторых, даже ячейка отметила наш форпост, как один из лучших. В-третьих, общаясь с ребятами, я сам убедился, что настоящее, правильное, пролетарское воспитание может дать только современный человек, а не отживший, как большинство шкрабов, интеллигент. Уж вачто Никпетож — и он в этом в своей речи признался. Кроме того, современный учитель должен знать очень хорошо политграмоту и китайские события, чтобы на каждый вопрос ребенка сейчас же ответить. А я почти наизусть знаю Бердникова-Светлова, да и Коваленко тоже неплохо. А из наших шкрабов в китайских событиях не разбирался никто. В политграмоте тоже были, как в потемках, потому что я раз спросил учительницу пения, Людовику Карловну: — Кто у нас, по-вашему, правительство? — А она на это ответила: — Большевики. И сколько раз я ей не пытался втолковать, что такое ВЦИК и Совнарком, — она только смеялась. Вот почему нельзя доверять воспитание и образование смены таким людям. И вот поэтому я решил быть учителем. (Я думаю, что к тому времени, как я окончу вуз, названия «шкрабы» уже больше не будет.)

Но тут встает вопрос: учителем чего? То-есть, по какой специальности? Я долго над этим ломал голову, и в конце концов пришел к такому заключению, что лучше всего мне быть обществоведом. А для этого нужно знать литературу. Вот почему я решил итти на Лито.

18 августа.

У меня отец лежит совершенно больной, и доктор сказал, что у него миокардит. Часто заходит Алешка Чикин, который живет теперь у Зин-Палны, т. к. мать у него померла. И вот у Чикина с отцом то-и-дело происходят споры о боге. Отец утверждает, что бог есть, хотя разных обрядов он и не признает.

— Ты подумай, — говорит отец. — Ну, если бы не было бога, то откуда могло взяться все, что есть на свете? Ты говоришь: клетка. Ну, а клетка откуда? Тоже не сама-собой образовалась. Вот что.

— Клетку образовала мировая материя, — отвечает Алешка, — а мировая материя есть вечное движение. Поэтому нет необходимости в существовании бога.

— Ну, это ты нахватался, — возражает отец. — Я, по крайности, вот, хоть теперь: умирать собираюсь, и знаю, куда иду, не пропаду, дескать, совсем, без остатка. Останется лишек, как от материала при закройке. А ты будешь умирать, — на что ты будешь надеяться?

Алешка словно обрадовался:

— У меня много всяких надежд. Во-первых, я и умирать-то не буду.

— Ка-ак это такое? — засмеялся отец. — Вот это — отмочил. Ты что же, Кашей Бессмертный, что ли? Так ведь вы сказки отменили. Или опять пошло на сказки?

— Сказки здесь не при чем, — отвечает Алешка. — Одна сплошная наука. Сейчас изобретено омоложение. Каждому возможно удлинить жизнь на сколько он хочет. А когда я буду стариком, будет найдено средство против смерти.

— Сам не захочешь этого средства, дурашка, — перебил отец. — Так надоест, так опротивеет, что и не приведи-веди. А потом то сообрази: если всем людям придать это средство, то народищу-то сколько образуется, — жить невозможно будет от тесноты. Резать друг дружку начнут места ради. Вот-те и средство от смерти, ха-ха-ха. Вы-думает.

— Ну, ладно, допустим, что и вправду это средство будут применять с осторожностью, — горячо сказал Алешка. — А у меня все-таки есть другая надежда, которой у вас нет и не может быть.

— Какая же это еще надежда?

— А то, что моя работа, мои мысли, идеи не умрут.

— Ну, и вера не умрет.

— Очень даже умрет, когда убедятся, что она не помогает жить.

Как же это убедятся? — с усмешкой спросил отец. — Вера тепло создает в душе, полную отраду и покой: дескать, люди есть твои враги, так более высшее существо о тебе заботится и тебя любит.

— Вот в том-то и сила, что на практике жизни выходит не так, — закричал Алешка так громко, что я его даже попросил потише. — Не черта это более высшее существо не заботится и не помогает. Уж как я просил, когда был в беспризорных, чтобы бог мне послал на дороге портмонэ с деньгами, или даже хотя бы барыню в темном переулке с ридикулем. Или вот, когда мать умирала, — я тогда еще верил, или даже не верил, а надеялся, что что-то есть. Тоже просил: пусть не умирает, пусть не умирает, — всю жизнь бога любить буду. Так ведь нет — умерла. Или вот тоже прыщи. Кажется, маленькая просьба, чтобы прыщей на морде не было. И что же. Просил, просил — и плюнул. Теперь самому смешно, а тогда плакать хотелось. Высшее существо! Смех один!

— Это все не доказательство, — сказал отец. — Не обязан тебе бог прыщи лечить. Что он, фельдшер, что ли. Ступай к фельдшеру, он тебе

иодом намажет. Ты давай настоящее доказательство, а не ерунду на постном масле.

— А вот, хотите, — крикнул Алешка и схватил ножницы, — распорю руку, а вы молитесь богу, чтобы он мне ее тут же вылечил.

— Стой, дуropolis ты эдакий, — вмешался я и вывернул ножницы прочь, потому что знал Алешкину горячность. — Доказательства и другие бывают. И потом, папаньке вредно много волноваться. Слова ораторам больше не даю.

Такие споры бывают у них каждый день, когда Алешка приходит.

20 августа.

Сегодня попытался разобраться в тех бумагах, которые мне прислал Виктор Шахов. Тут прежде всего письмо ко мне:

«Рябцев.

Ты знаешь сам, насколько сильно было во мне стремление к приобретению знаний. Я работал над собой, я занимался упорно, не давая себе лени и расхлябанности. Поставив себе определенную задачу в жизни, я работал над ней. Я достиг очень многого, что известно всем. Мои стихи уже принимали в журналах. Доклады мои все слушали очень внимательно — тебе это известно.

Мне необходимо формулировать яснее все то, что я чувствую. Мне тяжело, а говорить не с кем. Поэтому, делая вид, что я говорю с тобой, — я говорю сам с собой.

Ты — шар, а я — треугольник. Один мой угол упирается в прошлое, другой — в настоящее, третий — в будущее. От прошлого мне не отделаться (я — князь), в настоящее мне не врасти (я — дегенерат голубой крови), а будущее — бессмысленно (я логически довожу до конца мою философскую мысль).

Собственно говоря, мне решительно все равно, что будут обо мне думать и говорить после моей смерти. Иначе я бы не решился на это. Ведь мир-то хотя и существует объективно, но для меня он исчезнет вместе с моим сознанием. Кто-то из философов сказал: мир — есть Я. Он пересолил. Мир не есть Я, но сознание его — есть Я.

Казня свою физическую сущность, я уничтожаю свое сознание. А казнить свою субстанцию (т.-е. сущность, — учишься иностранным словам, дурак, а то с вами зря время теряешь) я имею право, зная свое происхождение и до боли явственно ощущая гниль в своей крови.

Вот вы все будете говорить, что я, мол, причинил боль своим близким: отцу и предполагаемому в живых брату. Да наплевать мне на все, и на тебя, и на всех, и на отца, и на брата, и на чорта, и на дьявола. Меня-то ведь не будет. Следовательно, не будет ничего.

Скорпионы, когда их окружает огонь, казнят себя своим собственным хвостом. А я — не простой скорпион, а треугольный (новый вид, сообщи в естественный кружок, — в. у. заработаешь). Меня окружил огонь моих же углов.

В конце концов мир варится в собственном соку. Т.-е., я хотел сказать, человечество. Сознание этого и есть горечь матерьялизма. Но никакой уважающий себя человек не станет из матерьялиста идеалистом.

Математическая и неизбежная случайность (это противоречие выражает лишь тонкость понятия) двинула группировку атомов и молекул по пути, который называется жизнью. Этот путь в конце концов пресечется. Значит, все даром. Но жизнь есть лишь осмысливание бессмыслицы. Удовольствие и наслаждение жизнью есть ее цель, и эту цель нужно доставить всем, даже самому последнему люмпенпролетарию. На этом я базировал свои революционные убеждения.

Но настает срок, продиктованный моей волей, которая безгранична. Живи счастливо, если сможешь и сумеешь, Рябцев. Впрочем, ты круглый, масляный шар. Пройдешь, как на крокете, во все ворота.

Стихи и записи (в роде дневника) передай брату, если придет и поинтересуется. Отцу ни под каким видом не давай.

С почтением и тов. приветом
б. князь, теперь Скорпион Виктор Шаховской».

Пораздумав, как следует, над этим письмом, я пришел к следующим выводам. Шаховского задавили обстоятельства его рождения и происхождения. С этим все равно ничего не поделаешь. С такими мыслями он все равно — рано или поздно — наложил бы на себя руки. Но другое дело, насколько такие мысли могут быть близки мне? Такой вопрос может быть задан потому, что я тоже убежденный материалист.

Конечно, со смертью кончается все твое сознание. Но в том-то и сила, что от этого понятия до желания умереть очень большое расстояние. На самом деле: если твое сознание и твоя жизнь доставляют тебе удовлетворение, то самоубийство тут не при чем. А из этого я вывожу, что Шаховской ненавидел жизнь и врал (или ошибался, заблуждался), что у него есть какая-то цель, тем более революционная. Просто, он ненавидел жизнь и все окружающее, и самого себя, и потому очутился в положении скорпиона. Мало того, у меня было много разговоров с товарищами на ту тему, сила или слабость — самоубийство. И теперь, после изучения этого письма, я пришел к тому выводу, что, безусловно, это слабость.

В самом деле, возьмем такой пример. Сейчас у нас в стрелковом кружке идут бурные дискуссии насчет возможной войны с Польшей. Выясняется, главным образом, вопрос о том, чья пехота сильнее и есть ли угроза поражения Красной армии в случае войны. (А война воз-

можно, потому что английские империалисты во главе с Чемберленом всячески натравливают Польшу на нас, а в Польше во главе стоят буржуи.) Так вот, польская пехота организована так, что каждому взводу приданы четыре ручных пулемета, и в этом состоит огневая сила этой пехоты. В нашей пехоте огневая сила сосредоточена в специальном пулеметном взводе, вооруженном станковыми пулеметами. Так что, если взять по-взводно, то наш взвод окажется в огневом отношении слабей, но зато рота в огневом отношении сильней польской. Потом еще: польская пехота воспитывается в активном духе, то-есть ее приучают больше к нападению, чем к обороне. (Да оно и понятно, потому что мы-то на них нападать не будем.) Но и оборона, по польскому обучению, должна быть активной: то-есть, если, примерно, мы выйдем их из окопов — они обязательно, во что бы то ни стало, должны отвечать штыковым контр-ударом. Из всего этого видно, что польская пехота далеко не слабый враг. (Однако, в случае чего мы с ними справимся, потому что мы сознательней, знаем за что будем драться, а они не знают.)

Так вот, я и представляю себе, что поляки со своими ручными пулеметами окружили меня со всех сторон, а я — у станкового пулемета и совершенно один. (Остальные убиты или оттеснены.) Что я буду делать? Ведь скорпион, окруженный огнем, себя убивает, как говорит Шаховской. А я очучусь аккурат в положении скорпиона. Буду ли я убивать себя? Да ни с какой стати. Прежде всего буду отстреливаться до последнего патрона, — может, подоспеют товарищи. Потом буду обороняться штыком, и, уже потеряв все силы, сдамся в плен — ведь и в плену я принесу пользу рабочим и крестьянам. Это, конечно, если раньше не убьют. А убей я себя в этом кольце, значит, этим я признаю, что побежден до последней, энной, степени, и все равно от меня толку не будет, и я ненавижу жизнь. То-есть, попросту, я слаб, а вовсе не силен, а в борьбе за существование слабые погибают.

Силен ли я на самом деле? Может, я и не очень силен душой, но за мной стоит вся сила материализма и коммунизма, и это меня поддерживает: я не чувствую своего одиночества, как чувствовал Шаховской.

Как это ни странно, а мне все-таки жалко Шаховского: он мог бы принести большую пользу, если бы не был аристократического происхождения. Вот тетрадка с его записями.

СТИХИ И ЗАПИСИ ВИКТОРА ШАХОВСКОГО

Можно из каждой литературы, даже больше, — из каждого автора извлечь сок, сущность, квинт-эссенцию, — и на этом строить выводы. Мне кажется, мне это удается в стихах.

Например:

Брет-Гарт

Салли Доус вчера сказала,
Да, сказала мне она,
Что ко мне доверья мало,

И что ложь во мне видна.
 Хорошо. Я знаю тропу
 По дороге в Браунсвилль.
 В деле — Гарри-рудокопу
 Не уступит Черный Билль.
 Выпью весь салун авансом,
 Но о деле — ни гу-гу.
 Словно сладить с дилижансом
 И один я не могу.
 Длинный Смит со мной покатит,
 Семь сынков возьмет лихих...
 Неужели мне не хватит
 Семь зарядов на троих?
 Вот шериф-то наш залает,
 Да в погоню... Ну, так что ж?
 Ведь зато она узнает,
 Есть ли в Черном Билле ложь.

К л я т в а.

Клянусь под страхом смертной казни никому не разглашать программы, тактики и Устава Вольных Братьев.

Клянусь на Черепе, Плаще и Шпаге во всем, всегда и всюду следовать приказаниям Великого Мастера Ложи.

Клянусь, рискуя кровом, пищей и жизнью, оказывать приют, гостеприимство и покровительство каждому из братьев, обменявшемуся со мной знаком каменщиков.

Великий Мастер отбыл в Рим. Планеты и Млечный Путь ему благоприятствуют.

Приятно чувствовать тайность.

Я люблю красивые слова. Например: ипекакуана. Это слово пахнет ромашкой. Или еще: силлогизм. Это палка такая. А кому я могу об этом сказать? Смеяться будут, только и всего. Да и не соответствует идеологии. Да и вообще признак вырождения.

Как трудно жить.

Кто я такой? Зачем я живу? Т.-е., мое место в жизни, перед кем я ответственен, да и что такое мир в конце концов?

Дело в тайне жизни. Вообще, тайна жизни раскрыта, жизнь всякого не более, как механическое сцепление атомов; атомы распадаются, электроны распыляются, жизнь прекращается — и В С Е. Нет, вопрос-то в том, почему я т а к о й, а не другой.

Всякая вещь познается сравнением. 1) Сравнить себя, напр., с ребятами я не могу, потому что всякое сравнение окажется в мою пользу; 2) познать себя можно только генетически. Вот почему я должен обратиться к тем, кто произвел меня на свет, т.-е., к предкам. Матерьял у меня такой: 1) прадед Виталий Федорович; 2) отец.

Сначала о прадеде. Он был помещик и масон. Но это не значит, что он был прямая линия, и, приняв крепостную жизнь и масонство, так и не сомневался никогда. Нет. Он идеалистически искал истину, и потому что идеалистически, он и уперся в тупик. Можно сравнить его с Пьером Безуховым. Но Пьер кончил мещанским прозябанием и цацканьем с ребятами и пеленками, а прадед мой до самой смерти все чего-то искал и искал.

2) Отец. По крови он — аристократ, по социальной среде — буржуа, по умственным данным — интеллигент. Это значит, что в моей крови масса таких шариков, которые, ударяя в сердце и мозг, толкают меня к командованию над массами, что совершенно не выдерживает критики. Затем, те же шарики заставляют меня философски мыслить в раннем возрасте. Это вредно и значит, что я выпадаю из возраста, и этим самым становлюсь уродом, не таким, как все, а чем-то особенным, что в переживаемую нами эпоху выхода на арену пролетариата и беднейшего крестьянства является не прогрессивным, а наоборот. Конечно, и во время диктатуры пролетариата могут быть вожди, творцы, художники, и вообще выделяющиеся личности, но они должны выходить из рядов правящего класса, а не класса, сходящего со сцены.

Какой же м о й класс? Аристократии нет. Отец в мирное время был адвокатом, а теперь пытается стать нэпманом, то-есть пролезть в буржуа. Для этого переименована фамилия, что меня всегда мучило, потому что это — ложь. Он перед коммунистами извивается, что-то толкует насчет новых людей, но его идеология туманная и насквозь пропитана буржуазностью. Конечно, это вполне понятно, потому что он всегда состоял на службе у буржуазии. Теперь он сам хочет стать в ряды буржуазии, и это ему отчасти удается. Но я-то этого не хочу. Так или иначе, а это мое происхождение сказывается. Должно быть, будет полный разрыв между отцом и мной, потому что на мои убеждения он не сдается, хотя лебезит перед коммунистами и даже научился жарить цитатами из вождей. — Да еще, — говорит, — надену парт-картуз, так тогда и чорт мне не брат. Я-то знаю, что все это — притворство, но... рука не поднимается на родного отца. Самая хорошая иллюстрация к моему отцу, это когда приходит Иван Иванович — с ним отец дела ведет. Тут отец думает, что он среди своих и распоясывается во-всю. У нас в столовой висят издания агитпропа Наркомзема о мелиорации, о яйценоскости кур... Так вот, когда Иван Иванович приходит, отец кричит прислуге: — Товарищ Маша, по-

трудитесь дать нам закусить. А что, Иван Иваныч, не испробовать ли нам яйцо-нос-кость Госспирта? — И если Маша долго копаётся, отец кричит: — Будет вам там мелиорацию разводить. Маша принесет закуску, отец ей: — Товарищ Маша, у вас женотдел развязался. Маша, конечно, смущается. Или мне: — Витька, застегни свой орграспред... Все это — ради издевательства.

Так вот, каковы мои предки. Отсюда ясно, каким могу быть я.

Кнут Гамсун.

В бору неразгаданном я
 Блуждал средь оврагов и балок,—
 И встретился с ним у ручья
 В убежище девиц-русалок.
 Зеленой тряся бородой,
 Он спрыгнул с высокого клена...
 Хоть старый — а был молодой,
 И полный весеннего звона.
 Он крикнул с размаху:

— Эй, ты!

Зачем мои думы подслушал?
 Не прячясь со страху в кусты.
 Ты первый покой мой нарушил.
 Ты первый подкрался, как тать.
 Теперь среди нас поживи-ка...
 И взялся он тут хохотать.
 За ним залилась ежевика,
 За ней засмеялся ручей
 И влажные росные травы,
 И сотни сосновых свечей
 Качались от этой забавы...

И я, как в дурмане, стоял,—
 Я — жалкий, потерянный, нищий...
 А он-то, а он хохотал,
 Зеленой тряся бородищей.

Собрание Вольных Братьев — 8 июля, в 8 часов вечера. Отчитай восьмой дом в восьмом квартале, сделай восемьсот шагов в сторону и иди прямо по тропинке. Дойдя до леса, отсчитай восьмое дерево, и углубись на восемьдесят шагов в лес. Только восемь братьев делают собрание действительным. Братьям быть при шпагах и прочих знаках Ложи.

Сарагосса — свист в ночи.

Я люблю, но не лю - - - А может? Нет.

Это его дед заразил своими масонствами. Интересно было бы знать, стал бы драть Виктор Шахов крепостных, если бы они у него были?

26 августа.

Вчера зашел на фабрику к Ваньке Петухову. В фабкоме было несколько человек, и шел большой разговор. Там есть такой Федорыч, он председатель фабкома, так он особенно наседавал на Ваньку.

— Ты пойми, чортик с рожками, — ораторствовал Федорыч, — что ежели у нас сейчас активистов одного за другим забрать, то вся культурбота станет. Где это такое делается, чтобы, кроплена мать, на смазном ходу ломать работу? Ась? Только ребята и девчата начали подтягиваться — и вдруг, пожалте вам — кулик наш свисть! Ну, я, конечно, понимаю, — образование и все такое, и там, в никадемии в этой, разные чортики с рожками прочтут тебе курс, и ты станешь такой фря, что только по-ученому и будешь растабарывать. Это все так. А у нас почему захряске быть? Подождали бы годика два — три, там и берите.

— Зачем это ты приbedняешься, Федорыч? — спокойно возразил Ванька. — Вполне можешь говорить по-человечески, а как заденет за живое, так сейчас же деклассируешься в рязанские мужики, и тут начинается и «фря» и «никадемия» и «чортик». Демагогия это, друг ситный. Тебе и отвечать-то не стоит, потому что в глубине души ты сам знаешь, что в моем откомандировании есть полный смысл, и что работа без меня ни в коем случае не станет. Партия делает, что рациональней.

— Да нет, что говорить, — тоскливо сказала Зыкова, — с твоим уходом, Петухов, работа упадет. Таким авторитетом, как ты, никто не пользуется. Взять Герасимову... Нешто ее урезонишь? Теперь с Галкиным схлестнулась. А управы на нее нету...

— Да брось, Зыкова, что вы, черти, простых вещей не понимаете, что ли? — начал злиться Ванька. — Странный разговор, вы бы хоть со стороны на себя посмотрели, что ли: по-марксистки ли вы рассуждаете? Прежде всего: на свете ничто не вечно, все меняется, все принимает новые формы, ведь это азбука, а вы взрослые люди. Сейчас подрастает молодняк: его и взять в работу, сами должны вращивать в себя новое сознание, — а то до коих же пор толкачами пользоваться! Что я вам, нянька, что ли? Поймите, что это идеалистический подход: вы личность ставите во главу угла, вы нянек хотите, — а каких нянек вам, пролетариям, да и откуда их взять?.. Да и сами знаете, что скулите зря: все равно я буду в институте народного хозяйства, а вы будете продолжать работу на производстве. А Зыковой и Брычеву надо обязательно на рабфак.

— Верно. Правильно, — рявкнул Пашка Брычев, который до тех пор молчал. — Бузу, слушь-ка, трем. И Петухову, и всем... обучаться нужно. И нечего, слушь-ка, по пустякам...

— Что, тяжело тебе уходить с фабрики? — спросил я Ваньку, когда все ушли.

— Тяжело... Жалко... — отрывисто ответил Ванька. — Эти слова давно пора сдать в архив. Ты это из Тургенева, что ли? Нужно делать то, что рационально, и то, что соответствует моменту, и сообразно с этим — чувствовать. А ты, брат Коська, тоже... — подозрительно глядя на меня, добавил Ванька. — Тебе тоже оччень и оччень не мешает подтянуться. Шесть часов еще не выполняешь?

— Нет еще.

— Ты, брат, берись скорей. Лодыря гонять нечего: время не ждет. Он, пожалуй, прав, но теперь до начала занятий осталось пустяки.

3 с е н т я б р я .

Отец все еще болен, и я ездил к тетке в Воскресенск за деньгами. Когда сел обратно в вагон, вдруг напротив меня садится тот самый пастух, который мне летом помог найти одежду. Мы поздоровались, и оказывается, он едет в город.

— Кончил работу? — спрашиваю.

— Нет еще, не кончил, да нужно в город. Вот с этим мне трудно, тем более в городе приткнуться некуда.

— Сколько получишь за лето?

— Сто рублей деньгами, да еще кормили и сапоги справили. Маловато, конечно; полагается от трех до пяти с головы скота, — ну, да я не жадный. Мне пока хватит, а там найду заработок.

— А ты где живешь?

— Нигде. Где придется.

— Ну, а все же? Ведь, на улице не переночуешь?

— В лучшем виде и на улице. На бульварной скамейке.

В это время вошел в вагон какой-то безносый человек, а с ним рваный парнишка, и парнишка, держа в руке картуз, стал всех обходить и просить на слепого. Безносый был слепой, и сразу было заметно по красному лицу, что он — выпивши. Когда они дошли до нас, вдруг слепой пошатнулся и сел прямо на пастуха.

— Эй, ты, легче на поворотах, — говорит пастух. — Стой на ногах, держись за землю.

— А ты кто такая, чтобы меня учить? — спрашивает слепой. — Я, может, на двадцати пяти фронтах был, кровь проливал, а тут всякий шпингалет будет меня учить. Я, может, от гремучих газов глаза потерял, а ты меня учишь.

— Я тебя не учу, а только ты на меня не наваливайся.

— Ка-кой, подумаешь, обер-мобер-хрен, — говорит слепой. — Тесно, — так ездят на автомобиле. Еще молою на губах не обсохло, а туда же, учить.

— А ты откуда знаешь, что у меня обсохло, что нет? — спрашивает пастух. — Ведь, ты ничего не видишь?

— Это ничего не значит, что не вижу. У меня, может, и носа нет, а у тебя есть. А какое право ты имеешь ходить с носом, ежели у меня нет? Имею я право тебя ударить — или не имею? Ответь на такой... спррррашивающий вопрос. Да по носу, туды-т твою, по носу. Потому теперь — равенство или нет? Нет, ты отвечай: равенство... или, может, неравенство?

Все пассажиры прислушались, даже из другого отделения налезли, а пастух говорит:

— Убогий ты человек, а лезешь. Ну, как ты меня можешь ударить, ежели ничего не видишь. Шел бы лучше, куда надо.

— Это я-то не могу ударить? — спрашивает слепой. — Еще как вмажу-то.

Тут он схватил пастуха за грудки, да как потряхнет. Но пастух изловчился, треснул его по руке, тогда слепой упал на пол, весь затрясся и заорал:

— Я припадошнай!!! Я припадошнай! Бьют, бьют, люди добрые!!!

Прибежал кондуктор, и насилиу его удалили. А против пастуха были многие возмущены и говорили, что он не имел права трогать слепого. Тогда пастух мне говорит, совершенно не обращая внимания на других:

— Никакой он не слепой, а самый зрячий. Я много книг перечитал летом, а с одной ходил трое суток, все старался понять. Такой, шут его знает, — писатель он, что ли, Леонтий Андреев?

— Леонид Андреев был, у нас его «Красный смех» разбирали. Буза.

— Ну, Леонид, что ли. У него написано сочинение: «Тьма». Не читал? Там говорится, как один спасался от политики и попал к проститутке. С револьвером он был — фараоны за ним гнались, что ли. А он сам был неженатый, не любитель был баб. И уж очень он, понимаешь, своим хорошством выхвалялся, что он не любитель — прямо чуть не святой. Сказал он это проститутке, а она ему и говорит:—Ты какое право имеешь быть хорошим, когда я плохая? Тоже, не хуже этого слепого. Значит, если он заразился и остался без носа — и все остальные должны без носов ходить, так, что ли? Это уж чепуху Леонтий несет. В лагери их сгонять надо и там лечить, а не пущать ходить по вагонам. Мне даже непонятно, как мог человек такой рассказ написать, да еще его напечатали. Я посылал про жизнь, а меня не печатают.

— Что же ты посылал про жизнь? — поинтересовался я.

— Да про разное. Про Землес посылал, что не соответствует. Мало ли? Потом про помещичка одного: его согнали, а он опять. Так ответили, что вику про это известно, и что он право имеет. А какое же право, если помещиков уволили? Здесь несправедливость.

— Тебе в кружок рабкоров надо в городе поступить.

— Я сам знаю, да некогда все.

Тут в вагон вошел мальчишка, стал петь песню. Я ее записал:

— Посмотрите, братишки:
 Разве я — человек?
 Помогите, братишки,
 Накопить на ночлег.
 Как случился тот случай,
 Всполошилось село...
 Пронеслись мимо тучи,
 А дождя не было.
 Вижу, плачут сестренки,
 Стала мать слезы лить:
 Не хватило водички,
 Чтобы рожь напоить...
 Ох, сынок мой, Ванюша,
 Ты прости свою мать:
 Дома нечего кушать,
 Нам пора умирать.
 И поплекался я в город,
 Поклонившись отцу:
 Слезы льются за ворот,
 И бегут по лицу...
 Ночью в карты играю,
 Днем хожу на трамвай,—
 И пою — вспоминаю
 Про плохой урожай...

Пастух после песни, когда парнишка пошел с шапкой, подозвал его к себе и затеял разговор. Парнишка отвечал неохотно и видно было, что ему поскорей хочется в другой вагон. Но пастух, видно, решил добиться от него толку и придержал парнишку за руку. Тогда парнишка вывернулся и дралка.

— Его надо обязательно задержать, — говорит пастух.

— Что ж ты с ним будешь делать?

— Я-то ничего, а вот в общество «Друзья Детей» отправить — там его пристроят к делу.

— Да ведь ничего с ними не выходит, — сказал я, вспомнив свою практику с беспризорными.

— Как такое не выходит? Выйдет... Вот, теперь оркестры организуются... Ты помоги мне его на вокзале задержать.

Но парнишка соскочил версты за две до вокзала прямо на ходу с поезда, — и только мы его и видели.

9 с е н т я б р я.

Сегодня я долго ходил по коридорам университета. Народу еще очень мало — почти никого нет. Ко мне подошел какой-то парень в очках и спрашивает:

— Ты здешний или из провинции?

Я сказал, что здешний, тогда он попросился переночевать. Оказывается, он переводится из Ленинграда. Мне показалось, что он не совсем похож на начинающего вузовца, и я спросил:

— А сколько тебе лет?

— А что, разве заметно, — отвечает. — Да, я уже не птенчик. Десять лет по вузам мотаюсь. Все никак не могу найти подходящей специальности.

Меня этот вопрос тоже интересовал, поэтому мы разговорились. Я повел его домой. Вещей у него одно одеяло, не больно казистое. В Ленинграде он был на географическом отделении, а раньше — в Казани, на ИЗО.

— А здесь куда думаешь приткнуться?

— Я решил на медфак, — ответил он важно. Вообще, он все делает важно, несмотря, что худой, маленький и в очках. Он так и сказал:

— К себе самому нужно относиться с уважением, тогда и все другие уважать будут.

— Ну, а если медфак тебя не удовлетворит, тогда куда?

— Я еще не использовал этнофака, административного и нархоза, — объяснил Корепанов-Гуськовский, — такое у него чудное фамилие. (У меня было еще в школе много столкновений с Никпетожем, как писать: фамилия или фамилие, то-есть средний род. Никпетож настаивал, что женский род, но я пишу и теперь фамилие, потому что оно относится ко всем: к мужчинам, женщинам и детям).

Дома папанька его спрашивает:

— А сам вы из каких?

— Из всяких, — говорит Корепанов. — Отец мой был священник, мать — актриса, а сам я еще не знаю, кем буду. Годиков пять еще проучусь, а там посмотрим.

— Что ж ты делал во время гражданской войны? — спрашиваю.

— Все. Сначала воевал, потом лечил, потом с агитпоездом ездил, потом у белых кашеваром был, а потом у наших подрывником был.

— И все учился?

— Когда время было — учился. У меня книги всегда с собой.

И верно, когда ложились спать (а я ему постелил на полу тюфячок), он из своего одеяла вывернул штук пять книг, аккуратно уложил их у изголовья, потом снял брючки, тщательно их разгладил и уложил под тюфячок. Мне стало смешно.

— Чего смеешься, — говорит мой батька. — Это он правильно делает: складка не потеряется, а складка в брюках самое первое.

— Да я не из-за складки, — сказал Корепанов, укладываясь и раскрывая книгу. — Это просто экономия. Этим моим брюкам пять лет. А если бы я их не складывал и не чистил, пришлось бы давно новые покупать. А купилки-то где? Со стипендии не разживешься, а дрова грузить я не могу по случаю слабосилия.

Полежали мы молча некоторое время, он все читал, потом он как захохочет.

— Ты чего? — спрашиваю.

— Немец проклятый, — хохочет Корепанов. — Объявил, что у женщин души нет и что женщина, как таковая, не гениальна и не может быть гениальной.

— Истинная правда, — скрипит папанька со своей кровати. — Ни одной бабы не видал, что с душой.

— Да что ты читаешь-то? — спросил я у Корепанова.

— Такой есть немец Вейнинггер, его книгу: «Пол и характер».

— Если про пол, оставь у меня — почитать. А ты, папанька, прожил целую жизнь, и не хочешь признать за женщинами право. Это с твоей стороны просто несознательно.

— А ты повидай столько баб на своем веку, сколько я — тогда и рассуждай. Ты еще сосунок.

Аксолот и амблистома

Запись 15 сентября.

Была первая лекция по совправу профессора Федоровского. Этого Федоровского ребята очень хвалили, да и верно, оказалось, что он очень хороший оратор, и у него все понятно. А первая лекция во многом ответила на мои мысли.

— Предположите, что к вам в комнату пришел человек, который с первого абцуга начал ругать современную русскую жизнь, — сказал Федоровский. — Человек этот может быть эмигрант, может, просто обозленный потерей своего давнего имущества собственник. И вот, он утверждает, что в СССР не действуют законы, что права не существует, что все делается по произволу и за взятки. Как вы его не убеждайте, какие доводы ни приводите, — он будет стоять на своем, потому что его психика — психика собственника — вся в прошлом и не может подчиниться новым понятиям. А когда вы его спросите прямо, что хорошего в прошлом он потерял, он никогда не ответит, что собственность, или чины и ордена, или положение, или должность, на которой он получал 300 рублей довоенными рублями. Он обязательно скажет, что потерял Россию. Что большевики загубили Россию, как нечто абстрактное, что в той, старой, России действовали хорошие законы, а сейчас нет никаких, и так далее. Вы, конечно, найдете целый ряд блестящих доводов, которыми вы только лишний раз убедите самих себя, но никак не своего противника. Но раз уж речь пойдет о России, то не забудьте один небольшой пример из области биологии, который я вам сейчас приведу.

Сейчас в СССР идет великое встряхивание людей. Правда, в очень многих случаях это встряхивание носит грубые, лапидарные, нелепые формы, но это — не беда. Будят мать Федорушку, вот что главное. И, по-настоящему, нет уже на свете матери Федорушки. Разве после перенесенных нами войн и после пяти лет строительства можно сказать, как полвека тому назад, что, лбом в полюс упершись, а пятками в Кавказ, — спит непробудным сном отчизна, Русь святая. Трясут, трясут, изо всей силы трясут, от души трясут, тракторами, аэропланами,

электрификацией пронимают, — и вот, наконец, после десятивековой спячки православия, избяная, матерная, и могучая, и бессильная, и обильная — начинает просыпаться.

Я сказал о биологии. Один советский профессор делал опыты с аксолотом. Аксолот — это почти головастик, он, кажется, принадлежит к семейству тритонов, но это не существенно. У этого аксолота почти совершенно неразвиты легкие, и это отличает его от более развитого вида этой же группы, — от амблистомы. Так профессор, кормя аксолота щитовидной железой, добился превращения — поистине чудесного — аксолота в амблистому. Мне кажется, не будет натяжкой, если я сравню институт советского права и его проникновение в массы, то-есть организацию нового правосознания, — с этим биологическим процессом...

Тут Федоровский начал сравнивать советское право с международным, и у него так это блестяще вышло, что все захопало. Но по окончании его лекции вдруг на кафедру лезет здоровый рыжий детина, милиционер. А я уже давно его заметил, да и вообще удивлялся, что в коридорах нашего вуза встречаются милиционеры. Ведь это при царском режиме в вуз вводили полицию, и она избивала студентов за то, что они занимались политикой.

— Вы что, товарищ? — спрашивает Федоровский.

— Да я... насчет аксолота, — смущенно отвечает милиционер.

— Что насчет аксолота?

— Вот, вы, профессор, говорили, что аксолот превращается в амблистому через кормление щитовидной железой. Можно и другим путем.

— Этого я что-то такое не слышал, — говорит Федоровский. — Было очень немного опытов, и то из них некоторые кончились неудачей. Впрочем, хотя это не относится к моей лекции да и к предмету, скажите, каким же еще путем можно добиться превращения?

— А это вот, — отвечает милиционер. — Нужно изменить биологические условия. Я сам делал. Ведь почему у аксолота легкие не развиваются? Потому что кислород есть в воде и во всяких растениях, которые полагаются в аквариумах. Нужно кислород удалить.

— Как же это вы его удаляли?

— Да очень просто: воду нужно кипяченую подбавлять в аквариум. И растения убрать. Я так и делал.

— И что же: аксолот скончался? — с усмешкой спрашивает Федоровский.

— Выжил! — Крикнул милиционер и ударил кулаком по столу. — В том-то и дело, что выжил, у него образовались легкие — и стала амблистома.

— Ну, это... — говорит Федоровский. — Вы, значит, его мучили?

— Конечно, мучил, — охотно подтвердил милиционер. — А зато я добился своего: получил высший вид. У меня до сих пор эта амблистомочка живет.

— А почему вы в форме? — спросил профессор. — Ведь, вы студент?

— Ну да, я здесь учусь. А форма потому, что я в милиции служу. Жрать было нечего, так меня профсоюзный стол труда направил в административный отдел.

— Ну, и кто же вы теперь такой?

— Постовой, — ответил милиционер.

— Молодцом, — сказал Федоровский. — Так вот. То, что нам рассказал сейчас этот товарищ, служит лишним доказательством моего положения. Светлая и разумная научная мысль всегда пробьет дорогу через всякие препятствия и осуществит то, что казалось раньше чудесным и невозможным. И, конечно, новое правосознание проникает в массы не одним путем, а тысячью путей, неисчислимым количеством дорог, но, в конце концов, организует тот маяк, к которому мы все стремимся, к которому стремились великие умы всех стран и народов: радикальную культурную революцию, которая сметет в мусорный ящик истории отживший хлам старых, обросших мохом, понятий о праве. А вы, товарищ, молодец, — обратился Федоровский к милиционеру и хлопнул его по плечу. — Ищите новых и новых путей, не следуйте слепо за авторитетом. Вы добились амблистомы, живя на тяжелом милицейском хлебе. А чего бы вы добились, если бы вас кормить щитовидной железой!

— Петруха, крой в наркомы, — крикнул кто-то из задних рядов, и милиционер, осторожно придерживая шинель, полез с кафедры.

(Продолжение следует).

Трясина

Э. БАГРИЦКИЙ

Ежами в глаза налезала хвоя,
Прели стволы, от натуги воя...
Дятлы стучали и совы стыли.
Мы челноки по реке пустили...
Трясина кругом да камыш кудлатый,
На черной воде кувшинок заплаты.
А под кувшинками,
В жидком сале,
Черные сомы
Месяц сосали...
Месяц сосали,
Хвостом плескали,
На жирную воду зыбь напускали...
Комар начинал...
И с комарьим звоном
Полночь трясучая шла по затонам...
Шла в зыбуны по сухому краю,
На каждый камыш звезду натыкая...
И вот поползли,
Грызясь и калечась,
И гад, и червяк,
И другая нечисть...
Шли, раздвигая кусты боками,
Волки с бульжными головами...
Видели мы (и поглядка — прибыль)
Узких лисиц, золотых, как рыбы...
Пар оседал малярийным зноем,
След наливался болотным гноем,
Прямо в глаза им,
Сквозь синий студень,
Месяц вставал,
Непонятный людям.
Тогда-то в болотном нутре гудело —
Он выходил на ночное дело...
С треском ломали его колена
Вязкий тростник,
Как сухое сено...
Жиры и мышц жилистая сила

Вверх не давая поднять затылок.
В маленьких глазках—
В болотной мути,
Месяц кружился, как капля ртути.
Он проходил,
Как меха, вздыхая,
Сизую грязь на гачах вздымая.
Вокруг ходуном ходила трясиная,
Черным пером торчала щетина...
На водопой,
По нарывам кочек,
Он продвигался —
Обломок ночи,
Не замечая, как на востоке
Мокрой зари проступают соки.
Как над стеной камышевых щеток,
Утро восходит из птичьих глоток.
Как в очерете, тайно и сладко,
Ноет болотная лихорадка.
Он проходил по нарывам кочек
Черным кустом уходящей ночи...
Время пришло стволам вороненым
Правду свою показать затонам.
Время настало —
В клякастый камень
Грянуть свинцовыми кругляками.
А между тем
По его щетине
Солнце легло,
Как багровый иней...
Солнце распухшее, водяное,
Встало над каменной спиною;
Так и стоял он, в огнях без счета,
Памятником, что воздвигли болота.
Памятник —
Только вздыхает глухо,
Да поворачивается ухо.
Я говорю с ним понятной речью:
Самою крупною картечью!
Раз!
Только ухом повел — и разом
Грудью мотнулся и дрогнул глазом.
Два!
Закружились камыш с кугою,
Ахнул зыбун под его ногою...
В солнце,
Встающее над трясиной,
Он устремился,
Горя щетиной.
Медью налитый,

С кривой губою,
Он, убегая,
Рычал трубою...
Вплыв — по воде,
Вперебежку — сушей,
В самое пекло вливаясь тушей,
Он улетал,
Уплывал в туманы,
В княжество солнца,
В дневные страны...

•
А с челнока два пустых патрона
Бросил я в черный тайник затона.



Д е д

ДЖЕК АЛТАУЗЕН

Ноги с порванными бурками,
С бородою слюдяной,
Целый век он дышит турками,
Севастопольской войной.

За курганами бобровыми
(Бредит он в старинных снах),
Будто с кисточками новыми
Фески плавают в водах.

Это турки, с палуб сбитые,
Под волнами полегли.
Расписные, неумытые
Убегают корабли.

По ночам он бредит пушками,
Бережет, как амулет,
Ржавый, с'еденный веснушками,
Длинноносый пистолет.

И зачем-то запыленную,
Смятую от непогод,
Он буденновку зеленую,
Как родную, бережет.

Не за нею гнались по полю,
Черный турок не в нее
Вскидывал под Севастополем
Кровью мытое копье.

У нее хозяин славленный,
Видел Вислу, видел Дон,
Пулей шляхетской удавленный
Где-то кормит он ворон.

Умирал он в ночь смоленную,
Вырываясь из травы,
Снял буденновку зеленую
С темнорусой головы.

И сказал он другу старому:
— У меня есть дед, ему.—
И, ударив по чубарому,
Тот сберег ее в дыму.

И буденновка зеленая
Вдруг нашла покой и сон
С орденами запыленными
С севастопольских времен.

Кудеяров вир

Повесть

Д. КРУТИКОВ

1

Д м и т р и ч

Не к отлету журавли взгомозилися,
Не к отлету журавли взгомозилися,
Кудеяр на горе костры кострит,
Обсуждает набег хоропрые.

(Из Брынских сказаний о Кудеяре.)

Когда июльская жара становится нестерпимой, когда даже Сожа, голубая и прохладная, не в силах утолить полдневную утому, — я ухожу в Семеновский лес к коровьему стойлу. Над лугом сиропится густое марево.

Прохлада березовой тени, запах цветущих трав, клевера и цикория, сытый дух парного молока и встреча с Дмитричем, — вот что идет взамен нестерпимой жары и монотонного плеска обмелевшей Сожи, где по целым дням на поверхности воды маячат гусиные поплавки моих удочек, а в курене черепашьими шагами выползает на бумагу начатый роман.

Надежды на ловлю нет никакой. На скорый конец романа—то же.

Дмитрич сед, согбен годами, наружно суров и неприветлив. На иконописном бородатом лице его ни улыбки, ни строгости. Оно будто окаменело и только изредка шевелятся его сивые с отливом меди прокуренные усы, да вздрагивает втиснутая в губы горбатая, выдавшая всякие виды и всякий табачок, трубочка. Зубов у старика полон рот и они слегка желтоваты. В глазах, полинявших от переменных дней, не найти подлинного цвета. Они меняют окраску вместе с движением солнца. Утром они серы и чуть-чуть мутны, в полдень они отливают синевой и к вечеру темнеют, становятся глубокими, задумчивыми и влажными, как от росы.

В полдень старик пригоняет малютинское стадо с заливного луга в Семеновский лес. На широкой поляне останавливает он свою паству.

Поляна стиснута березовыми махинами, и паства, лениво пережевывая жвачку, располагается в тени дерев, досадливо отмахивается от жадных, ленивых оводов и дерзких, назойливых мух. Здесь их меньше, чем на лугу, и жары нет.

Дмитрич выбирает себе местечко помягче, садится, не выпуская из рук длинный кнут и трубочку из зубов. Сидит он неподвижно положенное для отдыха время, сосредоточенно думает и сопит.

С Дмитричем мы старые знакомые. Старость условная, двухмесячная, но знакомство крепкое. Старик служил у Скобелева. Был под Плевной, переваливал на своих, некогда мощных, ногах Балканские перевалы.

— ... турка мы, братец ты мой, били в ф о с т и гриву. Нда-с!

Знаешь:

Наш полковник с умилением
Вслух молитву прочитал
И, поставя полк в страженье,
Вздуть Асмана приказал.

— И вздули. За милую душу... В ф о с т и гриву...

Говорить он любит и умеет, смачно пережевывая, передать памятные ему события и эпизоды.

Голос у него слегка напевен и хрипуч. Он часто меняет его в зависимости от содержания рассказа. Героические подвиги и баталии передает, как былинник, зыбким тенорком и понижает голос до грудной октавы, вспоминая Скобелева, Гурко, Мирского.

— ...а то еще принял дивизию нашу старый хрен, барон Раушфон-Шраубенберг. Хороший немец! Рослый, стройный, бравый, хоть и за семьдесят ему было. Имел, подлец, все ордена, коня и кобеля. Да-с. Вот тебе раз. Полез турка на наши редуты. Тучей валит. Выехал наш дивизионный вперед, конь под ним, что снега лопата. Ножища—во, грудища—в-во и собака рядом. Лохматая да лютая, что твой зверь. Росту с любого телка. Жуть!

Дивизионный турку глазом меряет, жеребец с ноги на ногу подыгрывает, а кобель на пули повизгивает. Только — бац! Тулум-бац! Пуля по коню—конь на бок.—Спасайся, кто может! Вбило командира.

Поперли мы раками в кусты.— Господи помилуй!

Поднялся наш барон. Погрозил кулаком нехристям и собаку свистнул. Сел на нее да верхняка к нам здрав и невредим пожаловал. Вво! И что ж ты думаешь, пришли опосля того дела награды: барону— святой равноапостольный князь Владимир под самый кадык, коню— медаль за геройскую смерть и кобелю медаль на ленте за спасение немецкой души. А нам шиш за рачье представление. То-то и оно. А Михайло-то Дмитрич Скобелев... Эх, мма!..

Голос старика густеет до октавы и глубокая печаль скулит в нем.

Дмитрич родом из Малютина, где когда-то у него были крепко сбитые хозяйство и семья. Злобные малютинские пожары с'ели хозяй-

ство до последнего кнута, а тиф прибрал семью, оставив старику на горькое утешение дочь, с необычным для округи именем Руфи.

— ...Земский начальник, Василь Алексеич Поддипалов, кумом был. Он и кличку такую, выдумал. Имя не имя, ровно татарником стегаешь.

Руфь живет в Мартыновке у дальнего родственника в качестве батрачки. Ей восемнадцать лет.

В Малютине у Дмитрича брат Григорий, рослый, цвета киновари, мужик, кулак, громко орущий, где надо и не надо, о своем середнячестве. Он плотно стоит за трехполье и козырит ненавистные ему совхозы.

— ... На земле и я смогу жить. Ты без земли устрой... Шестьдесят тысяч захватили и... Нну-ну! А мы, товариши граждани, свои лобы об белых квасили, сыновей жертвовали. Я против власти не иду... Ннет... Сбави бог... Я насчет совхозу притестую...

В армии ни он, ни кто из его семьи не служил. Он арендует землю у незаможников, выплачивая им гроши. Одного сына ухитрился вернуть на рабфак и под страхом смерти держит там. Одна четверть налога по-боку. О нем Дмитрич говорить не любит и, если приходится к слову помянуть брата, белки его глаз сверкают налитыми кровью прожилками.

— ...какой он брат? Тамбовский волк милее. Ты послушай только. Развѣ такое забудешь? Прихожу я одна к нему на первый день Пасхи. Праздник, знаешь, огромный, а мое дело пастушье. Прихожу с подпаском. Еще дорогой говорю ему: — Эх, мол, Вань, мимо бы этого дома да с песнями. Не подработаем мы здесь ни хрена, ни синь пороха. — «Что вы, говорит, дедуш. Да ведь какой день-то сегодня, и они вам, дедуш, братец родной, Григорь-то Дмитрич». — Ладно, говорю, вали на крыльцо. Вошли. Сидит мой братец под святыми во всем новом и краснеет ровно подосиновик. На столе только-что птичьего молока нет, а от гостей дохнуть негде. Встали мы у порога. Здравствуй, мол, братец родной, Григорь Дмитрич. Прими поздравление.—«Что ж, отвечает, приму. И ты прими. Дай им, Аксинь, пару пирогов».

Подает Аксинья, невестка, пироги, стесняется. Не взял я пирогов, оглядел гостей и заскулило у меня нутро.— Эх, говорю, Ванюша. Говорил я тебе. А, между прочим, обращаюсь к гостям: — Разрешите сказкой вас позабавить?—«Позабавь».—Ладно. Вот, значит, жил да был на свете цыган. Дела не делал, земли не пахал, на брюхе лежал, чужими руками жар загребал. Легка была цыгану жизнь, а захотелось еще легче. Прослышал цыган, что в монастыре монахам не житье, а мед. Пойду, думает, цыган, и пошел. Приходит в монастырь, в самое что ни на есть прощенное воскресенье. У монахов стол от блинов, от рыбы, от сметаны трещит. От водки глаза на лоб лезут. Сидят, жрут монашеки, только за ушами пищит, только-только животы не лопнут. Посадили цыгана за стол, стали угощать. — Ну, думает цыган, житье. В раю не лучше будет. В полстола скинул цыган пиджак. В три-

четверти — развязал пояс, под конец стола — встать не мог — выволокли.

На другой день начался великий пост. Не едят монахи целую неделю. Не дают и цыгану. Терпел он день, и два дня, и три. На четвертый денек шел через двор да от слабости повалился. Ни ногой, ни рукой не двинет. Увидал такое дело игумен, подумал, что валяет цыган ваньку с перепою, велел цыгана водой отливать. Сорвался цыган да с монастырского двора ходу. Бежит, не оглядывается, а навстречу другой цыган собаку на обротке ведет. — Здорово, брат! — Здорово. — Куда это ты кобеля ведешь? — Как куда — давить. — Э, брат, веди в монастырь, там он и сам издохнет.

Рассказал я такую штуку и к брату обернулся. — Это, говорю, Григорий, я для тебя сгородил. Чувствуй. — «Воистину, отвечает, чувствую. А ты вались из моей хаты, пока стусанов не почувствовал».

О дочери старик вспоминал редко, а когда случалось помянуть о ней, он печально кивает головой.

— Не девка—золото, да жизнь—болото,—говорит он, и дрожат тенистые ресницы на его переменчивых глазах.

Пронт

Третий месяц живу я на берегу гостеприимной Сожи. Заливной луг по обе стороны реки уже скошен и заказан под отаву. В курене моем — ералаш. Лески, удочки, крючки, белые и исписанные листы бумаги перемешались меж собой. Мой роман подошел к концу, и я уже чувствую приятную жалость к уходящей от меня вещи.

Утомленность толкает меня к отдыху, и я ищу его в окрестных селах и деревнях, в деловых и неделовых разговорах с обитателями. Я прихожу частенько в Совицу и забираюсь то в сельсовет, то в местную потребиловку.

В совете бесконечный гомон и дым невпробой. Председатель Федор Тимофеич — красавец парень, истома и вздохи совицких девчат. В голубых, почти круглых и как бы удивленных глазах его мелькают жадные вопросы и легкая хитринка. Он крепкий мужик, выдавший виды за свои тридцать лет. Фронт против белых, плен и побег. Смерть слишком рано пыталась завести с ним тесное знакомство. С усмешкой на ярких, почти девичьих, губах повествует он обо всем.

— ...Бой у белгорода?... Х-ха!.. Наклали нам... Женился? Х-ха! Гулял со здешней барышней, думал выйдет толк, да подвернулся рабфаковец. И парнишка корявый, а вот поди ж вы. Из-под самого носа девчонку слизнул. Проглядел я. С досады, да с озорства женился на красноармейской вдове... И не раскаиваюсь. Сын у меня растет, Май... Оторвило... Х-ха! Живу, не каюсь. Только вот пожаром меня в прошлом году стобануло. Строиться хочу, а все некогда. Убивают пожары, — что ты сделаешь. Каждый год по полсотни дворов м и н и м у.

Лезут к председателю за всяким делом. Всякими делами ведает секретарь, молодой парень из комсомола. Первый драчун, первый гармонист и первый работник. У председателя два основных дела — землеустройство и продналог. У секретаря и то, и другое, и всякая повседневная мелочь.

Бумажки секретарь подписывает черным по белому, председатель отдает предпочтение красным чернилам.

В потребилровке сердцевина дня пуста. Торговли нет. Разве забежит мальчонка за «кустюмом». Кустюм — пачка табаку, лист бумаги и коробка спичек. Утром и вечером — з а в о з н о. В праздники — трактором не пропихнешь.

В полдень я в кооперации. Заведывающий забегает на миг. По его бегающим глазам, по настороженному виду вижу, что мой приход ценится по-своему, и миг растягивается в десятки минут. Щупаю.

— ...только лают. Только лают. А поглядеть конкретнее — пустое. Нам бы сюда товарища Хинчука. Х-ха! Пусть бы повертел. Им хорошо наверху в шашки играть. Одну сюда, другую вот куда. А здесь торговля. Попробуй-ко угоди мужику. Чорта с три.

Не так давно в соседнем местечке лопнула потребилровка. Растрата выросла неожиданно, — как гриб. Заведывающий хмурится. На скуластом рябоватом лице его играют жевлаки, словно он пережевывает упругую пищу. Голубовато белесые глаза с легкой косинкой мотаются во все стороны. Не легко говорить о собратях.

— ...да какой же там коператиф?.. Так с пронту вырос.

Я знаю, что уличная кличка заведывающего «Пронт» за его ежеминутное желание вставлять в свою речь иностранное, исковерканное им словечко — экспромт.

— ...какой там коператиф. Ни то, ни се, ни кукареку. Я так, с пронту, скажу, их и судить не будут.

Мое недоумение он красноречиво поясняет звонким плевком под селедочный боченок.

— ... Судите сами. Возникли они, можно сказать, три года тому назад. С пронту жили до сих пор. Вот тебе ревизия. Ваши мандаты? С пронту вопрос. А они, святители, три года и не регистрировались нигде. Ну?

· Положение действительно интересное. Я присаживаюсь на ящик и жду развязки.

— ... Ну и ну. Тут уж ясно. По вывески коперация. Ежели растрата — гони на сто тринадцатый. Раз не зарегистрированы — частная лавка. Суду не подлежит. С пронту скажу — работа чистая.

Пронт чмокает губами, словно смакует чистую работу, и косится на меня.

За прилавком приказчик углублен в какие-то сложные математические выкладки и заметно, что они его мало интересуют. Он целиком занят нашим разговором, хотя и не глядит в нашу сторону. На нем алая, шитая синью рубаха. Лицо чистое с мясистым носом и полными,

сочными губами. Из-под «ленинки» бьется озорной белокурой чуб. Ухватка приказчицы.

— Но куда же глядела ревизионная комиссия? — спрашиваю я Пронга.

Он дергает носом, вскидывает голову застоявшимся, тронутым с места жеребцом. Во всем облике его полное пренебрежение к моему, с его точки зрения, неуместному вопросу.

— ... Х-м. Ревизионная? А чего она стóит? Тюха, матюха, да калу-пай с братом. Что получше — в правление идет, а уж в ревизионную-то — получите сдачи.

Дело к обеду. Приказчик щелкает ключом и нетерпеливо заглядывает в окно на небо.

В двери шумно входит Леон-письмоносец. Он молод, гологуб, всегда неумолчно весел и часто на «взводе».

— ...должность такая. Письмишко для дома радость, и человек я поэтому радостный. Туда-сюда — смотри на склянку наскочил и порезался.

Район у Леона большой — около двадцати верст. Весь год — погода, непогода — на ногах. Черные, бездонные его глаза весело подмигивают приказчику. Ломается с головы картуз Пронту. Подозрительный взгляд на меня, хотя мы с ним давние знакомые. Леон приносил мне не один раз письма.

Он передает Пронту пяток писем из уезда и подмигивает. Почти незаметным кивком головы Пронт отвечает ему и говорит:

— ... Зайди в контору. Кой-какие бумажки возьми.

Они идут в среднюю комнату, плотно притворяя за собой дверь с меловой аттестацией:

«Контора» и

«Без доклада не входить».

Совсем как в центре.

Я беру у приказчика «кустюм». Копейки сдачи у него нет. Он тянет мне с полки книжечку.

— ...заместо сдачи. Антон Палыч Чехав.

Издание «Долой Неграмотность», цена копейка. Тираж огромный.

— ... Иной, знаете-ли-с, не-курящий, ему книжечку всучишь, в самый раз. А кто курит — две пользы. Прочитал и покурил. Ишь бумажка-то. Клевая.

Бумажка действительно «клевая».

Я выхожу из потребиловки. Улицы пусты. Жнива. Кое-где торчат на крылечках старухи, окликаая озорных, полуголых, перепачканных в пыли внучат. Куры топорщатся в пыли и словно разговаривают сами с собой, бродят в поисках отбросов белые, черные, рябые поросята. На самой околице в густой луже пытаются плавать гуси. Столетний дед задумался на бугорке. Только и осталось ему на жизненную концовку, что караулить гусей, да думать, вспоминая столетнюю давность.

— Здорово, дедуш!

Старик вздрагивает. Морщинистая, загорелая до черноты рука подымается по привычке к голове, но голова гола. Ни шапки, ни признака волос. Только на затылке возле шеи пушится легкая и белая, как пух, бахрома. В зеленых умных глазах старика прячется вспугнутая моим приветствием печаль, и они вопросительно глядят на меня. Седую неровную бороду колышет ветер, и она закрывает попеременно то правую, то левую половину коричневой груди, на которой расстегнулся ворот чистой холщевой рубахи.

— ...Садись, сокол. Откуда ты?

У старика тяжелый, словно свинцом налитый, голос, и фразы он отрывает резко и отрывисто.

— ...Так, так. В потребиловке, стало-быть, был. Так, так. Табачок-то есть?

Старик закуривает, исподлобья следя за мной, за гусями и кычащим в синеве дня ястребом.

— ...Ишь, змей! Угомону на тебе нет. На село пожаловал.

— Так, говоришь, в потребиловке. Живет еще?

— Кто?

— Да потребиловка-то. Сдыхать ей самый раз.

Старик не смотрит на меня, не ожидает вопроса. Пфыкает дымком, лижет языком синие губы.

— ...Год прошел—значит пора. У нас так-то. Выберут правление, наи внесут—год работы. Конец году и лавка вдребезги. Куда куски, куда милостынки.

— Кажется, не думает сдыхать,—говорю я.

Старик хмыкает и недоверчиво качает головой.

— Чудно. Гляди и взапрямь выдержит. А не должно бы.

Он опять хмыкает и гасит босой ногой докуренную цыгарку.

— Сам посуди. Нешь можно выдержать?..

— Почему же, дедуш?

— Э-э! Вот-то. Отчего да почему, да по какому случаю. Жить на свете не живу, сама себя мучаю. Дай ты, дружок, одному детенышу семь маток. Чего выйдет? И та—мой и другая—мой. Гляди, дитя-то и засохло.

— Так ведь то дитя, дедуш.

— А коперация-то, что тебе,—дедуш, аль дите? Только на ноги, а ее под ноги. Торговли на полтину, а торговцам за работу рупь. Вот и разберись. Да и еще...

Старик безнадежно машет рукой.

— Что еще?

— Сказать стыдно и не сказать грех. От нас это все. От самих. Ходим, лаем, а попадаем за прилавок—дай-ка нам пачечку папирос—запиши. Отмерь-ко метру ситчику—запиши. Вот что. А получать с кого? С Михал Ваныча Калинина, што ли? Руки у нас больно чешутся.

— Воруют?

— Всяко бывает. На моем пути шестая употребилка у нас. Две с пожара погребло, одну обокрали, а две сами прокрались. Это шестая. Не знаю, с какой болезни сдохнет. Должно, от чемеру. Не так надо.

— А как?

Старик смотрит на меня внимательно и долго, словно изучает мое лицо.

— Одного надобно, — говорит он и сжимает костлявый кулак. — Вот какого. Спеста. Чтобы жог. А ревизионную — послышленей из стариков. Да ревизии-то не днем, а ночью наводить.

Я не согласен с конструкцией деда и мягко говорю ему об этом. Он долго думает, сверля меня зеленью глаз, и разводит руками.

— Тогда — крышка. Значит, труба. Да еще я тебе скажу — бьют у нас по шапке, да не больно. Нет, уже коли бить, так чтобы и шапка и голова вместе слетали. Какое дело, ты скажи, какое хорошее дело, а мы в него сами... За это лупить стоит.

Дед встает, берет с земли палку и молча, не прощаясь, идет к гусям. Я жду — не вернется ли он. Не вернулся.

Л е о н

Леон сидит на корточках против меня и смачно хлебает из кружки пахучий чай. Костер между нами и его горячие алые шупальцы освещают усталое, от синевы ночи бледное лицо Леона. Сегодня утром он получил почту и обегал ряд селений, разнося в своей сумке радость и печаль. Темные глаза его щурятся от огня и дыма, а от тени длинных ресниц кажутся бездонными колодцами и будто в колодцах этих плавают рубиновые звезды или залетели от костра озорные искры.

Ко мне он зашел мимоходом. Соблазнился отдыхом у костра и кстати занес письма.

— ...Не работа, а забота, — говорит он и в голосе, как и в лице его, чувствуется усталость.

— ...Сегодня, посчитать, верст пятнадцать отбрыкал. Добро бы налегке, а то сумку набьешь — только-только не лопается — и тащи. Одних газет побольше сотни. И чего выписывают? Кто их знает. Бабка одна в Ермилове. Ну, сто лет, не меньше. — Бабк, говорю, на кой ты прах газету выписываешь, тебе ведь заслонку скоро? — «А как же? Вдруг война». — Да тебе-то что? Война, так война, тебя драться не позовут. — «Так-то так. Да вот как пропечатают, что война, я стало-быть и буду знать, продать мне волну, аль нет». Что ты скажешь! Ей волна, а я целый крюк полторы версты. Я еще кружечку хлобыстну.

Он тянется к чумазому чайнику, льет в кружку красный от настоя и костровых отблесков чай.

— ...Жалованье? Какое тут жалованье. Полтора червяка. — Леон вздыхает, тяжело и звучно, и кажется, вместе с ним вздыхает берег, река и тихая звездная ночь.

- Большая у тебя семья, Леон?
— Не говори. Сам-девят. А, да что тут...
Он машет рукой и долго дует в кружку.
— Женат?

Леон прихлебывает чай, облизывает губы и усмехается.

— Скажешь тоже. Нищих плодить, что ли? На семидесяти пяти сотых не женишься. Сам посуди. Жениться надо с расчетом. Либо сам с достатком будь, либо богатую возьми. А где ее сыщешь?

Леон вздыхает, словно стонет. Отставляет кружку к чайнику и усаживается удобнее. Сумку с письмами кладет рядом с собой и опирается на нее локтем. Он долго смотрит в темноту мимо меня и улыбается.

— Когда я на Кубани был, — представлялся случай. Казачку вдовую встретил. Три ночи полк на отдыхе стоял и для меня три ночи отдых был. У-у-ух! Действительно!

— Да ты разве был в армии?

Леон кривит губы, улавливая мое недоверие, и просит закурить. Сдувая пепел с цыгарки, он смотрит на меня и подмигивает.

— А ты что ж думал. Что усов нет, так и пацан. Мне двадцать-шестой год. Я добровольцем ходил.

В голосе Леона поет неподдельная гордость.

— Так вот счастье-удача. Была и нету. А все почему? А потому, что есть во мне гвоздь какой-то. Что и как непременно обсудить надо. Чтобы без промаху. Вот и тут такое вышло. Говорит мне Марыська:— «Останься. Видишь, как живу? Уйди из армии, молод ты драться, а со мной тебе лафа будет». — Стой, говорю, дай подумать. Стал думать. Кладу направо—хата крепкая, пятистенка, двенадцать на двенадцать, под черепицу. Пуни, сараи — крепче не придумаешь. Коней пара. Волон пара. Сбруя, инвентарь. У-у-х! Занялся дух. Бабе двадцать два — двадцать три. Малость рябовата — наплевать. Как бурак, крепкая. Налево кладу — мне шоснадцать. Не гулял еще. Сторона чужая. Дома батюшка, матушка. Белых еще не кончили. Нет, думаю. Так и сказал ей:—Нет, Марыська. За три ночи тебе спасибо, а в мужики не зови. Хочу парнем побыть. Может, опосля что и будет, а теперь... В прошлом году написал ей: — Ну, как? — спрашивал. Ответила, прислала письмо. Развернул я письмецо, а там дуля нарисована. С тем и утерся.

Опять не то стонет, не то вздыхает Леон и, сдвинув брови, кончает:

— Сорвался мое дело. А хочется на сытости пожить. У-ух!

Мы долго молчим, и тиха ночь над лепечущей в берегах Сожей. С Чалмышнянской, не видной нам, колокольни плывут к нам густые удары колокола.

Сторож крадет спросонья один час. Недавно он бил десять, теперь колокол бьет те же десять раз.

— Ты малютинского пастуха знаешь? — спрашивает неожиданно Леон.

— Знаю.

— А дочку его не видел?

— Нет, Леон, не видел. Ты к чему спрашиваешь?

По лицу Леона мелькают световые пятна угасающего костра, и кажется, что не алые блики падают на него, а бродит глубокая затаенная грусть.

— Да так я спросил. Для интереса. Видел тебя раза два на стойле. Леон быстро поворачивается и в упор смотрит на меня.

— Вот, брат, девка — так девка. Кудеярова порода.

— Почему же Кудеярова?

— Да ты что, ай не знаешь? Про Кудеяра? А? Бандит такой был. Кудеяром величали. В этих местах и хозяйничал. Только давно это было. От него и порода пошла. Кудеярова порода. У нас куда ни плюнь — все Кудеяры. У меня мать Кудеяриха. А отец нет. Квельий отец-то. Черниговский.

— Чем же Дмитричева дочка тебе понравилась?

Леон не ждет вопроса. Он не то вздрагивает, не то от недоуменья передергивает плечами.

— Как чем? Э-э-э, брат! За такую девку в виру утопиться не жаль.

— Так женись.

Леон задумывается на минутку. Хворостиной копает в костре и сопит.

— Знать, опять направо, налево раскладываешь?

Он подымает на меня глаза и смеется.

— Чудак, да как же не обсудить.

— Ну-ка, расскажи, как ты судишь?

— Хм. Да как. Во-первых, девка красивая, сильная, на все руки. Не жена, а масленица. Во-первых, женись — делиться с отцом надо. У меня брат-большун женат. А две невестки в доме — беда. Дальше-больше — у ней ни гроша, у меня тоже. Свадьбу справить, и то... Да что там... Как ни клади — клин.

Леон откидывается на спину, кладет голову на сумку и за нее закидывает руки.

— Кабы раз удача пришла, — говорит он нараспев, задумчиво глядя в небо. — Читаешь в газетах, выигрывают люди по сто тысяч. Э-э-э-х! Тут бы пяти сотен хватило, а не то, что...

Неожиданно он поворачивается ко мне и спрашивает:

— Далеко до Алдана?

— Тебе зачем?

— Как зачем. Там люди золото роют. Пойти бы.

— А ты сперва подумай. Направо и налево положи. Если удачи не будет, что тогда?

Леон медленно ворошит волосы.

— Да, — говорит он, — удача. Мне один раз удача в руки шла и в руках была, да выпустил.

— Это уж вторая, значит?

— Ну, да, вторая... Первая с Марыськой, а эта на позиции, на Донце.

— Расскажи.

Леон, не меняя положения, рассказывает. Я укладываюсь поудобнее, кидаю на ноги пальто и слушаю, разглядывая полуночное небо. Белесые полосы млечного пути разрезают синюю высь. Стожары, словно литейный черпак, наклонились и готовы плеснуть на землю взятый у домны чугун. Легкий ветерок шуршит камышами. Голос Леона, задумчиво грустный, плавно вливается в ночную тишину и смешивается с сонными всплесками Сожи.

Р а к и

Пришел Леон в пехотную часть весною, в ласковый вечер, когда полная луна заливала холодным светом белые хаты села. Билось упругое сердце Леона радостью и ожиданием встречи с невиданным, может быть, неласковым командиром. От этого к радости приплеталась смутная тревога.

Звенела улица смехом и песнями. Рыдала улица гармоньим рыдом и жаловалась на короткую ночь треньканьем бандур и балалаек. От кучи к куче ходил Леон, вглядывался в ласковые лица красноармейцев, в стыке бровей у них видел боевую заботу и не решался заговорить. В просторном кругу чья-то ловкая серая фигура отбрасывала ногами замысловатую метелицу, а языком заковыристые слова:

Ах, и что же это вышло,
Приключилось,
Хомутина за дышло
Зацепилась.

— А скажите, товарищ, где мне командира найти?

Хмурый взгляд из-под косматой папахи облазил Леона с ног до головы и ответил сперва хмыком, потом коротким, как удар молота, вопросом:

— Откуда?

Леон ответил.

— Зачем тебе командир?

Леон об'яснил.

Опять хмыкнула папаха, но уже дружелюбнее, и указала широким махом руки на школу.

— Вали.

Леон вошел в школу. За дверью он услышал голоса. Толкнул дверь. В клубах сизого дыма сидели у стола двое. Один худой, бритый, в белой вышитой рубахе, с очками на горбатом носу. Леон заметил, что одно очко с трещинкой. Другой, бородатый и темный, как

цыган, в рубаше красной, в поясе с бляшками, держал в руках блюдо и хлебал из него.

— Здравствуйте, — сказал Леон и снял шапку.

— Здравствуй, что скажешь? — спросил черный и выплеснул на пол опивки.

— Где командир?

— А на что тебе командир? — спросил очкастый и пытливо взглянул на Леона.

— Служить хочу.

— Так. А сколько тебе лет, пацан?

Леон обиделся и соврал:

— Семнадцать.

Долгий после того тянулся разговор.

— Кто? Откуда? Кто отец? Большое ли хозяйство? Почему хочет служить? Есть ли документы?

Леон переминался с ноги на ногу и смело глядел в лицо бородатого и отвечал. Очки того, что был в белой рубаше, его смущали. Бородатый вырвал листок из тетрадки и что-то написал. Передал листок и приказание Леону:

— Найдешь старшину, Панасюка. Он, небось, возле девок винты нарезает. Он устроит. Иди.

Сказал «иди», улыбнулся, и Леону показалось, что вместе с ним улыбнулся и ведерный, красной меди, чайник на столе.

Одиннадцать боев в рядах первого взвода первой роты непромокаемого полка. Хотелось Леону показать себя. Так показать, чтобы не гоняли на кухню за чайниками и чистить картошку. Чтобы в приказе сказали и о нем, как говорят о других.

Чтобы назвали — красноармеец Леон Семькин и забыли никудышные зазорные клички — гологубый, малыш, пацан. Хотелось показать, а удачи не было.

Донец тихий, прозрачно-голубоватый до самого дна.

В зелени камышей и низкорослых раки. Что твоя Сожа, только шире. Месяц на Донце. Белые на том берегу, наши на этом. Десятки раз командирский приказ сипел в уши:

— Достать языка.

Десятки раз уходила разведка и возвращалась с пустыми руками. Командир тряс бородищей, ругался хлестко с рассеиванием не то на своих, не то на белых и приказывал:

— Песья отрав. Достать!

Легко сказать.

Леон скучал и грезил неожиданной желанной удачей.

По ночам, когда его не брали в разведку, он, захватив карабин, уходил на берег реки, сидел подолгу в ивняке, всматривался в потусторонние деревни и слушал. Ветер тянул от белых и доносил звуки духовой музыки. Камыши шелестели, и густая тень падала от ивняка и обрывистых берегов на покойную гладь Донца.

Леон сидел и думал. О далекой Соже, о своем селе, отце, матери и большуне. Каждую ночь так. И вот...

Ну, да. Это было двадцатого июля, в самую полночь. Тень от белых подошла к берегу, остановилась и долго оглядывала реку, осторожно щупая взглядом камыши, кусты вереска и ивняка. Леон затаил дыхание. Вся кровь прилила ему в голову и почему-то отяжелели ноги.

Тень положила на землю винтовку и начала раздеваться. Белое человеческое тело скользнуло в реку, окунулось и стало шарить под берегом, удаляясь вправо от Леона и от своей одежды. Леон сидел, как на горячих угольях, и не мог сообразить, что бы ему сделать. Карабин прорезью прицела и вершиной мушки несколько раз останавливался на белом человеческом пятне и опускался. Минуты прошли и пришло решение. Леон змеиным ползком взял влево, где тень от кустов была гуще и покрывала всю реку. Дрожала в руках одежда, трещали непокорные пуговицы и тяжело снимались сапоги. Что будет дальше, Леон не знал. Он с перекинутым за спину карабином переплыл неслышно реку, ползком подобрался к одежде белого. Разрядил винтовку, нашел и опорожнил патронташ и смело пошел к тому месту, где шарил под берегом человек.

— Вылазы!

Человек оторопело окунулся, вынырнул и замер, подняв на Леона бородатое лицо.

— Вылазь — стрелять буду.

Человек молча вылез на берег и встал, выстукивая зубами страх. Через плечо у него висел вещевой мешок.

— Чего делаешь? — спросил Леон и ему почему-то стало весело.

— Чего делаешь? — спросил он вторично, повышая голос.

Человек, как спутанный конь, неуклюже затоптался на месте.

— Р-ра... Р-ра... Ловлю...

— Хм. На кой они тебе прах?

— Нн... Ннад...

— Надо. Э-э-х ты, гузно голое. Вот кокну тебя, узнаешь раков. Они те пощипят. Пра, гузно...

Человек дрожал, и Леоново веселье сменилось жалостью.

— Оденься, што ли... Да бежать не могли. А то во... — Леон показал ему карабин и пропустил вперед.

Одевался человек как-будто в первый раз в жизни. Тыкался руками в рукава гимнастерки и попадал в ворот, совал ноги в штанины и путал их в мотне. От неудачи робко взглядывал на Леона.

У Леона сердце дятлом долбило грудную клетку. От радости долгожданной и теперь ясной удачи веселье рвалось наружу. Веселье и озорство. Он сел в пяти шагах от человека, направил карабин против его груди и спросил, как в детстве спрашивал, подмяв под себя побежденных товарищей:

— Живота, али смерти?

Человек затрясся и заслонил грудь рукой.

— Живота, — хрипуче прошептал он.

— Х-ха-га. Живота. Чудачина. А на што ты раков ловил?

— Мм... Ммишке.

— Что?

— Ммишка... брат поранен... Пт... Поммм...рает... Ррак... просит...

Человек икнул и заплакал.

Легкий и колючий мороз прошел у Леона по спине и замер в радостном стуке сердца. Радость ушла.

— Как же ты не боялся? — спросил он у человека.

— Дык... как... Раз умирает... Раз проси-и-и-т.

— Как же теперь быть?

— Н-не знаю. Отпустил бы ты меня. А?

Человек плакал. Леон глядел на него, на лежащий рядом мокрый мешок, из которого ползли во все стороны раки.

— Завяжи мешок, — сказал Леон, — а то расползутся, черти. Накормишь тогда.

...Утром Леон стоял перед командиром и политкомом. Борода командира сердито вздрагивала и метали искры очки политкома.

— Рассказывай, да не ври. Трибуналом пахнет.

Леон рассказал все. Рассказал, как выпустил белого и по какой такой причине. Винтовку и деньги и документы отобрал, а самого пустил. Что ты поделаешь!

Леон протянул командиру свою удачу. Командир пересчитал деньги и сказал Леону:

— Пять тысяч... А ты или дурак, или малохольный. Иди. Скажи старшине, что я впаял тебе пять нарядов вне очереди.

— И я два, — расщедрился политком.

II

Михаил Лаврентьич

На пятнадцать верст в обе стороны мне знаком берег Сожи. На шестой версте вправо от моего куреня Семеновский лес подходит вплотную к берегу и даже отдельными деревьями перешагивает реку. Раньше Сожа вилась, тесно сжатая дубовыми громадинами, и была полноводной. Теперь лес по ту сторону вырублен, и чахнет год от году голубая красавица.

В том месте, где лес наклонился к реке, среди чахлах и редких деревьев мелькают десятка два хат. Выселенцы из-под Чернигова основали там свое гнездо и назвали его Зеленино. Зелень заливного луга, зелень дубов, зелень и синь неба и Сожи. На Зеленинском хуторе я частый гость. Нет ничего приятнее бывать на тамошней мельнице, где хозяин ее, старожил и прекрасный рассказчик, Михаил Лаврентьич начнет напевным голосом повествовать о своих семи

десятках лет, прерывая повествование грозными окликами своих бородатых сыновей — Павла и Дмитрия.

Старик увлекается, почти поет, но краем уха слышит малейшую неточность в работе мельничной снасти. Сам он почти не работает по причине грыжи и только с утра и до вечера стоит на плотине и дожидает «почтенных людей», чтобы позвать к себе в дом, напоить чаем, а при случае медовым самогоном и доотвала накормить жирным обедом и своими рассказами. Сам он чужого слушать не любит и если из уважения слушает, то лицо его, окаймленное широколопатной бородой, выражает нетерпенье, как-будто большой с плотно слитыми губами рот хочет перебить собеседника и молвить:

— Э, батенька, это мы давно знаем.

Прадед его, Евстигней Михайлович Соломахов, служил у черниговского губернатора в кучерах. Должность не то, чтобы авантажная, да парень был оторвило. Снюхался с губернаторшей, коей в ту пору, изволите ли видеть, вместе с Евстигнеем взятых, лет было десятка на два меньше, чем губернатору. Каким чутьем узнал старик о конфузе, только хватил его кондрашка. Хотел он Евстигнея в солдаты сдать, да не успел грозного слова вымолвить, только и показал дворецкому на пальцах — надо, мол, кучера выпороть. Кучера дворецкий не столько по приказу его сиятельства, сколько из личных любовных счетов, выдрал, а барина похоронил. Ее сиятельство с поротым Евстигнеем жить не пожелало и отпустило на волю, снабдив малой толикой ассигнаций за крепкую ласку и любовь. Вот в ту пору и перекинулся в эти места Евстигней Михалыч Соломахов. Купил земли, построил мельницу, обзавелся женой и заложил на водах покойной Сожи покойное существование хутора Зеленино. От него и поселение пошло. Двадцать два двора Зеленина — все Соломаховы.

Сыновья Михаила Лаврентьича — близнецы. Оба рослые, голубоглазые богатыри. Оба носят одинаковые платья и бороды. В праздники отчаянно напиваются и поколачивают своих жен, а отец поколачивает их. Они же ведут мельницу.

Михаил Лаврентьевич до пятидесяти лет баловался с ружьем и, касаясь охоты, любит прихвастнуть и качеством, и количеством убитой дичи или зверя. То он под Воинским хутором (тогда еще там был лес) убил сразу двух сохачей, то в тех же местах мелкой дробью выбил глаза оснадцатипудовому кабану и чуть не на обротке привел его в дом. Уток, гусей, лебедей перебил он больше тысячи.

— Я, батенька, один раз еду в город, о сию пору, только солнце начало всходить. Слышу, по болоту ктой-то плачет. Тпру. Взял ружье и пошел. Захожу за ивняк и что ж, изволите ли видеть, оказалось. Чистая умора! Попал в окно медведь, загруз и тонет. Только, изволите ли видеть, одна голова да лапа видна. Подошел я к нему, побеседовал. Что, говорю, сударь, попался? Получи, сударь, облегченье. Все лучше, чем утопать. Промеж глаз стукнул его с обоих стволов. Так-с. Затем отпруг кобылу, заехал, зацепил Михал Ваньича за башку

вожжами и на кобыле, изволите ли видеть, выволок. Двадцать шесть пудов!

Если при этом рассказе бывал кто-либо из сыновей, он неизменно спрашивал старика:

— Извиняюсь, папаша, а интересуется меня, сколько на том медведе чистой грязи было? Я так кладу пудов пятнадцать.

Старик хмурится, косит на дерзкого сына и бубнит:

— Ну, ну!.. Беспортошный... Поди, сопли утри.

Беспортошникам — под сорок. Кулачища у них — по пудовику.

Утиные места возле Зеленина прекрасны. Заливной берег весь болотист. Из болота в небо глядятся окаймленные камышовыми ресницами бесчисленные глаза озерца с бесчисленными представителями утиных. Вечерние и утренние зори стонут от их гама.

Ружья со мной нет. Я прихожу в Зеленино с удочками. Усаживаюсь на плотине или под шезмами и покойно ловлю язей и судаков, пока не пожалует Михаил Лаврентьич и не затянет откушать чайку, или не начнет свои удивительные и маловероятные рассказы.

— Вот, батенька мой, с ружьишком бы пожаловали. А то что же. Охота — благородная страсть, не то, что рыболовство. Я, изволите ли видеть, на своем веку две поговорочки слышал. Не извольте в обиду принять. Первая-с это — кто рыбушку удит, в том проку не будет, вторая — на одном, изволите видеть, конце червяк мокнет, на другом-с дурак сохнет. Извиняюсь.

Старик хихикает, словно насадка собирает цыплят, и уже деловито добавляет:

— Вот уже пятнадцатого пожалуйте. У меня гостечки соберутся. Начальник милиции, не изволите знать? Из города, Николаи Николаевич Чернецов. Прекрасный человек, с образованием. Охота славная будет. А, да что там... И я, пожалуй... Эй, Пашка!.. Митька!..

Старик широко расставляет ноги и, приложив ладони рупором к усам, кричит так, что покрывает неумолчный шум падающей на мельничные колеса воды. Голосино у него по наследству от прадедушки. Так покрикивал губернаторшин любовник на своих коней.

Пашка или Митька, не разберешь, кто из них, выглядывает в дверь мельницы и почтительно слушает.

— Что, лесничий не продал еще своей фленты?

Пашка или Митька чешет бороду пудовиком и отвечает:

— Кажись, нет.

— Купить надобно. Дай ему, чего просит. Поторгуйся малость и дай. На охоту желаю.

Пашка или Митька молча кивает головой и исчезает в мельнице. Старик оборачивается ко мне.

— Почтительные, изволите ли видеть, сыновья.

— Пойдемте, батенька, чаек кушать. Полно вам воду-то баламутить, да рыбку пугать.

На первую охоту я к старику не попал. Достать ружье в чужом месте, да еще под первый день охоты, не было возможно.

Дня через три я взял ружье у приятеля моего, лесника Скунсого, и отправился в Зеленино.

Михаил Лаврентьич встретил меня на плотине.

— Ага, пришли. Я так и знал. Ну, значит — чай пить...

Перед чаем старик показал мне купленную у лесничего «флинтку». Название как нельзя лучше подходило к этому допотопному ружью. Стволы какой-то необычайной сверловки прилажены к массивной дубовой ложе. Курки, словно фунтовые молотки, способны расплющить медный пятак. «Лебеда» не лебеда — чорт знает что. Старик суетился, чмокал губами, расхваливал.

— Старинка-матушка, изволите ли видеть. Из старых кремневок оборудовано. А бой? У-ух, ты, что за бой. Девяносто саженей. Я вчера чирка срезал — не приведи бог. Да вот — погодите.

Старик убежал в кухню и принес кантор.

— Ну-ка взвесьте. Ага... Тринадцать фунтиков. То-то. Это ружье... Ежели прикладом в физиономию сунуть, так, изволите ли видеть, — того... Пожалуйте к самовару.

Вечером мы приходим на плотину, отходим с версту в глубь болота и останавливаемся на местах. Я становлюсь под кустом вереска и сливаюсь с его чуть тронутой отлетающим летом зеленью. Старик отходит к круглому, как циркулем очерченному, озерцу и садится в осоке.

Кроваво-мутное солнце опускается в стальную тучу. Низовый ветер плывет от нее и колышет камыши и кусты. Спугнутые нашим приходом рыбалки истошно орут, как кликуши на открытии мощей. Цинькнул и перелетел через меня, встревоженный их криком, бекас. Какие-то маленькие краснозобые птички перепрыгивают с камышины на камышину и, вертляво вздрагивая всем туловищем, с любопытством глядят на меня. Где-то влево и далеко шлепает одинокий выстрел и за ним быстрый тревожный дублет. Началось.

Первую стайку чирят я благополучно пропускаю и тотчас же приседаю. С характерным посвистыванием сзади надвигаются кряковые и я режу их двумя выстрелами. Пара крякуш падает по-разному. Первая комом, с нелепо вывернутым крылом, вторая снижается плавно и уже возле самой земли переворачивается.

Стая взмывает вверх, и обезумев, налетает на Михаила Лаврентьича.

Я давно забыл, как бьют позиционные «берты», но, кажется, их выстрелы и мягче, и тише. Подобие грома пролетает над болотом, и вереск за моей спиной как-то особенно и сердито шумит.

Утки, после первого выстрела, безнаказанно рассыпаются, взмывают вверх и, быстро нырнув вниз, сгруживаются в плотную стаю. Второй удар грома и — все достоинства «флинтки» налицо. Тройка крякуш летит на землю, а стрелок потирает плечо.

— Чисто! — кричу я старику.

— А то как же с ними, — отвечает он и, не глядя на уток, заряжает свою бертоподобную фузею.

Лес становится чаще. Чирки и крякуши, спугнутые выстрелами, летают очумело, нарезаясь на наши стоянки. Патронташ мой пустеет и темнеет небо. Вскоре я не различаю мушки и бью наугад.

— Гоп!.. — кричит мне Михаил Лаврентьич.

— Гоп!.. — отвечаю я.

— Будет, что ли? Ничего не видно.

Мы собираем убитых уток и сходимся. Старик обстрелял меня на шесть штук.

— Это что, — говорит он. — Я вечерних зорь не люблю. Вот погодите утра.

Утра мне ждать не с чем. Патронташ мой пуст до отказа.

— Ах, ты, господи. И как это вы так. Что же теперь делать? Делать нечего.

— Ну, идемте хоть чай пить.

Старик шагает рядом со мной бодрым уверенным шагом, пере-скакивая легко с кочки на кочку.

— Вы, наверно, в молодости хорошо стреляли?—спрашиваю я.

Он хмыкает и, мне кажется, недовольно отвечает вопросом на вопрос:

— Да неш я уж так стар?

— Все-таки.

— Чего там все-таки. Семьдесят и то нету. Разве это годы! У меня отец сто четырнадцать жил. Кабы не эта ваша разволюция — и еще бы протянул. И водку пил, как утопленник, а подковы гнул.

Меня смешит не утопленник, пьющий водку, а сам Михаил Лаврентьич с его молодыми годами, из которых он украл малую толику.

— Смотрите, не женитесь в молодые-то годы, — говорю я, за-глушая в себе нарастающий смех.

— А что ж? И то подумакиваю. Сыновей вырастил, поженил, отделил. Ведь это мы в одном дворе, изволите ли видеть, на всякий случай живем, а чуть-что, пожалуйста птенцы на вылет.

Всякий случай — возможные подворные налоги. То с трех дворов, а то с одного. Расчет у мельников правильный.

— У меня, батенька мой, кое-что осталось. Не все шишиги ваши красноголовые растащили. И на молодую жену хватит.

— А есть на примете молодая-то?

Я ищу в ответе старика шутливый тон и к недоумению своему не нахожу.

— А как же. Этого добра везде хватит. Тут к нам на мельницу батрачка одна ездит из Мартыновки...

Голос старика становится тише, шепелявее. Он замедляет шаги и я чувствую, что заглядывает мне в лицо.

— Не девка, а чистая ферма молочная. То-исть... Зовут только криво. Не то Рупь, не то Рупь с четвертью. Ххи!..

Словно тяжелая завеса разделяет меня от старика: Я намеренно делаю два-три шага в сторону и гляжу на него и говорю:

— Так ведь ей двадцати лет не будет. Ведь она вам в правнучки годится.

Старик невозмутимо и гаденько хихикает.

— А, что ж, хорошо! Старый конь борозды не испортит.

Злоба, беспричинная, тугая, как тетива лука, овладевает мною. Мне хочется оборвать старика. С откровенной и жесткой обидой я говорю:

— Не пойдет она. Что ей за радость за покойника итти.

Старик огорошен и моим тоном и словами. Он молчит некоторое время, сопит и начинает смеяться.

— Не пойдет!.. Не пойдет!.. — выкрикивает он сквозь смех. — За покойника не пойдет. За покойника... Да я вас, батенька мой, изволите ли видеть, на крестины еще позову. Эээ-х... Уморил... За покойника? Да девкам только и ходить за нашего брата. Чем постарше — скорее руки развяжет. А там гуляй, как хочешь, когда имущество-то в руках будет. Чего еще. Да и нам, старикам, под старость не много требуется. Не износится... Ххи!..

Мы подходим к плотине. Старик не зовет меня в дом и не тянет руки на прощанье. Он заметно обижен. Что и требуется доказать. Я иду берегом к своему плетневому дворцу. Обида копошится и во мне.

Наркомпочтельская шероховатость

Роман мой закончен. Я — как скворешник, из которого выпорхнули его обитатели и понеслись в иные, более пригодные для зимовки страны. Черный и неприветливый стоит он под осенними дождями с раскрытой, удивленной на птичью неблагодарность, пастью и уныло качается на длинном шесте.

Я складываю осторожно исписанные листы, с горечью смотрю на последнюю страницу и думаю о способе пересылки.

На почту мне итти через Семеновский лес и Совицу.

Под ногами шуршит первая, как медные шкварки, облетевшая листва и от этого мне еще тяжелее. На поляне у коровьего стойла я вижу Дмитрича. Соломенная самодельная шляпа опустилась ему на брови, и старик мирно дремлет.

— Здравствуй, Дмитрич.

— А? Ага-га! Здравствуй, сынок. Далеко ли собрался?

Я объясняю. Дмитрич испытующе косится на мою ношу и дергает носом.

— Тоже работа. — Не то делает заключение, не то спрашивает он и вздыхает.

— Каждому свое, значит. Ишь, сколько наворочал. Поди, и обо мне приплел?

— Нет, Дмитрич. О тебе не удосужился.

Дмитрич набивает трубочку табаком и глаза его смеются.

— То-то, то-то... Оно, конечно, мою жисть описать нравоучительно будет. Рѣман будет преотличный. А только не надо. Зачем? Жил да был, был да жил. Ну и помер. Дошел до конца. Какое дело. Пустяки. Еще какой-нибудь дурак обругает после смерти. Вот, мол, сукин сын, какие штуки загинал. Не хорошо получится.

Дмитрич ломает разговор резко и решительно:

— Ну, как рыбешка?

— Плохо, Дмитрич.

— О? Что так? Время быдто подходящее.

— Не знаю.

Дмитрич смотрит на небо и что-то считает шопотом.

— Оснадцать в понедельник... Хм... Значит сегодня...

— Знаешь что, парень, не смотаться ли тебе в Кудеяров вир?

— Куда?

— А в Кудеяров вир. За Мартыновкой верст пятнадцать по Соже. Там, брат, об эту пору чудеса. Там люди сотни пудов рыбы нагребают. Хм... Дивное дело. Куда это власть смотрит.

— Сетями?

— Э, нет. Остями бьют. Об эту пору бабы в верхах Сожи замашки мочат, ну от замашек и пойдет по реке тухлый дух. А как пойдет он, так рыбе, значит, и нет никакого терпения. Что делается! Благодаря бога рыбы у нас невпроворот, а то бы... Сама на берег лезет. Нет ей дыхания в воде. Беда. Ты, правда, парень, смотался бы. И мне за совет рыбешки принесешь. Равно тебе делать нечего. И бумага целей будет. А? Я тебе и концы укажу.

Я согласен, и Дмитрич указывает концы.

— Вали ты, друг, в Мартыновку, к Алексею Михалычу Боровому. Там спросишь. У него, да я, знать, говорил тебе, дочь моя Руфь живет. Об'явишься, поклон передай. Он и сам рыбас первый. Сговоритесь. Да передай Руфьке, что, мол, у отца рубашки обтесались, пусть наведается, починит. А рыбки не забудь. Люблю рыбку, сознаться тебе.

Я благодарю Дмитрича за указанные концы и спешу в Совицу.

В первой же хате застаю ветхую старуху и с трудом, после длинных объяснений, покупаю аршин плохо отбеленного холста. Старуха недоуменно глядит на мой сверток, на деньги, положенные мною на стол. Следит, как я зашиваю дорогую мне посылку и химическим карандашом царапаю адрес.

— Кому ж ты такое письмо-то сгородил, жене, аль матери? — спрашивает она, удивленно и сокрушенно качая головой.

Я объясняю, как умею, и досажую на то, что ничего не могу объяснить.

— Значит такое письмо, чтобы все читали. Ты уж прости, не пойму я что-то. Из божественного, что ли?

Старуха присаживается на лавку и вздыхает.

— О чем ты, бабушка?

Она перебирает ввалившимися губами и вздыхает:

— Спросить я тебя одно дело хочу, да не насмелюсь.

— А ты насмелься.

Она встает, с топотом отходит к полатам, выдвигает из-под них побитый временем рыжий сундучок и роется в нем. Она вынимает из него разный хлам, тряпочки, бумажки, какие-то завернутые в пеньку свертки, пучки трав, шахтерскую лампу, закопченную и погнутую в боках.

— У тебя кто-нибудь на шахте?

— А как же. Сын. Василий. Васильем звать. Штегер, что ли. Давно на шахтах. Третий год. Да вот... — Она поднимается от сундука, семенит к столу и тянет мне письмо.

— Почитай-ко.

Письмо читано и перечитано десятки раз, об этом наглядно говорит измятый, грязный конверт. Я читаю. Письмо обычное, с сотней поклонов чуть ли не всей Совеце. В конце сообщение, что двенадцать с полтиной посланы и адрес.

— Хорошее письмо, — говорю я. — Добрый у тебя сын, ласковый.

Старуха качает головой и рукавом смахивает слезы.

— Он-то добрый, да что-то денег я не получаю.

— Как так?

— Да уж так, батюшка. Неделю, как письмецо-то пришло, а спрошу Леона — все нет и нет.

— А ты, бабушка, на почте не справлялась?

— Да что ж его справляться, когда нет. Леон говорит — придут, пропасть не могут. А я сомневаюсь. За жнива платить надобно, а их нет.

— А повестка-то пришла?

— Ничего нет. Уж, думаю, не пошутил ли Васенька.

Старуха всхлипывает. Я обещаю навести на почте справки и, спросив у ней фамилию, поспеваю на почту.

В дверях она останавливает меня:

— Будешь еще-то письма слать, за холстиной ко мне приходи.

За селом жнивья. Как шеренги рыжих несметных полчищ, выстроились на парад крестцы. И, куда достанет взгляд, стоят ровные, как по линейке построенные, их ряды.

Синие, алые, белые, черные пятна мерно раскачиваются на полосах вики, и блестят солнечными вспышками отбеленные в работе косы.

Словно молоком залиты гречишные делянки. Вдали из марева дня выступают белые домики заводского местечка и высится надолго

замерзшая заводская труба. Завод за ветхостью машин консервирован. При заводе волость и почта.

И волость, барский двухэтажный дом, и почта, барские службы,— все в темной зелени. Пирамидальные тополя, как обороченные остриями вверх кинжалы, окаймляют заводские постройки. Завод мертв, но и мертвым он входит в сахарный комбинат и громадная площадь вокруг него засеяна свекловицей.

Я догоняю парнишку. Закинув предусмотрительно сапоги за спину, он идет с краю дороги, чтобы не подымать босыми ногами легкую, как дуновенье ветра, пыль.

— Здравствуйте.

Загорелый, кареглазый мальчуган косится в мою сторону и на свою грудь, где на белой рубашке ярко выделяется комсомольский значок.

Пара вопросов, пара ответов, и секретарь заводского совхоза дает мне сведения о заводе, о посеве свеклы, об условиях совхозского быта.

— Завод умер. Хотят по кирпичам разнести. Знаете, как в песне,— и по винтику, по кирпичику. непригоден для работы. Машины устарели, а жаль. Разрушать жаль. Землю? Частью совхоз обрабатывает, а больше крестьяне за луга. Лугов у нас тьма.

— Выгодно?

Секретарь вскидывает на меня пытливые перепелиные глаза и долго думает. У него загорелый до черноты цвет лица. Он немного веснушат, густые брови черны и словно подведены нарочно.

— Выгодно ли? Конечно, мужик в обиде. Он так рассуждает. Раз луга отдаются — значит они совхозу не нужны, а раз не нужны — почему непременно за работу сдавать. Недовольны. А у нас политика — тверже некуда. Объяснять им — пустое дело. Объясняли — довольно. Теперь на деле работу ведем. Безлужье ихнее пустяки. И мы не даем им луга задаром. Прежде всего заставляем их тем самым у себя мильорацию проводить, а работа на нашей земле приучает их к машине.

Секретарь гордо вскидывает голову и заявляет:

— Ведь у нас четыре трактора, тринадцать жаток, три паровика. И двенадцать полей. Вы подумайте. А кругом трехполка. Ну и разница в урожае.

Он тихо смеется и, понижая голос, говорит, словно кается в чем.

— Приедешь к ним на митинг, ведь мы шефы волости, ну и начнешь говорить. Вопросы обычные. За что боролись? Опять помещиков завели. Раньше Орлов сидел, а теперь Туломин. Туломин у нас заведующий. А их и огорошишь. Мы, мол, вам совхоз отдаем. Как так? А так. Извольте сперва двенадцать полей завести. Севооборот обернуть, а потом и получайте. Заскребут в затылках, а ответить нечего.

— А если впрямь они по-вашему сделают, отдадите?

— Почему же не отдать? Прямая польза. Не все ли равно, кто обрабатывать будет? Да только не скоро это будет. Некоторые села, правда, закопошились, а остальные все еще три поля лаптями меряют.

— А вы из крестьян? — спрашиваю я секретаря.

Он хмыкает весело и задорно, и отвечает:

— Потомственный, почетный. Я в совхозе за механика возле молотилки.

Мы вошли в тополеву тень. Почта. Секретарь спрашивает газеты для совхоза. Я сдаю свою бумажную боль. Начальник конторы, медлительный, болезненный человек, изумительно похожий на Керенского, долго смотрит на мою посылку, несколько раз перечитывает адрес и почему-то качает головой. Передавая мне квитанцию, он подозрительно смотрит на меня и посылку, как ценную, кладет в объемистый кованный сундук.

Я спрашиваю о деньгах старухи и получаю ответ, что деньги вручены адресату в четверг на прошлой неделе.

— Здесь что-то не так, — говорю я начальнику и прошу проследить выдачу. По его лицу я вижу, что своим недоверием я оскорбил весь наркомат.

Полдень пред'явил свои жаркие права, и я долго думаю, куда мне направить свои стопы. В курене, где теперь мне нечего делать, будет нестерпимая грусть, как после дорогого покойника. Решаю воспользоваться советом Дмитрича.

Секретарь совхозской ячейки сидит под тополем и пробегает заголовки газет.

— Друг мой, скажите, как пройти на Мартыновку?

Р у ф ь

Я стою перед ней и жду ответа. Загар ее правильного лица похож на бронзу. Это Руфь. Здесь имя пришлось как нельзя кстати. Руфь—и мне не зачем спрашивать у ней об ее имени. Вот такой должна была быть та библейская Руфь. Знает ли она об этом? Вероятно, нет.

Высокая, стройная и сильная стоит она передо мною и пытливо глядит. Вышитая алыми и синими цветами кофта красиво облегает ее плечи, высокую грудь. Юбка, темно-коричневая в поясе, четко очертила сильные бедра. И лицо. В окружности нет таких лиц. Что-то цыганское, несколько дикое скрывается в этом сдвиге тонких иссиня черных бровей. Между темно-алых губ мелькают ровные ряды ослепительно белых зубов. Но ярче всего глаза. Темные, как переспелые сливы, они полны девичьего любопытства и какой-то не-девичьей строгости. И не понять: то ли солнце дробится в них блестящими осколками, то ли сами они излучают острые, всюду проникающие искры. Косы цвета переспелой ржи через плечи сбегают на грудь и тяжелыми толстыми жгутами падают к поясу. Она смотрит на меня пристально и мне кажется, она уже знает и кто я, и зачем пришел.

— Алексея Михайловича? — спрашивает она и лицо ее спокойно. Голос слегка гортанный, контральто. Он не может быть иным. — Да вы возле его хаты. Он дома. Ведь у нас сегодня праздник. Престол. Пожалуйте.

Только теперь я замечаю, что окна в новой избе открыты и в них на улицу прыгает буйный перебой голосов.

— Вам Роман Дмитрич поклон прислал. Притти просил.

Руфь кивает мне в ответ горделивым движением головы и, не глядя больше в мою сторону, проходит мимо.

В избе, несмотря на открытые окна, сильно накурено. Я ищу среди гостей хозяина, и в почетном углу под сборищем всех святых и богов вижу старого знакомого, мельника из Зеленина. Ворот его рубахи отворен на все застava, лицо красное и в обильном поту. Он первый видит меня и, сисясь приподняться, орет:

— Так, так... Пожалуйте... Так, так... В самую точку пожаловали... Милости...

Хозяин подымается и идет навстречу. Он рыж и ряб. Я говорю ему о причине прихода. Десятки глаз из-за стола с любопытством оглядывают меня.

— Что ж, это хорошо. Дмитрич, старый пес, ладно придумал. Он, старый хрыч, понимает... Пожалуйте к столу. Сегодня-то уж не поедем. Куда-а! Престол у нас... И обмолотки подошли. В самый раз.

Хозяин сильно выпивши. Засунув руки за вышитый пояс синей праздничной рубахи, он раскачивается из стороны в сторону и громко, хрипло смеется.

— Пожалуйте.

Он уступает мне свое место и командует мельнику.

— Лаврентич... Налей. Да ты не нашей! Они нашу не пьют. Ты очищенной налей... В-во. Для праздника.—И, топнув о землю ногой, он запел нескладным козлетоном:

И-и-эх! Ельник, ельник, ельник,
Ельник не трава:
Сватал бабу мельник
В ночь под Покрова.

— Братцы, пей!—Кричит он, обводя гостей помутневшими синими глазами, и наклоняется ко мне.—Гражданин хороший... Вот это так... Пришли вы ко мне — значит давай, Лешка, Кудеяров вир. Это можно. Первый я есть рыбас. А Алексей Иваныч Рыков мне тезка. Ей-богу. Вы знаете, что он про меня в газетах пишет. Дорогу, говорит, середняку. А я самый и есть Алексей Михалыч Боровой — середняк. За это ему спасибо.

И-ах! Ельник, ельник, ельник,
Ельник не трава...

Он выпивает свой стакан и смотрит долго в его дно.

— Х-м. Пусто, — говорит он и обращается ко мне. — Вот, вы, гражданин, говорите затмение. А что есть затмение? Н-ну? Мельник, цыц! Не подсказывать.

Как можно проще и короче, я объясняю. Хозяин стоит и, подняв глаза к потолку, внимательно слушает. Когда я кончаю объяснение, он наклоняет голову на бок и машет стаканом.

— Так-с. Значит луна сюда, солнце вот куда... Так-с. Планеты планты разводят. Понятно. Спасибо вам. А вот почему в копченое стекло смотреть полагается? А?

Я отвечаю. Он разводит руками и вытягивает нижнюю губу.

— Убей—не пойму. Все хорошо и понятно, а вот... Эх, гражданин хороший! Граждане! Михаил Лаврентич, мельник... Будь ты проклят. Ты зачем приехал — Руфьку сватать? Ах, ты, ерник старый. Ну, сиди, сиди... Я про что, про стекло... В копченое, братцы, стекло не токмо солнце увидишь, чорта в ступе увидишь, нечего там бабачек ловить. Тпруу! А ты, мельник, цыц и молчи. Молчок, старичок, арцимурия. Не пойдет за тебя Руфька. Я, брат, сам на нее... Кушайте, гражданин. Да вы рожства отведайте. Чудеса. Вчера рожство об четырех ногах хрюкало, а сегодня об трех лежит и не хрючет. Почему, вопрос, в закопченное стекло смотреть надо? Одну лапу мельник слопал. Ей-богу... Ах, мельник, Михал Лаврентич. Кулак ты, сукин сын. Давай поцелуемся. А насчет Руфьки зась. Кто я ей? Сродственник? Так. Прикажу и пойдет.

Компания за столом пьянеет сильнее. Я чувствую, что пришелся не в масть, и казнию себя за неудачный приход. То, что лепечет пьяный хозяин насчет сватовства, бьет меня по нервам. Неужели мельник действительно приехал свататься за Руфь? Мельник и она. Неужели согласится? Я окидываю взглядом своих соседей, ишу более трезвого, нахожу.

Маленький, щуплый и сизый, как горлица, старичок прижался на лавке в конце стола. Он не пьет и не ест, только острыми, как у ежа, глазами сверлит компанию и чуть заметно качает головой. Рядом с ним черный, как цыган, великан разводит все время руками и все время гудит слезливым басом:

— Братцы... Голубцы... Споем.

Он силится запеть, срывается на первой ноте и опять просит:

— Братцы... Споем... Иже херувимы...

Я отдаю дань треногому «рожеству» и отхожу в край лавки к сизому старичку. Уже никто никого не слушает. Говорят все разом. Рябой, вихрястый сосед мельника склонился к столу и тихо по-детски плачет. О чем, неизвестно, пожалуй, и ему самому.

Сизый старичок оказывается отцом хозяина. Голос у него мягкий и ласковый, словно воркованье похужей на него горлицы.

— Смотрю, смотрю и чудно мне. Садилась за стол люди, а тепер хуже свиней. Вот оно винище-то.

Рябой сосед мельника поднимает голову, обводит стол пустыми глазами и кричит:

— Эй-я!

Его никто не слушает и он, встретив мой взгляд, обращает свое красноречие на меня:

— Агрономы... Ммать... Всех убью. Ей-богу, убью. Как приедет, так и тут. Крест и могила. Что смотришь? Ты тоже агроном? Нет, ну и не надо.

Он всхлипывает и рукавом отирает обильные слезы.

— Засуха... Сейте кукурузу. Чтобы, значит, голод. Ах, сукин сын. Пять десятин... Ладно... А я три кукурузы. А рожь я сеял? Полдесята. Ладно. Вот в чем вопрос... А засухи и не было. Какое лето? А? Рожь-то восемьдесят пудов дала. Сукин сын. Советская власть усе мужику. То и это, а они—засуха.

—Пойдемте в сад, — зовет меня сизый старичок и я очень благодарен ему. За столом теперь неразбериха.

Старика зовут Михаил Андреич. Через просторный и очень чистый двор он проводит меня в сад и тихо спрашивает по пути:

— Пчелок не боитесь? — И смеется, словно радуется моему утвердительному ответу.

В саду у него полный порядок. Яблони и груши, отягченные плодами, расположились в шахматном порядке. Ветви подперты рогулинами и стволы выбелены известью. Десятка два рамочных ульев с уже наставленными на них магазинами выстроились во всю длину сада.

Старик оглядывает ужасающее вечернее небо.

— Поздно. Теперь пчелка на покой пошла.

— Скажите, Михаил Андреевич, неужели мельник серьезно приехал сватать вашу работницу?

Михаил Андреевич придвигает мне пустой улей и сам садится прямо на траву.

— Мельник-то?

Он смотрит на меня ясными бесхитростными глазами и машет рукой.

— Правда.

— Да ведь ему в обед сто лет?

— А что ж прикажете, батюшка. Богат, вот и ярится на старости лет.

— И Руфь пойдет за него?

Михаил Андреевич задумывается.

— Спрашивали ее, — говорит он, и чувствую, как замирает мое сердце. — Спрашивали. Ни то, ни се не ответила. Хочет к отцу итти за советом. Девка умная. Зря в петлю не прыгнет.

— Да ведь ему под колоду пора.

— Эх, дорогой, вся и радость в этом. Что ей убудет, а посмотри, как живет-то он.

— Я знаю.

— Ну, вот тот-то и оно. Бабы ей крепко советуют. Одно плохо, — сыновья ему поперек стали. Не желают.

- Да ведь они с ним в разделе.
- В разделе, а все жалко добро из рук на сторону упускать.
- Плохо это, Михаил Андреич.
- Чего хуже.

Старик качает головой и на бескровном лице его отражается неподдельная грусть.

— Жизнь, дорогой, тугая штука. Нельзя без расчета вести. Особливо девке. Что пользы-то за молодым, ежели он нищий. Ну, конечно, они по-своему рассуждают. А между прочим я с ними согласен.

Михаил Андреич смеется.

Из избы доносится разноголосая песня. Старик прислушивается.

— Заголосили. Конец скоро. Либо спать пойдут, либо драться начнут. Вы уже не осудите наших мужичков. Работа у них тяжелая. Каждому отдыху рады, а проводить-то отдых в трезвости не научились.

Песня скоро смолкает, но мы еще долго сидим и ведем тихую, как опустившаяся к нам ночь, беседу о всякой всячине, начиная с международного положения, кончая породами пчел. И в первом и в последнем старик прекрасно разбирается.

Спать он меня укладывает в гумennem сарае, на душистой, только что свезенной с поля вике.

В полночь я просыпаюсь и в ту же минуту до моего слуха долетает чуть слышный говор. Два голоса говорят спешно, впереводку. Я вздрагиваю и начинаю невольно прислушиваться. Голоса мне знакомы. Леон и Руфь.

— Я не знаю, как быть... Ты, Леон, тянешь волынку, а мне это хуже ножа. Скажи прямо, так или не так. Все легче будет. Тогда и я чего-нибудь надумаю.

— А ты погоди. Я тебе говорил, не могу сразу. Сегодня у нас какое — двадцатое? Ну, вот, первого и клин. Первого отведу. Должен я обсудить, что и как. Нельзя же так. Да и дело у меня одно вытанцовывается.

- Смотри, Леон. До первого жду, а там не гневайся.
- Что будет?
- За мельника пойду.
- Убью.
- Не убьешь.
- Вот тебе крест, убью.
- Леон, Леон... Дурачок ты...

Больше я ничего не слышу. Голоса тускнеют, видимо, удаляются и, наконец, смолкают.

Я долго лежу и не могу заснуть. Темные глаза ветхозаветной Руфи стоят передо мною и, мне кажется, в них блестят крупные слезы.

Рыбье кладбище

Среди топких, непроходимых на десятки верст вперед, вправо и влево болот, поросших мелким кустарником и буйными камышами, вьется, пугает след, делает петли капризная Сожа.

— От Казюлячего болота до Кудеярова вира восемь верст.

Чертячи места и болото чертячье есть.

Алексей Михайлович сидит на корме, сильными толчками весла гонит лодку вперед и делает объяснение по поводу тех или других встречных затонов или, как их по-местному зовут, «виров».

— Он, Кудеяр-то, не дурак был. Знал, где ему становище класть. Теперь-то к становищу малый ребенок путь сыщет, а вот когда тут лес стоял — поди доберись. Да и болото не то стало... Эх, опозднились мы с тобой.

Алексей Михайлович смотрит на солнце, недовольно качает головой и еще сильнее посылает лодку.

— Сколько, брат, на том бугре добра зарыто, так это ужась сказать. Старички говорят, что в одном виру Кудеяр сто боченков серебра да золота утопил, да карету из чистого золота. Искали наши — да где же найти. Саженой тридцать глубина, если не больше. Духу не хватит до дна дойти. А бугор весь изрыли. Сказывают, находили добро, а никто правды не знает.

— Здесь, наверно, и уток много, — делаю я предположение.

— Уток? Что там уток, лебеди водятся, только не подойдешь к ним. Топь неизвестная, омота да ямы. Эх! Богатство какое. Кабы власть-то скорее за эти места взялась. Говорят, скоро мильорация здесь пройдет. Достоверно неизвестно, а лают. Ведь это какие тысячи десятин в дело пойдут! Страх!

— А вы-то просили об этом?

— Просили? Да мы спим и видим. Нет у нас лугов, а без лугов труба. Побегай-ка в совхоз бурак подергать, а тебе за это клоч сена. Ну, да нет, теперь совхозу крышка.

Я вспоминаю секретаря совхозской ячейки комсомола и улыбаюсь.

— Как так?

— А вот так. Без наших рук им конец. Выгоды не будет. Мы им так и сказали. Крышка, мол, вам. Сматывайте удочки. Мы сами с усами. Второй год, как на восьмиполье перешли. Вот и суди. Задавим. А задавим — им землю некуда девать, в прок неш солить будут. Отдадут нам.

Алексей Михайлович задорно смеется.

— И что делают? Сама власть что делает? За совхозы держится, а нас культурой манит. Ладно, давай. Она нам, культура-то эта, во как в помощь, а совхозу крышка. Ей-богу. Вот кабы еще эту канитель осушить, первые бы мы богатеи стали. Накажи бог! Ээ!? Што ж это?

Алексей Михайлович подымается во весь рост и оглядывает реку. Лицо его встревожено.

— Что такое?

— Да ты посмотри... Кончал базар... Ах, сукины дочки.

Я оборачиваюсь к носу лодки и смотрю на реку. Возле осоки, обрамляющей воду, плавает умершая рыба. Одна, две, десяток. Я сбиваюсь со счета.

— Что это?

Алексей Михайлович чешет в затылке.

— Опоздали мы с тобой. Ишь сколько. Ах, ты...

Он поддевает веслом медленно плывущую возле осоки уснувшую щуку.

— Жаль-то какая. Фунтов десять, не меньше. Ну, не сукины дочки. Опять замашки в реке мочут. Ведь был приказ, так нет, как в стену горох. Фью! Теперь всю отравят. Мне бы на пару дней раньше, когда она задыхалась, выехать. То-то бы нацеплял. На всю зиму.

Лодка виляет между кустами, делает повороты вправо и влево. Мертвая рыба попадаетея чаще и я с болью в сердце смотрю на прибывающее ее количество.

— Гляди, гляди, — кричит Алексей Михайлович, и в его голосе я чувствую сгущенную боль.

Лодка вылетает в затон и, повинувась веслу, останавливается.

— Гляди.

Здесь рыба сплошной корой покрывает поверхность воды. Окунь, лещи, судаки, краснопер и полосатая красавица щука лежат кверху брюхом с широко открытыми, почерневшими жабрами. Лодка раздвигает рыбе кладбище и плывет дальше.

— Пропала рыба. Ну, что ты им сделаешь? Стрелять сукиных дочек мало. Ведь тут сотни пудов. Ээх!

Чем дальше, тем умершей рыбы больше. Лодка идет по сплошному рыбьему полю и, когда мы везжаем в затон с характерным названием «Чертячий вир», Алексей Михайлович говорит:

— Опусту руку за борт. Попробуй.

Я опускаю и в ужасе вынимаю назад. Почти по локоть рука уходит в холодный слой рыбы. Досада, обида и жалость сталкиваются в груди. Предложи мне Алексей Михайлович вернуться, я, не задумываясь, соглашусь. Но его настроение резко изменилось. Он уже не ругает баб, виновниц катастрофы. Он ругает себя за прозванное время.

— Да тут бы, ежели в точку попасть, как она задыхалась — сотни пудов взять можно. Глянь, глянь. Во щучища-то. Баран... Ей-богу, баран. Батюшки ж мои. Да бейте меня. О-ох! На ж тебе! Нна, дурак старый! У, пьянчуга! Нна!

Он бьет себя с остервенением по голове, по лицу, в грудь тяжелым волосатым кулачищем. Это его немного успокаивает.

— Ладно. До Кудеярова вира доедем, а дальше тпру. Если и у Кудеяра подохла, — тогда делать нечего.

Лодка скользит и виляет и открывает нам новые и новые рыбы кладбища. Алексей Михайлович костит баб.

— Кабы я комиссаром был. Я бы им, грязнохвостым, прописал, как замашки мочить. Ленъ канав нарыть — прямо в реку. Здравствуйте пожалуйста. И толку от ихней работы ни на гвоздь. На каких чертей ихняя пряжа сдалась! Сидит, ведьма, целую зиму корпит, а к расчету три дерюги по рупь с четвертью. Ну, не дуры, мои матушки? Тьфу!

— Каждый год так?—спрашиваю я.

— Каждый. А уж сегодняшний и не знаю на что похож. Видно, жарило сильно. Вот и задохнулась.

Он вглядывается вперед и говорит, как - будто утешает себя и меня:

— Кажись, меньше стало.

Мне тоже кажется, что мертвая рыба попадается реже. Виры становятся чище. Еще версту виляет лодка и, наконец, рыба попадается только изредка.

— Кудеяров бугор, — показывает веслом Алексей Михайлович.

Я гляжу вперед и на далекой полосе леса замечаю тройку елей. Словно странники, стоят они на высоком бугре, и у их ног толпится низкорослый кустарник.

— Верста будет?—спрашиваю я.

— Верста? А пять не хочешь?

Я в недоумении. Но лодка начинает делать частые повороты, и бугор забегает нам то слева, то справа, то уходит от нас.

Сожа совершенно очистилась от рыбы и Алексей Михайлович успокаивает меня и себя:

— Может, еще будет толк. Здесь ничего не заметно.

Когда солнце одним краем цепляет верхушку леса, лодка входит в широкий затон.

— Вот и вир.

Справа знаменитый Кудеяров бугор, поросший орешником. Сосны на макушке его по три обхвата. На самом берегу несколько стогов сена.

— Ишь, накосили. Это наши все. За пятнадцать верст цапают.

— А как перевезут?

— Зимой. Замерзнет река и перевезут.

Мне стыдно за свою недогадливость.

Когда лодка, с шуршаньем раздвинув осоку и камыш, врезается в илистый берег и я выскакиваю на бугор, от сенного стога отделяется высокая, широкоплечая, одетая в какие-то странные лохмотья, чело-вечья машина.

— Здорово, Михалыч!

Мой хозяин басит исправно, но голос, приветствующий его, окта-вы на три ниже и заметно чище.

— Здорово, Кудеяр. Ты уже здесь? Ну, как дела?

Я гляжу на Кудеяра. Весь он точно высечен из дикого камня. Рыжая борода как бы нарочито завита в мелкие кольца и двумя ровными отрогами падает на массивную грудь.

Голубые глаза смотрят приветливо и печально улыбаются. Из-под солдатской шапки времен начала германской войны выбиваются рыжие кудри. Жуткий глубокий красный шрам проходит от правого виска через мясистый грушевидный нос наискось к подбородку и теряется в зарослях кудрявой бороды. От шрама правая половина рта слегка приподнята, отчего все лицо приобрело не то смеющийся, не то надменный вид.

В правой руке у него шестипалая ость, на левой всего три пальца. Этой рукой он снимает шапку и здоровается со мной и потом долго заправляет под шапку непокорные волосы.

— За рыбешкой пожаловали? — говорит он и усмехается. — Опоздали. Вот уж опоздали. Подохла. Как есть подохла. А какая осталась, на низ ушла.

Алексей Михайлович выходит из лодки, захватив предусмотрительно взятый из дома котелок и мешок с картофелем и хлебом.

— Эква! Скажешь. Подохла. Каждый год ее бабы угощают, а все про нашего брата хватает. Будь здоров.

Они жмут друг другу руки такими пожатиями, от которых моя рука обратилась бы в лепешку, и при этом пытливо и долго смотрят друг другу в глаза.

— Еще кто на берегу есть? — спрашивает Алексей Михайлович и направляется к стогу.

Кудеяр втыкает свою ость в землю и идет за ним той утиной походкой, какая присуща непомерно сильным людям.

— Один я покеда. К ночи, может, кто и пожалует.

Алексей Михайлович недовольно хмыкает.

— Я не к тому. Кого мне ждать? В нашем деле, чем народу меньше, тем лучше. И тебя-то черти зря принесли.

— Я мешать не буду. Пеший лодошному не товарищ. Я с берега. Табачку не привезли?

— Привезли, — отвечаю я.

Кудеяр оборачивается и смеется.

— Вот это дельно. Вот это благодать. Со вчерашнего вечера околачиваюсь здесь. Все до крошки покурил. За сухой лист взялся, да больно от него в глотке ершит.

Алексей Михайлович подходит к стогу, опускает ношу и оглядывается.

— Табачку просишь. А небось рыбы у тебя нет, чтобы дорогих гостей потчевать, — говорит он, глядя сердито на Кудеяра.

— Как не быть рыбе. Ты меня, Михалыч, не срами. Рыба у меня всегда есть.

— Вот, значит, и волоки ее. Уху сварганём. Все одно сейчас ни рожна не добудем. Не иначе луны ждать.

Кудеяр усмехается, потирает одна об одну огромнейшие руки и по-детски просительно наклоняет голову.

— Да вы дайте закурить. Истоми-и-ился...

В этом «истоми-и-ился» столько болезненного нетерпения, что я спешу подать Кудеяру «кустюм». Он радостно крикает, опускается на корточки и ловко вертит собачью ножку.

Закурив, он подымается, возвращает мне «кустюм» и быстро идет к реке.

— Пропащий человек, — в шопот говорит мне Алексей Михайлович и качает головой вслед уходящему Кудеяру.

— Чем пропащий?

— Да так уж. Малохольный. Вы думаете, он за рыбой приехал? Неет. Это он клады ищет... Да что же я стою-то? Айда по дрова, пока светло.

В руках у Алексея Михайловича блестит незамеченный мною до того топор и он, помахивая им, быстро идет в заросли. Я иду вслед за ним. На перекрестке двух чуть заметных тропинок наши пути расходятся.

Бугор насыпной, песчаный. Кое-где попадаются серые известковые камни, явно привезенные сюда. Поверх песка многолетними половодьями нанесло толстый слой ила, но местами он изрыт глубокими воронками и на боках рывин изжелта-белый крупно-зернистый песок выступает ясно. На самой вершине, куда полая вода не заходила и где стоят похожие издали на странников или монахов огромные сосны, песок лежит на самой поверхности, как большая лысина.

По другую сторону сосен бугор спускается к омывающей его Соже. Там он несколько круче и заросли кустарника реже. Зато здесь на каждом шагу попадаются обломки кирпичей и на середине склона мой путь вдруг преграждает огромная кубическая яма. Стены ее когда-то были выложены кирпичем, но теперь кладка разрушена, а самые стены изрыты глубокими норами.

Вправо от этой ямы зияют две другие более мелкие, но по вороху кирпича на их днищах можно судить о том, что здесь некогда были массивные фундаментные постройки.

Глубокие воронки на каждом шагу. В темень здесь не пройдешь без риска угодить в одну из этих ловушек.

Видимо, сказания о Кудеяровом кладе тревожили не одну жадную голову.

Я собираю сухие ветки, обламываю сушняк с кустарников и с ворохом топлива возвращаюсь назад.

Алексей Михайлович уже на месте, стоит и курит. Кудеяр сидит на корточках возле дымящегося костра.

— Что, друг, видал, какое гнездышко? — спрашивает меня Алексей Михайлович.

— Да, что это за постройки здесь были?

— Постройки? А это ты вот кого спроси. Кудеяр, объясни.

Кудеяр набирает полную грудь воздуха и дует в костер, так, что мелкие веточки вылетают из него. Выдув пламя, он оборачивается ко мне и отирает рукой заслезившееся глаза.

— Что ж, что постройки, — говорит он. — Тут ведь становище ихнее было. Погреба, значит, были. Вот это самое кирпич оказывает. Алексей Михайлович смеется.

— Ну и косноязычен ты, Кудеяр. Эта самое, эта самое... Ты говори толком.

Кудеяр опять дует в костер и добродушно отвечает.

— Что ж, что косноязычен. Уж как умею. Ты бы, Михалыч, щучки-то почистил. Эх, ты... Только других коришь.

Алексей Михайлович нагибается и подымает из травы аршинную щуку.

Я присаживаюсь к костру и слежу за Кудеяром.

Солнце уже окончательно село. Легкий теплый ветерок, предвестник идущей на смену дня ночи, шуршит в кустах и рябит темно-стальную гладь затона. Какие-то гортанные, жалобные, зычные звуки доносятся с востока. Звуки множатся, усиливаются, приближаются и вскоре весь воздух стонет от них. Кудеяр качает головой и взглядывает на небо.

— Журавли, — говорит он. — Страсть, сколько здесь журавлей.

И, словно подтверждая его слова, огромные треугольники тяжело летящих птиц вырисовываются на небе. Они летят не только с востока. Тупыми и острыми косяками выплывают они со всех сторон, кружатся, обгоняют друг друга и, снижаясь, садятся где-то рядом в помутневших от сгущающейся темноты, болотах.

— С жнивья летят. Ишь их сколько. Армия.

Встревоженные журавлиным криком быстро проносятся стаи уток. Я пробую считать и сбиваюсь со счета.

Темень опускается быстро, но и когда совершенно темнеет и небо начинает щуриться бесчисленными голубыми глазами, над головой свистят, крикают невидимые теперь фаланги и жутко стонут журавли.

Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр-атаман.

— ...Тех годов нам не упомнить. Так скажу и деды наши не упомнят и прадеды. Одно знаю, вся наша порода от Кудеяра идет.

Уха из щуки с'едена. Мы сидим возле костра и блаженно курим. Кудеяр обращается то ко мне, то к Алексею Михайловичу. Во время рассказа размахивает руками и, в особо приятных ему самому местах, трясет головой и присвистывает.

Алексей Михайлович не перебивает его и только недоверчиво хмыкает. Вообще на Кудеяра он смотрит несколько свысока.

Только, когда Кудеяр останавливается на время, чтобы подбросить в огонь хворостину или закурить, он подбадривает его коротким и внушительным:

— Нну!

С этого «нну» продолжает Кудеяр прерванный рассказ.

— Нну и ну. Вот, значит, как в песне и поется. Все как было справедливо. Тринадцать их было братьев, названных с тринадцати краев земли, на этом самом бугре. Больше негде. Лес тут был несусветный. Болота несусветные. Тут и становище было. Уж отсюда они во все концы лазали. То под Тулу, то под Чернигов, то под самый Киев. Только напрасно его разбойником окрестили. Какой он разбойник! Конечно, власть царская его не жаловала, потому он с нею печек-лавочек не водил. А уж что помещика?.. Сам-то он из крепостных, так этому помещицкому зелью была от него крышка. Грабил он их до пупа. Все добро сюда свозил. А чтобы бедный народ трогать—ни-ни... Пальцем не трогал. Вот, что правда, то правда—помогал. Всем он убогим да нищим помогал. И еще порядок у них был, чтобы с бабами не якшаться. На этом-то ему, Кудеяру, и славу поют.

Сказано в песне, будто под Киевом приглянулась ему одна красавица, а наши старики говаривали, будто под Смоленском, и была она польской веры. Она тоже здесь была. От нее и приплод пошел. Семеро сыновей. И вот, когда седьмой-то родился, взяла та красавица—и утопись в виру. Запечалился Кудеяр. Говорят, тридцать дней, тридцать ночей не ел, не пил ничего, а потом созвал свою братию разбойную, да и дал ей приказ расходиться на двенадцать стран, откуда пришли, а сам пошел в самый Соловецкий монастырь. Там и схиму принял.

Алексей Михайлович хмыкает и спрашивает:

— А детей-то куда ж дел?

— Вот в этом весь и вопрос, Михалыч. Перед тем, как уйти, прежде всего он богатство в виру, вот в этом, утопил. Слышал, небось, песню:

Вир, што небо голубое,
Непомерной глубины,
Золотые в ем покои
Кудеяровой жены.

— Вот. Была у него золотая карета и ту утопил. Потом детей, семерых сыновей, на семь сторон развез и пустил по белу свету гулять. Старший сын, именем Африкан, и попал в наши места. В то время он первостатейным кузнецом был. От него и пошли Кудеяры и все кузнецы. Я, как знаешь, тоже кузнец.

Кудеяр посмотрел на свои руки и вздохнул.

— Был, конечно, кузнец, а теперь...

— А теперь дурака валяешь, лодыря корчишь, — перебил его Алексей Михайлович и, поднявшись, пошел к реке.

Кудеяр посмотрел ему вслед и покачал головой.

— Напрасно... Вот уж напрасно... Какой же я лодырь? Нну-ну. напрасно, — сказал он и в голосе его дрогнула тоскливая, как журавлиный стон, нотка.

— Малохольным они меня считают. А я и не малохольный. Это у меня внутри болит. Сердце — что ли. Когда солнце светит, или ночь ясная, мне ничего, а вот осень или день пасмурный, ровно во мне кто скулит. Сам не знаю, что такое. Все от ранения. От него все. Допрежь я не такой был. Допрежь я игривый был. Песни любил.

Кудеяр вздохнул и опустил голову.

— А где вас ранили? — спросил я.

— Где ранили-то? Э-эх! Белые меня сильно били. Кабы не сила моя... Председателем я в Кирееве был. Ну, они и навалились. Какой собаке надобно было шепнуть, что будто я коммунистом был. А я вовсе и не был. Ну, и взяли. Тут ведь дроздовцы были. Одних шомполов мне полтыщи всыпали. Шашками рубили. А после того взяли да расстреляли. Так и в газете ихней описано было. У меня газета цела. Я ее на память затвердил. Вот: «Восемнадцатого октября нами, после упорного боя, взято местечко Киреево. Местная банда во главе с коммунистом Иваном Шибекимым, под бандитской кличкой «Кудеяр», расстреляна на месте». И все брехня. Расстреляли меня одного, да и то живой остался. Девять пуль вкатили.

Кудеяр сказал об этом легко, будто ничего особенного не было в этих пятистах шомполах, в этих девяти пулях, в этом жутком газетном отчете.

Он помолчал, закурил и выпустил в костер сильную струю дыма и шмыгнул носом.

— Жену с собой увели, — сказал он пониженным голосом, и еще тише добавил: — Так и пропала без вести. Должно, убили.

Чтобы отвести его от печальных воспоминаний, в истоке которых я винил себя, я спросил:

— Говорят, вы клад здесь ищите?

Он поднял голову и посмотрел на меня, отрицательно качая головой.

— Что я, дурак, что ли? Болтают про меня всякое, а все зря. Живу я здесь подолгу, вот и болтают. Какие здесь клады! Весь бугор изрыт. Почитай вершка покойного нет. Рыбу я здесь ловлю. Как весна наступит, я уж тут. Легкое место. А с людьми жить тяжело. Больно особачились они. Да вот войны жду.

— Войны?

— Так точно. Мне война вот как нужна. Я бы и думать не стал — пошел.

Я понял, что желание посчитаться с врагом за старую обиду крепко сидит в этой иссеченной белыми шашками голове.

— Не слышать там, скоро ли война-то?

Я ответил, что не знаю о сроках, но что вообще ждать ее можно. Он как-будто обрадовался, даже улыбнулся.

— Вот и ладно. Подожду. А в клады вы не верьте. Пустое.

Туманная, бронзовая луна вырезалась над лесом. Кудеяр оглянулся вокруг и сказал:

— Пора.

— Эй, Михалыч, пора, что ли?! — закричал он в темноту.

Бородатые камыши стиснули вир тугим кольцом. Вода темная, словно мазут. Костер, разложенный на носу лодки, освещает впереди себя небольшое пространство, и в тех местах, куда падает его беспокойный кровавый свет, вода похожа на прозрачное зеленокрасное стекло. Минутами мне кажется, что в этом стекле мелькают медлительные сонные стада рыб и к стыду своему ошибаюсь. Алексей Михайлович стоит на носу лодки, загорая от меня костер. Он весь напряжен, и его голова быстро поворачивается вправо и влево. Острога в его руках страшное оружие. Как молния, выскальзывает она и неслышно уходит в воду. Миг и на зазубренных, растопыренных ее пальцах бьется пробитая щука. Десятка полтора щук в предсмертных муках бьется на дне лодки у моих ног. Я гребу и руки мои ноют от гребли. Подутренный туман стелется по затону и на востоке начинает алеть небо. От тумана дрожь проходит по всему телу и мне уже нет охоты следить за ловкими без промаха ударами остроги.

— Не довольно ли? — замечаю я осторожно и тотчас же раскаиваюсь.

Левая рука Алексея Михайловича резко дергается и острога летит в воду.

Это первый промах за всю ночь. Повинуясь указаниям той же левой руки, я огибаю вир с западной стороны и уже не рискую делать замечания.

Я слежу за Алексеем Михайловичем, за лодкой и за просыпающимся утром. Опять, сперва осторожно и как бы робко, потом сильнее и сильнее начинают курлыкать журавли. Когда свет костра перестает глядеть в воду, умирает, побежденный светом утра, — синяя высь стонет от журавлиного клекота и небо бороздят нескончаемые, неисчислимы косяки. С криком и характерным шелестом проносятся мимо нас стаи кружняков и чирят. Затон дымится, словно закипает большой, переполненный до краев, котел. Первые лучи брызгают золотом на кипящую гладь вира и кажется, будто кудеярово золото глядится с его дна.

Алексей Михайлович кладет острогу вдоль борта и оборачивается ко мне.

— Кончал базар.

Лицо его утомленно и неузнаваемо от налипнувшего на нем нагара. Это костер положил свою печать. Только глаза его, воспаленные от бессонницы и напряжения, сверкают красными белками и не улегшимся возбуждением.

— Гони к берегу. Или прямо домой. Как хочешь.

— Пожалуй, домой, — соглашаюсь я. Поворачиваю лодку и плыву к горлу затопа. Только теперь взгляд мой падает на неподвижную, облокотившуюся на острогу фигуру Кудеяра. Он задумчиво смотрит на воду и словно не видит нас.

— Прощай, Иван Василич! — кричит ему Алексей Михайлович.

Кудеяр вздрагивает и шагает к обрезу берега.

— Табачку кинь, — просит его густой бас.

— Может, с нами поедешь?

Кудеяр отрицательно машет рукой.

— Нет, уж. Валяйте одни. Я подожду. Ужо кто-нибудь придет. Тогда уж... Табачку-то киньте.

Я заворачиваю табак и спички в бумагу и кидаю на берег.

— Вот спасибо. Вот это спасибо. Ну, добрый вам час.

Лодка уходит из вира. Бугор то уходит от нас, то приближается. С какой-то смутной печалью гляжу я, последний раз на Кудеяров бугор и на мощную фигуру закуривающего Кудеяра.

Кто знает, дождется ли он войны и если дождется, — горе тем, кто из затевших ее встретится с ним.

III

Начало конца

Я шагаю к Семеновскому лесу и несу Дмитричу пару шук. День, прекрасный с утра, теперь неприветливо щурится облачным небом и не понять, какое время его застает меня в пути. По моему расчету должен быть полдень, и я уже прошел Совицу. Бессонная ночь, проведенная на Кудеяровом виру, встреча с Кудеяром и, наконец, пасмурное, готовое заплакать небо тоскливо действуют на меня. Усталость в руках и ногах раздражают и хочется быстрее дойти до куреня, лечь и успокоиться в радостном сознании, что нет нужды вставать и мерять пыльную дорогу.

Конский топот и мягкий стук колес доносится сзади и я оборачиваюсь. На высоких рессорных дрожках, впряженных в пегую лохматую кобылицу, меня догоняет начальник волостной милиции Ходоров. Он ровняется со мной и тпрукает:

— Здравствуйте, товарищ.

— Здравствуйте, товарищ Ходоров. Откуда и куда?

Ходоров машет рукой и его худое, запыленное, с покрасневшими глазами лицо кривится, как от оскомины.

Поверх форменного платья, он одет в брезентовый, выдавший виды бушлат. Форменная фуражка слезла на затылок и вся в пыли.

— Дела, товарищ, замучили. Садитесь, довезу вас. Вы на место жительства? — говорит он и усмехается.

Я сажусь позади него, он трогает лошадь и, повернувшись ко мне, улыбается.

— Позавчера имел удовольствие вашу вещичку читать.

Профессиональное чувство колыхнулось во мне.

— Где?

— На почте.

— Ну да, а в каком журнале?

— Да зачем же в журнале. Просто на почте. Ведь вы посылали...

Я понял. Я удивлен. Досада, злоба, негодование бьют во все стороны и грозят вырваться наружу. С трудом сдерживаю себя.

— Как это могло случиться? Рукопись зашита в полотно и при мне была опечатана. Как случилось, что...

— Э, да я вижу, вы недовольны,— говорит Ходоров и подхлестывает лошададку.

— Помилуйте, как же я буду доволен. Ведь это же... Это, черт знает, что такое. Этак вы и письма мои вскрывали. Что же это?

— Ну, письма мы ваши не вскрывали, а рукопись прочли. Чуть не вся волость слушала. Очень занятно. Дда. Очень занятно.

Бунтарское чувство падает во мне так же быстро, как вспыхнуло. Невозмутимый тон начальника милиции, легкость, с которой он относится к событию, передаются мне и, сейчас только готовый к резкому протесту, я остываю и смеюсь.

— Послушайте, Ходоров, вы читали «Ревизора»?

Он качает головой и с печалью в голосе говорит:

— Вот видите. Так оно и есть. На нас, «милицейских», смотрят, как на особенных, мало развитых, ни к чему не способных людей. Даже старый анекдот перефразировали в нашу пользу. Было у старика трое сыновей: два умных, а третий милиционер. Эх, товарищ, читал я «Ревизора», читал. Я, пожалуй, для своей должности слишком много читал. Вы на почтмейстера намекаете? Знаю. Знаю и что вы думаете. Вот, мол, увидал человек рукопись с адресом центральной редакции, дай, мол, на всякий случай загляну, нет ли обо мне чего-нибудь. Ошиблись, дорогой, не то. Совершенно не то. О наших грехах и селькор напишет. Просто узнали, что посылаете вы для печати вещь, ну и заинтересовались. Когда-то она придет к нам. Может быть, никогда. Я-то до конца не слушал, по мокрому делу меня вызвали. А чувствую, что хорошая штука. Ведь вы наши места берете?

— Да, ваши.

Ходоров глядит на меня в полоборота, и в его простом запяленном лице я вижу природную доброту и еще что-то, что говорит о несоответствии его натуры с той тяжелой должностью, которую он случайно несет. Я перевожу разговор.

— По какому же делу ездили?

— И ездил и опять еду.

Он с размаху разрезает кнутовищем воздух.

— Дрянное дело. Сыновья отца убили.

— Расскажите.

Он улыбается.

— Темка для рассказа. Ну, ин быть по-вашему. Не люблю о делах трепаться. Это вам взамен почтовой обиды. Вы Зеленино знаете?.

Мысли роем пронеслись в моей голове и неприятная изморозь обожгла спину. Мне почему-то ясно, что Ходоров назовет сейчас мельника. Я подчиняюсь невольному жуткому желанию и, схватив Ходорова за рукав бушлата, говорю:

— Хотите, я сам расскажу. Может быть, я угадаю?

— Может быть, конечно.

Он поворачивается ко мне и пытливо смотрит в мое лицо. Во все время моего рассказа он молчит и только изредка кивает головой.

— Вы были у мельника. Убит он. Убили сыновья.

Догадка моя вырастает в уверенность.

— Он убит из ружья. Я знаю причину.

Ходоров удивлен и лезет в карман за записной книжкой.

— Ну-с. Говорите, говорите.

Я угадал и мне уже неприятна моя откровенность.

— Ну-с.

Я рассказываю все, что знаю, о старике, о его сыновьях. Рассказываю о своем разговоре с покойником на охоте. Поминаю имя Руфи. Рисую гулянку на празднике в Мартыновке.

Ходоров пишет быстро, иногда взглядывает на меня и хмурится. Когда я заканчиваю рассказ, он ставит точку и прячет книжку в карман. Он еще долго глядит на меня и говорит:

— Удивительный случай. Не догони я вас, мне бы долго искать причину убийства. Ведь теперь яснее ясного, что они его за наследство бухнули. Как вы думаете?

Я согласен с предположением, но настаиваю на его точной проверке. Возможна ошибка.

— Да, да. Конечно. Проверить необходимо. О, теперь в моих руках крепкий узелок. А эта Руфь хороша собой или?.. Впрочем, придется и ее допросить.

— Только вы ее-то не особо пугайте. Она ведь совсем не причастна. Мало ли какой дед еще на нее позарится.

— Да, да.

Мы везжаем в Семеновский лес и я останавливаю лошадь.

— Прощайте, товарищ.

Ходоров крепко жмет мою руку и благодарит:

— Уж я о вас в дознании умолчу. Пусть будет, будто я сам все раскрыл. А?

Я с радостью уступаю ему авторство.

На стойле я нахожу Дмитрича и передаю ему щук. Он оглядывает их, взвешивает на руке и чмокает губами.

— Вот это здорово. Вот это лихо. Эх, и юшка будет!

Я не рассказываю ему о смерти мельника, потому что в этом деле замешана его дочь. Мне не хочется беспокоить старика.

Вторую неделю живу я безвыездно в курене. Целыми часами лежу неподвижно. Новая вещь забродила в моей голове. Она захватила меня целиком и отдельные главы ее я представляю изумительно четко, но вся она еще плавает в каком-то неясном тумане. Я еще не знаю, как начну и чем кончу, но уже лихорадочный озноб пробегает по телу и заставляет заглядываться на белоснежные листы бумаги.

— Рано, — говорю я сам себе.

Кудеяров вир, Руфь, мельник и его сыновья, рассудительный Леон. Сама жизнь подсунула мне их.

Кто-то кашляет возле куреня. Я поднимаюсь и выхожу на берег.

В сумерках угасающего вечера я узнаю Дмитрича. Рядом с ним стоит закутанная в темный платок Руфь.

— Здравствуй, дружок, добрый тебе вечер. Принимай гостей.

— Здравствуй, Дмитрич. Здравствуйте, Руфь.

Я вижу, как она вздрагивает и молча кланяется. Дмитрич топчется на месте и то оглядывается на дочь, то глядит на меня и словно ждет чего-то или хочет и стесняется о чем-то сказать.

— Что ж, дорогие гости, Негде мне принять вас. В курене тесно. Располагайтесь на бережку. Сейчас чайник вскипятим.

Дмитрич протягивает руку и останавливает меня.

— Насчет чаю ты не беспокойся. Не до чаев нам. Мы к тебе по большому делу. Давай сядем, што ли. — Он оглядывается на Руфь и голосом, в котором звучит и горечь и страсть, говорит ей:

— Садись и ты.

Мы садимся с Дмитричем у самой воды и закуриваем. Руфь, откинув на плечи шаль, открывает свою красивую голову и стоит поодаль.

— Разговор будет о мельнике? — спрашиваю я.

Дмитрич испытующе глядит на меня и качает отрицательно головой.

— Хуже, — говорит он, раскуривая трубку, и, выпустив первые струйки дыма, повторяет:

— Хуже... Ты вот что, — обращается он ко мне. — Давай, коли так, чайку попьем. Я костерчик разведу, а ты вот с этой Гандзей поболтай. Ее это дело.

Я соглашаюсь. Дмитрич поднимается и отходит от нас в поисках хвороста.

— Что у вас случилось? — спрашиваю я у девушки. Она оборачивается, следит некоторое время за уходящим отцом и шагает ко мне.

— Вы садитесь, Руфь, так будет удобнее.

Она безвольно повинуется и, не глядя на меня, нервно теревит концы платка. От опущенных длинных ресниц под глазами у нее глубокая синева.

— Что случилось?

Она вздрагивает, поднимает на меня лицо и я вижу, что не ресничная тень, а какая-то глубокая усталость легла на ее бледное, поху-давшее лицо. Губы ее слегка вздрагивают.

— Леона забрали.

— Леона? За что?

Она проводит по глазам концом платка.

— Ах, рассказать вам, не поверите. Ведь вы знаете Леона? Он-то вас знает. Он мне не раз говорил. Забрали его.

В голосе ее ломаются дрожащие нотки и я боюсь, что она заплачет.

— Вы не волнуйтесь, Руфь. Вы только не волнуйтесь. Расскажите толком.

Она молчит несколько времени, задумчиво глядит на реку. Закат еще не догорел и его отблески падают на ее лицо и бронзой отливаются в глазах.

— За почту,—говорит она вдруг и придвигается ко мне.—Ведь вы знаете Леона. Жених он мне... Ну и вот... Я сама не знала, что он на такое пойдет. Разве бы я допустила.

Она умолкает и борется с подступившими слезами. Потом начинает говорить покойнее, почти шопотом.

— Сам-то он курёнок. Курёнок, как есть. Разве он осмелился бы. Затянули его в это дело. О-ох! Затянули. Вы нашу Совицкую потребилку знаете? Так вот. Она и затянула. Леон деньги, как вам известно, получал для разноса. Пересыльные деньги. Ну, а потребильщики его и сбили. Задержи, мол, выдачу, а мы на эти деньги спекульнем. Прибыль пополам. Леон и пошел на этакое дело. И все за меня. И что я за проклятая такая — и мельника за меня убили, и Леон... Я его толкнула. Не хотела за бедного выходить. Очень страшно было нищенствовать. Ей-богу! Я виновата. Дал он им пересыльных денег раз, и другой и третий. Они в Москву ездили за мануфактурой и все с рук сходило. А последний раз не сошло. Селиванихин сын с шахты пришел, узнал, что мать денег не получала, начал копать и докопался. Будто Леон и в расписках сам подписи делал. Леона-то в город увезли, а в потребилке растрата оказалась, тех тоже забрали. Следовательно приехал...

Дмитрич подошел, постоял, укоризненно глядя на дочь, и сбросил на землю связку сушняка.

— Ну, что? — спросил он.

Руфь быстро поднялась и, вытирая глаза платком, отошла в сторону.

— Плохо дело, — сказал я. Дмитрич огладил бороду.

— Да я так и думал. Хуже некуда. Посоветуй, что-нибудь?

Я вынес из куреня чайник и чашки. Дмитрич развел под треногой огонь.

Что я мог сделать и как помочь? Преступление было слишком велико. Я не знал, по каким статьям оно карается, но чувствовал, что кара будет тяжелой.

В моей памяти встали и Леон, и Пронт, и продувной приказчик, и моя встреча с ними в Совице.

Когда чайник брызнул в костер и Дмитрич налил в чашки чай, я окликнул Руфь. Она подошла уже успокоенная и робко присела к костру, но от чая отказалась.

— Сколько денег не роздал Леон? — спросил я.

— Говорят, тысяча двести. Да люди говорят — может, и меньше.

— Знаете, Руфь. Идите завтра в город. Добейтесь свидания с Леоном. Скажите ему, что самое лучшее, если он повинится откровенно во всем. Потребильщиков ему щадить нечего, а самому ему легче будет.

Руфь наклонила голову и вздохнула. Дмитрич оглянулся на нее и сдвинул брови.

— Вот и я тоже говорю. Покайся, мол, и все. Ну...

Руфь еще ниже склонила голову и прошептала:

— А я-то как же теперь? Я-то?

Всю ночь я не спал. Боль за несчастную девушку, за парня, так нелепо попавшегося в руки хитрого Пронта, мучили меня. Я не оправдывал Леона. Нет. В конце концов у него была на плечах достаточно трезвая голова, но что поделаешь, если соблазн лучшей жизни, соблазн назвать женою любимую девушку стали сильнее здравого смысла. В конце концов он не закоренелый преступник, а только жертва сложившихся не в его пользу обстоятельств и цепких рук ловких спекулянтов, присосавшихся к кооперации.

Утром я решил идти к следователю и — что будет, то будет, — но поговорить с ним. Может быть, мой разговор хоть на иоту облегчит участь парня и девушки. Когда всходило солнце, я уже подходил к околице Совицы.

На околице на знакомом бугре я встретил зеленоглазого столетнего деда, пастуха гусей. Он долго из-под руки вглядывался в меня, узнал и засмеялся.

— Вона. Ну, ну, ну! Вот я и говорил. Что, говорил, али нет? Лопнула твоя употребилка. А ты говоришь. Я уж знаю. Не первый раз.

Я присаживаюсь возле и говорю:

— Дедуш, ты прав, конечно, на этот раз. Но ведь это не закон. А возьми Белановский кооператив, возьми Мартыновский, возьми город...

Лицо старика становится серьезным и седые брови двигаются.

— Да, да, да, — говорит он, глядя мимо меня. — Белановский, Мартыновский, город... Так ведь там люди другие. А наши...

— Вот и ваши. Не умеете выбрать достойных, потому и каетесь. Ты член потребилки?

— Член. А как же. И мой трешник там плачет. Сало-быть, член.

— А на выборах ты был, на прошлгодных?

Старик отрицательно качает головой.

— Чего я пойду туда? Все одно меня не послушают. Там, дружок, старикам делать нечего.

— Вот то-то и оно. Ты не пошел, другой не пошел, кто же выбрал-то? И кого выбирать? Ну?

Он виновато глядит и соглашается.

— В этом ты прав. Правду говоришь. Да ведь и я про то самое. Сами, мол, мы никуда. Бить нас некому.

— Так вы себя же и бьете. Разве не больно?

— Больно.

Я спрашиваю старика, где остановился следователь, если только он в Совице.

— Кажись, у Степичевых. Ты к нему, что ли? Возле употребилочки Степичев-то. Рядком.

Я прощаюсь со стариком и иду по указанному им адресу.

Прощай, Сожа!

Прощай, Сожа. Город поманил меня теснотой своих шумных гудливых улиц и я бегу на его зов. Прощай, Сожа!

Камыш у твоих берегов пожелтел и осока пожелтела. Вода твоя очистилась от тины и прозрачна до самого дна. Ночи твои стали мгlistы и холодны. Вчера на берег лег первый заморозок и ночью я видел на небе звезды Ориона. Дай мне глоток влаги, последний глоток, и прощай.

Я уношу за плечами первые вехи не начатого еще мною романа о Кудеяре. Возможно, я еще вернусь к твоим берегам, чтобы начать его или кончить.

Я прохожу мимо коровьего 'стойла и не нахожу Дмитрича. Вместо него стадо караулит льняноголовый веснушчатый мальчуган. Он сидит под деревом и насвистывает в самодельную камышевую сопилку несложный мотив.

— Где же Дмитрич? — спрашиваю я у него.

Мальчуган перестает играть и с любопытством оглядывает меня.

Я повторяю вопрос. Мальчуган машет рукой в пространство.

— Там, — говорит он. — В Мартыновку пошел.

— Зачем?

— А у него дочь потопилась. Третьего дня вытащили.

— Что?! Ты врешь, малыш! Ты...

Мальчуган не врет. Он говорит правду и этой правдой отнимает у меня силы.

Шатаясь, я отхожу от него и плетусь по своей дороге.

Камышевая сопилка тоскливым свистом провожает меня.

— Прощай, Семеновский лес!

К вечеру я подхожу к станции. Ее каменные здания сверкают в меня отраженным окнами солнцем.

По линии дороги бегают окутанный паром паровозик и на стрелках уже зеленеют и краснеют сигнальные огни. Я беру билет и сажусь в третьем классе в ряд с ожидающими поезда пассажирами. Я не вижу их лиц, и стоящего в помещении говора я не слышу.

Руфь! Руфь, черноглазая красавица стоит перед глазами и ее голос звучит в голове:

— Леон, Леон! Дурачок ты...

Кто-то крикает возле меня и тяжелая рука опускается ко мне на плечо.

— Здорово!

Я поднимаю голову и радостно вздрагиваю.

— Кудеяр!

Он стоит возле меня все в тех же отрепьях, только за спиной у него топорщится мешок и выглядывает закопченный чайник.

— Садитесь, Кудеяр. Куда это вы?

Он присаживается возле меня и спрашивает и отвечает:

— Закурить-то есть? В Донбасс еду.

Он закуривает и чему-то улыбается.

— Вот ведь как получается. И не думал уходить, да пришлось.

— Что так?

Он вздыхает.

— Да вы, чай, слышали, какое у меня на виру приключение получилось.

— Нет.

— О? Девка утопилась.

Я схватываю его за руку и тороплю.

— Ну, скорее, Кудеяр, говорите. Как это...

Он недоумевающе смотрит на меня и, закурился, все так же не спеша рассказывает:

— В понедельник ночью. Просыпаюсь я и слышу, что будто кто плачет на середине вира. Я к берегу. Только я к берегу, а она с лодки да в вир. Я ошалел. Кинулся за ней. Да где же достать. Не достал. Пришлось на Мартыновку подаваться, людей собирать. Пока то да се, насили кошками к вечеру вытащили.

Кудеяр замолкает и долго сопит. Потом гладит бороду, оправляет ее завитые концы и добавляет:

— Хорошая девка, а, как говорят, за парня утопилась. Парня ее заарестовали. Вот теперь и я с вира бегу. Тяжело на нем жить. Все мне эта самая девка представляется. Бегу в Юзову. Был кузнецом, может, опять в кузницы примут.

На перроне сперва осторожно, потом тревожно звонит колокол. Пассажиры с шумом подымаются с лавок и идут к выходу.

— Это ваш вышел, — говорит Кудеяр и тоже подымается.

— Прощайте, Кудеяр.

— Всего хорошего. Не дадите ли табачку? Ехать мне далеко, а денег кот наплакал.

Я отдаю ему свой табак и жму руку.

— Прощайте, Кудеяр. Может быть, встретимся. — Он улыбается, осторожно стискивает мою утонувшую в его ладони руку и поводит крутыми аршинными плечами.

— Может, и свидимся. Прощайте, гражданин.



Хождение по мукам

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹⁾)

На колокольне ударил малиновый звон. Захлопали калитки по селу, раскрылись ставни, на улицу побежали женщины, вышли осторожные мужики, взялось непонятно откуда великое множество народа, — с песнями и говором пошли на шлях — встречать победоносную махновскую армию.

Алексей Красильников вместе с Катей отнес полумертвого Мишку на Митрофанов двор, положил его в холодке в летней клети на кровать Александры. Катя занялась перевязкой. С трудом отодрала от волос заскорузлое тряпье. Мишка только хрустел зубами. Когда начали промывать страшную рану с правой стороны черепа, Александра, державшая таз, ахнула и зашаталась. Алексей, схватив таз, отпихнул ее:

— Торчит, видите, сбоку — востренькая — косточка, — сказал он Кате. — Сашка, принеси сахарные щипцы...

— Ой, нету, сломались.

Катя ногтями схватила осколок косточки, торчавший в ране. Потянула. Мишка зарычал. Это был, несомненно, осколок. Ногти ее скользили, она перехватила глубже. Вытащила. Алексей шумно вздохнул, засмеялся:

— Вот, как воюем-то, по-мужицки...

Чистым полотном забинтовали Мишкину голову. Весь мокрый, дрожа мелкой дрожью, он лег под тулуп и открыл глаза. Алексей нагнулся к нему:

— Ну, как, — жив будешь?

— Вчера ей хвастал, вот и нахвастал, — помертвело улыбаясь, проговорил Мишка. Он смотрел на Катю. Она вытирала руки и тоже подошла и наклонилась к нему. Он прошевелил губами:—Простишь, или нет?

¹⁾ См. «Новый Мир», №№ 7—12 за 1927 г. и № 1 с. г.

Катя не поняла. Он замотался по подушке, стал глядеть на Алексея:

— Алеша, побереги ее.

— Знаю, знаю.

— Я дурное над ней задумал... Не ночью, а как мы ехали на бой, — со зла, что ли... В город ее надо отправить.

Он опять уставился на Катю строгим, почти испуганным взглядом. Он преодолел боль и жар лихорадки, как пустяк, ерунду, досаду. Прикосновение смерти разметало в нем все вихри страстей и противоречий, и ясность сошла на его страшное возбуждение. Он почувствовал в эту минуту, что не злодейство и пьяный угар в нем главное, что это в нем от тьмы, и не пьяница он и злодей, а взметнувшаяся, как птица в бурю, российская душа, и что для героических дел он пригоден не хуже другого, — по плечу ему и высокие дела... И он чувствовал, что именно Катя могла бы все это понять, и даже, быть может, поняла вчера ночью, и перед ней хотелось ему быть великодушным и насквозь светлым. Но сказать всего этого он не умел. Попробовал, пробормотал и жестоко отвернулся.

Но Катя поняла. Внезапно волна слез подкатила к горлу. Задрожавшими губами она коснулась его лица, и оно тоже все дрожало. Алексей сказал:

— Теперь пускай спит. Ничего, — парень горячий, отлежится.

Катя вышла с Алексеем на двор. Она несколько раз споткнулась, — так была задумчива. Продолжалось все то же странное состояние безболезненного сна наяву, потери себя, будто она становилась травинкой, мурашкой под необъятным небом в этой горячей степи, где пахло древним дымом кизяка, где снова после вековой стоянки рыскал на коне человек, широко скадя зубы вольному ветру, где страсти утолялись, как жажда, из полной чаши...

Ей не было страшно, не было больно. Свое горе свернулось, комочком, никому, да и ей самой, здесь не нужное. Позови ее сейчас на жертву, на подвиг, она бы пошла с тою же легкостью, не думая. Скажи ей, — надо умереть. Ну, что же, — только вздохнула бы, подняв к небу синие глаза.

— Вадим Петрович убит, — сказала она. — Я в Москву не вернусь, там у меня никого... ничего нет... Что с сестрой — не знаю... Думала — куда-нибудь деться, — в Екатеринослав, что ли...

Расставив ноги, Алексей глядел в землю. Покачал головой:

— Зря пропал Вадим Петрович, хороший был человек...

— Да, да, — сказала Катя, и слезы наполнили ее глаза, — он был очень хорошим человеком.

— Не послушались вы меня тогда. Конечно, — мы за свое и вы — за свое. Тут обижаться не на что. Но куда же воевать против народа! Вадим Петрович захотел, — на службу поступил, или чем другим

заялся. А у нас — одно, — хозяйство. Разве мы сдадимся! Мы, как звери... Видели сегодня мужиков? То-то. А справедливый был человек...

Катя сказала, глядя на свесившуюся из-за плетня тяжелую ветвь черешни:

— Алексей Иванович, посоветуйте мне, что делать? Жить ведь нужно... — Сказала и испугалась, — слова улетели в пустоту. Алексей ответил не сразу:

— Что делать? Ну, вопрос, — самый господский. Это как же так, — образованная женщина, умеете на разных иностранных языках, на рояли, красавица, и спрашиваете у мужика, — что делать?

Лицо у него стало злым и презрительным. Он тихо побрякивал гранатами, висевшими у пояса. Катя поджалась. Он сказал:

— В городе дела для вас найдутся. Можно в кабак — петь, танцевать, можно — кокоткой, можно в канцелярию — на машинке. Не пропадете.

Катя опустила голову, — чувствовала, что он смотрит на нее, и от этого взгляда не могла поднять головы. И, как и тогда с Мишкой, она внезапно поняла, почему взгляд Алексея так зло уперся ей в темя. Не такое теперь было время, чтобы прощать, миловать. Не свой, — значило — враг. Спросила, как ей жить. Спросила у бойца, еще горячего от скачки, от свиста пуль, от хмеля победы... Как жить... И Кате диким показался этот вопрос. Спросить — с каким другом, за какую волю лететь по степи в тачанке? Вот тут бы добром сверкнули его глаза...

Катя поняла и пустилась на хитрость, как маленький зверек. За эти сутки в первый раз попыталась защищаться:

— Плохо вы меня поняли, Алексей Иванович. Не моя вина, что меня гоняет, как сухой лист по земле. Что мне любить? Чем мне дорожить? Были бы когти — и то не стала бы царапаться. Не научили меня, так и не спрашивайте. Научите сначала. (Он перестал постукивать гранатами, значит — насторожился, прислушался.) Вадим Петрович против моей воли ушел в белую армию. Я не хотела этого. И он мне бросил упрек, что у меня нет ненависти... Я все вижу, все понимаю, Алексей Иванович, но я — в сторонке... Это — ужасно. В этом вся моя мука... Вот, почему я вас спросила, что мне делать, как жить...

Она помолчала и потом открыто, ясно взглянула в глаза Алексею Ивановичу. Он моргнул. Лицо стало простоватым, растерянным, точно его здорово провели. Рука полезла в затылок, заскребла.

— Это — драма, это вы — правильно, — сказал он, морща нос. — У нас — просто. Брат убил у меня во дворе германца, хату подожгли и — бежать. Куда? К атаману. Знаем, за что боремся. А вы, интеллигенция... Действительно... Вот ты чорт!.. За что же вам бороться?

Катина хитрость удалась: Алексей Иванович уперся лбом в тупик, и, видимо, намеревался тут же разрешить проклятый вопрос: — за какую правду бороться таким, как Катя, — безземельным и безлошадным, у кого весь рабочий инструмент в голове.

Это было бесплодное занятие у плетня под черешней, на которую глядела Катя. Ей захотелось сорвать две, висевшие сережкой, черные ягоды, но она продолжала тихо стоять перед Красильниковым, только в больших глазах ее, озаренных небом, мелькали искорки юмора.

— Если мы, мужики, вас, городских, кормим, — значит вам нужно стоять за нас, — сказал Алексей Иванович, усиливая впечатление решительным жестом. — Мы, большевики, крестьянство, мы против немцев, против белых, против коммунистов, но за сельские вольные советы. Понятно?

Она кивнула. Он продолжал говорить. Тогда она поднялась на цыпочки и левой рукой, так как на правой было разорвано под мышкой, сорвала две ягоды, одну положила в рот, другую стала крутить за хвостик.

— Быть бы мне деревенской — все бы стало ясно, — сказала она, и выплюнула косточку. — Сколько раз слышала: родина, Россия, народ, а что это такое, — вот, вижу в первый раз. — Она съела вторую ягоду, оглядывая Алексея Ивановича, его золотистую на свету бородку, раскинутый на груди кожух, крепкие ноги, страшное вооружение.

— Народ, народ, — проговорил он, все больше смущаясь, — невидаль, конечно, небольшая... Но своего не отдадим. — Он крепко схватился за кол, торчавший из плетня, попробовал — прочен ли. — Жестоко будем воевать хоть со всем светом... Вам, Екатерина Дмитриевна, не меня, — наших бы анархистов послушать, они мастера говорить... Только... (Брови его шевельнулись, строгие глаза пытливо скользнули по Кате.) Беда с ними, — ерники неудержимы, алкоголики... Пожалуй, что вас не стоит им и показывать...

— Пустяки, — сказала Катя.

— Те-есть как пустяки?

— Так, — я не маленькая, с этим ко мне не сунешься.

— Это вы хорошо говорите...

У Кати дрогнул подбородок, улыбаясь, потянулась опять к черешневой ветке. Чувствовала, как все тело пронизывает, жаскает солнечный зной. И это был сон наяву.

— Все-таки, — сказала она, — что же я могла бы у вас делать, как вы думаете, Алексей Иванович?

— По просветительной части... У батки заводится политотдел... Говорят, — газету свою хочет завести.

— Ну, а вы?

— Я-то?.. (Он опять взялся за кол, тряхнул плетень.) Я простой боец, возникший на пулеметной тачанке, мое место в бою... Вы, Екатерина Дмитриевна, сначала пообсмотритесь, сразу, конечно, не решайте. Я вас сведу с невесткой, братниной женой, Матреной, — она при армии у нас разведчиком. Брат люцист, пулеметчик. Мы вас, что ли, — в семью примем...

— А батко Махно приказал приходить вечером — ногти ему чистить.

— Что! — Алексей сразу схватился обеими руками за пояс под кожаном, даже нос у него заострился. — Ногти?.. Сволочь! А вы что ему ответили?

— Я — в плену, — спокойно сказала Катя.

— Ладно. Пошлет за вами — идите. Но только я там буду...

С крыльца в эту минуту, трепля фартуком, сбежала толстая Александра:

— Едут, едут, — закричала она, кидаясь отворять ворота. Изда-лека были слышны крики «ура», отдельные выстрелы, топот коней. Возвращался батько с армией и народом. Катя и Алексей вышли на улицу. Туча пыли поднималась над шляхом. На буграх, мимо мельниц, в село валили толпы народа, мчались всадники, тройки.

Головная часть армии входила в село. Кругом крутились мальчишки, бежали девки. Мокрые, вспененные лошади, раздувая боками, шли шагом. Махновцы стояли на телегах, в пыли, в поту, с заломленными шапками. Помахивая, гремя оружием, пели:

Из-за холма, из-за леса *),
На тачанках вдоль реки,
Вереницей бесконечной
Наступают мужики.
Впереди Махно суровый,
Вдохновитель боевой,
Всех повстанцев криком грозным
Увлекает за собой.
Мы за равенство и братство,
За советский вольный строй,
За бездомных и несчастных
На буржуев ринем в бой.

Обгоняя народ, в тачанке с развевающимися краями персидского ковра, ехал Махно. Он, подбоченясь и держа у бедра баранью шапку, сидел на снаряжном ящике. Бледное лицо его застыло в напряжении, запекшиеся губы были сжаты. Он поднимал руку и вяло, в такт песне, помахивал.

— Батько, батько, уррра, — вслед ему кричали мужики, — батько, даешь австрийцев!

За ним во второй телеге ехали шесть человек городского вида, — в пиджаках, в мягких шляпах, в соломенных фуражечках, все с длинными волосами, с бородками, в очках: — анархисты из штаба и политотдела. Тройки остановились у Митрофанова двора.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пять месяцев Даша Телегина прожила одна в опустевших комнатах. Иван Ильич, уезжая на фронт, оставил ей тысячу рублей, но этих денег хватило не надолго. По счастью в квартиру, ниже этажем, откуда

*) Подлинная песня повстанцев-махновцев.

еще в январе бежал с семьей важный петербургский сановник, вселился какой-то бойкий иностранец, Матте, скупавший картины, мебель и всякую всячину.

Даша продала ему спальню карельской березы, приобретенную Иваном Ильичем перед свадьбой, несколько гравюр, фарфоровые безделушки. Она равнодушно расставалась с вещами, хранившими в себе, как старый запах, отболевшие воспоминания. С прошлым все, все было покончено.

На деньги, вырученные от продажи, она прожила весну и лето. Время было смутное. В часе езды от Петербурга, за Сестрой-рекой начинался фронт. Правительство переехало в Москву. Город пустел. Дворцы смотрелись в Неву расстрелянными, пустынными окнами. Улицы не освещались. Милиционерам не было большой охоты охранять покой все равно уже обреченных буржуев. По вечерам появлялись на улицах страшные люди, каких раньше никто и не видывал, — коренастые, с длинными руками, с волосами от самых бровей. Они заглядывали в окна, бродили по темным лестницам, пробуя ручки дверей. Не дай бог, если кто не уберется, не заложился на десять крючков и цепочек, — слышался подозрительный шорох и в квартиру проникали неизвестные в солдатских шинелях: — Руки вверх! — бросались на обитателей, били по голове, вязали электрическими проводами, и затем, не спеша, выносили узлы с добром.

В городе была холера. Когда поспели ягоды — стало совсем страшно: люди падали в корчах прямо на улицах и на рынках. Повсюду шептались женщины. Ждали неслыханной беды. Говорили, что красноармейцы сажают на картуз пятиконечную звезду кверху ногами, и это есть антихристова печать, и будто в запертой часовне на мосту лейтенанта Шмита стал появляться «белый муж», и это к тому, что беды ждать надо от великих вод. С мостов указывали в устье Невы на погасшие заводские трубы, — на багровом закате они торчали, как «чортовы пальцы»...

В Петербург не везли ни хлеба, ни сырья, ни топлива. На военных заводах начали делать зажигалки. Фабрики закрывались. Рабочие — уходили в боевые отряды, иные, махнув рукой, — по деревням. На улицах кое-где между булыжниками зазеленела травка.

Даша выходила из дома не каждый день и то только по утрам, — на рынок, где бессовестные чухонки заламывали две пары брюк за пуд картошки. Все чаще на рынках появлялись красногвардейцы и стрельбой в воздух разгоняли пережитки буржуазного строя, — чухонка с картошкой и дамочек со штанами и занавесками. С каждым днем труднее становилось добывать провизию. Иногда выручал тот же Матте, выменивая старинные вещицы на консервы и сахар.

Даша старалась меньше есть, чтобы меньше было хлопот. Вставала рано. Что-нибудь шила, если бывали нитки, или брала книжку, — роман, рассказы, помеченные тринадцатым, четырнадцатым годом, читала — только, чтобы не думать, но больше всего думала, сидя у

окна, — вернее — мысли ее блуждали вокруг темной точки. Недавнее душевное потрясение, отчаяние, смертная тоска, все словно сжалось теперь в этот темный посторонний комочек в мозгу: — остаток болезни. Она так похудела, что стала похожа на девочку, какою была в четырнадцать лет. Да и всю себя чувствовала снова по-девичьи, но уже без девичьей игры.

Проходило лето. Кончались белые ночи, и мрачнее, багровее разливались закаты за Кронштадтом, где ржавели военные корабли. В открытое окно с пятого этажа Даше далеко было видно: — пустеющие улицы, куда опускался ночной сумрак, темные окна домов. Огни не зажигались. Редко слышались шаги прохожего.

Даша думала: — что же будет дальше? Когда кончится это оцепенение? Скоро осень, дожди, снова завоет студеной ветер над крышей. Нет дров. Шуба продана. Может быть, вернется Иван Ильич... Но будет снова — тоска, краснеющие угольки в лампочках, ненужная беспросветная жизнь...

Найти силы, стряхнуть оцепенение, уйти из этого дома, где она заживо похоронена, уехать из этого умирающего города!.. Тогда должно же случиться что-то новое в жизни... Первый раз за этот год Даша подумала о «новом». Она поймала себя на этой мысли, взволновалась; изумилась, будто снова сквозь завесу безнадежного уныния почудились отблески сияющего простора, — того, что пригрезился ей однажды на волжском пароходе.

Тогда настали дни грусти об Иване Ильиче, — она жалела его по-новому, по-сестриному, с жалостью вспоминала его терпеливые заботы, его никому, в конце концов, не мешающее добродушие. Она еще не понимала, что этой жалостью хоронила Ивана Ильича.

Даша отыскала в книжном шкафу три белых томика стихов Бессонова, — совсем истлевшее воспоминание. Прочла их перед вечером, в тишине, когда мимо окна летали ласточки, как черные стрелки. В стихах она нашла слова о своей грусти, об одиночестве, о темном ветре, который будет посвистывать над ее могилой... Даша помечтала, заплакала. На утро достала из сундука, из нафталина, совсем еще хорошее платье, сшитое к свадьбе, и начала его переделывать.

Как и вчера, летали ласточки, светило бледное солнце. В тишине далеко раздавались редкие удары, иногда — треск, тяжело что-то падало на мостовую: — должно быть в переулке ломали деревянный дом, брошенный обитателями.

Даша, не торопясь, шила. Наперсток все соскальзывал у нее с похудевшего пальца, один раз чуть не упал за окно. Вспомнилось, как с этим наперстком она сидела на сундуке в прихожей, у сестры, ела шоколад с хлебом.... Это было в четырнадцатом году. Катя поссорилась с мужем и уезжала в Париж. На ней был серый в клеточку костюм, вуалька и маленькая шапочка с трогательно-независимым перышком. Уже в дверях она обернулась, увидела Дашу на сундуке, спохватилась: «Данюша, едем со мной»... Даша не поехала от самона-

деянности... А сейчас... Перенестись в Париж... Даша знала его по Катиным письмам: — голубой, шелковый, пахнувший, как коробочка из-под духов... Она шила и вздыхала от волнения. Уехать!.. Говорят, поездов нет, за границу не выпускают... Пробраться бы пешком, — итти с котомкой через леса, горы, поля, синие реки, из страны в страну, в дивный изящный город...

У нее закапали слезы. Какие глупости, ах, какие глупости! Повсюду война. Немцы стреляют в Париж из огромной пушки. Размечталась, боже мой, боже мой... Разве справедливо — не давать человеку жить спокойно, чисто и радостно... «Что я сделала им?»... Наперсток закатился под кресло, солнце расплылось сквозь слезы, с пустынным свистом носились ласточки: — этим-то, хоть бы что, — были бы мухи и комары... «А я уйду, все-таки уйду», — плакала Даша...

Затем в прихожей послышалось несколько редких и настойчивых ударов в дверь. Даша положила иголку и ножницы на подоконник, вытерла глаза скомканным шитьем, бросила его в кресло и пошла спросить — кто стучит...

— Здесь живет Дарья Дмитриевна Телегина?.. — Даша, вместо ответа, нагнулась к замочной скважине. С той стороны тоже нагнулись и в скважину осторожный голос проговорил: — Ей письмо из Ростова... — Даша сейчас же открыла дверь. Вошел неизвестный в измятой солдатской шинели, в драном картузишке. Даша струсила, отступила, протянув руки. Он поспешно сказал:

— Ради бога, ради бога... Дарья Дмитриевна, вы меня не узнаете?..

— Нет, нет...

— Куличек, Никанор Юрьевич... Помощник присяжного поверенного... Помните Сестрорецк?

Даша опустила руки, вглядываясь в остроносое, давно не бритое, черноволосое худое лицо. Морщинки у глаз, внимательных и быстрых, говорили о привычной осторожности, неправильный рот — о решительности и жестокости. Он был похож на зверка, высматривающего опасность.

— Неужели забыли, Дарья Дмитриевна?.. Был тогда помощником у Николая Ивановича Смоковникова, покойного мужа вашей сестры... Был в вас влюблен, вы меня тогда еще отшили на пляже... Вспоминаете?

Он вдруг улыбнулся как-то по-позабытому, по-«довоенному», — простодушно, и Даша все вспомнила: — плоский песчаный берег, солнечную мглу над теплым и ленивым заливом, себя — свежую, тоненькую, — «недотрогу», — летнюю шляпу с бархатными лентами, влюбленного, глупого Куличка, которого она ото всей своей высокомерной девственности презирала... Запах высоких сосен, день и ночь важно шумящих на песчаных дюнах...

— Вы очень изменились, — задрожавшим голосом сказала Даша, и протянула руку Куличку. Он ловко подхватил ее, поцеловал. Не-

смотря на шинелишку, сразу было видно, что эти года служил в кавалерии.

— Разрешите передать письмо. Разрешите пройти куда-нибудь— снять сапог... Оно, разрешите, у меня в портянке. — Он многозначительно взглянул и прошел за Дашей в пустую комнату, где сел на пол и, морщась, принялся стаскивать грязный сапог.

Письмо было от Кати, то самое, которое она передала в Ростове подполковнику Тетькину.

С первых же строк Даша вскрикнула, схватилась за горло... Вадим убит!.. Не поспевав глазами, пролетела по письму. Жадно перечла еще раз. В изнеможении села на ручку кресла. Куличек скромно стоял в отдалении.

— Никанор Юрьевич, вы видели мою сестру?

— Никак нет. Письмо мне было передано десять дней назад одним лицом, — оно сообщило, что Екатерина Дмитриевна уже больше месяца, как покинула Ростов...

— Боже мой! Где же она? Что с ней?

— К сожалению, не было возможности расспросить.

— Вы знали ее мужа? Вадим Рощин... убит... Катя пишет, — ах, как это ужасно...

Куличек удивленно поднял брови. Письмо так дрожало у Даши в худенькой руке, что он взял его, пробежал те строки, где говорилось о Валерьяне Оноли, рассказавшем Кате в номере гостиницы о смерти мужа... Угол рта у Куличка недобро пополз кверху.

— Я всегда думал, что Оноли способен на подлость... По его сообщению выходит, что Рощин убит в мае. Так? А я недавно еще имел удовольствие видеть Вадима Петровича в добром здравии...

— Когда? Где?

Но тут Куличек, точно трансформатор, вытянул хищный носик, колочке устался на Дашу. Впрочем, продолжалось это лишь секунду. Дашины, пылающие волнением, глаза, задрожавшее лицо, цепляющиеся холодные пальчики яснее ясного говорили, что тут дело верное: — хоть и жена красного офицера, но не предаст. Куличек спросил, придвигаясь к Дашиным глазам:

— Мы одни в квартире? (Даша поспешно закивала: — да, да.) Послушайте, Дарья Дмитриевна, то, что я скажу, ставит мою жизнь в зависимости от...

— Вы деникинский офицер?

— Да.

Даша хрустнула пальцами, взглянула в окно, с тоской — в эту недостижимую синеву...

— У меня вам нечего опасаться...

— В этом я был уверен... И я хочу просить у вас ночлега на несколько дней.

Он проговорил это твердо, почти угрожающе; Даша нагнула голову:

— Хорошо...

— Но, если вы боитесь... (Он отскочил.) Нет? Не боитесь? (Подскочил.) Я понимаю, понимаю... Но вам бояться нечего... Я очень осторожен... Буду выходить только по ночам... Ни одна душа не знает, что я — в Питере... Вот... (Он вытащил солдатский документ.) Я — Иван Свищев, Псковской губернии, Псковского уезда, красноармеец. Подлинник. Своими руками снял...

Он сунул документ за подкладку картуза. Даша стояла перед ним, опустив голову. Он схватил ее за руки, встряхнул, сжал:

— Так вы, стало быть, с нами, Дарья Дмитриевна? Ну, спасибо... Вся интеллигенция, все оскорбленное, замученное офицерство собираются под священные знамена Доброармии. И мы далеко не одни... За нами — верные союзники: Англия и Франция. Они отлично разграничивают истинных патриотов, готовых жертвовать последней каплей крови для родины, ото всех этих заплombированных негодяев, продавших Россию в Бресте за тридцать серебрянников... И вы увидите, — Россия будет спасена, и спасут ее белые руки. А эти мозолистые хамские лапищи — прочь!.. Прочь от России! Довольно сентиментальностей... Трудовой народ! Я сейчас проехал полторы тысячи верст на крыше вагона... Видел этот трудовой народ. Вот сволочь! Вот зверье! Я утверждаю, — только мы, ничтожная кучка героев, — несем в своем сердце истинную Россию. И мы вобьем им нашу правду острием штыка...

Дашу оглушил поток слов... Куличек пронзал черным ногтем пространство, вбивал в него идеи кулачными ударами, летела пена с углов его рта. Должно быть ему слишком долго пришлось помалкивать на крыше вагона.

— Дарья Дмитриевна, не буду скрывать от вас... Я послан сюда, на Север, для разведки и вербовки... Многие еще не представляют себе наших сил... В ваших газетах мы — просто белогвардейские банды, жалкая кучка, которую они послезавтра окончательно сотрут с лица земли... Немудрено, что офицерство боится ехать... А вы знаете, что на самом деле происходит на Дону и Кубани?.. Особая Южная армия донского правительства растет, как снежный ком. Воронежская губерния уже очищена от красных. Ставрополь под ударом... Со дня на день мы ждем, что атаман Краснов выйдет на Волгу, захватит Царицын... Правда, он снюхивается с немцами, но... это не надолго... Теперь, — мы, деникинцы, идем, как на параде, на юг Кубани. Торговая и Великокняжеская нами взяты. Сорокин разбит вдребезги. Армия Калнина бежит, снимая сапоги. Все станицы восторженно приветствуют Доброармию. Под Белой Глиной мы устроили Мамаево побоище, мы наступали по таким горам трупов, что ваш покорный слуга по пояс был в крови...

— Стольких вы убили? — побледнев, спросила Даша. Куличек высокомерно усмехнулся:

— Думаете это все? Это только начало расправы. Пожар, зажженный нами, перекидывается на всю страну. Самарская, Оренбургская, Уфимская губернии, весь Урал — в огне. Лучшая часть крестьянства сама организует белые армии. Вся средняя Волга в руках чехов, они лихо расправляются с большевиками. От Самары до Владивостока — сплошное восстание. Если бы не проклятые немцы — вся Малороссия встала бы, как один человек. Города верхнего Поволжья, это — динамитные погреба, куда остается только сунуть фитиль... Большевикам я не даю и месяца жизни, не ставлю за них и ломаного гроша.

Куличек дрожал от возбуждения. Волнение его передалось Даше. Теперь он уже не казался ей зверком, — она глядела в его востроносое лицо, обожженное ветром степей, закаленное в огне боев. Это была грубая, сильная, горячая жизнь, ворвавшаяся в ее призрачное одиночество. У Даши остро ломило виски, билось сердце. Когда он, гримасничая, показывая мелкие зубы, стал свертывать махорку, Даша спросила:

— Вы победите. Но не будет же война вечно... Что будет потом?

— Что потом? — Затягиваясь, он прищурился. — Потом — война с немцами до окончательной победы, мирный конгресс, куда мы входим величайшими героями, и потом — общими силами всех союзников, всей Европы, восстановление России, — порядка, законности, парламентаризма, свободы... Это в будущем... Но на ближайшие дни...

Он вдруг невидяще взглянул на Дашу. Схватился за правую сторону груди. Ощупал что-то под шинелью. Осторожно вынул сломанную пополам картонку, — крышку от папиросной коробки, — повертел в пальцах. Опять уколол Дашу зрачками.

— Я не могу рисковать, видите ли, в чем дело... У вас тут обыски на улицах... Я вам передам одну вещь. — Он сторожно разложил картоночку и вынул небольшой треугольник, вырезанный, видимо, из визитной карточки. На треугольнике были написаны от руки две буквы О и К... — Спрячьте это, Дарья Дмитриевна, храните, как святыню... Я вас научу, как этим пользоваться... Простите... Вы не боитесь?

— Нет...

— Молодчина, молодчина.

Сама того не зная, просто — подхваченная стремительной волей, — Даша попала в самую гущу заговора, так называемого — «Союза защиты родины и свободы», охватившего столицы и целый ряд городов Великороссии.

Поведение Куличка, — эмиссара деникинской ставки, — было легкомысленным, почти невероятным: с первых же слов серьезно довериться мало знакомой женщине, жене красного офицера. Но он когда-то был влюблен в Дашу, и теперь, глядя в ее серые глаза, не мог не верить, если глаза сказали: — доверьтесь. Кроме того, военные дела красных были из рук вон плохи, и силы, стремительно растущие про-

тив них, так могущественны, что нелепо было опасаться какого-либо предательства.

В то время вдохновение, а не спокойное раздумье двигало человеческой волей. Ревел ураган событий, бушевало человеческое море, каждый чувствовал себя спасителем гибнущего корабля и, размахивая револьвером на пляшущем мостике, командовал — направо или налево руля. И все лишь к а з а л о с ь тогда, все было призрачным, вокруг необъятной России бродили миражи. Глаза помутились от ненависти. То, что хотелось, — возникало в мгновенных декорациях миража.

Так, близкая гибель большевиков была несомненна; войска Антанты уже плыли с четырех сторон света на помощь белым армиям; сто миллионов русских мужиков готовы были молиться на Учредительное собрание; города единой и неделимой империи только и ждали знака, чтобы, разогнав совдепы, на следующий день восстановить промышленность, свободную торговлю и парламентарную законность.

Обманывали себя, грезили миражами все: от петербургской барыни, удравшей с одной переменной белья на теплый юг — переждать события и оставившей горничную Глашу стеречь уютную квартиру, — до премудрого профессора Милюкова, с высокомерной улыбкой спокойно ожидающего конца событий, им самим установленных в исторической перспективе.

Одним из верующих в утешительные миражи был так называемый «Союз защиты родины и свободы». Основан он был в начале весны восемнадцатого года Борисом Викторовичем Савинковым, после самоубийства наказного атамана Каледина и ухода из Ростова корниловской армии. Союз был как бы нелегальной организацией Доброармии. Он об'единял партии: правых эсеров, народных социалистов, левых кадетов, меньшевиков, которые, уклоняясь от активной работы, помогали деньгами, и некоторые анархические группы. Союз ставил перед собой задачи: подвести широко либеральный фундамент под Доброармию, брошенную в политическом смысле на произвол судьбы и стремительно катившуюся в черный монархизм. Второе, — непосредственную военную помощь Доброармии посредством организации восстаний в тылу у большевиков, взрыва военных погребов, мостов и прочее. Третье, — установление твердой военной власти после свержения большевиков. И четвертое, — рука об руку с союзниками продолжение войны с Германией.

Союз начал существовать, когда добыты были деньги. Их тщетно искали у русских промышленников и купечества, — они только хныкали и виляли. Деньги достал «друг русского народа», чешский профессор, впоследствии президент, Массарик, бывший в то время в Москве. Он передал Савинкову некоторые суммы от имени союзников и посулил впоследствии более существенную помощь — войсками, но при том лишь условии, если союз проявит себя, как мощную силу, создаст правительство, куда войдут представители Антанты, и укрепит власть.

Савинков все это обещал, напугав еще раз Массарика красным призраком, с ножом в зубах шагающим по Европе. Тогда, и в дальнейшем, отношения между русскими белыми организациями и союзниками заключались в том, что русские пугали, а союзники давали деньги и военную помощь, делая вид, что дают от смертельного перепуга и любви к России. Как ни странно, но белые этому верили, и часто в недоумении разводили руками — почему союзники то колеблются, то надеваются, то скупаются.

Во главе «Союза защиты родины и свободы» стал неуловимый и законспирированный Савинков. Он расхаживал с крашенными усами по Москве, носил английский френч и защитное пальто. Союз организовывался по-военному: штаб, дивизии, бригады, полки, контрразведка и всевозможные службы. В учреждениях штаба сидел решительный полковник Перхуров. Кавалерией союза заведывал юрисконсульт английского представительства, присяжный поверенный Виленкин, известный в московских литературных кружках, как лихой рубака. По службе связи с иностранными консульствами служил Дикгоф Деренталь, маленького роста очень веселый молодой человек, близкий друг Савинкова.

Вербовка бойцов в члены союза происходила в строгой конспирации. Один человек мог знать только четырех. В случае провала могла быть арестована только пятерка, дальше концов не шло. Пребывание штаба и имена вождей для всех оставались тайной. К желающим вступить в союз являлся на квартиру начальник полка, или части, опрашивал, выдавал денежный аванс и заносил зашифрованный адрес к себе на карточку. Эти карточки с кружками, обозначающими количество бойцов и адресами, еженедельно поступали в штаб. Смотр силам устраивался на бульварах, около памятников, при чем бойцы должны были приходиться, или в шинелях, особенным образом распахнутых, или с ленточкой в условленном месте на шинели. Служащим по связи выдавался треугольник из визитной карточки с двумя буквами, обозначающими, — первая — пароль, вторая — город. По представлении треугольник прикладывался к визитной карточке, к тому месту, откуда был вырезан.

Союз располагал значительными силами разведки. В апреле на подпольной конференции после доклада левого кадета Лукашева было постановлено прекратить саботаж и итти работать в советские учреждения. Так члены союза проникли к центру государственного аппарата. Часть их устроилась в московской милиции. В Кремле был посажен осведомитель. Они захватили военную разведку военконтроля, во главе которой стал член союза, анархист Бирзе. Когда он, видимо чувствуя провал, внезапно исчез из Москвы, на его место был посажен латыш, полковник Бредис, монархист. Кремль опутывался сетями.

Но первоначальный план захвата Кремля понемногу изменился. Тогда представлялось неминуемым взятие Москвы немецкими войсками фельдмаршала Эйхгорна. Крайне подозрительной казалась деятель-

ность германского посла Мирбаха. И, хотя среди членов союза было сильное германофильское течение, — вера в одни только немецкие штыки на свете, — все же общая ориентация была на союзников. В штабе союза назначали даже день вступления в Москву немцев, — пятнадцатого июня. Поэтому было решено, отказавшись от захвата Москвы, где, к тому же, трудно было бы прокормить полтора миллиона ртов, — вывести войсковые части союза в Казань, взорвать все подмосковные мосты и водокачки, в Казани, Нижнем, Костроме, Рыбинске поднять восстание, соединиться с чехами и образовать восточный фронт против немцев, опираясь на богатое Заволжье. В то же время японцы должны оккупировать всю Сибирь до Урала, англичане — Мурманск и Архангельск, французы — Черноморье. План был прост и решителен: одним ударом фронт мировой войны переносился на Волгу. Что же касается оккупированных областей России, — думать нечего, союзники с благодарностью вернут их на мирной конференции на золотом блюде.

Даша поверила всему, до последнего слова, о чем говорил Куличек: русские патриоты, или, как он назвал их — рыцари духа, боролись под трехцветным знаменем за прекрасную, светлую, чистую жизнь... Они сражались за то, чтобы исчезли навсегда наглые чухонки с картошкой, чтобы улицы в Петербурге ярко осветились и пошла бы по ним веселая, нарядная толпа, чтобы можно было в минуту уныния надеть шапочку с перышком и вуалькой, уехать в Париж... Чтобы на поле у Летнего сада не прыгали бы больше попрыгунчики. Чтобы осенний ветер не качал креста над могилой Дашиного сына. Чтобы проснуться однажды, провести ладонью по глазам, и — поверить: — прошлое было тяжелым сном.

Все это ей обещал Куличек в разговоре за чаем. Он был голоден, как собака, уничтожил половину запаса консервов, ел даже муку с солью. В сумерки он незаметно исчез, захватив английский ключ от двери.

Даша ушла спать. Занавесила окно, легла, и, как это бывает в утомительные часы бессонницы, — мысли, образы, воспоминания, внезапные догадки, горячие угрызения понеслись, сбивая, перегоняя друга друга... Даша ворочалась, совала руки под подушку, ложилась на спину, на живот... Одеяло жгло, пружины телегинского дивана впивались в бок, простыни скользили на пол...

Скверная была ночь. Долгая, как жизнь. Темное пятнышко в Дашином мозгу ожило, пустило ядовитые корешки во все тайные извилины. Но зачем были все эти угрызения, чувство ужасной неправоты, виноватости? Если бы понять! Разжать свое глупое, никому не нужное высокомерие!

И вот, попозже, когда посинела занавеска на окне, Даша замучилась крутиться в фантастическом хороводе мыслей, ослабела и, за-

тихнув, взяла и просто и честно осудила себя с начала до конца, — зачеркнула себя всю.

Села на постели, собрала волосы в узел, сколола их, опустила голые худые руки в колени и задумалась... Одиночка, мечтательница, холодная, никого не любившая женщина, — прощай, чорт с тобой, не жалко... И хорошо, что тебя напугали попрыгунчики у Летнего сада, — мало, страшнее бы надо напугать... Теперь — исчезнуть... Теперь, подхваченная ветром, лети, лети, душа моя, куда велят, делай, что велят... Твоей воли нет... Борись, страдай, люби, ненавидь... Ты — одна из миллиона миллионов... Какой покой, какое освобождение..

Куличек пропадал двое суток. Без него приходило несколько человек, — все — рослые, в потертых пиджаках, несколько растерянные, но крайне воспитанные люди. Нагибаясь к замочной скважине, они говорили пароль. Даша впускала их. Узнав, что «Ивана Свищева» дома нет, они уходили не сразу, — один вдруг принимался рассказывать о своих семейных бедствиях, другой, попросив разрешения курить, осторожно, как холёную, вытаскивал из портсигара с монограммами советскую вонючку и, грассируя, ругательски ругал «рачьих и собачьих депутатов». Третий пускался в откровенность: и бензиновый катер приготовлен, — на Крестовском у дворца Белосельских-Белозерских, — и драгоценности удалось выцарапать из сейфа, но вот, — дети сваливаются в коклюше... Адски не везет!..

Видимо, всем было приятно поболтать с худенькой, большеглазой, милейшей молодой женщиной. Уходя, ей целовали руку. Дашу удивляло только, — уж очень простоваты были эти заговорщики, совсем, как из какой-нибудь глупой комедии... Почти все они справлялись в осторожных выражениях, — не привез ли «Иван Свищев» подёмных сумм? В конце концов, они были больше, чем уверены, что «глупейшая история с большевиками» очень скоро кончится. «Немцам занять Петроград ну, право же, не стоит усилий».

Наконец, появился Куличек, — опять голодный, грязный и весьма озабоченный. Он справился — кто приходил без него? Даша подробно передала. Он показал зубы:

— Подлецы! За авансами приходили... Гвардия! Дворянскую задницу лень отодрать от кресла, желают, чтобы немцы их пришли освободить: — пожалуйста, ваши сиятельства, только что повесили большевиков, все в порядке... Возмутительно, возмутительно... Из двухсоттысячного офицерского корпуса нашлось истинных героев духа три тысячи у Дроздовского, — пришли из Румынии. Тысяч пять, шесть у Деникина, и у нас в союзе защиты родины — пять тысяч... И это все... А где остальные? Продали душу и совесть Красной армии... Другие варят гуталин, торгуют папиросами... Почти весь главный штаб у большевиков... На фронтах — командующие, начальники штабов: на северном фронте — генерал Парский, на Волге, против чехов, — полков-

ник Каменев, против Дона — генерал Сытин, на Северо-Кавказском фронте — генерал Снесарев... Позор!..

Он наелся муки с солью, выпил кипятку и ушел спать. Рано утром он разбудил Дашу. Когда, наскоро одевшись, она пришла в столовую, — Куличек, гримасничая, бегал около стола:

— Ну, вот вы, — нетерпеливо крикнул он Даше, — вы могли бы рискнуть, пожертвовать многим, испытать тысячи неудобств?..

— Да, — сказала Даша.

— Здесь я никому не доверяю... Получены тревожные вести... Нужно ехать в Москву. Поезжайте.

Даша только заморгала, подняла брови... Куличек подскочил, силой усадил ее у стола, сел вплотную, касаясь ее коленками и стал объяснять — кого нужно повидать в Москве и что на словах передать о петроградской организации. Говоря все это с медленной яростью, он вдальбивал Даше в память слова. Заставил ее повторить. Она покорно повторила.

— Великолепно! Умница! Вот, нам именно таких и надо... — Он вскочил, шибко потирая руки. — Теперь, как быть с вашей квартирой? Вы скажете в домовом комитете, что на неделю уезжаете в Лугу. Я здесь останусь еще на несколько дней и затем ключ передам председателю... Хорошо?

Ото всей этой стремительности у Даши кружилась голова. С изумлением чувствовала, что, не сопротивляясь, поедет куда угодно и сделает все, что велют... Когда Куличек помянул о квартире, Даша оглянулась на буфет птичьего глаза: — «безобразный, унылый буфет, как гроб»... Вспомнились ласточки, заманивавшие в синий простор. Показалось: счастье улететь в дикую, шумную жизнь из этой пыльной клетки...

— Что квартира, — сказала она, — может быть, я и не вернусь вовсе... Делайте, как хотите...

Один из тех, кто приходил в отсутствие Куличка, длинный, с длинным лицом и висячими усами, любезный человек — усадил Дашу в жесткий вагон, где были выбиты все стекла. Нагнувшись, пробасил в ухо: — «Ваша услуга не будет забыта», и исчез в толпе. Перед отходом мимо поезда побежала толпа не то красноармейцев, не то дезертиров. С узлами в зубах они полезли в окна. Решительные были ребята. В вагоне стало совсем тесно. Залезали на места для чемоданов, ужем заползали под койки и там чиркали спичками, с полным удовольствием дымили махоркой.

Поезд медленно тащился мимо туманных болот с погасшими трубами заводов, мимо заплесневелых прудов. Проплыла за солнечным светом вдали Пулковская высота, где, забытые всеми на свете, премудрые астрономы и сам семидесятилетний Глазенап продолжали исчислять количество звезд во вселенной. Побежали сосновые поросли,

сосны, дачи. На станциях никого больше не пускали в вагон, — выставили вооруженную охрану. Теперь было хоть и шумно, но мирно.

Даша сидела, тесно сжатая, между двумя фронтовиками. Один был при винтовке, другой вез граммофон на коленях. Сверху, с полки, свешивалась веселая голова, поминутно ввязываясь в разговор.

— Ну и что ж? — спрашивал этот на полке, давясь от смеха, — ну и как же вы?

Напротив Даши между озабоченных и молчаливых баб сидел одноглазый, худой, с висячими усами и щетинистым подбородком крестьянин в соломенной шляпе. Рубашка его, сшитая из мешка, была завязана на шее тесемочкой. На поясе висел на веревочке огрызок чернильного карандаша, за пазухой лежали какие-то бумаги.

Даша не следила в первое время за разговором. Но то, что рассказывал одноглазый было, видимо, очень занимательно. Понемногу со всех лавок повернулись к нему головы, в вагоне стало тише. Фронтвик с винтовкой сказал уверенно:

— Ну да, я вас понял, вы махновцы, словом, партизане.

— Про Махно мы слыхали, это — известно, — сказал фронтвик с граммофоном.

Одноглазый несколько помолчал, хитро улыбаясь в усы и ни на кого не глядя:

— Слыхали вы, братишечки, да не тот звон. — Проведя ребром заскорузлой руки под усами, он согнал усмешку и сказал с некоторой даже торжественностью. — Это организация кулацкая, — Махно... Оперирует он на юге, в Екатеринославщине. Там, что ни двор, то полсотни десятин. А мы — другая статья. Мы красные партизане...

— Ну и что же вы? — спросила веселая голова.

— Район наших действий — Черниговщина, по-русскому — Черниговская губерния, и северные волости Неженщины. Понятно? И мы — коммунисты. Для нас, что немец, что пан-помещик, что гетманские гайдамаки, что свой деревенский кулак, — одна каша, враги не на живот, а на-смерть... Выходит, поэтому, — мешать нас с махновцами нельзя. Понятно?

— Ну, да, поняли, не дураки, ты дальше-то рассказывай, — сказал фронтвик с граммофоном.

— А дальше рассказывать будет так... После этого сражения с немцами мы пали духом. Отступили в Кошелевские леса, забралась в такие заросли, где одни волки водились. Отдохнули немного. Стали к нам сбегаться людишки из соседних деревень. Жить, говорят, нельзя. Немцы серьезно взялись очищать округу от партизан. А хуже немцев гайдамаки, — что ни день, влетят в село и по доносам кулаков — порка. От этих рассказов наших ребят такая злоба разбирала — дышать нечем. А к этому времени подошел еще один отряд. Собралось в лесу, смотрим, — целая армия, человек триста пятьдесят. Выбрали начальника группы, веркиевского партизана, прапорщика Голту. Стали думать — в каком направлении развить дальнейшие операции? — и ре-

шили взять под наблюдение Десну, по которой на пароходах перевозились гайдамаки и немцы, и военное снаряжение. Пошли к Десне. Выбрали местечки, где пароходы проходили близ самого берега. Засели...

— Ух ты, ну и как же? — спросила голова с полки.

— А вот так же. Подходит пароход. «Стой!» — раздается в передней цепи. Капитан не исполнил приказа. Залп. Пароход, натурально, — к берегу. Мы сейчас же кинули трап, бросились на палубу, поставили часовых, и — проверка документов.

--- Как полагается, — сказал фронтовик с граммофоном.

— На пароходе — груз, — седла и сбруя. Везут их два полковника, один совсем развалина, другой — бравый, молодой. Кроме того, груз медикаментов. А это нам и нужно. Стою на палубе, проверяю документы, вдруг, смотрю, подходят коммунисты, Петр и Иван Петровские, из Бородящины. Я сразу догадался, не подал виду, что с ними знаком. Обошелся официально, строго: «Ваши документы»... Петровский подает мне паспорт и с ним записку на папиросной бумаге: «Товарищ Пьявка, я уезжаю с братом из Чернигова, еду в Россию и прошу вас, — ведите себя по отношению к нам беспощадно, чтобы не обратить внимания окружающих, потому что вокруг — шпики»... Хорошо... Проверив документы, разгрузили сбрую, седла, аптеку, а также пятнадцать ящиков вина для подкрепления наших раненых. Надо отдать справедливость пароходному врачу, — вел себя геройски: «Не могу, кричит, отдать аптеки, это противоречит всем законам и, между прочим, международному трактату». Наш ответ был короткий: «У нас у самих раненые, значит — не международные, а человеческие законы требуют — давай аптеку»... Арестовали мы десять человек офицеров, сняли их на берег, а пароход отпустили — куда шел. Тут же на берегу старый полковник стал плакать, проситься, чтобы не убивали, припомнил свои военные заслуги. Партизаны подумали, подумали... «Куда его трогать, он и так сам скоро помрет». Отпустили под давлением великодушия. Он и мотанул, как рысь...

Голова на полке залилась радостным хохотом. Кривой подождал, когда отсмеются.

— Другой, чиновник воинского начальника, произвел на нас хорошее впечатление, бойко отвечал на все вопросы, вел себя непринужденно, мы его тоже отпустили... Остальных увели в лес.. Там расстреляли за то, что никто из них ничего не хотел говорить...

Оба фронтовика нахмурились, опустили глаза. Даша глядела, не дыша, на кривого. Лицо его было спокойное, горько — морщинистое. Единственный глаз, выдавший виды, сизый, с мелким зрачком, задумчиво следил за бегущими соснами. Спустя некоторое время кривой продолжал рассказ:

— Недолго пришлось посидеть на Десне, — немцы нас обошли, и мы отступили на Дроздовские леса. Трофеи роздали крестьянам; вино, правда, пропустили по кружке, но остальное отдали в больницу.

Левее нас в это время орудовал Крапивянский с крупным отрядом, правее — Маруня. Нашей соединенной задачей было — подобраться к Чернигову, захватить его с налета. Была бы у нас хорошая связь между отрядами, — связи настоящей не было, — и мы опоздали. Немцы, что ни день — гонят войска, артиллерию, кавалерию. Очень им стало досадно наше существование. Только они уйдут, скажем, из села, — в селе — ревком, пафочку кулаков — на осину... Тут меня послали в отряд Маруни за деньгами, — нужны были дозарезу. За продукты мы уплачивали населению наличностью, мародерство у нас запрещалось под страхом смертной казни. Сел я на дрожки, поехал на Кошелевские леса. Здесь мы с Маруней поговорили о своих делах, получил я от него тысячу рублей керенками, еду обратно... Около деревни Жуковки, — только я в лошину спустился, — налетают на меня двое верховых, — дозорные жуковского ревкома. «Куда ты, — немцы...» «Где?» — «Да уж к Жуковке подходят». Я — назад... Лошадь — в кусты, слез с дрожек, стали мы обсуждать — что делать? О массовом сопротивлении немцам не могло быть и речи. Их — целая колонна двигалась при артиллерии...

— Втроем против колонны — тяжело, — сказал фронтовик с винтовкой.

— То-то, что — тяжело. И решили мы поугать только немцев. Поползли под прикрытые ржи. Видим: так вот, — Жуковка, а отсюда из лесочка выходит колонна, человек двести, две пушки и обоз, и ближе к нам — конный раз'езд. Видно — слава про партизан хорошо прогремела, что даже артиллерию на нас послали. Залегли мы в огородах. Настроение превосходное, — заранее смеемся нашей каверзе. Вот уже раз'езд в пятидесяти шагах. Я команду: «Батальён — пли!».. Залп, другой... Одна лошадь кувырком, немец ползет в крапиву. А мы — пли! — Затворами стучим, шум, грохот...

У головы на полке даже глаза запрыгали, — зажал рукой рот, чтобы не заржать, не пропустить слова. Оба фронтовика довольно усмехались...

— Раз'езд ускакал к колонне, немцы сейчас же развернулись, послали цепи, пошли в наступление по всей форме. Орудия — долой с передков, да как ахнут из трехдюймовок по огородам, а там бабы перекапывали картошку... Взрыв, земля кверху... Бабы наши... (Кривой ногтем сдвинул шляпу на ухо, не мог — усмехнулся. Голова на полке прыснула.) Бабы наши с огородов, — как куры, — кто куда, — крестятся, спотыкаются, падают... А немцы — широким окружением, цепями, беглым шагом подходят к селу... Тут я говорю: «Ребята, пошутите, давай тягу»... Поползли мы за плетнями, опять через рожь — в овраг, я сел на дрожки и без приключений уехал в Дроздовский лес. Жуковцы потом рассказывали: «Подошли, говорят, немцы к огородам, к самым плетням, да, как крикнут: «Уррра!» — и штыковой атакой — на плетни... Смотрят, а за плетнями — нет никого... Те, кто это видел, — со смеху, говорят, легли... Немцы Жуковку заняли, ни ревкомцев, ни

партизан там не нашли, объявили село на военном положении. Дня через два к нам в Дроздовский лес поступило донесение, что в Жуковку вошел большой германский обоз с огневым снаряжением. А нам патроны дороже всего... Стали мы судить, рядить, у ребят разгорелись аппетиты, решили — наступать на Жуковку и огневое снаряжение отбить. Нас собралось человек сто. Из них тридцать бойцов послали на шлях, чтобы, в случае удачи, преградить немцам отступление на Чернигов. Остальные — колонной — пошли на Жуковку. В сумерки — подползли, залегли в жите около села, и выслали семь человек в разведку, чтобы они высмотрели все расположение, сообщили нам, и ночью мы сделаем неожиданный налет. Помню — моросил мелкий дождик. Лежали мы безо всякого шума, курить запрещено. Клонило ко сну, пробирала дрожь от сырости. Ждем, ждем, — стало светать. Никакого движения. Что такое? Смотрим, уж бабы начали выгонять скот в поле. И тут эти голубчики, наши разведчики, ползут, — семеро... Оказывается, они, проклятые, дойдя до мельницы, прилегли отдохнуть, да так и проспали всю ночь, покуда бабы не набрали на них со скотом. Наступление, конечно, сорвано... Нас взяла такая обида, что, прямо-таки, места себе не находили. Нужно было творить суд и расправу над разведчиками. Единогласно решили их расстрелять. Но тут они начали плакать, просить пощады и вполне сознали свою вину. Хлопцы были молодые, упущение — в первый раз... И мы решили их простить. Но предложили искупить вину в первом бою.

— Когда и простить ведь нужно, — сказал фронтовик с винтовкой.

— Да... Стали совещаться. Что же: не взяли Жуковку ночью, — возьмем ее днем. Операция серьезная, ребята понимали, на что идут. Рассыпались реденько, ждем — вот-вот застучат пулеметы, не ползем, а прямо чешем на карачках...

— Гыы, — сверху, с лавки.

— А навстречу нам вместо немцев — бабы с лукошками, — пошли по ягоду, — день был праздничный. И подняли нас на-смех: — опоздали, говорят, германский обоз часа два, как ушел по Куликовскому шляху. Тут мы единодушно решили догнать немцев, — хоть всем лечь в бою. Захватили с собой для самоокапывания лопаты, бабы нам блинов, пирогов нанесли. Выступили. И увязалась за нами такая масса народа, больше, конечно, из любопытства, — я оглянулся — целая армия... Вот, что мы сделали: роздали мужикам, бабам колья и построились двумя цепями, поставили человека от человека шагов на двадцать, с таким расчетом, чтобы один был вооруженный, другой с палкой, с колом — для видимого устрашения. Растянулись верст на пять. Я отобрал пятнадцать бойцов, между ними этих наших горе-разведчиков, и взял двух нами же мобилизованных офицеров, явных контрреволюционеров, но их предупредил, чтобы оправдали доверие и тем спасли свою жизнь. Забежали мы этой группой вперед германского обоза на шлях... И завязалось, братцы мои, сражение не

на один день и не на два... (Он нехотя махнул рукой, глаз его потемнел.)

— Как же так? — спросили фронтовики.

— А так... Я с группой пропустил колону и налетел на хвост, на обоз. Отбили телег двадцать со снаряжением. Живо пополнили сумки патронами, роздали мужикам, — кому успели, — винтовки, и продолжаем наступать на колону. Мы думаем, что мы ее окружили, а оказалось, немцы нас окружили: по трем шляхам двигались к этому месту все части оружия... Разбились мы на мелкие группы, забрались в канавы, иные утекали... Наше счастье, что немцы развивали операцию по всем правилам большого сражения, а то бы никто не ушел... Из партизан вот я да, пожалуй, человек десять и остались живые. Дрались, покуда были патроны. И тут решили, что нам тут не дышать, надо пробираться за Десну, в нейтральную зону, в Россию. Я спрятал винтовку и под видом военнопленного направился на Новгород Северский...

— Куда же ты сейчас-то едешь?

— В Москву за директивами...

Пьявка много еще рассказывал про партизанство и про деревенское житье-бытье. «Из одной беды да в другую — вот как живем. И довели мужика до волчьего состояния, одно остается, — горло грызть»... Сам он был из-под Нежина, многосемейный, однолошадный, и больше работал на свеклосахарных заводах. Глаз потерял при Керенском во время несчастного июньского наступления. Он так и говорил: «Керенский мне вышиб этот глаз». Тогда же, в окопах, он познакомился с коммунистами. Был членом нежинского совдепа, членом ревкома, работал в подполье по организации повстанческого движения.

Его рассказ потряс Дашу. В его рассказе была правда. Это понимали оба фронтовика, слушавшие с одобрением, да и все остальные пассажиры глядели в рот рассказчику. Но открой сейчас Даша — зачем она едет в Москву, — разве бы фронтовик с винтовкой уступил ей на ночь место у окна? Расправились бы с ней, как с врагом. Но она ехала потому, что свое дело считала правдой.

Остаток дня и ночь были утомительны. Даша сидела, поджав ноги, закрыв глаза и думала, думала до головной боли, до отчаяния. Были две правды: одна кривого, этих фронтовиков, этих похрапывающих баб с простыми, усталыми лицами, другая — та, о которой кричал Куличек. Но двух правд нет. Одна из них — ошибка, страшная, роковая...

В Москву приехали в середине дня. Старенький извозчик ветхой трусцой повез Дашу по грязной и облупленной Мясницкой, где окна пустых магазинов были забрызганы грязью. Дашу поразила пустыньность города, — она помнила его в те дни, когда тысячные толпы, с

флагами и песнями, шатались по обледенелым улицам, поздравляя друг друга с бескровной революцией.

На Лубянской площади ветер крутил пыль. Брели двое солдат в распоясанных рубашках, с подвернутыми воротами. Какой-то щуплый, длиннолицый человек в бархатной куртке оглянулся на Дашу, что-то ей крикнул, даже побежал за извозчиком, но пылью ему запорошило глаза, он отстал. Гостиница Метрополь была исковырена артиллерийскими снарядами, и тут на площади вертелась пыль, и было удивительно увидеть в замусоренном сквере клумбу ярких цветов, непонятно кем и зачем посаженных. Было видно — случилась беда и все, кто мог, побросав повседневные дела, ушли спасать, выручать, и город не метен и не прибран...

На Тверской было живее. Кое-где доторговывали лавченки. Напротив совдепа, на месте памятника Скобелева, стоял огромный деревянный куб, обитый кумачом. Даше он показался страшным. Старичок-извозчик показал на него кнутовищем:

— Героя стащили. Сколько лет в Москве езжу и все он тут стоял. А нынче, видишь, не понравился правительству. Как жить, — прямо — ложись, помирай. Сено двести рублей пуд. Обо овсе и забыли. Господа разбежались, одни — товарищи да и те норовят больше — пешком... Эх, растеряли государство... Хош бы короля какого нам...

Не доезжая Страстной, налево, под вывеской «Кафе Бом», за двумя зеркальными окнами сидели на диванах праздные молодые люди и вялые девицы, курили, пили какую-то жидкость. В открытой на улицу двери стоял, прислонясь плечом, длинноволосый, нечесанный бритый человек с трубкой. Он как-будто изумился, взглядываясь в Дашу и вынул трубку изо рта, но Даша проехала. Вот, розовая башня Страстного, вот и Пушкин. Из-под локтя у него все еще торчала на палке выцветшая тряпочка, повешенная в давно оконченные времена бурных митингов. Худенькие дети бегали по гранитному пьедесталу, на скамье сидела исплаканная дама в пенсне, и в шапочке пирожком, совсем такой, как у Пушкина за спиной. Над Тверским бульваром плыли редкие облачка. Прогромыхал полный солдат грузовик. Извозчик повернулся к Даше:

— Грабить поехали. Овсянникова, Василия Васильевича знаете? Ну, первый в Москве миллионер. Вчера приехали к нему вот так же на грузовиках и весь особняк дочиста вывезли. Василь Васильевич только за голову схватился, да и по-ошел, куда глаза глядят. Бога забыли, как старики-то наши рассуждают... Вот отчего...

В конце бульвара показались развалины гагаринского дома. Какой-то одинокий человек, в жилетке, стоя наверху, на стене, выламывал киркой кирпичи, бросал их вниз. Налево громада обгоревшего дома глядела в бледноватое небо пустыми окнами. Кругом все дома, как решето, были избиты пулями. Полтора года тому назад по этому тротуару бежали в накинутых на голову пуховых платочках Даша и Катя. Под ногами хрустел ледок, в замерзших лужах отражались звезды. Дома казались дивными, как из сказки. Сестры бежали в адво-

катский клуб на экстренный доклад по поводу слухов о начавшейся, будто бы, в Петербурге революции. Опьяняющий, как счастье, был весенний морозный воздух...

Даша тряхнула головой: «Не хочу... Никаких воспоминаний... Погребено»...

Извозчик свернул на Спиридоновку. У Даши так забилося сердце, что потемнел свет... Вот — двухэтажный белый домик с мезонином. Здесь с пятнадцатого года она жила с Катей и покойным Николаем Ивановичем. Сюда из германского плена прибежал Телегин. Здесь Катя встретила Рощина. Из этой облупленной двери Даша вышла в день свадьбы, Телегин посадил ее на серого лихача, помчались в весенних сумерках, среди еще бледных огней, навстречу счастью... Окна в верхнем этаже были выбиты. Даша узнала обои в бывшей своей комнате, они висели клочками. Из окна вылетела галка. Извозчик спросил:

— Направо, налево, — как вам?

Даша справилась по бумажке. Остановились у многоэтажного дома. Парадная дверь изнутри была забита досками. Так как спрашивать ничего было нельзя, Даша долго разыскивала на черных лестницах квартиру 112-а. Кое-где при звуке Дашиных шагов приотворялись двери на цепочках. Казалось, за каждой дверью стоял человек, чтобы предупреждать обитателей об опасности.

На пятом этаже Даша постучала, — три раза и еще раз, как ее учили. Послышались осторожные шаги, кто-то, дыша в скважину, рассматривал Дашу. Дверь открыла пожилая, высокая дама с яркосиними, страшными, выпуклыми глазами. Даша молча протянула ей картонный треугольник. Дама сказала: «Ах, из Питера? Пожалуйста, войдите».

Через кухню, где, видимо, давно уже не готовили, Даша прошла в большие занавешенные комнаты. В полутемноте виднелись очертания прекрасной мебели, поблескивала бронза, но и здесь было что-то неживое. Дама попросила Дашу на диван, сама села близко рядом, рассматривая Дашу страшными, расширенными глазами.

— Рассказывайте, — сурово, повелительно приказала она. Даша честно сосредоточилась, честно начала передавать те неутешительные сведения, о которых ей велел рассказать Куличек. Дама стиснула красивые руки на сжатых коленях, хрустнула пальцами...

— И так, вам еще ничего не известно в Петрограде? — перебила она. Низкий голос ее трепетал в горле. — Вам неизвестно, что вчера ночью был обыск у полковника Сидорова... Найден план эвакуации и некоторые мобилизационные списки... Вам неизвестно, что сегодня на рассвете арестован Виленкин...

Выпрямив судорожно грудь, она поднялась с дивана, отогнула портьеру, висевшую на двери, обернулась к Даше:

— Идите сюда. Вам дадут экстренное поручение...

(Продолжение следует)

Х л е б

П о э м а

М. С В Е Т Л О В

(Окончание¹)

IV

Посреди необ'ятных болот
Середина поэмы встает,
И во тьме зажигается стих,
И горит, чтоб согреть часовых.

Неспокойная полночь болот...
Разводящий не скоро придет.

«В этой тьме погибать не резон —
Мы пропали с тобой, Либерзон!
Хорошо б на минутку прилечь...
И зачем нам болото беречь?..».

Эта сырость, как черный туман...
Пропадает Можаяв, Иван...

Над болотом гортанная речь:
— Нам приказано —
Надо стеречь!
Скоро смена,
Рассвет недалек!
Успокойся, Ванюша, дружок!—

Раздвигая болотную хмарь,
Поднимает поэма фонарь,
И стоит на посту, освещен,
Молодой Моисей Либерзон.

Посреди болотных пустырей
Он стоит, мечтательность развевая, —
Гордость нации,
Застенчивый еврей,
Боевой потомок Маккавеев.

¹) См. «Нов. Мир», № 1 с. г.

Под затвором
Молчалив свинец...
(Где теперь его отец?
Он, наверно, в тишине ночной
Медленно читает тpу,
Будто долг свой,
Тяжкий и большой,
По частям
Выплачивает кредитору...).

Влажен штык
И отсырел приклад...
Моисея неподвижен взгляд
(Может быть, ему издалека
Запылала смуглая щека
Дочери часовщика?)

Полночь бродит над часовыми,
Мир вокруг без остатка вымер.
На четырнадцатой версте
Пробегаёт сухая степь,
Там усталая спит Расея
Без Ивана
И Моисея...

Пусть в тумане заперты пути,
Не грусти, Можаяев,
Не грусти!
Ты из тех, кто ловит голубей,
Не робей, Ванюша,
Не робей!

«Я грущу, товарищи, по дому,
Дума мучает меня одна:
Для чего мне, парню молодому,
Молодость бесплатная дана?

Для того ли я без отдыха работал,
Для того ли я страдал в бою,
Чтобы это темное болото
Засосало голову мою...

В этой тьме погибнуть не резон,
Очень скучно умирать мне без людей
Посади меня на лошадь, Либерзон,
Дай мне в руки саблю, Моисей!

Я тебе промчусь, как атаман,
Я врагов
Повырубаю враз,

Только, друг мой,
Убери туман
От моих заиндевших глаз!

Буду первым я в жестокой сечи,
С вытянутой саблей поперек...
Мы еще проскачем, Моисейчик,
Мы еще поборемся, браток!

Или будет нам обоим крышка,
Иль до гроба будем вместе жить...
Никогда не думал я, братишка,
Что могу я
Жида полюбить.

Я тебя своей любовью грею,
Я с тобою мучаюсь тут,
Потому что на земле евреи
Симпатичной нацией живут...

Долго ли осталось нам томиться,
Скоро ли окончится поход?
Говорят, что скоро заграница
Тоже по-советски заживет.

И наступит времячко такое,
И пойдут такие чудеса,
Чтобы каждый дом себе построил,
Чтобы окна выходили в сад.

Старой жизни
Навсегда капут,
Будет жизнь
Куда вкусней и гуще,
Будет хлеб:
Пятиалтынный — пуд,
И еще дешевле — неимущим.

Будет каждый жить свой долгий век,
В двести лет
Справляя именины...
Я хотя и темный человек,
Ну, а все же,
Верю в медицину...».

Мир вокруг без остатка вымер,
Полночь бродит над часовыми...

«Эх, Мосейчик,
Такие дни!

Очень скучно мне и обидно —
Мы с тобою
Совсем одни,
Даже пса, — и того не видно...

Мы вернемся с тобой едва ли —
Над болотами
Ночь темна...
Как живет теперь
Моя Валя,
Что подельвает она?

Помню:
С ней отводил я душу,
И голубил ее,
И ласкал —
Я над милой своей Валюшей,
Словно мост над рекой, стоял..

Ветер в поле
Всю ночь бежит
По разбросанным зеленым...
И Валюша одна сидит,
И, наверное, ждет меня.

Вот вернусь я,
Построю дом,
Тесно выложу кирпичи...
Не дадут кирпичей —
Украдем!
(Ты смотри, жидюга,
Молчи!)

И мечты
Рассыпались вслепую,
И пронесся ветер впопыхах,
Будто музыка прошла, танцуя,
На своих высоких каблуках.

Утомленная спит Расея
Без Ивана
И Моисея...

Выше, выше голову,
Моисей Самойлович!
Песню мою на тебе,
Иван Игнатъевич!
Возьми и неси ее
Над нашей Россией!..

V

Скорый поезд
Сквозь снега летит,
Самуил Израилевич спит.

Приближаются с двух сторон
Царь Давид
И царь Соломон.

«Рад вас видеть, друзья, всегда!
Я в Житомир...
А вы куда?».

Тихо слушает весь вагон,
Что рассказывает Соломон.

Говорят о делах
И о родине
Два царя
И один верноподданный.

Тихо вслушивается
Вагон,
Тихо жалуется
Либерзон:

— Сын мой умер
Во цвете лет...
Почему его с вами нет?

Мой наследничек,
Мой сыночек!
Ты приснись мне
Хоть разочек! — ...

Кроткой лаской
До зари
Утешают его цари...

Поезд круто затормозил,
Просыпается Самуил...

Пассажиры кругом сидят
Очень мирно
И очень мило,
И глядит Можаяв Игнат
На смущенного Самуила.

(Часто думаешь:
Враг далёко, —

Враг, оказывается,
Под боком...)

Беспощадная ночь погрома...
Самуил опускает взгляд —
Пусть враги,
Но все же — знакомы...
«Здравствуйте!»
«Очень рад!»

И улыбка дрожит виновато
В поседевших усах Игната.

И неловок, и смущен,
Говорит он, заикаясь:
«Извиняюсь, Либерзон,
За ошибку свою извиняюсь.

За изнасилованье дочерей,
За разбитые ящики
Вашего комода
Я очень извиняюсь,
Товарищ еврей,
Бывшая
«Жидовская морда».

Был я очень уж молодым,
И, к тому же, довольно пьяным,
Был я темным,
Был слепым
Несознательным хулиганом...».

И стучит, стучит учащенно
Сердце старого Либерзона.

Эта речь его душу греет,
Словно дружеская услуга...
Извиниться перед евреем,
Значит — стать его лучшим другом:

«Я очень доволен!
Я рад чрезвычайно!
Допускаю возможность,
Что погром — случайность,
Что гром убил моих дочерей,
Что вы — по натуре
Почти еврей...

Знаете новость:
Умер мой сын!

Сижу вечерами один,
Один!
Глухо стучит одинокий маятник...
Игнатий Петрович!
Вы меня понимаете?..».

Только ветер и снег за окном,
И зари голубое зарево,
И сидят старики вдвоем,
По-сердечному разговаривая...

Пробегая леса и степи,
Вьюга мечется по Руси...
Человеческий теплый лепет,
Вьюга, вьюга,
Не погаси!

Чтобы поезд в снегу не увяз,
Проведи по путям вагоны,
Чтобы песня моя неслась
От Можаява
К Либерзону.

Чтобы песня моя простая,
Чтобы песня моя живая
Громко пела бы, вырастая,
И гудела б, ослабевая...

Дело смерти

Рассказ

БОР. ПИЛЬНЯК, проф. Н. М. ФЕДОРОВСКИЙ

О березе.

Безразлично, в березовой ли роще береза, или вот та, что стояла против каменных окон Института Жизни,—русская береза, столь воспетая поэтами, навсегда нестерпящая, — белая береза, как свеча российских полевых печалей, печалующаяся российскому серому небу. Должно быть, это очень красиво, не только в роще, но и здесь, на каменном дворе.

Но надо размышлять так, как надо размышлять через каменное окно лаборатории Института Жизни, когда за окном старинные постройки и заасфальченный двор. Эта живая береза навсегда прикована к своему углу двора, никогда не уйдет отсюда: ее движение начинается за смертью, она очень крепко вросла корнями в землю. Безразлично, эта ли береза, или березы в соловьиной роще: клиническим диагнозом надо установить, — самое характерное свойство березы, леса вообще — неподвижность, когда движение начинается только после топора дровосека, если это андерсеновская сказочность. И именно эта неподвижность вызывает у человека жалость к березе, жалость к древесной природе, — но от леса — человеку — эта же дана в наследие покорная неподвижность, когда на зимы березы умирают — человеческой смертью, — подлинной же березовой смертью умирают — для человеческой жизни. Поэтому лес, как береза, успокаивает человека, углубляет человека в самого себя, — человек не осознает своей жалости, которую вызывают береза и лес их неподвижностью.

Впрочем, у человеческой особи, которой нужна успокоенность, нет жалости к лесу, возмущающего и возбуждающего в березе, — точно так же, как для строящего человека лес противен его фатализмом, заложенным в лесной природе, действующим так же, как человеческая горькая глупость, которой нет возможности помочь.

Закон один: бесконечное ограничение жизни, когда жизнь начинается после смерти, таится под этими белыми свечами **коры**

березы, — березу видно через окно, — через стекла окон береза и мысли о ней идут в человеческое сознание, в черепную человеческую коробку.

Институт Жизни был Институтом при Московской Коммунистической Академии, старый княжеский особняк был превращен в лаборатории Института. Над Москвой и над Институтом проходили рассветы и закаты, — то-есть, в Космосе своими орбитами вращалась — Земля, любительница, как старинная замоскворецкая купчиха, погреть все свои бока около солнышка. По утрам в Институт приходили научные сотрудники Института, профессора, ассистенты, лаборанты, чтобы двигать работу Института. Иные из сотрудников не уходили из Института по суткам и по неделям. Иные поместились жить в Институте в сводчатых княжеских антресолях, похоронив себя там знанием и книгами. Все сотрудники были людьми той породы, которую человечество ссылает в науку: у таких людей есть традиции отцов физических и отцов знания, есть умение видеть в микроскоп и читать химические формулы, есть умение провидеть будущее, но у них часто нет выходных костюмов, носового платка и лишнего рубля, и у них могут быть различнейшие характеры, не мешающие их работам, они могут влюбляться, изменять, ненавидеть, конкурировать. Жизненные их интересы связаны с Институтом и тою таинственной сеткой, по которой получается — хамская вещь — жалование. В лабораториях Института покойствовали формулы, колбы, микроскопы и человеческий мозг, проникающий в тайны формул, — там были сводчатые потолки, и крепостные стены хранили тишину дома, — березка за окном была случайностью.

На антресолях, куда надо было проходить винтовой лестницей, по комнатам жили научные сотрудники. В самой дальней, с окнами на солнце и в тишину парка, жил химик Сергей Андреевич Вельяшев. Вельяшеву было тридцать четыре года, — он был очень здоров и очень красив, высоколобый, широкоплечий, широкожестый. Он умел весело работать, он был озорновато-талантлив, молодой химик, идущий к большой работе. К себе на антресоли, где жил он один, без семьи, он перенес все, что осталось у него от стариннейшего его кавалергардско-масонского рода, немного фарфора, немного книг осьмнадцатого века, много портретов, много грамот и семейных записей, — этого хватило, чтобы сделать его комнату комнатой антиквара и чтобы особенно подчеркнуть его стол, рабочий стол химика у светлого окна в книгах и тетрадях с формулами. У этого стола очень многие его друзья перешутили с ним очень многие вечерние часы ожидания завершений опытов.

Он, Вельяшев, застрелился из старинного пистолета, не оставив никакой записки.

Профессор Павлищев, академик, ректор Института, снес его труп в институтскую мертвецкую. Ничего, что указывало бы на при-

чины самоубийства, найдено не было. В бумагах был найден только один листок, который казался неожиданным в его бумагах, — но этот листок был написан за год до смерти и валялся глубоко в ящике. Вот этот листок:

«Целый день просидел неподвижно в кресле и мысли все время разбивались по мелочам: переплет окна, береза, белеющие изразцы печи, диван, книги, — все это перемещалось в плоскости и давило на сознание. Больше всего меня давил тот факт, что мухи, облепывавшие окно в свете дня, к вечеру исчезли. Изредка одна-другая прилетали в светящийся четырехугольник окна, жужжали заунывно и улетали обратно, прочь от окна. Я думал:

«Холод, а за холодом — смерть. Инстинкт жизни: лететь в темный угол от светлого окна, в тепло печи от холодного света. От холода смерть!..

«Мне иногда кажется, что в жизни, в моей жизни, так же есть холодное окно смерти, к которому изредка я подхожу. Там сияет свет, холодный, замораживающий. Итти за окно — это значит заморозить все чувства и мысли. Тогда хочется уйти назад, — там темно, гадко, удушливо, но там тепло, теплится жизнь.

«В полумраке комната принимала огромные размеры, и светившиеся закатом окна казались пропастями в бесконечность, Весь тот вечер я рылся в дедовских записях. Холодно!»...—

Профессор Александр Иванович Павлищев приказал вскрыть Вельяшева. Вскрытие установило, что все органы Вельяшева нормальны. Академик Павел Иванович Павлищев присутствовал при вскрытии. Вообще академик походил на птицу, сделанную так, как рисуют птиц дети: волосы разлетались крыльями, лицо изображало туловище, — но под носом у него сидела вторая птица: крылья — усы, туловище — седенькая бородка, клинышком. Академик топорщился всеми своими птицами, когда патолог-анатом разводил руками.

— Я ставлю вопрос, — сказал Павел Иванович Павлищев патологу-анатому, — отчего же он умер? — Случайной смерти не может быть!

— Все органы нормальны, сердце нормально, мозг нормален, — ответил анатом и пожал плечами.

— Ну, это надо исследовать, это надо исследовать, надо исследовать! — возразил Павел Иванович.

Анатом взял кусочки сердца, мозгов, секретные жидкости и направился в свою лабораторию. Павел Иванович Павлищев весь тот день сидел в комнате Вельяшева, роясь в его бумагах и архивах. Через каждый час он спускался к патологу с одним и тем же вопросом.

— Ну, что, разобрались?

Анатом отвечал сердито и пожимал плечами.

— Разберитесь, разберитесь.

Наутро анатом разбудил Павла Ивановича на рассвете, пришел к нему, к его постели со стеклянной пластинкой, на которой был растянут кусок ткани сердца бывшего человека. Анатом был торжественен. Рассвет был синь.

— Вот, видите, нашли, — сказал академик.

Ученые пошли к микроскопу.

Академик снял пенснэ, чтобы вникнуть в мир страшно-малых величин. Академик крякнул и оторвался от микроскопа. Он посадил пенснэ и сказал, рассматривая анатома:

— Ничего не могу понять.

— Вот именно, — торжествуя ответил патолог. — Я так и думал. Поэтому я принес вам для сравнения образец нормальной ткани сердца.

Сравнили. Ясно: перерождение тканей, видимое только в микроскопе и только при сравнении здоровой ткани с больной.

— Что же, от этого только он и умер? — спросил академик.

— Да, больше нет никаких причин, — ответил анатом.

— Посмотрим, — возразил академик, — и заговорил уездным учителем, обращаясь к собравшимся ассистентам, возвещая всем известные истины: — Какой нежный орган — сердце человека!.. малейшее изменение мускулов, перерождение тканей, сужение или расширение сосудов кладут неизгладимую печать на человеческую жизнь и обрывают ее раньше времени. Но, я должен сказать — О самоубийстве мы очень мало мыслим, как о чем-то неизбежном. Горькая обида растет в душе: кажется, что, если бы был с человеком вместе, поговорил бы с ним, рассеял его мысли, наконец, просто увез бы его куда-нибудь, дал ему другую работу, — тогда не случилось бы этого — —

Два дня академик Павел Иванович Павлищев провел на антресолях в комнате Вельяшева. Академик рыл архивы вельяшевского рода. За окном Земля грела свои обочины, приходили рассветы и закаты. Две птицы лица академика углубленнейше вникали в геральдические акты, в родовые письма, в записи прадедов. Красный карандаш в белой руке профессора чертил на листке бумаги даты смертей и рождений, таблицы характеров отцов и дедов. От книг, от записей, от бумаги пахло столетиями и Вельяшевым, родовым запахом Вельяшевых, ибо старинные дворянские роды гордились не только своими геральдическими гербами, но и родовым запахом. Усы академика походили на воробья, голова его походила на ворону, глаза за очками были хитры и веселы.

Академик установил выписями из родовых записей, рассмотрением портретов и должными характеристиками — установил следующее обстоятельство, записанное академиком так:—

«Род очень старинный, матерьялы от эпохи Петра Первого. Матерьялы подтверждаются галлереей предков. В каждом поколении было два типа. Один тип склонен к науке, к философии, в роду ряд масонов, вольтерьянцев, декабрист, земские деятели, люди имели склонность к тучности, к малоподвижности. Другой тип — сангвиничен, действителен, большей частью люди военной карьеры, голубые уланы, кавалергарды, низкорослы, худощавы, любострастники, со склонностью к алкоголизму. Все представители первого типа были глубоко одарены, второй тип был мелкотравчат. Люди первого типа, все до одного, включая и Сергея Андреевича Вельяшева, умирали в возрасте от тридцати трех до тридцати шести лет: для нас несущественны причины смерти. Люди второго типа, проделавшие многие походы, много раз раненые, часто глубокие алкоголики и, повидимому, хворавшие венерическими болезнями, — доживали до семидесяти-восьмидесяти лет: сердце бреттера, кутилы выдерживало долговечную жизнь, и это долголетие передавалось на протяжении веков. Спокойные ученые, чиновники, религиозные философы, несмотря на прекрасные условия жизни, умирали все на подбор очень рано, в один и тот же срок».

В Институт Жизни из клиник Первого Университета был доставлен труп семидесятилетнего старика — для исследований. В «истории болезни» значилось, что умерший хворал сифилисом, связи с женщинами имел с четырнадцати лет, пить начал еще раньше, алкоголик, долго служил в публичном доме кассиром, дом служил ему клубом и развлечением. Человек умер, упав с лестницы в пьяном виде. Труп вскрыли. Патолог-анатом был поражен сердцем: на том месте, где должно было быть сердце, был сморщенный мешочек, не имевший даже подобия нормального органа, — с таким сердцем нормальный человек не мог бы прожить и десяти минут.

Патолог-анатом направился с сердцем на антресоли к Павлу Ивановичу. Павлищев рассматривал портреты, обе его птицы щетинились, он был очень сосредоточен. Анатом молча поднес к его глазам сердце.

Академик спросил:

— Сердце утреннего старика?

— Да, — ответил патолог.

Академик скинул с носа пенснэ, закинул их за спину, накрутив шнурок на палец. Академик заговорил, как ворчат старики:

— Я должен констатировать следующее, да, батенька мой. Сердце доказывает мою основную мысль, которую вы иллюстрируете этим примером. Сергей Андреевич Вельяшев застрелился — по наследственности, иных причин нет. Сердце, конечно, изменено наследственно. Мы еще не докопались, но факт устанавливается: наследственность — она определяет человеческую жизнь, и, когда мы недоумевали о причинах смерти Сергея Андреевича, мы не могли пред-

положить, что таков был его путь, начертанный ему законом наследственности.

— Вы хотите сказать, что и самоубийство тоже наследственно? — спросил анатом.

— Боюсь что-нибудь утверждать, — ответил Павлищев. — Мы еще очень мало знаем, но — это та же болезнь. Один человек простуживается и схватывает насморк, другой при этих же обстоятельствах заболевает воспалением легких.

Академик сунул анатому листок, исписанный — рукою академика — красным карандашом.

— Как идут рефрижераторные работы в подземельи? — спросил Павлищев. — В бумагах Вельяшева я нашел запись, совпадающую с моими мыслями и проектами. Вот она. Вот одна очень существенная фраза: «Холод, а за холодом — смерть. Инстинкт жизни — лететь в темный угол от светлого окна». — Вельяшев делал наблюдение над мухами. Он не продумал закон до конца. — Академик помолчал. — Рефрижераторы поставлены? — спросил он.

— Да, ставятся, — ответил анатом.

— Отлично! — сказал академик и хитро улыбнулся. — Благодарю.

В Институте Жизни жили, как подобает жить в ученом учреждении. На антресолях стояли диваны, где люди спорили, спали и ели. Основной этаж был занят лабораториями. В подвалах были анатомическая и мертвецкая, и по приказу Павлищева делались склепы, где рефрижераторы должны были в будущем круглогодно держать одну и ту же температуру, много ниже нуля. В мертвецкой лежал труп Вельяшева. В день его похорон Институт не работал. Утром приехали красные дроги. У большинства сотрудников нашлись неотложные дела, — и за дрогами пошла реденькая толпа человек в пятнадцать, чтобы отдать последний долг человеку и чтобы подтвердить убожество человеческой смерти, когда и эти пятнадцать по очереди забегали в пивные выпить по кружке пива и с'есть печеное яйцо, в разговорах по дороге о чем угодно, кроме мертвеца и смерти. Павел Иванович Павлищев все время шел за гробом. В Институте в это время оставались сторожа, дежурные ассистенты и в мертвецкой холодали трупы.

Павел Иванович Павлищев, совершеннейший воробей, шел за гробом пешком, а обратно с кладбища ехал на трамвае.

Младшие сотрудники, как подобает им почтительно шутить над профессорами, шутили; химик сказал, тихо и кося глазом:

— А я думал, что он выйдет из Института только на свои похороны!..

Сосед усмехнулся, глянув на академика.

Павлищев наклонился к ним, посмотрел и сказал очень тихо:

— Глупо, знаете ли, — гнить в земле, превращаться в другие низшие формы, — благодарю покорно!.. Надо иначе.

И академик благодушно улыбнулся.

Вечером в Институте собрались сотрудники, в химической лаборатории. Павлищев ходил между столами, руки назад, благодушествовал, говорил:

— Здесь в Институте мы сидим над вопросами биологии клетки, само понятие смерти для нас чуждо и враждебно. Уж лучше ехать на северный полюс, там по крайней мере умрешь, но не сгниешь. Надо верить в знание, братики!

Вечерами Институт затихал. Немногие сотрудники следили за своими опытами, сидели по своим кабинетам, — если встречались в свободную минуту, то по традиции вечерних часов говорили медленно и тихо.

Этот вечер был длинным вечером Павлищева. Старик, одинокий человек, похожий на летящих воробья и ворону, весь вечер он просидел у себя в антресолях, над книгами и записями, высчитывая, формулируя. Поздно вечером он спускался в подземелье. Старые княжеские подвалы были превращены в склепы, там ставились рефрижераторы, — электрические лампы там горели неярко и там было зимне холодно. В анатомической, где на оцинкованных столах лежали мертвецы и пахло трупом, Павлищев задержался около лаборантов, пошутил и внимательно рылся в записях температур, давления воздуха, влажностей, которые были в подземельях. Оттуда он поднялся в химическую лабораторию, просил поспешить с анализом воздуха в подземельи, его химического состава. Затем академик вновь вернулся к себе на антресоли и сел за бумагу, за письма. Он написал немного коротких писем, запечатывая, он заливал конверты сургучем и ставил свою печатку. Письма адресовались Российской Академии Наук, Сорбонне, в Берлин, в Оксфорд, в Вашингтон. Поздно ночью профессор стоял около окна. Светало и на асфальтовом дворе едва-едва была видна белая березка. Академик переоделся на ночь, надел халат. Тогда вновь академик, в халате, в ночных туфлях пошел по замершим комнатам Института, обошел весь дом, спустился в подземелье, осмотрел гробницы, позадержался в мертвецкой. И только тогда лег в постель, чтобы спать. Был Павлищев в эти часы очень грустен и рассеян, глаза его были очень мягки, никак не хитрые.

Через неделю рефрижераторы были готовы.

И опять был вечер. Академик ездил в город по делам, на заседание и вернулся часов в одиннадцать, принял ванну и спустился с антресолей в шлафроке и со свечей в руках, ходил по полупустым лабораториям, подходил к сотрудникам, здоровался, разговаривал. Около ана-

тома он задержался. Анатом не помнил впоследствии подробностей разговора.

Академик говорил:

— Человек — это отлитая форма жизни. Человечество еще ничего не знает о законах жизни. Нелепо разбивать форму, если она может пригодиться. Мухи застывают зимой и оживают летом. Семена сковываются морозом в почве и прорастают весной. Восстановить индивидуальную жизнь можно только тогда, когда будет сохранена ее форма. Наука должна прийти к умению владеть человеческой жизнью, а я еще хочу посмотреть и прожить до тех пор, пока во мне есть жизненный рефлекс. Человечество пришло уже к способам лечения путем замораживания, — путем замораживания следует делать пересадку тканей. Вопросы бессмертия лежат, я полагаю, в области замораживания и оживления живого организма, — или по крайней мере, — замораживание даст возможность сохранить форму до того времени, когда подоспеет человеческое знание.

Павлищев попрощался с анатомом, зашел в химическую лабораторию, чтобы взять там анализ воздуха подземелья, в рабочем своем кабинете взял со стола сводку подземельных температур, давлений и влажностей, достал шприц и пузырек с эфиром, — и пошел тогда к себе наверх.

В Институте было тихо и полутемно, шел рабочий будничный вечер. Академик грел себе воду, ставил последний клистир. И тогда, со шприцем, с кнопками и с листком бумаги, он пошел вниз, в подземелье. Его никто не встретил. Он прошел в склеп № 1. Дверь склепа кнопкой не прокалывалась. Павлищев вернулся обратно наверх, взял синдетикон. Синдетиконом он приклеил на двери склепа листок бумаги. Там было написано:

«Прошу хранить мое тело замороженным впредь до того, пока наука не найдет способа оживить меня.

П. Павлищев».

Академик прошел в склеп, прикрыл за собою дверь. В пустом склепе стоял цинковый стол. Академик воткнул себе в вену шприц и лег на стол.

... О березе.

Безразлично, в березовой ли роще береза, или вот та, что стоит против каменных окон Института Жизни. — Русская береза, столь воспеваемая поэтами, навсегда нестерпящая, — белая береза, как свеча российских полевых печалей, печалующаяся российскому серому небу. Должно быть, это очень красиво, не только в роще, но и здесь, на каменном дворе.

Саратов, 2 июня 1927.

Мальчик из Тралл

Рассказ

БОР. ПИЛЬНЯК

Посв. П. А. Павленке.

... Солнце и ветер...

В Стамбуле, на холме Гюль-Ханэ, в переулке за площадью Янычаров, между церковью св. Ирины и Старым Султанским—Топ-Капу—Сераем помещился Музей Древностей. В тишине зала эллинистической эпохи стоит там статуя Пастушка из Тралл, высеченная из мрамора ваятелем древности Миронем: в тишине зала эллинистической эпохи стоит кудрявый мальчик, гордо поднявший голову на худенькой шее, — на плечах у него плащ из овечьей шерсти, он бос. И мне тогда показали фотографию, чтобы поразить меня: фотография сделана хранителем Музея, в Траллах, — в 1918 году, — на фотографии стоит тот самый пастушок, которого высек из мрамора ваятель Мирон полторы тысячи лет тому назад, так же поднята его голова, те же кудри, лоб, нос, шея и плечи, тот же плащ из овечьей шерсти. Если бы у пастушка, зафотографированного в 1918 году, не было бы в руках суковатой палки, надо было бы решить, что эта фотография есть фотография статуи Мирона. — В развалинах, в пустыне Малой Азии в неприкосновенности сохранился эллинский тип, — в пустыне Малой Азии — сохранился быт Эллады.

И вот, мы едем в Траллы.

Солнце и ветер.

Ноябрь, и поэтому прохладно, как в России около второго, яблонowego спаса. На горизонте кэстэнэ-дагские годы. Небо сине. Кругом вот уже второй день конного пути — желтые холмы, камень, придорожная пыль, безжизненность, безмолвие пустыни. У старых колодцев лужи воды и помет верблюдов. Дорога, оставшаяся, быть может, от греков, быть может, от римских когорт, — пуста. Старые греческие города, брошенные тысячу лет тому назад, развалены, — турки поселились рядом с развалинами, и над турецкими поселками торчат

пыльные тополи, там живут турки и руми, турки-христиане. Изредка в небе пролетит орел. Изредка на межах стоят разбитые статуи и мраморные плиты, исчертанные письменами, — вместо межевых столбов. Поля уже убраны. Арбы с возами соломы — реже верблюжьих караванов. Эти арбы и турки на них — суть герои рассказов турецкого писателя Рэфик-Халида.

Вчера ночью, на ночевке около колодца, ишак, испугавшись моего выстрела в шакала, бросился на наш скарб и разбил копытом старенькое стремя у моего седла. Я еду, страдая в седле, потому что не могу стоять на обеих ногах. И у каждой встречной арбы мы спрашиваем, где бы достать стремя. Турки отвечают молчанием. И мы молчим в солнце и ветре.

И новую ночь мы ночуем у колодца, прикрывшись плащами из овечьей шерсти. Шакалы не мешали нам этой ночью: здесь нет людей, и шакалы ушли отсюда.

На утро опять солнце и ветер. Мы сворачиваем с большой дороги в пустыню выжженного камня, холмистого плоскогорья, навстречу Кэстэне-Даг, горному хребту на горизонте: там, впереди, в котловине под горами — пустыня Тралл.

И мы приезжаем туда к полдню. — Где здесь Траллы? — Котловина меж гор безмолвна в камнях, разбросанных по холмам, в остатках человеческого жилья. Мы в'сзжаем в пустую улицу, в совершенно пустую. Ноябрьские полдни не несут ни звука. Я захожу в дом, дверь не заперта. У порога лукошко с углем. Муха прожужжала мне навстречу и замерла. На глиняном полу здесь козий помет, приступка у порога иссечена письменами. — Люди, все до одного человека, покинули эти места в 1921 году, когда турки выгнали из Анатолии греков.

... Ужели такова была Эллада и две тысячи лет тому назад, и тысячу пятьсот лет тому назад? — Пыльный поезд Аданской — немецкой! — железной дороги мы сменили на два с половиной дня седла. — Здесь, должно быть, даже умерла весть о человеке! — Это Малая Азия, Анатолия, с'еденная козами. Ужели здесь были веселые греческие колонии, здесь прошли эпохи цветений эллинистических веков? — да, были, — прошли, загорожены от нас тысячелетьем. — Некогда Эфес был первым городом банков, породив все банки мира, — Пергам тогда был городом ученых и великой библиотеки, — Магнэзия осталась для истории городом актеров, драматургов и философов; Траллы, как Тэо, были городом шума, поэтов, художников, музыкантов, театральных действ и дионисийских жриц. В Тэо до сих пор видны на стéчах развалин стихи Анакреона, вычертанные, по преданию, самим Анакреоном. Траллы, город великих театральных действ, имел множество названий — Антэа, Эвантэа, Ларисса, Антиохия. Сельджуки называли Траллы — Гюзэл - Хиссаром — что значит: прекрасный замок. — —

Ужели такова была Эллада, вот эти развалины? — впрочем, нет, конечно. — Великий Театральный Мастер — история — перегримировал

Эвантэю в пески. Это не шутка, что козы с'ели Малую Азию. Цветущая страна веселой торговли, поэтов, философов, дионисийской морали — погибла не от войн и нашествий — ассирийцев, персов, римлян, турок, — но, главным образом, от коз, которые столетиями с'едали побеги деревьев, уничтожали — уничтожили — леса и рощи, высушили долины и реки, — и превратили зеленую Анатолию в безводные пески и камень. — Траллам выпало до наших дней сохраниться в том виде, в каком эти места остались от разорений древности, историки сказали, что там жива Эллада. Но Театральный Мастер должен работать свою работу: и Траллы покинуты греками, теперь навсегда, в 1921 году, в дни греко-турецкой войны, когда турки русской тяжелой артиллерией над Смирной скинули греков в Средиземное море, заставив их бежать, бросив дома и жизнь.

... Вот она, Эвантэа, веселая страна поэтов и музыкантов! — на столе в пустом доме я нашел краюху иссохшего хлеба, а в другом доме — в светильнике еще не высохло масло. — Вот она, Антэа, страна великих театральных действий, — мертвая Эллада, мертвая потому, что ничто новое не пришло в быт греков, живших здесь, за последние полторы тысячи лет, — а турки не собрались еще с двадцать первого года разграбить эти места.

.

С горы к нам ехал на муле человек, он махал рукою. Мы поехали к нему навстречу, глиняной улицей. На перекрестке стояла разбитая статуя Афродиты, в шерсти буйволов, которые чесались об нее. Человек, под'ехавший к нам на муле, был стариком в белом плаще и в сандалиях. Мул его не был оседлан.

Я спросил: — можно ли где-нибудь здесь достать стремя?

— Стремя? — переспросил старик и задумался. — Да, можно, — ответил он. — Вон там на холме есть улица, в третьем доме направо под скамьей лежит стремя. Возьмите.

Я поскакал за стремянем. Дом был отперт и пуст. Над дверью в притолоку было воткнуто веретено. Под лавкой в пыли лежало старое медное стремя, — я поднял его и рассмотрел, — это было стремя, оставшееся, быть может, от Александра Великого —

.

И — я видел подлинную Элладу.

Мой спутник спросил старика:

— Где здесь Траллы?

— Траллы — здесь! — ответил старик.

Старик повел нас в дом, такой же пустой, как все. Из меха он налил в глиняный сосуд красного вина и подал нам козьего сыра. Старик был молчалив и торжественен. Он держался хозяином, магнатом этих мест, но он кланялся подобострастно. Мне показалось, что старик не совсем нормален, так, как ненормальны под старость бывают очень многие русские старики-крестьяне. Мы отдыхали перед тем, чтобы пойти по развалинам. Старик просил подождать, когда придет

с гор мальчик. Я рассматривал старика: он был чудесно красив, поистине правнук Диониса в грязном своем плаще, седокудрый старик с гордыми глазами. Мы спросили, что он здесь делает, как уцелел он здесь, он, грек, — старик ответил невнятно.

Мы не дождались мальчика с гор и пошли по мертвым развалинам. Старик шел с нами, как магнат и сторож. Старик заговорил о древностях, он все знал лучше наших справочников, бродя по векам истории, — но старик говорил о каждом доме, кто в нем жил и что в этом доме осталось, — так же, как говорил о веках. Мой переводчик сказал мне, что старик говорит только в настоящем времени, сдвинув время истории. Старик снял в одном доме светильник и подарил его мне, светильник, которому полторы тысячи лет, из черной глины.

Старик указал нам на пыль в горах и сказал, что это мальчик гонит отару. Старик говорил о мальчике торжественно.

И к нам подошел мальчик с гордой головой на хрупкой шее — тот самый, которого я видел в Музее Древностей в Стамбуле на холме Гюль-Ханэ. У ног мальчика были козы и сторожевые псы. На плечах мальчика был рыжий плащ из овечьей шерсти. В руках мальчика была суковатая палка.

Я знаю: в ветре и солнце я видел тогда подлинную Элладу, подлинного эллина, — пусть — Малую Азию — у истории — с'ели козы. Театральный Мастер не забыл, что Эвантэа была городом великих театральных действ.

В торжественности заговорил старик, указывая на мальчика:

— Мы здесь вдвоем. Я здесь один. Я охраняю эти места. Мальчик из Тралл еще жив. Эллада — жива!

Старик указал рукою в сторону гор, старик — гениальным актером — глянул над моей головой. Старик был величественен. Он повторил тихо, сам себе:

— Мальчик из Тралл еще жив!..

... Солнце и ветер. Ноябрь, и поэтому прохладно, как в России около второго, яблочного спаса, — и солнце и ветер тогда крепки и благоуханны, как антоновское русское яблоко.

Москва
Ямское Поле
30 дек. 1927.

Новая скрижаль

Роман

ПАНТ. РОМАНОВ

(Продолжение ¹)

XVII

Когда Сергей позвонил, ему сказали, что Людмила Сергеевна будет дома в 7 вечера.

Он живо помнит то состояние, какое у него было, когда он ждал этих семи часов.

Кто-то из товарищей попросил его устроить сегодня заседание, но он испуганно сказал, что он не может, так как перегружен работой.

Придя после работы домой, он нервно ходил по комнате и все думал: неужели же в самом деле вернулось то, что он считал навсегда и так позорно потерянным.

Он подошел к зеркалу и не узнал себя: глаза были большие, темные, щеки побледнели, и сам он был похож на человека, который слушает необыкновенную музыку, оттого так горят глаза и на щеках эта бледность от внутреннего потрясения.

Наконец, семь часов. Он взял трубку и у него на секунду потемнело в глазах, когда он ждал, что она сейчас подойдет. Вдруг он услышал ее голос, сначала безразличный, потом, когда она его узнала, зазвучавший тем непередаваемым, свойственным ей оттенком, который он так знал и который всегда почему-то волновал его.

— Неужели это вы? — сказал Сергей.

— Я... Конечно, я... — В ее голосе были и улыбка, и радость. — Я звонила вам... хотелось узнать, что вы делаете...

— Я уезжал... Меня не было...

— Почему вы уехали?.. — спросила она и сейчас же, точно испугавшись, сказала: — Нет, это вы все объясните, когда придете.

— А разве можно притти?

¹) См. «Новый Мир» № 1 с. г.

— О, да, очень! — вырвалось у нее с порывом.

— Когда?

— Сегодня же... сейчас же.

— Иду, — сказал Сергей.

Дверь открыла не она, а какая-то высокая пожилая женщина, вытиравшая о фартук руки. Он успел это запомнить, хотя глаза его, казалось, ничего не видели, кроме ее двери. Он постучал.

— Войдите... — сказал ее голос, голос, не похожий ни на какой другой голос в мире.

Сергей с забывшимся сердцем открыл дверь и увидел ее...

Людмила стояла у окна, прислонившись спиной к подоконнику, и смотрела на дверь, ожидая, когда он войдет. На плечах у нее был белый платок с вышитыми на нем матовыми цветами и с длинной шелковой бахромой.

Сжав руки у груди под платком, она с испугом и страхом смотрела на Сергея, когда он входил. Как-будто она боялась не найти в его лице подтверждения того, чего хотела ее душа. Потом, когда Сергей, улыбаясь, подошел к ней, она, как -будто окончательно уверившись и преодолев стыд, порывисто обняла его и спрятала голову у него на груди.

— Так значит, я ошибся? Я думал, что ты отвернулась от меня, — сказал Сергей. — Ведь я звонил на другой день утром и мне сказали, что тебя нет, тогда как я чувствовал, что ты дома.

— Я испугалась самой себя... — сказала Людмила, подняв глаза и покраснев стыдливым и виноватым румянцем. — Я не знаю, как это случилось... со мной никогда не было так... и я думала, что вы меня будете презирать... и когда я на третий день сама позвонила, мне сказали, что вы уехали...

— Как ты могла подумать это... Я весь с тобою целиком... еще лучше, чем прежде, — сказал Сергей и сейчас же почему-то вспомнил, что у него есть жена, Груша, и она сейчас, ничего не зная, наверное, сидит у печки, прядет или собирает ужинать и, может быть, думает о том, как он доехал, что делает, вспоминает ли о ней.

Молодая женщина держала его руку в своей руке, которая слегка дрожала, и молча смотрела на него напряженным взглядом. В этом взгляде было столько страстной жажды убедиться в чем-то, поверить.

Потом сказала, глядя на Сергея все тем же серьезным, напряженным, неотвечающим на его улыбку взглядом:

— Мое сердце чисто перед вами и потому я не стыжусь сказать, что оно... что оно принадлежит вам. Но неужели же, неужели же мне придется когда-нибудь раскаяться в этой минуте?.. Пусть!

Она с загоревшимися глазами тряхнула головой.

Сергей чувствовал такую напряженную силу любви в этой женщине, такую правдивую и целомудренную открытость, что, не колеблясь ни одной минуты, сказал:

— Никогда... Никогда ты не раскаешься.

Да, он так сказал. Это он хорошо помнит. И разве она не могла бы остаться той, какую она была с самого первого момента встречи? Разве в том, что потом произошло, что было кошмаром, можно ее обвинить?

Сергею хотелось, чтобы она сказала ему ты. Но Людмила, краснея, ответила на это, что она боится привыкнуть говорить так, и что кто-нибудь может услышать.

Ее чувство было настолько стыдливо, что она и его умоляла не говорить ей ты на улице и вообще нигде, кроме ее комнаты. И когда Сергей заходил за ней после службы, она оставалась такою же точной, аккуратной, сдержанной, когда, задержавшись из-за лишних посетительниц, сидела за своим большим столом и только на щеках у нее начинали рдеть два красных пятна и глаза становились совсем темными, да изредка ее взгляд, брошенный на него во время разговора с посетителями, говорил ему о том, что все в ее душе отдано ему.

На улице она испуганно оглядывалась, когда Сергей брал ее под руку, или она торопливо отстранялась и меняла разговор, когда видела кого-нибудь из своих знакомых и товарищей по работе.

— Почему ты так боишься? — спросил один раз ее Сергей.

Она посмотрела на него и сказала:

— Люди мелки и в большинстве пошлы, они все понимают гораздо хуже, чем есть на самом деле. И мне не хочется, чтобы кто-нибудь по-своему истолковал наше знакомство и... нашу, как мне кажется, слишком заметную близость, близость еще посторонних друг другу людей. То, что во мне есть сейчас к вам — для меня большая новость. Ничего такого у меня еще ни к кому не было. И я хочу сохранить в полной незапятнанности это, как необыкновенное чудо. Чтобы даже посторонние взгляды не касались его...

И когда однажды при Сергее к ней зашли ее подруги — Елена, высокая, шумная женщина, и Лидия, молчаливая, с грустным лицом, не выпускающая из рук папиросы, — Людмила смутилась и представила им Сергея, как сослуживца, пришедшего по делу.

И насколько она скрывала от всех их отношения, боялась проявления всякой близости при посторонних, настолько Сергею хотелось, чтобы ее и его знакомые поняли, что эта красивая женщина, недоступная для других, ему близка. Его мучило то, что, когда они были не одни, она становилась официальна, обращалась к нему, как к постороннему, взглядывала на него при разговоре так же, как и на всех.

Сергея это расстраивало. Он не понимал, как можно так меняться, быть при посторонних такою сдержанной, что даже самый наблюдательный глаз не мог бы ничего заметить. И потому он жил в постоянной неуверенности, в постоянных чередованиях от уверенности к неуверенности. И поэтому ему хотелось, чтобы скорее все определилось. А для этого он настоял на том, чтобы переехать к ней.

XVIII

Наконец, это произошло. Сергей перебрался к ней. Теперь кончились все сомнения, теперь не нужно было скрываться ото всех, не нужно выкраивать дни и вечера для свиданий так, чтобы об этом не догадались знакомые. Не приходилось считать часы и минуты, когда они вместе, потому что отныне они навсегда вместе.

Когда это все кончилось и они сидели на третий день его переезда вечером на диване и Людмила, прижавшись к нему, говорила о том, что теперь им нечего волноваться, они, наконец, вместе, Сергей вдруг почувствовал, что он меньше ее любит.

У Людмилы же было совершенно наоборот. Она была переполнена счастьем от уверенности, от определенности положения. Она была горда тем, что теперь не нужно скрываться, не нужно прятать своих отношений, как чего-то незаконного.

Было только одно обстоятельство, о котором она упомянула как-то вскользь. Это то, что у Сергея еще нет развода и они все-таки живут не как настоящие муж и жена. Но она так была переполнена счастьем, что только на минуту эта мысль скользнула у нее и она сейчас же заговорила о другом.

Теперь, когда черта была перейдена, она не только не скрывала перед другими своей близости к нему, а наоборот, всячески проявляла ее, как-будто ей невыразимо приятно было сознание, что она получила на это законное право.

Как-будто каждое появление ее с ним на людях лишний раз острее заставляло ее чувствовать, что этот, прежде чужой и посторонний для нее человек, — теперь самое близкое и родное для нее существо.

Иногда, сидя с Сергеем, близко прижавшись к нему, точно под его защиту, Людмила вдруг закрывала рукой лицо, как это делают, когда темнеет в глазах, и говорила, что ей страшно. Страшно от того, что она так необыкновенно, так безумно счастлива. Что так с ней никогда не бывало. И она боится, что это необыкновенное чудо, которое наполнило сейчас всю ее душу, со временем сойдет на-нет, все будет так, как у всех.

— Нет! — сейчас же возражала она самой себе со всей присущей ей страстностью и порывом, — нет, этого не будет, этого не должно быть! Мы сделаем все, чтобы сохранить наше чудо, сохранить его во всей его силе и напряженности. Это же высшее, что дано человеку. Когда вся душа другого, прежде неизвестного человека, вся принадлежит тебе, слита с тобой в одну душу, готова каждую минуту с радостью, с безумной радостью отдать свою жизнь за нее (а я не задумалась бы ни на одну минуту), разве это, действительно, не чудо? Когда один человек становится дороже всего мира, дороже собственной жизни, — разве это не чудо? Какое счастье чувствовать, что ты для меня и я для тебя нужнее всего в жизни!..

И как же не беречь, как не оберегать от всего, что засорят и уменьшает это сокровище.

И она иногда сама удивлялась и пугалась, и радовалась силе своей любви.

Прошел месяц и другой, и она с удивлением и радостью говорила, что она чувствует Сергея так же, как и в первый день, еще сильнее. И чтобы дать ему почувствовать то чувство жертвенной преданности и растворения в нем, какое у нее было к нему, Людмила говорила:

— Так, как я люблю, не сможет тебя любить ни одна женщина.

Ее любовь требовала своего выражения в каждой мелочи, каждую минуту, она говорила Сергею, что нет ни одного мгновения, когда бы она не помнила и не думала о нем.

Прежде, несмотря на достигнутое ею положение, несмотря на живую работу и самостоятельность, ее жизнь представлялась ей пустой, лишенной какого-то основного смысла. Ей казалось, что, несмотря на всю внешнюю наполненность, ее жизнь пуста и бессмысленна: она работает, трудится, спешит, устает... Зачем? Чтобы заработать, с'есть, а дальше что?.. Теперь жизнь вдруг наполнилась, осветилась целью и смыслом. Теперь все, что нужно делать, это не допускать п р и в ы ч к и, — не допускать снижения того вдохновения, того под'ема души, какой им дала близость друг друга.

Она иногда указывала Сергею на сидевших в какой-нибудь общественной столовой мужа и жену: муж читал газету, а жена молча водила вилкой по тарелке в ожидании следующего блюда, или смотрела со скучающим видом по сторонам.

— Вот, смотри, какой это ужас. Ужас, которого обыкновенно никто не замечает, потому что это считается самым нормальным и естественным. Что связывает этих людей? Привычка и квартира. Их души уже умерли, в них жизнь уже прекратилась. Лучше оборвать совместную жизнь в самом начале, чем дойти до этого.

Все свободное время после службы она стремилась быть всегда и везде в м е с т е с Сергеем. В театр, на прогулку, в гости — ей хотелось идти только вместе с ним и только, когда она шла вместе, это было для нее огромным удовольствием. И говорила, что она сделала неожиданное для себя открытие: она совершенно не может быть без него. Говорила это с удивлением и радостью. Прежде она не могла допустить мысли жить с кем-нибудь в одной комнате, в особенности с мужчиной, которые ей «все казались противными», а без него она скучает, без него она не может остаться ни одной минуты.

И Сергею было приятно слышать, что он лучше всех мужчин, что он среди них исключение.

Один раз он ушел со службы в редакцию, не предупредив ее, и пришел тремя часами позднее.

Когда он вошел в комнату и стукнул дверь, Людмила, стоявшая посредине комнаты с выражением крайнего отчаяния, с ужасом

оглянулась на стук, как-будто ожидая чего-то страшного. Потом увидела его, бросилась к нему, сначала только молча иступленно целовала его, как бы не веря его присутствию. Потом, торопясь, плача и смеясь, стала рассказывать ему, какие ей ужасы представлялись. Ей казалось, что его раздавило трамваем, автомобилем и что сейчас раскроется дверь и в комнату внесут труп или изуродованное тело.

Она рассказывала это, смеялась на самое себя, а слезы все текли у нее ручьями и она никак не могла остановиться.

И опять Сергею было приятно впервые в своей жизни видеть воочию такую любовь к себе. Он — простой в сущности мужик и его так необыкновенно любит эта прекрасная женщина.

Если он уходил в город и долго не возвращался, она начинала звонить по всем знакомым и спрашивать, нет ли у них Сергея.

Так же и Сергей, когда она долго не возвращалась, — ему казалось неудобно не ответить ей такой же заботой и тревогой о ней, — и он тоже звонил и спрашивал, где она и тоже рассказывал ей, что тревожился за нее, если она запаздывала надолго, хотя никакой особенной тревоги не чувствовал.

А когда знакомые подтрунивали над ними и говорили, что в наше время они являются анахронизмом, Людмила только счастливо улыбалась, глядя на Сергея.

Ей было невыразимо приятно, когда ее называли по фамилии Сергея и обращались по квартирным делам к нему, а не к ней. Ей точно хотелось совсем уничтожиться и исчезнуть в Сергее, не иметь своего отдельного от него ни имени, ни существования. Это было бы ее высшим счастьем...

Вся их жизнь, казалось, была насквозь пропитана выражением любви, слитности, постоянной памятью друг о друге. У них было принято, например, оставлять записки, когда один из них уходил в отсутствие другого. Они писали друг другу, кроме нежных слов, куда она или он ушел, когда вернется.

Сергей не чувствовал в себе потребности делать так, как она, но чтобы ее не обидеть, он также оставлял ей записки и писал нежные слова, чтобы ей было приятно прочесть, когда она вернется. Он делал это не для себя, а для нее. И так все больше и больше накопилось того, что он делал не из собственного чувства, а из нежелания обидеть ее.

Ее общественная работа потеряла для нее всякий интерес и это не пугало, а опять только радовало ее: значит, любовь ее к Сергею действительно велика, если она вытеснила все из ее жизни. Значит, жизнь ее теперь действительно полна, если ей ничего в мире не нужно, кроме этого одного человека.

Ей хотелось как-будто отгородиться с ним от всего мира, чтобы не слышать постоянно голосов и присутствия чужих людей, где-то близко около себя. Она, как о чем-то недостижимом, мечтала

поселиться хоть в самой маленькой квартирке, но отдельно от всех, «чтобы никого, никого не было».

Дверь постоянно тщательно запиралась, чтобы извне не доходил в комнату шум и не напоминал о присутствии рядом других людей. И поэтому она любила ездить с ним на прогулку куда-нибудь за город, чтобы там быть только вдвоем и не видеть вокруг себя жизни других людей, которая Людмилу точно оскорбляла своей будничной противоположностью ее возвышенному настроению.

Всякое впечатление она воспринимала только тогда со всей полнотой, когда она могла поделиться с ним. Поэтому для нее не было никакого смысла быть, например, одной, без него в театре, хотя бы на самой интересной пьесе. Она не могла веселиться без него и, когда ее приглашали куда-нибудь, а Сергей был занят работой и не мог пойти, она отказывалась и говорила, что ей приятно быть на людях только с ним.

Сергей помнит, как один раз он пришел и сказал, что сегодня вечером члены редакции хотят собраться у одного художника и просили притти его.

— А я? — спросила озадаченно и тревожно Людмила, — мне с тобой нельзя?

— Я думаю, что это не совсем удобно, потому что приглашали одного меня.

Она сказала, что пойдет на это время к Елене, так как совершенно не может быть одна в этой комнате без него.

Он вернулся в три часа, так как после бесконечных споров и разговоров устроили товарищеский ужин и было неловко уйти раньше всех.

Людмила не спала. Он со двора еще увидел огонь в комнате. Она терпеливо ждала его и приготовила для него ужин, который постоянно подогревала. А сама все смотрела в окно и «нарочно, — рассказывала она, — перевернула часы циферблатом к стене, чтобы обмануть себя и не беспокоиться, что так поздно, а тебя все нет».

Сергея тронула эта бесконечная заботливость, эта исключительная поглощенность им, и он сказал, что больше никуда не пойдет, так как не может себе представить, что он будет там веселиться, а она здесь будет сидеть одна.

— А там очень весело было? — спросила она и в ее тоне почувствовалась тревога и настороженность. Она начала расспрашивать Сергея, кто там был, почему он так долго не возвращался. Она, повидимому, больше всего боялась, что ему может быть хорошо без нее, помимо нее. И было страшно, что вдруг что-нибудь другое может получить над ним хоть маленькую власть больше, помимо нее.

Она была искренно счастлива, когда он ей сказал, чтобы не обмануть ее ожиданий, что он скучал без нее, что там была одна девушка, внутренне очень интересная, но он увидел, до какой степени теперь остальные женщины не существуют для него.

В лице Людмилы опять на мгновение появилась едва заметная напряженность и настороженность, но, когда Сергей сказал последнюю фразу, она обхватила его шею своими руками и крепко, крепко, точно боясь потерять какое-то сокровище, сжала ее.

Один раз Сергей сказал ей, что совершенно не может работать, когда он с ней, его работа кажется ему скучной и неинтересной.

—А моя работа представлялась мне прежде самым главным для меня.

Людмила опять горячо обняла его. Для нее было высшим счастьем узнать, что его любовь к ней преобладает надо всем в его жизни.

— Я сознаю, что твоя работа нужна, необходима тебе, что те мысли, которыми ты делился со мной, очень ценны, — говорила она.— Я сама жила той мыслью, что буду тебе помогать в твоей жизни, что тебе нужна и ценна эта помощь, но все-таки мне сладко, ах, как сладко, было услышать, что у тебя любовь ко мне пересилила твою любовь к работе. Ведь моей мечтой было, чтобы любовь ко мне была сильнее всего на свете. Тогда это будет высшее счастье.

На все, что могло не то что поколебать, а разрядить и хоть сколько-нибудь ослабить его любовь к ней, Людмила смотрела с настороженностью, опасением и враждой. Она с торжеством и удивленной радостью говорила ему, что ей ничего, кроме него, не нужно: ни люди, ни работа, никакие впечатления, если он в них не участвует.

Сергей сам не чувствовал того же: ему нужны были люди и мир. Он любил толпу, движение. Но неловко было это сказать. И он чувствовал какую-то внутреннюю повинность говорить ей, что он без нее скучал.

Он каждый день собирался начать свою обычную, упорную работу. Каждый день он вспоминал о своей тетради, куда за все последнее время у него не было записано ни одной строчки. Все его свободное время уходило на Людмилу, на разговоры с ней о их чувстве, о том, что нынешнее поколение совсем не знает таких глубоких и чистых отношений.

Один раз она ушла, оставив ему записку, что ее вызвала Елена, и что она вернется к 8 часам. Просила его не уходить никуда, чтобы ей не вернуться в пустую комнату.

XIX

Сергей вдруг почувствовал тайное удовольствие от мысли, что он остался один и что он может сейчас попрежнему взяться за работу.

Это ощущение уединения после двух месяцев ежедневной совместной жизни бок-о-бок вдвоем почувствовалось им, как какая-то забытая радость, найденная вновь.

Его сознание ничего еще не взяло из этого куска прожитой жизни. Не подвело ей итога.

Ему только изредка приходили мысли, которые он хотел записать, но потом откладывал, решая, что он запишет потом все сразу. И чем он их больше откладывал, тем они реже приходили.

Он увидел, что не может ни одной из тех мыслей воспроизвести с таким точным смыслом, какой он видел в них в момент их возникновения.

И Сергей, привыкший даже со своих ошибок брать дань, сейчас же пришел к новой мысли:

«Мысль есть точный снимок с проходящей через, мое сознание действительности и происходящих во мне процессов. Передача мысли на бумагу может достигать полной точности только в том случае, когда я беру ее в тот момент, когда она возникла».

«Если я не беру своих мыслей в первый момент их рождения, оставляю лежать, то они преграждают дальнейший процесс моего движения. Это все равно, как если из колодца перестать брать воду, и вода не только не будет накапливаться и прибавляться, а начнет застаиваться и покрываться тиной».

Потом его мысль почему-то с особенной настойчивостью остановилась на Людмиле, на ее необычайной любви к нему и на том, почему она не может быть ни одной минуты без него. Что это, — положительное явление или отрицательное?

Он по своей привычке всегда в частном факте искал общих причин. Кроме частного смысла этого факта, он еще искал его смысла с точки зрения главной мысли своей жизни.

И сейчас ему стал ясен общий смысл и та ступень, на которой стояла Людмила в общем развитии человеческого сознания.

Ему в связи с этой чертой Людмилы пришла мысль, что в развитии человеческой личности есть три стадии.

Первая стадия, когда человек живет всецело для себя и узкой клеточки — семьи.

Вторая стадия, когда человек является только частью коллектива, выполняющей волю и задания этого коллектива.

И третья стадия, когда человек, кроме выполнения воли коллектива, выполняет еще волю своей природы, которая рождает ценности, нужные уже не одному человеку, не одному только его ближайшему коллективу, а всему человечеству. В таком человеке есть собственная сила жизни.

У Людмилы нет собственной силы жизни, поэтому ей постоянно нужен кто-то другой, который давал бы ей эту силу жизни и смысл ее.

Сергей подумал о том, какой ничтожный процент человечества живет собственной силой.

В это время в комнату вошла Людмила той поспешной походкой, когда приходят с опозданием, думая только о том, что их ждут и волнуются.

Увидев Сергея за столом, она некоторое время стояла сзади него в шубе и в шляпе, держа на пальце какую-то легкую попку на ве-

речочке. Она смотрела на сидевшего к ней спиной Сергея с улыбкой от того, что он не замечал ее.

Она раскраснелась от быстрой ходьбы и глаза ее горели счастливым блеском от свежего воздуха и от сознания, что она, наконец, дома.

Сергей безотчетно оглянулся и сказал:

— Ах, ты уже пришла.

И он стал говорить ей, как он хорошо думал, что это у него первый день, когда он почувствовал такую необычайную ясность мысли. Он и от нее ожидал такой же радости и сочувствия, но она молчала. И чем он дольше говорил, тем больше улыбка и оживление сходили с ее лица.

Наконец, она сказала:

— Ты, увидев меня, сказал: «Ах, ты уже пришла»... А я пришла на целый час позднее и последнюю половину дороги почти бежала, так как думала, что ты скучаешь без меня и беспокоишься. Значит, тебе было все равно... даже лучше без меня, чем со мной?

— Я просто очень хорошо работал и не заметил, что прошло так много времени. И потом я давно не оставался один. Нужно хоть изредка делать так, оставаться одному на несколько часов.

— Так что тебе действительно было лучше без меня?

Она спросила это, не подняв на него глаза.

— Я не говорю, что совсем без тебя, я говорю — иногда.

Людмила вздохнула и, переведя глаза на окно, смотрела туда остановившимся взглядом. Потом, молча, стала снимать перчатки, не глядя на Сергея.

— Ну, в чем дело, — сказал Сергей. — Разве мне не нужно работать? А работать по-настоящему я могу только тогда, когда я хоть на час в день остаюсь один.

Он сидел в кресле перед письменным столом и, повернувшись в полоборота, смотрел на жену. Она, не подходя к нему, прошла мимо него и стала у окна все с тем же застывшим выражением. Потом, не поворачивая головы, сказала тихо:

— В сущности случилось то, что должно было случиться, что есть у всех: сначала у тебя был подъем любви ко мне, ты ничего не мог делать, потому что я для тебя была — все. Теперь ты можешь делать... и не только можешь, а тебе лучше быть без меня, хотя бы на некоторое время. Только и всего.

Она повернулась к нему и говорила очень спокойно, даже как бы успокаивая его.

— Ты ни в чем не виноват. Ты поступил так, как поступил бы всякий мужчина.

— Но что же хорошего, если бы я совсем позабыл о том, что мне нужно делать для своей жизни?

— Было бы плохо. Было бы неразумно, — сказала Людмила, — но когда ты ради меня не делал того, что для тебя было нужно, поступал нерационально, это было для меня доказательством, что я напол-

няла тебя всего собою. Я была для тебя всем, а теперь... кончилось. Я думала, что мое существование рядом с тобой наполнит твою жизнь, как ты наполнил до краев мою. Оказалось, что я только на очень короткое время могу тебе дать такую полноту, при которой тебе ничего не нужно, кроме меня... Я, наконец, думала, что я буду помогать тебе, я думала, что ты будешь благословлять судьбу за то, что она послала тебе помощника, вся жизнь которого отдана тебе, для которого является великим счастьем быть нужным тебе, а оказалось, что ты можешь работать только тогда, когда меня около тебя нет.

— Но ведь ты сама же говорила, что для тебя самое главное в том, чем я живу. А когда я начинаю этим жить, ты страдаешь... Где же логика?

Она горько рассмеялась.

— Боже мой, разве я не вижу, разве я не понимаю, что ты прав? Ты глубоко прав. Но в этой-то правоте — начало конца того... во что я...

Она, закусив губы, замолчала. В глазах ее стали набираться слезы, которые вдруг закапали через ее длинные ресницы на руки и на ее платье, оставляя темные расплывчатые мокрые пятна.

Сергей вдруг почувствовал свою связанность, но он, пересилив себя, стал ей говорить, что ничего не изменилось, что он работал, помня о ней и думая о ней. (Но говоря это, он вспомнил, что он думал о ней, как о человеке низшей ступени развития.) Он сказал, что ему лучше было работать при мысли, что у него есть теперь человек, который ему помогает в его движении, что она ему нужна именно в его работе.

Людмила слушала это и молчала. Но слезы уже медленнее катились у нее из глаз. Наконец, она повернула к нему голову и, поднеся руку с платком к губам, смотрела на Сергея со всем напряжением взгляда, как-будто она силилась найти в его глазах подтверждение того, что он говорил словами. И не является ли это в конце концов первым предупреждением того, что его мужская душа, на которой она основала всю свою надежду и вложила в нее весь смысл своей жизни, — эта душа окажется так же чужой, стремящейся в какую-то свою сторону, независимо от нее. И ее душа окажется ему ненужна, несмотря на все его уверения!..

И, может быть, удел женщины, отдающей себя целиком, вкладывающей свою жизнь без остатка в жизнь любимого человека, ее удел — вечное одиночество и опустошение?..

Сергей почувствовал, что нужно усилить ласковые слова и тогда дело уладится. Он так и сделал. Людмила села на диван, Сергей тоже сел около, продолжая ее успокаивать, потом положил ее руку к себе на голову. Рука ее, вначале неподвижно, мертво лежала на его голове. А сама она все еще глядела в сторону окна. Потом рука ее пошевелилась, и Людмила грустно, задумчиво погладила его волосы, как бы

выражая этим, что она не сердится на него, но не может не думать о том, что все-таки чудес на свете не бывает.

Кончилось тем, что Сергей заставил ее против воли улыбнуться. Она, с невысохшими еще слезами, смотрела на него некоторое время, потом, поборов свое настроение, сжала со всей силой руку Сергея, точно стараясь навсегда удержать около себя то, что, ей показалось, уже начало ускользать от нее.

Потом она просила его оставаться одному, сколько он захочет. Для нее большой радостью будет видеть, что он может работать, хотя бы он при этом ни слова не сказал с нею.

Сергей благодарил ее за эту жертву, но он помнит, что с этого момента, всякий раз, когда она возвращалась, он, заслышав ее шаги, откладывал работу и, видя себя со стороны лгушим, спрашивал, почему она так долго не приходила, что он уже соскучился без нее. И видел, как глаза ее от этих его слов сияли счастьем.

XX

В одну из суббот должны были прийти друзья Людмилы, Елена и Лидия с мужем. Потом Людмила, покраснев, сказала Сергею, что ей очень хочется позвать Анатолия Александровича Беха, того самого мужчину, которого они встретили два раза на улице.

Сказав это, она покраснела и робко взглянула на Сергея, как бы боясь, что ему это будет неприятно.

— Но ведь ты раньше избегала его, — сказал Сергей.

— Я избегала его, когда он был... опасен для меня, а теперь я чувствую себя крепко защищенной тобою, — сказала Людмила. — И при том он примирился с фактом, когда узнал, что я принадлежу тебе. Он будет очень огорчен, что его не позвали, так как все равно он от Елены узнает, что они были у нас.

— Ну, что же, мне решительно все равно, — сказал Сергей, — зови кого хочешь.

Если в самом начале сближения Людмила была очень щепетильна в проявлении своей близости и старалась на людях держаться так, чтобы ничего не было заметно, то теперь, наоборот, каждое проявление их близости при других было для нее как бы лишним напоминанием и подтверждением того, что этот прежде чужой ей человек, теперь — близкое, одно с ней существо — м у ж.

И гости были для нее не просто гости и даже не просто друзья, а свидетели ее счастья, которым она может показать свою новую жизнь и почувствовать еще более остро и свежо под взглядами других свое новое счастье. Почувствовать и показать другим, что она уже не одинока. Что жизнь ее устроена и полна счастья и смысла.

Дня за три до этого она уже ходила и все покупала какие-то мелочи. Для нее была дорога мысль, что она это делает для украше-

ния своего очага. У нее есть свой очаг, который она горда и счастлива показать своим друзьям.

А накануне того дня, когда должны были прийти гости, Людмила обратила внимание на руки Сергея и сама стала ему подрезать и отделявать ногти на руках. Ее приводили в отчаяние его ногти на больших пальцах: они были такие большие, широкие, что с ними ничего нельзя было сделать, сколько она ни подпиливала их.

— Отчего они такие большие, я никогда прежде не замечала этого, — говорила с недоумением Людмила.

На кровать она постелила самое тонкое белье, какое только у нее было, и сама завилась у парикмахера.

Сергей в вечер прихода гостей должен был вернуться в 7 часов, но запоздал и пришел только к девяти, как раз в тот момент, когда в передней уже раздавались голоса только-что пришедших гостей.

Гостей было четверо: Елена, высокая красивая женщина, с завитыми, по-модному остриженными волосами. Она стояла перед зеркалом в передней и, откинув через плечо мешавший шарф, весело смеялась и взбивала редкой гребенкой волосы надо лбом.

Другая подруга Людмилы, Лидия, была высокая худощавая женщина с бледным сухим лицом, в черном глухом платье с рукавами, которые она все оправляла и натягивала их к самым кистям своих тонких костлявых рук.

Она очень много и часто курила и, как только разделась и вошла в комнату, так прежде всего достала папиросы и стала оглядываться и искать глазами спичек.

— Она совершенно продымилась, — сказала Елена, — дайте ей спичек, иначе она умрет.

Муж Лидии был довольно полный мужчина в пиджаке, с нависшей над глазами бородавкой-родинкой, моргавшей вместе с веком. Четвертый гость был Бех.

— Ну, вот он, наконец! — воскликнула Людмила при входе Сергея. В ее восклицании были и радость от его возвращения, и гордость им, и в то же время робость от предстоящей оценки его ее друзьями.

Елена при входе Сергея, когда он здоровался со всеми, обратилась к нему и сказала:

— Если бы вы знали, сколько вы причинили беспокойства своим опозданием. Что тут было! Вас уже представляли себе на смерть задавленным трамваем, автомобилем и я не знаю, еще чем. Хотели уже на всякий случай вызывать карету скорой помощи. Это всегда у вас так? — спросила она, глядя на Сергея своими веселыми прямыми черными глазами, между тем, как ее сильные губы то и дело морщились от живой, смешливой улыбки.

— Всегда, — отвечал Сергей, улыбаясь и взглядывая на Людмилу.

Все подтрунивали над такой необыкновенной любовью. Только Лидия оставалась грустно-спокойной, какую она всегда была, и все

курила. Пепел у нее каждый раз сваливался на платье и она, взяв юбку в руку, подставляла пепельницу и перекатывала его туда.

Бех сидел в это время, опустив глаза, как человек, вынужденный присутствовать при изъяснении чувств, не к нему адресованных.

Людмила, продолжая что-то говорить, увидела разложенные на столе Сергея его бумаги и, подойдя, стала складывать их. И по тому, как она это бережно делала, было видно, что они получили для нее совсем другую цену, когда она на глазах своих близких друзей убирала их, как нечто, имеющее близкое отношение к ней самой.

Сергей помнит, что он, сам не зная почему, обратил тогда на это внимание.

Гости осматривали комнату, купленные Людмилой гравюры в ожидании, когда пригласят садиться за стол. И когда Сергей что-нибудь хотел помочь Людмиле, она, погладив его по руке, говорила, что все сделает сама.

А Сергей, чувствуя себя чужим в этом обществе, наоборот, искал только предлога, чтобы быть чем-то занятым и чтобы не бросалось в глаза, что он не знает, о чем с этими господами говорить.

При том он чувствовал, что они все пришли его смотреть и потому связанно и нелепо чувствовал себя. И ронял то вилку, то нож и одно время ему хотелось запустить о пол стаканом, встать и уйти. То-то был бы переполох!

Елена, оживленно говоря и весело смеясь, изредка останавливала взгляд на Бехе, прищурив глаза. И при этом с ее лица на секунду сбегала улыбка и оно становилось серьезно и нервно. Но она сейчас же опять смеялась и болтала.

Сергей изредка ловил взгляд Беха, который он бросал на Людмилу. И чем она была счастливее и оживленнее, чем больше горели ее глаза и чем больше она, краснея, улыбалась, как бы сама стесняясь своего счастья, тем больше темнело лицо Беха. И хотя он, с видом избалованного светского человека, острил и смешил общество, зная, что каждое его слово будет оценено, все-таки было заметно, что ему нехорошо и тяжело. Людмила это видела и старалась быть с ним особенно ласковой и приветливой.

Но в то же время ей, видимо, приятна была его мрачность: она действовала на Людмилу возбуждающе. Все в ней — оживленно-лихорадочный румянец щек, мерцающий, темный блеск глаз, порывистость движений — указывало на необычность ее состояния.

Но почему же присутствие этого человека теперь так действует на нее, когда раньше она страдала от встреч с ним? Этого Сергей ни тогда, ни теперь, — после случившегося, — понять не мог.

Он невольно следил за взглядами Беха, которые тот бросал на Людмилу. В них было восхищение, мучение ревности и напряженное желание понять эту женщину, которая его, его! предпочла мужику, неумеющему поддерживать разговор.

Иногда он, видимо, старался поймать ее взгляд, заставить ее встретиться глазами. Но глаза Людмилы, как бы непонимающие значение его взгляда, безразлично ласковые ко всем, приветливые от избытка счастья, переполнявшего ее, не задерживались на его глазах, искавших ее. Они переходили с одного лица на другое.

Разговор за столом шел о трудности квартирного вопроса, и Людмила говорила, что ее мечта иметь хоть самую крошечную квартиру, но отдельно.

И опять Сергей заметил быстрый взгляд, который бросил на нее Бех при этих словах. Но она опять не заметила его взгляда.

Елена часто посматривала на Сергея и у нее было выражение скрытого любопытства, очевидно, к тому, как такая изящная женщина, как Людмила, могла полюбить этого человека, вероятно, совершенно невоспитанного. Но так как всякая женщина всегда заинтересована интимными делами своих подруг и всегда от всей души желает осуществления их, даже если предмет выбора подруги ей не совсем нравится, то Елена, сев около Людмилы на валик дивана, наклонилась к ее уху и незаметно шепнула:

— Ты — молодец, я рада за тебя...

Людмила, покраснев, взглянула на Елену и молча крепко сжала ей руку, которую та положила ей на плечо.

Один раз она заметила, что Бех после ужина сел совсем в стороне и одиноко курил, подошла к нему своей легкой походкой. Сев против него, она стала оживленно говорить с ним, вкладывая в свой тон мягкую ласковость, как-будто она всячески хотела его вознаградить за что-то.

Бех молча и грустно поцеловал ее руку.

— Я сейчас чувствую себя так, — сказал он тихо и грустно, — как-будто подписали мой смертный приговор и меня при этом стараются развлечь... и я сам еще должен быть веселым и занимательным собеседником. Как все противоречиво, запутано.

— Как трудно понять, — продолжал он, — и почему так влечет именно к тому, что недоступно и непонятно?..

Людмила держала себя так, как-будто была счастлива, ей хотелось это показать и в то же время не хотелось делать этим кому-то больно.

Но после этих слов Бега оживление Людмилы совсем стихло, и она, опустив глаза, сказала так же тихо, как он:

— Вам нужно только то, что недоступно, а мне нужно то, во что бы я могла поверить и почувствовать, что для этого человека моя душа нужна, необходима, как большая ценность.

Сказав это, она как-то тихо, без той шумливой открытости, с какой она подошла к нему, перешла от него опять к столу, где Елена распорядилась чаем.

Когда сели пить чай, Людмила, передавая стаканы, обратилась к сидевшей рядом с Сергеем Елене и сказала:

— Передайте, пожалуйста, этот х о з я и н у.

Елена, придержав шарф на руке, передала стакан и, наклонившись к Людмиле, спросила тихо, но так, что все слышали:

— А вы как — по-настоящему венчались или только записались? Все почему-то затихли, оборвав при этом разговор.

Людмила, на секунду став тревожно-серьезной и покраснев, сказала:

— Нет, еще никак... у нас кое-какие осложнения, но я думаю, скоро...

И оглянулась на Сергея.

— Да, это скоро, — сказал Сергей, чувствуя, что он тоже краснеет.

Он покраснел потому, что вспомнил вдруг о жене и ему показалось что-то нехорошее в том, что он сидит с этими чужими людьми и с ними говорит о разводе с Грушей, о котором она и не подозревает после того, как он приезжал к ней, звал с собой в Москву и потом нежно простился с ней. А теперь он будет разводиться и жениться при живой жене на другой.

Бех сидел по другую сторону стола от Людмилы и упорно мешал ложечкой в стакане. Но при вопросе Елены он взглянул на Людмилу. И Сергею показалось, что она еще больше покраснела от того, что почувствовала этот взгляд на себе.

Муж Лидии, кончив чай, ходил около стен и, расставив свои короткие ноги и закинув голову с надетым на нос пенсне, рассматривал гравюры и обратился к Людмиле с вопросом об одной из них.

Она охотно и как-то очень поспешно встала от стола и, подойдя к нему, начала объяснять.

И у всех было несколько неловкое ощущение от оборвавшегося благодаря вопросу Елены разговору.

XXI

В первом часу ночи гости ушли. Сергей проводил их за ворота и, вернувшись, увидел, что Людмила стоит у окна, спиной к нему. Она не обернулась к нему, когда он вошел в комнату.

— Ты что? — спросил Сергей, подойдя к ней и повернув руками ее голову к себе.

Людмила, взглянув на него, глубоко вздохнула и опять отвернулась к окну.

— Что с тобой?

Людмила повернулась к нему, несколько времени смотрела на него, потом, опустив глаза, сказала:

— Милый, я не говорила тебе, потому что думала, что ты сам догадаешься. Я почувствовала сегодня себя в нелепом, двусмысленном положении.

— В двусмысленном положении? В чем дело?

— А ты не догадываешься?.. Тебе все кажется нормально в наших отношениях? — сказала она, прищурившись и ставши на минуту как бы отчужденной. И сейчас же добавила, опять опустив глаза: — Я говорю про развод...

— Хорошо, — сказал Сергей. — А почему для тебя это имеет такое большое значение?

— Милый, не говори! Это имеет огромное значение. Я хочу быть твоею полностью, чтобы между нами никто не стоял. И не только для себя, а и для других. Я краснею, я чувствую себя позорно, когда заходит речь о моем браке с тобой. Я не знаю, что отвечать. И я не знаю... кто я у тебя?..

— Ты не знаешь, кто ты у меня? — спросил удивленно Сергей.

— Да, я не знаю, — ответила Людмила твердо, — потому что у меня нет права на тебя, признанного другими. Я не могу твердо сказать, что я — жена твоя.

— Ну, хорошо, в чем же дело? Я завтра сделаю это.

Людмила, тревожно смотревшая на него, как бы ожидая решения своей судьбы, при его словах быстро, порывисто обняла его за шею и крепко поцеловала.

— Теперь я совсем, совсем счастлива! — сказала она. Потом прибавила с загоревшимися возбужденным блеском глазами: — А ты ничего не заметил?.. Я говорю про Беха... давай сюда сядем, — сказала она, садясь в уголок дивана.

У них бывали часто моменты особенных, откровенных разговоров. Сегодня Людмила, подогретая немного вином, очевидно, была особенно расположена к такому разговору.

— Когда мы сидели с ним вон там в углу, он сказал мне, что безумно страдает, что для него это пытка присутствовать при моем счастье с другим и еще быть при этом веселым и занимательным собеседником.

— А тебе приятно это? — спросил Сергей.

Людмила несколько времени смотрела ему в глаза, как бы взвешивая, можно ли быть совсем откровенной, и сказала, покраснев:

— Представь — да...

— Но ведь он же тебе совершенно не нужен, как ты говоришь?

— Совершенно!.. Я не знаю, почему это так, но мне приятно, что мужчина, который когда-то... несколько легко смотрел на меня, теперь мучается из-за меня.

— А мне бы это было тяжело и неприятно.

— Да я не совсем верю, что он действительно страдает. Но для женщины знать, что кто-то из-за нее страдает, значит ощущать, что ее жизнь чего-то стоит, что она кому-то нужна. Хотя бы тому человеку, который ей совсем, совсем не нужен. И мне теперь особенно приятно было показать ему, что я счастлива с тобой. Только... только я все-таки не думала, что у него это так сильно и... глубоко.

Она на секунду повернула голову в сторону и задумалась, сощурив глаза. Но потом сейчас же опять встряхнулась и продолжала с прежним приподнятым оживлением и блеском в глазах:

— И знаешь, о чем он меня просил?

— О чем?

— Он просил меня, чтобы я позволила ему быть хотя бы только другом, который отныне ни одним словом не будет мне напоминать о том, что он б е з у м н о, беззаветно меня любит, но если будет нужна даже его жизнь, он охотно отдаст мне ее, если это может охранить меня от чего-нибудь. И просил, как о милости, чтобы я его не гнала и не чуждалась так, как чуждалась до этого времени.

Сказав это, она повернулась к Сергею, оправляя отделившуюся от прически прядь волос.

— Ведь он — актер, а у них всегда все несколько преувеличенно.

— Нет, милый, нет! — как-то почти испуганно сказала Людмила, точно у нее хотели отобрать ее собственность. — Его я знаю, он, наоборот, всегда несколько рисовался тем, что он «человек без слабостей», как он говорил. И вместо злого торжества, какое я ожидала у себя по отношению к нему, мне было его сегодня бесконечно жаль... И в то же время я рада за него, рада, что он хотя и безнадежно, но узнал то, к чему всегда так легко относился. Но, конечно, он, может быть, от непривычки к такому положению чувствует его несколько острее, чем есть на самом деле.

Потом мысли ее, очевидно, приняли другое направление и она сказала, порывисто и сильно обняв Сергея:

— После того, как ты мне сейчас сказал, что ты сделаешь это завтра, мне стало так приятно думать о том, чтобы украсить, убрать наше с тобой жилище. Все это время до тебя я жила в страшной пустоте.

— А работа твоя?..

— Ну, что же, милый, — работа? — Работа давала мне средства к жизни, но моя ж и з н ь - то была никому не нужна. И я приходила к себе, чтобы только переночевать или пообедать. Конечно, работа иногда увлекала меня, мне нравилось проявлять себя, как энергичного и способного человека, бороться за свое место в жизни, но все это не то...

— А что главное? — спросил Сергей.

— Главное—это ты, — отвечала она с порывом, — ты — оправдание моей жизни и весь смысл ее. И мне хочется... мне хочется, — прибавила она, покраснев, — чтобы и я была для тебя тем же... Чтобы ты чувствовал, что я твой помощник в жизни, что тебе со мной лучше, легче, теплее жить! Что ты без меня не можешь жить! И теперь я, кажется, немножечко (протянула она тоненьким голоском) почувствовала это и теперь я буду украшать наше жилище. И буду делать это с нежной любовью, потому что это наше с тобой местечко на земле.

Сергей хотел было после гостей записать несколько пришедших ему мыслей и кое-что прочесть, но на этот разговор столько ушло времени, что было уже слишком поздно и нужно было ложиться спать.

Сергей послал на следующий день заявление о разводе, и Людмила со страстью отдалась устройству своего очага.

XXII

Это было то время, когда после голодных и трудных годов военного коммунизма жизнь начала входить в спокойное русло.

Интеллигенция и остатки буржуазии, уцелевшие после жестокого шторма, почувствовали, что жизнь, разорванная в клочья, как будто начинает постепенно обрывать прежней шерстью.

Революция встряхнула и перепутала всех, как зерно на лопате, вытряхнула из отдельных, неприкосновенных прежде гнезд семьи и бросила всех в одну кучу, не разбирая ни пола, ни возраста, напихала заново в дома, точно членов одной большой семьи, размещающейся на новом месте.

И в первое время каждый рад был прилепиться хоть где-нибудь, втиснуться в какую угодно тесноту, лишь бы за ним осталось право на жизнь, лишь бы его не выкинули, не посадили, не сослали, как вредный и чуждый элемент.

Коммунизм, раскачавший отдельные клеточки семьи и столкнувший их в один поток, смешал все классы, сравнял их в голоде и холоде и бедности. Люди перестали различать друг друга по состоянию и чинам. Все стали равны. И прежний высокопоставленный стремился теперь стать как можно ниже, чтобы его не заметили. Стремился вешаться в толпу бедняков и причислиться к их лику.

Сохранить жизнь, во что бы то ни стало! Хоть в бедности, хоть в щели, хоть вместе с рабочими, с дворниками в одной квартире, но удержаться и уцелеть! Лишь бы иметь только необходимое.

Потеряло цену все то, что когда-то было предметом мечтаний. Вещи потеряли цену. Они стали даже опасны: кто решился бы надеть соболью шубу, когда вместо прежней зависти и почтения он теперь встретил бы на улице только подозрительные, враждебные взгляды? Кто решился бы, скупая хотя бы и за бесценок, обставить свою комнату предметами роскоши, когда за них наложили бы соответствующий налог и неизвестно, к какой категории причислили бы тебя? Кто решился бы жить в целой квартире?

Богатство потеряло цену. Потеряло власть над людьми и потеряло свой ореол. Богатые скрывали свое богатство, как контрабандисты скрывают недозволенный товар.

И люди, прежде стоявшие высоко, а теперь гонимые голодом, теснотой и страхом, отвыкли от комфорта, потому что о комфорте может думать тот, кто сыт, кто не дрожит от страха за свою шкуру, кто уверен в том, что у него не отнимут того, что ему принадлежит.

Великий порыв к слиянию, охвативший пролетарские массы, отозвался, как нечто принудительное для других классов. Общественные работы, революционные праздники, в которых нужно было принимать участие, на которые вначале просто гоняли, а если и не гоняли, то приходилось идти на них, чтобы не казаться чуждым пролетариату элементом.

Но вот политика изменилась. Открылись магазины. Стало можно покупать вещи. Отделять квартиры. Жить одному в целой квартире. Стало не опасно иметь хорошие вещи. А государство получило возможность заняться починкой разрушенного, везде производился ремонт и приведение зданий в прежний порядок.

Те, кто дрожал за свое благополучие, теперь с умилением смотрели на возвращающиеся блага жизни, в роде вина, хороших вещей, еды и пр.

Те, кто боролся за новый строй и несколько лет подряд жил суровой жизнью солдата, рады были отдохнуть.

Чем сильнее в предыдущие годы тянуло всех от личной жизни к общей, от личной собственности к общей, государственной, тем сильнее теперь, точно ученики, над которыми ослабили надзор, потянулись обратно к мечте «о старой, культурной жизни».

Многие чувствовали истинное умиление от того, что у нас становится так же культурно, как в Западной Европе, и что большевики напрасно прыгали, объявляя войну капиталу и собственности: зпять пришли к тому же! И у нас теперь есть рестораны, магазины, шампанское, автомобили. И смотрели на все это уже не теми равнодушными глазами, какими смотрели прежде, как на нечто естественное, как на мещанский уют, а как на некую великую радость, которую научились чувствовать только благодаря голодовке.

Потребности, сократившиеся за время военного коммунизма до минимума, вдруг проснулись с небывалой жадностью. Теперь уже не провожали жадными глазами воз березовых дров на улице или полк с окровавленными тушами, остановившийся у мясной лавки. Теперь сновали около аукционных магазинов и магазинов с заграничными вещами. Теперь всем хотелось того, что сверх необходимого.

И если продолжали мечтать о чем-нибудь, как о неосуществимом, то только о том, чтобы как-нибудь поселиться вместо комнаты — в отдельной квартире, с хорошей обстановкой, с ванной и телефоном.

Оставалась молодежь, которая не видела старой жизни и не могла мечтать о возвращении к ней. Она видела ту жизнь, о которой вспоминали, как об ужасном времени, но которую она знает, как время своего пробуждения, как время торжественных шествий, как время напряженного, веселого труда. Она вспоминала об этом времени, как о первой заре своей жизни.

Она здесь, в столице, как это видел Сергей, двигалась вперед дружной большой семьей, далекой от возможности поворота на старый путь.

Сергей чувствовал, что чем лучше идет его жизнь с женой, чем между ними больше любви и согласия, тем больше его жизнь поворачивает назад от того пути, который ему представлялся желательным.

И в то же время видел, что этот путь жизни желателен для Людмилы.

Людмила была точно охвачена горячкой возвращения к «культурной жизни». Если в первое время жизни с Сергеем у нее было стремление отгородиться с ним в своем уголке ото всей жизни, то теперь явилось стремление украсить возможно лучше этот уголок. Тем более, что они получили две комнаты в одной квартире с Петрухиным, рядом, дверь о дверь с ним.

Людмила часто говорила:

— Ты не представляешь себе, с какой любовью я все это делаю! Когда я думаю о том, что это наш дом, наш очаг, я чувствую теперь, что я нашла крепкую опору жизни, чувствую, что у меня теперь есть личная жизнь.

Сергей хотел было заметить, что он под личной жизнью rozumeeт нечто совсем другое. Но ничего не сказал.

У нее теперь пропала та настороженная внимательность к его внутреннему миру, когда она больше всего хотела быть восприимчивой его мыслей, его внутренней жизни. Когда он с ней начинал говорить, она сначала делала усилия быть внимательной, но вдруг в самый важный для Сергея момент, всплеснув руками, вспоминала, что она забыла купить то, что хотела.

И видно было, что все вещи, которые она приобретала для украшения своего общего с Сергеем угла, не просто для нее вещи обстановки, какими они были для Сергея, а нечто более значительное. Для нее это было как бы реальным подтверждением найденной цели жизни, своего отдельного угла на земле.

Она любила, когда кто-нибудь замечал на ней ее костюм, хвалил фасон платья и спрашивал, у кого она делала его. А Сергей, от которого ей, по ее словам, приятнее и дороже всего было слышать эти похвалы, ничего не понимал в этих вещах. Он часто даже не замечал, в новом она платье или нет. Тогда как она для него хотела быть красивой, хорошо одетой, достойной того чувства, какое было в ней к нему.

Один раз Сергей ходил после службы в город и, вернувшись, застал Людмилу со странным выражением: она смотрела на него и хитро улыбалась, как улыбаются, когда пришедший не видит сюрприза, который у него перед глазами.

— В чем дело? — спросил Сергей.

— А ты ничего не замечаешь?

— Нет, а что?

— А что на мне надето?

— Ну, платье...

— Платье, которого ты еще не видал и которое я сделала сама. Разве я несколько в нем не переменялась?

А через несколько минут пришел Бех и, взглянув на Людмилу, расставил руки, успев только снять перчатки, точно при каком-то пре-
красном видении. Он сразу оценил.

Людмила потом сказала Сергею:

— Когда я слушала, как Бех расхваливал мое платье, мне хотелось плакать от того, что это говорит он, а не ты... Ты даже не замечаешь, значит, для тебя все равно, какая я?.. Чужой человек замечает, а ты, ты! не замечаешь. Значит, твое внимание не сосредоточено на мне! Не подумай, что это мещанское желание принарядиться, нет, — это совсем другое.

Бех теперь был частым гостем у них. Он ходил с Людмилой в город и когда нес Людмилины покупки, то грустно шутил, говоря, что он похож на собаку, которая носит ту плеть, которой ее будут драть. Так как все эти покупки для украшения жилища с другим человеком очень больно бьют его.

— Милый, я так ценю вашу дружбу, ваше отношение ко мне, что вам не должны приходиться такие мысли, — отвечала ему на это Людмила.

Она очень изменилась за последнее время, именно с тех пор, как она нашла смысл и цель жизни, по ее словам. Она стала менее сосредоточена на вещах внутренних, ее внимание всецело занято было вещами внешними. Внешне она стала более занята, у нее постоянно было озабоченное лицо: нужно устроить, как можно, теплее и красивее их жизнь в новом месте, где они хоть и не совсем отдельно живут, но все-таки здесь значительно лучше.

И в то же время у нее совершенно пропала рабочая энергия. Она часто, приходя со службы, говорила, что она очень устает. Что ей противна постоянная борьба, хочется, наконец, отдохнуть и пожить своей личной жизнью.

— Я устала от бесконечного потока людей, хочется побыть совсем, совсем вдвоем.

Один раз Сергей привел с собой двух товарищей. Людмилы не было дома. Он сходил за пивом и у них пошли разговоры. На столе без тарелок и салфеток разложили закуски в бумажках и пошла история.

В это время вернулась Людмила. У нее, как оказалось, было заседание и она задержалась часа на три.

— Мы тут кутим! — крикнул ей Сергей, когда она что-то долго возилась у двери, услышав чужие голоса.

Она вошла с усталым лицом и слежавшимися на висках волосами от шляпы, и прежде всего глаза ее остановились на том, как они кутят: ни тарелок, ни вилок, ни салфеток, и пиво пролито на стол без скатерти. Она даже не смогла сделать официально-приветливого лица, поздоровалась и, ничего не сказав, ушла в другую комнату.

Кутеж сразу оборвался. Голоса стали значительно тише, а потом и вовсе сошли чуть не на шопот, как это бывает, когда в комнате есть больной.

И в самом деле, жена пришла усталая с работы, а тут дым коромыслом, и муж еще встречает ее игривой фразой, совершенно не обращая внимания на то, что у нее уж синяки под глазами от табачного дыма и галдежа на службе.

Товарищи посидели, посидели и, так как хозяйка упорно не выходила, они встали и, попрощавшись со смущенным хозяином, убралась вон.

А после этого — разговор на ту тему, что она шла домой с нетерпением, думала о том, что они сейчас останутся совсем, совсем вдвоем, потому что надоели люди, а у него здесь галдящая компания, пиво, дым — хоть топор вешай.

И с этого времени, если к Сергею заходил кто-нибудь из его товарищей и Людмила была дома, да при этом еще уходила в свою комнату, то он чувствовал, как у него почему-то пропадает голос, улыбаться он начинает натянуто и все вскакивает почему-то с места и ждет только одного: когда милые товарищи уберутся во свояси, тем более, что один из них пришел без галош и от его сапог натекла целая лужа на чистый, только что натертый пол.

И гораздо лучше было собираться у кого-нибудь из членов редакции, где не требовалось салфеток и можно было орать во всю силу молодых глоток. И если у кого-нибудь оказывалась гармошка, то дело шло еще веселей.

XXIII

Сергей помнит, что он жил тогда как бы в двух совершенно различных мирах: дома и на работе.

И эти два мира были враждебны один другому. Один требовал уничтожения другого. Какой нужно было предпочесть?

Дома все сводилось к тому же в сущности, чем жила его семья в деревне: Людмила стремилась к тому, чтобы все было хорошо устроено для н и х д в о и х отдельно ото всех. Она интересовалась в последнее время только тем, что имело близкое отношение к ним двоим.

Ее мысль, сдвинувшаяся за время революции, когда требовалось напряжение для укрепления своего права на жизнь, теперь по минувании в этом надобности, когда у нее был м у ж, опять остановилась; вся ее прежняя энергия свернулась. Все далекое, общественное перестало ее интересовать и утомляло. Она утомлялась от каждого соприкосновения с людьми. Ее женское начало как - будто сделало по нужде непосильное для нее напряжение и при первой возможности стало сдавать и возвращаться к прежним привычкам.

Когда Сергей приходил на работу — в клуб или в редакцию, он попадал совсем в другой мир, где все было противоположно его домашней жизни.

Если в домашней жизни все сводилось к тому, чтобы в д в о е м замкнуться от всего остального мира, то здесь наоборот — все шли сюда, чтобы быть во м н о ж е с т в е, в массе.

Если дома были только чисто личные интересы, то здесь они были общие. Если там деньги и «собственность» начинали получать все большее и большее значение, то здесь личная собственность не имела никакого значения, в особенности в клубе: все пользовались тем, что было приобретено на общие или на государственные средства.

Дома самое ценное было то, что его любовь направляется на одного человека, что он сам, его душа принадлежит безраздельно одному человеку. Людмила смотрела на это, как на высшее чудо, — слияние двух душ в одну. А здесь было самое ценное в том, что он жил не для одного какого-нибудь человека, а для всех.

Клуб уже превратился в твердую организацию. Созидательный период кончился. Когда они его строили, то у каждого была определенная, видимая часть работы. Когда же все было сделано, тогда клуб превратился в обыкновенный клуб с отдельными кружками — шахматными, физкультурными, литературными и т. д. Сергей видел, что в жизни ребят произошла перемена, когда они кончили дело, которое росло под их руками. Теперь появилось какое-то другое настроение: все уже не делало дело, а как бы развлекались в кружках. Дело не стало и начала появляться скука, кружки пустовали, собрания почти не посещались. Деятельными оставались только Миша Ежов, Любаша, белокурая девушка с гребенкой в стриженных волосах, с развитой девической грудью, обозначавшейся под ее синей рабочей блузой с отложным воротником и с пуговками на рукавах. И потом еще философ.

Остальные приходили в клуб, сидели в шапках, сколько Сергей ни отучал их от этого, курили, слонялись.

Как только кончилось заданное дело, устройство клуба пришло к концу, так у каждого выпало из рук его дело.

И Сергей не знал, как сделать, чтобы у всей массы молодежи разбудить собственные источники, могущие дать ей дело. Клуб превращался в развлекательное учреждение, где каждый день не прибавлял человеку роста, а просто он проводил в нем время. И сам был беспомощен в своей жизни.

А в то же время у всей этой молодежи был громадный разбег энергии, сохранившийся от гражданской войны, требовалось что-то большое, непрерывное, чтобы разрядить эту энергию. И часть молодежи вела действительно непосильную работу, едва поспевая с завода в ячейку, из ячейки в местком, на с'езды, на конференции и т. д. Но остальная часть стала охладевать к работе.

Стал замечаться упадок настроения. Иные приходили в клуб, сидели молча, смотрели, как играют в шахматы, или бродили по коридору, ни с кем не разговаривая. Некоторые являлись пьяными. Среди них были такие, которые отличались тихим и спокойным характером.

И когда их спрашивали, чего это ради они напились, отвечали: — Э, все равно...

В особенности одна небольшая группа в клубе отличалась тем, что постоянно хулиганила: во время концертов тушила в зале огни, всегда являлась в зал в пальто и в галошах, нарочно с тем, чтобы произвести скандал, когда их начнут заставлять раздеваться, во время спектаклей нарочно громко разговаривала среди действия; в зале у стен стояли складные садовые диванчики, они подстраивали их так, что, когда на них садились, они с грохотом падали.

Главным вдохновителем всего этого был рыжий Лабода, здоровый детина, ходивший всегда в кепке на затылке и с расстегнутым воротом рубашки, даже на улице зимой.

Лабода был очень самолюбивым малым, но он ничего не умел делать и о нем установилось мнение, что он самый неспособный человек. И он как бы мстил за это. «Если вы так обо мне думаете, так на - те же вам!»

Правление клуба после одной выходки Лабоды и его группы созвало собрание по вопросу о мерах против этой группы. Дело было в том, что накануне в саду при клубе, где был устроен маленький каток, кто-то поотбивал статуям руки и носы, а стоявшим около замерзшего бассейна крылатым грифонам свернули на сторону головы, вставили им папироски в зубы и заставили смотреть друг на друга.

Сергей на собрании заявил, что он считает необходимым принять самые энергичные меры против хулиганства и навсегда покончить с дезорганизующими элементами.

Все оглянулись на Лабоду. Он сидел, вытянув далеко ноги, в кепке на затылке, курил папиросу и презрительно усмехался.

Любаша, сидевшая в президиуме (она была и секретарем редакции того журнала, где с недавнего времени работал Сергей), кусала губы и, нервно чертя что-то карандашом на бумаге, поглядывала на Лабоду.

— Я предлагаю выбрать особую комиссию из ребят и во главе ее поставить наиболее энергичного человека, который смог бы оправдать возложенную на него трудную и очень важную обязанность.

— Мистера Джона! — крикнул кто-то.

— Таким человеком я считаю Лабоду, — сказал Сергей, не обратив внимания на предложение.

Все удивленно подняли головы.

— Что? Кого? — слышались удивленные голоса.

Сергей, усмехнувшись, повторил еще раз свое предложение.

Философ поправил свои очки и, почесав нос, сказал:

— Если это ставка на психологию, то возражать не будем, только толку от этого тоже не будет.

Все с еще большим интересом оглянулись на Лабоду.

Лабода растерянно улыбнулся, принимая это за шутку и не зная, как на нее отвечать. Наконец, он увидел, что это серьезно, и, усмехнувшись, сказал:

— Ладно, там посмотрим.

Все поднялись с мест и, похлопывая Лабоду по спине, смеялись и говорили, что прежде от него житья не было, а теперь, когда председателем сделался, от него и вовсе придется бежать.

Мистер Джон предложил отправиться к нему небольшой компанией, провести несколько диспутов за бутылкой пива. Но в это время Сергея позвали к телефону. Звонила Людмила и спрашивала, когда он придет, она одна сидит вечер, а пойти никуда не может, так как Бех занят в театре, одна же она вообще никуда не ходила.

Сергей вернулся от телефона и сказал, что к мистеру Джону он итти не может, так как ему надо домой... там какое-то очень важное дело.

— У тебя вечно какие-то дела, — сказали ребята, — прибежишь на один час и опять домой.

XXIV

Сергей помнит, как после этого замечания товарищей о том, что он все бежит домой, у него впервые появилось неприятное чувство вины перед самим собой.

И чем лучше было у него дома, чем больше была довольна им Людмила, его любовью, заботой о ней, тем больше он чувствовал свою вину.

Ведь казалось бы естественно, что чем больше любит тебя близкий человек, тем больше он помогает тебе итти по твоему пути.

Но оказалось не то.

Сергей, после впервые появившегося у него неприятного чувства вины, решил крепче взять в руки вожжи своей жизни. У него было правило, когда он жил один, к а ж д ы й день, перед тем как итти на работу, читать великих мыслителей, чтобы таким образом постоянно его собственная природа получала толчки и напоминания. У него были записаны сотни названий книг для прочтения. Росшая в нем мысль как бы расходилась из центра лучами и захватывала своими щупальцами все новые и новые области, не теряя своего центра. Теперь же он как-то забросил это, ограничиваясь только газетами. Газеты он решил читать за обедом или после обеда, а остальное время посвящать работе.

Один раз он пришел домой и, сев за стол, развернул газету и, скосясь на нее, ел суп и читал.

Людмила перестала есть и, отложив ложку, смотрела молча на него, ожидая, когда он на нее посмотрит. Сергей, занявшись чтением, не замечал этого. Тогда Людмила сказала:

— Неужели у тебя нет другого времени, чтобы читать газету? Ведь ты целый день на работе, я тоже: видим почти впервые друг друга только во время обеда и ты — читаешь газету. Прежде всего это просто невежливо, не говоря уже о том, что...

Она закусила губы, как она делала, когда у нее подступали к горлу слезы.

— Я больше всего боюсь того, — продолжала она, — что наши отношения сойдут у нас в конце концов на самые обыкновенные. Они превратятся в равнодушное мещанское сожителство, когда муж читает за обедом газету, ночует дома только потому, что это его дом. Но он не стремится домой со всей любовью, со всем нетерпением, с каким он стремился в начале жизни с любимым человеком. Вот чего я боюсь.

— Но я не имею больше времени, — сказал Сергей, почувствовав вдруг неожиданную злобу против нее от того, что он даже в такой мелочи, как чтение газеты, не волен распорядиться своим временем. — Я в последнее время и так почти ничего не делаю для себя, — сказал он с загоревшимся огоньком в глазах.

— Почему? — спросила Людмила.

— Потому, что я не могу работать, когда ты дома...

Людмила долго смотрела на него, потом, побледнев, сказала тихо:

— Это я слышу уже в т о р о й раз. Значит, это серьезно. Я тебе мешаю...

После этого она стала уходить из дома, когда он садился за работу. Но Сергей знал, что она бродит, как бесприютная, где-нибудь по улицам и ждет, когда сможет вернуться, чтобы не оторвать его от работы. Это было еще хуже. Как-будто он был изверг, который может спокойно предаваться размышлениям, пока жена мерзнет на холоде и скитается по переулкам.

У Сергея за все время жизни с Людмилой не было в течение дня ни одного часа, когда бы он оставался один. Людмилу это особенно трогало. Она с торжеством говорила Елене, что они за все время жизни ни на минуту не расставались, если не считать служебных часов. И она говорила, что совершенно не представляет себе, как она останется одна, когда Сергей уедет куда-нибудь.

Если это говорилось при нем, Сергей чувствовал себя обязанным во имя их необыкновенных чувств поддерживать такое мнение Людмилы. А между тем, если бы он имел смелость сказать то, что он действительно чувствует, он должен был бы сказать, что как раз он все чаще и чаще начинает испытывать какое-то раздражение от того, что они всюду и всегда вместе. Благодаря этому он все время живет не тем, чем он должен был бы жить, а вот этой о б щ е й с Людмилой жизнью, которая привела почти к полной остановке его с о б с т в е н н о ю жизнь.

И хуже всего было то, что нельзя было ей сказать самую страшную для нее правду: именно, что постоянное пребывание вместе, бывшее для нее высшим счастьем, для него было н е с ч а с т ь е м.

Как это сказать?

Ему большею частью хотелось оставаться одному, гулять одному, а не вместе. Но он этого не мог. Мало того: он еще должен был говорить и говорил, что он скучал без нее, что он не может долго оставаться без нее, когда бывает на работе. Говорил для того, чтобы

обезопасить себя от долгих психологических разговоров на тему об уменьшении чувства в нем к ней. На это всегда уходило мало-мало два часа, а если за этим следовали слезы, то и все три. Поэтому—простой расчет говорить так—лучше уж немножко поступиться, сказать то, чего на самом деле нет, и быть спокойным.

Потом она всегда жаловалась на то, что он на своей работе живет какой-то отдаленной жизнью, куда она не может проникнуть... Как-то, — это, он помнит, было уже весной, — молодежь поехала на прогулку на лодках. Людмила упросила Сергея взять ее с собой. Но когда все собрались на берегу и стали, толкаясь и крича, со смехом прыгать в лодки, Людмила вдруг почувствовала себя оглушенной этими криками, испуганной этой толпой сорванцов. Она садилась дольше всех, ей нужно было подавать руку, она, видимо, страдала от шума, крика и постоянно пугалась, что лодка пойдет ко дну. Она вдруг почему-то показалась Сергею даже старой, и у него шевельнулась против нее злоба, ему стало казаться, что она постоянно всюду увязывается и не может чувствовать себя просто и весело, как все, и еще требуется помогать ей. Ему почему-то было перед товарищами стыдно помогать ей, подавать руку. И он делал это со скрытым раздражением и досадой.

Но в то же время Сергей скоро заметил, что он, подчиняясь Людмиле из постоянной боязни психологических разговоров, во многом начинает перенимать и усваивать ее взгляды и вкусы. Например: Сергей определенно любил бывать там, где много народа, где была работа, толкотня, давка, оживленная суeta. А Людмила всегда с легким содроганием говорила о том, что она терпеть не может толпы. Он любил ездить за город в праздники, где было много народа. А Людмила стремилась уехать в будни, чтобы быть в д в о е м, чтобы кругом никого не было.

И Сергей ловил себя иногда на том, что говорил:

— Поедем как-нибудь в б у д н и на Воробьевы горы, там в эти дни никого нет.

Говорил это так, как-будто он сам терпеть не мог, когда около него много народа.

Потом он поймал себя на том, что у него проскальзывало что-то в роде стыда за того из своих товарищей, после которого всегда оставалась от его мерзлых сапог лужа на чистом полу. И он, чтобы предупредить возможность повторения, вынес однажды в коридор коврик и стал класть его перед дверью. В этот же момент из соседней двери вышел Петрухин — тоже с ковриком. Оба, посмотрев друг на друга и на коврики, сами не зная чего, покраснели и ушли обратно в свои комнаты, так и не постелив ковриков.

И всякий раз, когда к Сергею заходили товарищи, всегда, не хуже того первого раза, оказывалось не во-время: то Людмила решила в этот вечер идти в театр, а они, как нарочно, сидели, не собираясь уходить. То ей просто хотелось посидеть с Сергеем.

— Боже мой, ну зачем эти люди ходят! Отняли у нас целый вечер. А мне так хотелось пойти вместе в театр. Мы в последнее время все врозь. (Между прочим, если случался какой-нибудь неприятный для Людмилы факт, она всегда этот факт обобщала и говорила: — В последнее время..)

С этого времени Сергей совершенно перестал приглашать к себе товарищей. И сам тоже он ходил все реже и реже. Ее брать с собой в ту среду, где он вращался, где пили на голых столах пиво и играли на гармошках, было невозможно. А итти без нее — значило обидеть ее и вызвать у нее подозрение, что ему приятно ходить без нее, по-холостому.

И выходило так, что чем больше он шел в сторону их взаимной слитности, единения, тем он дальше уходил вместе с ней от остального мира, как от чего-то мешающего, ненужного.

Сергей между прочим заметил, что когда он восторгался каким-нибудь человеком, даже не женщиной, а мужчиной, то Людмила всегда становилась нервна и всячески, незаметными мелкими штрихами старалась умерить восторженное настроение Сергея. Красивых женщин она никогда не хвалила, просто молчала, если Сергей говорил ей про какую-нибудь их общую знакомую, или сейчас же находила недостатки. Женщины же некрасивые, явно ничем неинтересные, почему-то пользовались особенной ее симпатией, в них она находила всевозможные достоинства.

Если в начале их встречи у него было обостренное ощущение расширения и обогащения от соприкосновения с тонкой душой культурной женщины, казавшейся ему прежде таинственной, недоступной, то теперь это обостренное восприятие ослабело, сошло почти на-нет, потому что в ней оставалось все то, что было вначале, без всякого прироста и прибавления.

И он невольно задавал себе вопрос:

«Что же лучше: современное упрощение отношений между полами, вплоть почти до полного изгнания всякой поэзии и романтики из них или насаждение идеальной любви и укрепление семьи?»

Он задавал себе вопрос о других работниках: остались ли они такими же, как были прежде,—твердыми и закаленными в своем основном стремлении, какими были, когда жили без постоянного очага?

Все их хвалили за то, что они стали примерными мужьями и отцами. Но для нашей-то эпохи является ли это положительным явлением, т. е. прибавляет ли оно человеку что-нибудь в его движении или, наоборот, уменьшает это движение?

Не является ли общественное воспитание, выдвинутое впервые коммунизмом, естественным требованием личности, стремящейся снять с себя путы маленькой семьи, чтобы стать всецело членом большой семьи? А для этого нужно самому по-новому родиться, быть определенным инструментом в общем оркестре, а не безголосой щепкой.

Ведь Людмила во имя своей большой самоотверженной любви, той любви, которую воспевали все поэты столетий веков, стремится к совершенно обратному: она стремится уничтожить собственную личность, как действительное проявление природы. Она хочет слиться с любимым человеком в его личности. Но он, благодаря этому слиянию, не может двигаться, как не могут плыть два связанных вместе человека. Она думает, что она, во имя своей любви отрекшаяся от своей особой жизни, дает ему высший дар, — в то время, как она обкрадывает его.

Сергей пробовал оставлять для себя определенное время, но сколько этого времени нужно? Как это измерить?

Он видел, что его жизнь, кроме социального заказа имеющая свой заказ, заказ природы, не может слиться ни с чьей определенной жизнью, она должна быть слита с о всей жизнью мира, а не с жизнью одного человека.

И в тот момент, когда его жизнь сольется с чьей-нибудь жизнью, это будет значить только то, что она остановилась и уничтожилась, как таковая. И если продолжать до логического конца смысл и сущность прежних идеальных отношений между мужчиной и женщиной, то что же окажется?..

Окажется, что самый близкий, самый любящий человек является сильнейшим препятствием к созданию той новой жизни, к какой исторически идет человек.

Самым опасным препятствием является именно потому, что с ним нельзя бороться, так как он обезоруживает своей любовью. В самом деле: хватит ли силы в первые месяцы жизни с человеком, любящим тебя больше самого себя, сказать ему такую жестокую вещь:

— Уходи от меня, ты мешаешь мне идти тем путем, каким я шел до тебя...

А он должен это сказать! И скажет.

Но, придя в одну из таких минут домой, он нашел на своем столе записку от Людмилы. Она писала:

«Сокровище мое, я ушла, чтобы не мешать тебе. Я приду часа через два. Тебе это будет достаточно? Пусть мне будет скучно, одиноко и холодно бродить одной по улицам. Но меня согревает мысль, что этим я добуду, быть может, хоть маленькую лишнюю крупичку любви твоей. Так я еще сильнее ощущаю возвышенное необыкновенное чувство моей любви к тебе, любви, лишенной всякой корысти, всякого расчета, всяких низменных целей. Ведь в самом деле, родной мой, какой у меня может быть расчет? Какая корысть? У меня только одна безмерная, бесконечная любовь к тебе. И я только могу мечтать об одном высшем счастье, которого никогда, вероятно, не будет, о том, чтобы я смогла целиком наполнить собою твою жизнь, чтобы моя душа больше всего в мире была н у ж н а тебе.

«Ради этого я согласилась бы перенести все, все, что угодно, а не только эти мои одинокие хождения на морозе, в ожидании, когда ты кончишь свою работу, мой любимый.

«Ради этого я недоступна ни для кого, даже для тех, которые, может быть, любят меня с такою же силой, как я тебя... Но я хочу смотреть только на одного тебя, и телом и даже мыслью не принадлежать никому, кроме тебя. Я не виновата, мой любимый, в том, что моя любовь к тебе так сильна. Она сильна потому, что она есть моя жизнь, она — цель моей жизни, она — весь высший смысл ее.

«Работай и не думай о том, что я на холоде. Я уже согрета тем светом, какой горит во мне от одной мысли, что я люблю тебя».

Сергей долго стоял перед столом и смотрел в одну точку, держа в руках это письмо.

(Продолжение следует)

Голос из провинции

НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ

Е. С. Бывалову

На Мурмане где-нибудь ветер да снег,
Последние жаркие дни на Кавказе.
Там — непогодь здешнюю видят во сне
подагрики или читают в рассказе.

Не пишут в стихах, под рояль не поют
О слякоти, хляби, о сырости этой
Поэты, которые любят уют,
Артистки, которые любят поэтов.

Им в опере — страхи, в театре — гроза,
На улицах — бури! В провинции тускло.
В провинции, знаешь ли, хлябь да Рязань,
И дни проползают по этому руслу.

И некогда, времени нет для тоски!
Рождается крепость, бодреешь на деле.
Мы все же с тобою еще моряки,
Хоть сгорбились несколько и поседели.

Я прожил, как следует, нужные дни!
Ночуя на школьной ободранной парте,
Я чую простор атлантических жнитв
Осенними сумерками в марте.

Когда половодьем срывает мосты,
И льдины, задорясь, шипят над затором,
Дышу я, как прежний, которого ты,
Наверное, помнишь на палубе в шторм.

Летят из прогорклого крепкого рта,
Прокуренного колумбийской махоркой,
Слова, о которых тебе — не мечтать,
Которые жгут и слепят, как находка.

В избе — сторожилы. Изволь говорить.
Ну, разве обрежешь кого — «уходите»!
Под треск керосина приходит скулить
Иван Александрович, здешний учитель.

«Ах, эта Загоренка... глушь и село...
Безлюдье петлею сдавило нам шею...
Жить как-то мне, знаете ли, тяжело,
Страдать как-то, знаете, я не умею...»

Ответишь: — Умейте, учитесь. Видал
Порядочно ваш собеседник на свете.
Стенанья и жалобы — всё ерунда,
Распушенность нервов и желчность, поверьте.

Я помню, как выбило бурей на мель
Четырнадцать бравых, живучих и дельных.
Воды мы не пили в теченьи недель
И счет потеряли мы этим неделям.

Не хныкали, но озверели, как псы,
И каждое утро, Иван Александрыч,
Дрались и царапались из-за росы,
На каменном выступе выпавшей за ночь.

Глодали ремни. От зари до зари,
Промокшие, еле держались на мели.
Нас было четырнадцать. Выжило — три.
Тогда бы заплакать... Но мы не умели.

«Да... это — романтика!.. капли росы...
На море сменил бы я нашу сторонку,
Когда бы не Маша, когда бы не сын...»
Счастливцев! Имеет жену и ребенка.

А я — непутевый, а я — холостяк —
Из крепкой, прожженной, 'испытанной стаи
Бездомный, летаю по липким степям,
Открытым листом ямщика подгоняя.

■

С е я т е л ь

Рассказ

МИХАИЛ ДИКОВ

Яков Ковыль стоял у деревенской околицы и, приложив щитком трясущуюся ко лбу руку, смотрел в даль поля. А в поле начинался яровой сев... Заходило солнце, но старику казалось, что это горит далеко деревня. Ехали с пашни... А солнце все ниже и ниже уходило за горизонт. Вот оно коснулось края земли и спустилось наполовину. Больше побагровело и скрылось... И зябкий холод пробежал по телу Якова.

— Эй, Петряй, какова пахота-то? — крикнул Яков смятым голосом ехавшему последним Мочалкину Петру. А тот, поровнявшись с ним, немного приподнял с правой стороны стоптанный в лепешку картуз, посвистал назад отставшему жеребенку, и загредел телегой по улице.

— Не слышишь, пень осиновый?.. — и старик, посмотрев напоследок слезящимися глазами вдоль пыльной, пустой дороги и увидав вдали только одну поднимающуюся с низин вечернюю муть, — беспомощно поковылял к своей избе...

В половине прошлой зимы у Якова померла старуха. И теперь он оставался, как перст. Был сын. Да, может быть, он и сейчас жив. Но, кто его знает, где он. И Яков после похорон продал молодую кобылку, которую в последнее время не мог держать на вожжах. А берег все для сына. Думал, вернется. Но от него — ни слуха, ни духа... И ее выманили барышники за полцены. Теперь он хозяйствовал с одной коровой и курами, которым с большим трудом приносил из сарая корм. Печку часто топил дальняя родственница — остроносая Соломея, которая, очевидно, подбирается после его смерти к добру. — Старика к погоде часто мучает грыжа, скомжат руки и в мучениях ноги сводит судорога. В таких случаях Яков забирается на печь, подолгу отлеживается, забывая о белом свете...

Недавно на пасхе, выйдя под окна своей избы, где сидели соседи-мужики, Яков слушал их разговоры. Они толковали о ранней весне, о всходах озимых, о предстоящей в скором времени яровой. И горячим заволкло глаза старика... Сжало сердце... Как же! — Он больше

не поедет до солнышка на поле. Никто ему не понесет горячий завтрак туда. И он молчал. А с ним об этом никто не заговаривал. Приходилось только часто смигивать ресницами и незаметно от людей вытирать костлявыми, побелевшими пальцами слезы.

Когда сегодня пришло яркое солнечное тепло, и все, как один, выехали на поле, — старик долго бродил по задворку. Заходил в прикуток, где висели на стене хлева хомут, дуга, вожжи — упряжь «Малютки», которая теперь ходит в чужом, непривычном для нее хомуте живоглота-хозяина. У задней стены стоял от прошлой осени скат колес, на которых была не оббита осенняя липкая грязь, когда он перед «покровом» возил в больницу баушку — свою старуху. Теперь он их не подмажет пахучим смолистым дегтем и не покатит в базарный день к городу. К сбруе, колесам давно подбирается сосед-хлым Кузьма Косой. Хочет у старика выклянчить за гроши. Говорит: «мне не продашь — все равно украдут». И старик их сегодня запрятал за поленку дров. Потом он долго возился с плугом, который стоял тут же, возле ручных жерновов, которыми мололи к празднику солод. По несколько раз отвинчивал то лемех, то отрез. Опускал и поднимал у пяты полозка дышло... Курныкал песню... И опять без всякой цели плуг ставил на прежнее место. А под вечер не утерпел: загнал после пригона на двор Пеструху, подоил — направился к полю.

Теперь он сидел одиноко у своей избы под березами и молчал. Напротив, сквозь частокол тына Ивана Богородицы, запеклась в темную кровь заря. Никто не шастил. И как-будто в эту минуту все умерло. Но вот темный, точно комок земли, жук стукнулся о ствол березы и, раскрыв широко крылья, загудел в огород напротив.

«К тихой погоде, — подумал старый Яков, — сев хорош будет»...

А по улице, действительно, никто не бродил и не стучал колесами. Все, с приездом с поля, наскоро поужинали, залегли до утра. Только на другом конце деревни чуть слышно пиликала гармоника, да взвизгивал девичий голос. А потом и он затих. Да в скором времени один раз проскрипела протяжно у Трофима Козырева лазья—очевидно, прошла с гулянки Домка, — и похожая на прогон улица начала больше темнеть и наполняться до краев тишиной... На деревню с полей шла теплая апрельская ночь, какая только может быть в это время. В такие ночи, бывает, гремит ранний радостный гром. Сечет и озаряет в ночи сонные избы серебристая молния. Как из ведра, поливает дождь. Пахнет мокрыми травами. Все распускается. И радуется человек. Сегодня тоже наступала такая же ночь — необычно ласковая... Куда ушло солнце, — было ясно. А с востока, к половине звездного неба натягивало бархатную черноту и чуть тянуло теплым ветерком. С полей несло вспаханной землей, а от набухших берез — почками. И Яков по прежней привычке сидел притихнув, постукивая легонько крышечкой по краю берестяной табакерки и вспоминал прожитое. А прожитого у Якова передумать — сиди до утра и останется на неделю. Он любил

такие тихие ночи, и, бывало, раньше часто просиживал, пока не польет ливень-дождь, а потом уж и забирался спать, радуясь за восходы.

Но вот старик приподнял седую голову и насторожил ухо. Но за окном топал в грузных сапогах лошадиный пастух. — Он шел в ночное. Пылал цыгаркой и громко кряхтел после ужина. Он был в лохматой бараньей шапке, в меховом полушубке, поверх которого был еще наброшен шерстяной, с поднятым воротником, халат. Лица не было видно. Проходя мимо согнувшегося на завале старика, пастух не сказал ни слова. Но старику хотелось его окликнуть. И, поднявшись с места, он бросил в темноту:

— Топарь, куда потопал?

Пастух с трудом повернул в халате голову и сразу не мог понять, кто его спрашивает.

— Али вчера ослеп, да и не видишь?—повторил Яков и подошел вплотную к чернеющей фигуре, стоящей у брошенной на повороте дороги старой вереи.

— А, дедко, дедак — куда баушку девал!.. Сумеришь, Карло Марк?..

При огне цыгарки старик ясно видел красное, смеющееся курносое лицо Изохи. Это был здоровый, мордастый парень, зашедший сюда по зиме по миру, большой мастер на похабные песни, но добряк. И Яков, когда встречал этого бродягу, всегда был рад и подолгу с ним балагурил. И теперь ему хотелось говорить с ним без умолку. Выложить свои думы и мысли, накопившиеся за последние дни.

— Кто ты так вырядил?.. Переполошишь всех «нечистых» на выгоне-то, — хихикал дед, и видно было, как рад пастуху: ведь ему за день никто не сказал теплого слова.

А Изоха наперебой говорил хвастливо:

— Теперь я, дедко, делегат... Выбрали, брат, в губернско... Наше собрание батрачко... между прочим, — на канференцею...

— Знамо, кого же посылать, как не тебя... Парень — ягода.— А про себя думал: «вот дурачина-то... еще пасти кобыл не умеет, а туда же, куда и путные, лезет». И добавлял: — Ты уж из полководцев-то в комисары?

— Прямо во вцеки, дедушка!..

— Ну, теперь — прощай девки, прощай бабы. Теперь ты Изосим Савватеич, в шляпке заведем, — и дед заливался соловьиным смехом. — Счастливо, брат... Дай бог, дай бог.

Пастух и дед хохотали... Потом они уселись у дороги на верею.

Старик никогда не имел привычки курить, а на этот раз завернул в палец махры и дымил наравне с Изохой. Он не чувствовал налегающей на него густой сырости, хотя его холщевая рубаха была давно влажна и прилегала к плечам. Как молодой, балагурил с пастухом, неумело пыхая папироской. Но тому, все-таки, нужно было итти к лошадям, на выгон. И он, запахнувшись в длиннополый армяк, поправил воротник и, рассказав напоследок, что завтра идет на очередь

к Михайле Коньку, поднялся уходить. И Яков только теперь вспомнил, что он ничего не сказал о себе Изохе. Но Изоха уже двигался, как чучело, за дедову избу по сереющей пыльной дороге к воротам и горланил благим матом песню.

— Вот дураку что·далось, — прошептал про себя дед, — а моему сынку книжки... — и, как-будто подняв что-то тяжелое, Яков глубоко вздохнул.

Потом он посмотрел на деревню и, не различив в ночи, где чья изба, направился на покой...

На печи Яков не спал. То его немилосердно кусали блохи, то, точно грызла собака, скомила в плече рука, то как-будто кто-то ходил под окнами и открывал ставень. Но, в сущности, там никого не было. Только забегал из проулка ветерок и временами трогал плохо закрытую раму. То старику представлялось, что кто-то стоит на крыльце и ждет, когда ему откроют. И он, затаив дыхание, долго прислушивался. — Ведь, Андрей всегда приходил в полночь. Ничто его не держало — ни вьюга, ни дождь — приходил и стучал. И Яков протянул голову с печи. — «Стучит. И как-будто кто всходил на крыльцо... Может и он?» — И старика схватила радость. — «Завтра же поехали бы пахать... Никто больше не смел бы сказать, что Яков Ковыль—бобыль». И он наскоро стал шарить на печи валенцы... В избе было тихо и ютилась полночь... Часто крестясь о грудь, Яков вышел в сенцы. Но там тоже было спокойно... Прислушивался... И опять шорох..., а за ним стук... Старик приоткрыл дверь на крыльцо... Темно... Избы кажутся скирдами... Шопот деревьев. Как-будто они собираются совершить что-то тайное... И ни одной живой души. И старик опять захлопнул за собой в сенцы дверь... Прислушался... И опять стук.

— Ах, пакостница. Ужо я те дам. — И рука старика нашарила в темноте сенец метлу, запустила на навоз в корову, которая доставала куриное корыто с мостка и стучала о перила рогами. Вот подлая!.. Свят, свят, — прошептал внезапно Яков и мотнул по груди рукою.

В маленькое оконце сенец в момент мелькнула молния и, точно раздела донага, озарила дедову белую рубаху. Потом, точно кто сверху с'ехал на огромных колесах и покатыл громыхая по улице.

— Господь дождичка посылает, — и старик, благоговей, вошел в избу.

Теперь Якову сделалось веселее. Он ходил взад и вперед по избе, шаркая в темноте подшитыми большими валенцами, и заглядывал в окна. На улице шумело и со стоном качались березы. Стучали горохом о стекла капли дождя. Секла молния. И старческая сухая рука опять часто крестила озаренную серебряной нитью впалую грудь под холщевой рубахой... На дороге уже не было серой пыли, а рекой бежала вода и сильно шумела.

— Вот прольет матушку-землю... Пусть, пусть благодатный потешится, — и Яков уселся у стороннего окна на лавку...

И опять темная дума сменила светлую...

Год, как не пишет сын Якову. А хозяйство с прошлой осени начало распадаться. Как померла старуха, — точно все под котел пошло... И яровой сев остается... А у такого двора, как его, можно бы славно жить. А вот поди ты... А как прочил... Последнее письмо Яков от Андрея получил из Москвы. Писал, что учится и будет агрономом. А потом — как в воду канул. И Яков теперь говорит про сына:

— Женить бы дурака давно надобно... Вот бы какое дело-то...

Но женить Якову сына рано не удалось. Была бедность и сын уходил в люди. А потом эти скитания научили сына смотреть на все по-иному. А потом — революция... И завертело парня, точно в потоке, и понесло по течению... А как хотелось понянить внученка старухе, — никто не знает... И Яков при этих воспоминаниях всхлипнул.

За окнами опять была тишина и в небе мигали звезды. В избе темнота сгущалась — и голову старика клонило ко сну. И опять закрипел ступеньками на печь Ковыль. И про себя шептал:

— Дай срок — только бы приехал, — обломаю на какой-нибудь дуре... Не будь я... А батьке пора и на отдых... А не то — к председателю схожу... Мол, править мне больше мочи не стало. Вот, ежели што...

На другой день Яков зыслышал на улице бубенцы. — «Не к нему ли?». И старик босой выбежал на дорогу. Тряслись и подкашивались в белых портах ноги. А костлявые пальцы рук не знали, за что ухватиться. Но ящик прокатил мимо. Остановился дальше — через три избы. — Это приехал Николай Битуликин с заработков. Он опять работал в Питере на машиностроительном заводе, как и пятнадцать лет тому назад. И опять каждый месяц слал жене деньги. Яков заспешил туда. Но ему сегодня как-то особенно нездоровилось и он зашел в избу надеть валенцы и полушубок.

У Николаева пятистенника толпились бабы, мужики, ребятишки. Подоткнутая выше колен, в новом сарафане баба, похожая на здоровую лошадь, таскала из коляски корзинки, кульки и во весь рот улыбалась. Это была жена Николая, приехавшая с ним со станции. А гость, кургузый мужичок, с бесцветным пушком вместо бороды, был в новом деревенском картузе, на выпуск брюки. Он, распахнув ватный, суконный пиджачек, рассказывал соседям:

— Типерь наш завод на полном ходу... Пошел рвать так...

— А мы што здесе... Только налоги, как в прорву, валим, — вздыхая, говорил с упреком Никита Мокрый. — Чай, опять булок белых там не приедаешь? — знамо, чай...

— Как говорится, — само собой, ежели заработок, — добавлял Тимофей Горшков.

— Теперичо благодарить бога... что нашему батьке... — отвечала с радостью за приехавшего жена. — Што нам не жить... Эво што! — и баба, остановясь на крыльце, показала глазевшим соседям: лисий мех, чайные ложки и какую-то непонятную шляпу. — Да небель в багажу...

А маленький захмелевший Николай, покачиваясь на коротких ножках, только помаргивал глазками и ковырял пальцем в кармашке жилетки.

Стоял около «питерца» и Яков. У него давно явилось желание спросить о сыне. Но Николаева баба перебила его мысль:

— Тебе, дедко, с пошты поклон! — и, хохоча, вытащила из кармана нижней с каймами юбки письмо, подала его Якову.

— А ты не лебези... Погодь, я его сам спрошу, — и Яков Ковыль стал расспрашивать приехавшего о сыне. А тот помаргивал и, пожимая, отвечал:

— Нам что, дедушка... Мы рабочие люди... А насчет политики, али собраниев, так мы только союза касаемся...

— А я думал мово там не встретил ли... Ну, что поделаешь... что поделаешь... — переминаясь с ноги на ногу, соглашался с «питерцем» Яков. — Яровая вот...

Письмо было веское и твердое под руку...

— Може, деньги тебе в пакете-то? — подтрунивали над Ковылем скалуны-соседи.

— Наше счастье, что тут прислано, — и Яков, крепко держа в руке конверт, пошел к дому.

На задворке избы старик распечатал письмо. Вместо денег в конверте была вложена фотографическая карточка. И Яков как будто сразу лишился зрения... Непослушно прыгали руки... — На него с карточки смотрели три пары глаз. Но может это и не ему? Но это Андрей... вот его глаза и нос. И волосы он когда-то так зачесывал, — лохмато назад. Одет он был «баринном»... А с ним не то женщина, не то мужчина. Но — в платье, и на руках — ребенок... И у старика при этом закололо в боку... На другой стороне, точно выстрочено швейной машинкой, было исписано мелко, мелко.

— Вот оно што-о-о... Мда-а-а... Нашел кралю... Так, так, сынок разлюбезный. Слепой вижу, что без батьки семейкой обставился... На что лучше... Охо, хе!.. А вся воля... Да что тут говорить...—Вон, на что у Федьки Голубя... и баба-то, — ведь, кляпом от лазьи ударишь — перелетит, а поди ты; — не хочу с тобой, мужиком — давай комиссара. И тоже обаловалась, словно солдат. Ах, тварь. Подол бы ей на стриженую башку загнуть, да и закрутить туго-натуго. — Вот бы што по-старинному... И мой Андреюшка, поди, под туплей у этой «Светланы»? Ах, дурак, дурак!.. Доучился... А на что бы лучше — взял бы вон Матренку Елдыкину — девка-то за хорошую лошадь своротит, да и жил бы с ней, как в сапоге просторном ходил. А эта что? — Квасник затыкать. Знамо, чай из «разоренных» какая-нибудь. Теперь они, подлые, льнут к мужику-то.

И Яков, заметив на улице Степку, сынишку Григория Кулика, подозвал к себе:

— Размеречь на...

Мальчуган, подобрав сзади штаны и точно хромя на одну ногу, принялся читать:

— ...Жив-ые и зды-здоров...

— Постой маленько. Стало-быть во живности он? — перебил мальчугана старик, — а на яровую как — не сулятся быть?

— Кажись... не знаю...

— Ну, ну...

— ... Кы-ланыютца тебе Ма-рья-ета и Окы-ы-тябри... Ок-тяп...

— Ольховая грамота — что ты мелешь!.. — закричал на парнишку Яков, — али баловать вас только учат теперь в школах-то?.. Ну «Марья», скажем по-нашему, а «Октяп»?..

— Да на, прочитай, коли, сам, — со смехом ответил старику Степка.

— Ну, ври, коли, больше...

— Принц-цеп-пеяльно...

— Ах ты, батюшки! Опять заборонил какую-то неледь... Пишет он, что приедет к севу-то, аль нет? — вот бы што... Да, дай-ка сюда.. Поди, бегай...—и дед забрал от мальчугана обратно письмо.—К Изохе схожу — разберет...

После полдня Ковыль направился к пастуху... На выгон он шел яровым полем, где пуще вчерашнего кипела работа, — все спешили отсеять во влажную землю. Что ж... тешитса здоровая мужицкая рука. Точно брызги дождя, разбрасывает по пахоте зерна. От зари до зари меряет мужик широким шагом обновленную землю. Если б не нужен был отдых коням,— всю бы ночь напролет здесь пробыл. Что теперь мужику,— никто не грозит палкой с барской межи, и как тебе надобно, так «ее» и переворачивай. Изрубили прадедов межи и забыли, где была чья тычка... У своей полосы Яков остановился. Она, словно собачий язык, вытянулась среди чернеющих широких делянок. Была узка и не пахана ни осенью, ни теперь. Торчала на ней бурая прошлогодняя жнива и покрывали ее лишаи зимней плесени. А по середине, точно рубец на лице человека, оставалась не срытая после дележа межа и с конца на конец безобразно портила канавой полосу. А срубить Якову — никак не довелось. И Ковыль досадовал на сына:

— Вот этой палкой бы агролома такого... Люди — жать, а мы лежать... Охо-хо... Был Яков Николаев конь, да из'ездился... — и, словно подшибленный грач, стоял он на своей полосе, опираясь на палку, и оглядывал вокруг пашни. — Ведь только его полосы остаются пустующими, и жалкими заплатами пестреют на засеваемом поле.

И здоровье у Якова за последнее время складывалось вот какое... Сегодня у него и ноги подкашивались по-иному. И руки холоднее были. И одет был по-зимнему.

— Не смерть ли, голубушка, подкрадывается ко мне? Да и умирать, умирать, видно, пора тебе, Яков Николаев? Время, брат, — рассуждал про себя старик, — попахал на своем веку матушки-землицы, покосил зелены-травы — надо и в гроб... И времена, вишь, какие по-

шли — ни бога, ни родителей знать не хотят... Женятся, как коровы в стаде, — без церкви божией и батькина благословения... Да чего тут... Эво! — человек полетел!.. Землю выдумали машиной пахать!.. И лошадь гуляй ветром в поле. Нет! умирай скорей Яков Николаев, — и Ковыль при этом сильно затрясся от приступившего к горлу кашля и скорчился в крюк. — Вот она жизнь-то наша... — и, постояв немного, побрел, опираясь на падог, своей полосой на изгородь.

Время было далеко за полдень. Через два, три часа погонят ко двору скот. И не замедлят — поедут с пашни. Но Якову думалось, что не так поздно и хорошо успеет до пригона коров побывать у Изохи. И солнышко казалось не так низко. — Стояло оно выше лесочка выгороды и пекло... Но, как ни спешил Ковыль до шалаша, — ноги прошли только свою полосу. На конце, у изгороди, пришлось сесть. А ведь раньше Яков с восхода до захода шагал с лукошком взад и вперед и не знал, что за усталость. Да, зачем? Три дня тому назад он ходил на погост поминать покойницу. А сейчас — прошел полосой и повалился. Да и вчера он веселее был. И ходил не мало. И старик, усевшись, тяжело дышал... А ведь вон и шалаш из соломы виднеется, словно корова рыжая. А возле него, точно кто стоит на голове, висят на кольях вверх подметками сапоги. Дымок тянется столбиком. Но ноги итти отказываются! А ему ведь только узнать бы подробнее, будет ли хозяйствовать сын? И Ковыль опять поднялся с места...

Пастуший шалаш стоял на середине выгона, на берегу пруда, к которому сейчас из лесочка подходили коровы и пили... Изоха сидел на солнечной стороне у шалаша и плел корзину. Теперь он был бос, в узеньких, коротеньких подштанниках, в одной рубаше с распахнутым воротом. А перед ним у костра, лежа на животе, баловался веснущатый мальчишка — коровий пастух... За шалашом слышался шорох... И Изохе показалось, что туда забрела блудница-корова и разрывает стенку.

— Эй, лежебок, подь отгони корову!

Мальчишка пойманной рыбой подпрыгнул на земле и, охватив длинный Изохин кнут, воровато покрался за шалаш. Заглянув и намереваясь хлестнуть кнутом — он отступил назад. Одной рукой опираясь на падог, а другой держась за живот, стоял Ковыль. Он был необычен, был бледен и корчился в страшной судороге. Мальчишка кряду же отскочил от старика.

— Умирает никак?

— Кто?!

— Да Ковыль, тамо!

Изоха испуганно вскочил на ноги и кряду же увидел перед собой Якова.

— А... — хотел было приветствовать приятель приятеля.

Но Ковыль в это время вместо ответа сильно закашлялся и чурбаном повалился у костра. Он силился побелевшими губами что-то

сказать и не мог. Правая рука клещами сжала падог, а левая потянулась за полущубок.

— На-а-а... во-о-о...ти... — и холодная рука Ковыля выронила конверт и он навсегда уткнулся лицом в землю...

— Бежи! Загоняй коров! — бросился Изоха на коровьего пастушонка, — да скажи мужикам — Ковыль умер, — и, подняв с земли письмо, Изоха побежал за хворостом...

После угона стада ярче вчерашнего заходило солнце... Росли от кустов верстовые тени. Тарахтели вправо, за изгородью, с поля телеги. Ложилась снегом в ложбины роса. И на поля опять бесшумно наступала молчаливая ночь. Стогом сена уже казался шалаш. Чуть заметно смигивал костерок. А возле него, как бы не желая расстаться с землей, обхватя руками, вниз лицом лежал недвижно в валенцах и полущубке Ковыль...

Но вот на дотлевающие угли упала большая охапка хвороста и с треском пламя озарило подошедшего парня. Отодвинуло кругом подступавшую к костру темень и морем стало разливаться по лугу. Пастух скорбно опустил у ног покойника и, низко наклонясь, стал разбирать карточку.

— Эй, дедко! Не слышишь, братуха, теперь... На теплые воды тебя зовут... На Кавказ, брат... Сын твой там агрономом прахтикуется... обженился на тамошней...

Но Ковыль был холоден, и теплый край для него был далек и навсегда неизвестен... И полосы его оставались голыми сиротами...

Странник

ПЕТР ОРЕШИН

Н. Никандрову

Я помню очень много,
Но больше позабыл.
О, млечная дорога
В кругу ночных светил!

Там тоже ходит странник,
И, может быть, ему
Видать, как я, изгнанник,
Обманываю тьму.

Видал ли он оттуда,
Как я, сквозь мрак и зной,
Из огненного пруда
Махал ему рукой?

Нет, он не оглянулся
И скрылся, как сгорел.
И млечный путь взметнулся
Пожаром новых стрел.

Под синим полушаром
Я так позорно мал.
Но солнечным загаром
И я не зря играл.

Я слышал завыванье
Ветров с чужих планет.
Я видел мирозданье
И солнцелунный свет.

И был я очарован,
Заворожен на век,
В мечту луны закован,
Как всякий человек.

Из лунного острога
Я тоже слезы лил.
О, млечная дорога
В кругу ночных светил!

З и м о й

ЕВСЕЙ ЭРКИН

Я в комнате часто мечтал о пространствах
о зимних пространствах
(без полок и книг),
где снежные дюны да ветра упрямество,
и против упрямества идешь напрямик.

Вот легкие лыжи...
Бегу в полушубке.
Мой город, прощай до вечерней зари!
О, посвист полозьев!
Алмазны и хрупки
снежинки.
О, воздух,
на солнце гори!..

Холодные рощи и низкие елки...
Мне кровь горячит на морозе разбег.
Скольжу по сугробам...
Налево — в поселке —
дымки голубые,
взлетающий снег...

Когда как иголками в пальцах заколет,
и месяц зеленую тень заметет,
сверну я к избушкам натопленным в поле,
где пахнет овчиной и прялка поет.

Я в сенцах оставлю высокие лыжи.
Я сяду поближе, когда на меня
глаза разгорятся у девочки рыжей,
почти золотые глаза от огня.

Старик мне бормочет о буднях, о рубке
соснового леса; под прялочный звон
снежинки растаяли на полушубке,
и клонит старуху избушечный сон.

В окошке уж просятся звезды на плечи, —
как ландышей белых сорвать бы рукой,
чтоб с ними,
с пространством,
с теплом человеческим
дойти до квартиры моей городской!

Заметки о Пушкине ¹⁾

В. ВЕРЕСАЕВ

III

Пушкин и польза искусства

«Пророк» Пушкина:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился;
Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешной мой язык,
И празднословной, и лукавой,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечем,
И сердце трепетное вынул,
И угля, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
— Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
— Исполнишь волею моей
— И, обходя моря и земли,
— Глаголом жги сердца людей.

¹⁾ См. «Новый Мир», № 1, 1927 г.

Помещая интересные «Заметки» В. Вересаева, редакция считает нужным говорить, что не со всеми утверждениями автора она согласна. Редакция.

Глаголом жги сердца людей... Что это за глаголы? Каков должен быть их характер, каково содержание? Не странно ли? Пушкин подробно, даже излишне-подробно описывает все операции, которым ангел подвергает пророка, и как-будто забывает хоть одним словом сообщить, — какого же рода должны быть слова, которыми бог поручает пророку жечь сердца людей?

У Лермонтова тоже есть стихотворение «Пророк», — оно служит как бы продолжением пушкинского «Пророка», и во всех хрестоматиях лермонтовское стихотворение обыкновенно и помещается вслед за пушкинским. У Лермонтова все совершенно ясно.

С тех пор, как вещей судия
Мне дал всеведение пророка,
В сердцах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья...

Бог — судия, всеведение пророка выражается в умении его прозревать нравственную природу человека, содержание глаголов — «чистые ученья любви и правды». Понимание пушкинского «Пророка» так дальше и пошло по пути, закрепленному Лермонтовым. Проф. Д. Н. Овсяннико-Куликовский, напр., говорит: «Глаголы пророка—это глаголы о б л и ч и т е л ь н о й п р о п о в е д и» (Соч., IV, 138). Проф. Н. Ф. Сумцов: «Пророк наделяется несокрушимой божественной волей, для которой в делах любви и просвещения нет предела и нет преград» (Этюды о Пушкине. Вып. I. Варшава. 1893. Стр. 91). И так почти все.

Но обратимся к самому стихотворению Пушкина, попробуем прочесть его просто, забыв наше ранее составленное о нем представление. Во всех изменениях, которые происходят в избраннике под действием операций ангела, мы нигде не находим указания на моральный элемент.

Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещи зеницы...

Вещие, т.-е. ведающие, з н а ю щ и е.

Моих ушей коснулся он, —
И вяля я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Сверхестественно утончившийся слух воспринимает такие звуки, которых обыкновенному человеку слышать не дано. Но опять тут дело — в познании.

Он вырвал грешной мой язык,
И празднословной, и лукавой...

Ну, тут уж, казалось бы, выступает как раз моральный элемент: говорится о грехе, празднословии, лукавстве... В соответственном месте у Исаии читаем (Книга пророка Исаии, VI, 5—7):

И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа.

Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника,

и коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен.

Здесь все вполне ясно: удалено «беззаконие», очищен «грех». А посмотрим, что дальше у Пушкина:

И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

Языку пророка даруется только мудрость, т.-е. высшее понимание, а вовсе не нравственное очищение, не освобождение от беззакония. В связи с этим и первые два стиха получают соответственное освещение: истинная мудрость, само собою понятно, не может грешить ни празднословием, ни лукавством. Но речь-то только о мудрости.

Дальше—пылающий уголь, вложенный в грудь. Образ слишком общий, вкладывать можно какое угодно понимание.

Где же во всем этом хоть намек на «чистые ученья любви и правды», на «дела любви и просвещения», на требования «обличительной проповеди»? Картина вполне ясная: бог дает своему избраннику нечеловеческую, сверхестественную способность совершенно по-особому видеть, слышать, т.-е. воспринимать и познавать мир,—и способность совершенно по-особому сообщать людям это свое знание,—с мудростью змеи и с пламенностью пылающего угля.

Но какой же это в таком случае пророк? Пророк—это глас бога, призывающий людей обязательно к действию,—к покаянию, к практическому обнаружению себя в области нравственной или даже общественно-политической. Таковы были Моисей, Исаия, Иеремия, Магомет. Если Пушкин, действительно, имел в виду изобразить пророка, то приходится признать, что он совершенно не справился с задачей, упустив в своем образе характернейшую особенность пророка,—действенность, призыв к деланию, к активному обнаружению себя.

Но, конечно, Пушкин вовсе и не имел в виду просто дать в этом стихотворении образ библейского пророка. Пушкин выразил в стихотворении свое интимное, сокровенное понимание существа поэтического творчества. Пушкинский пророк—это поэт, как его понимает Пушкин. И стихотворение точно, до мелочей, совпадает со всем строем взглядов Пушкина на существо поэзии и призвание поэта.

Духовной жаждою томим, поэт бредет в жизни, как в мрачной пустыне,

И меж детей ничтожных мира,
 Быть может, всех ничтожней он.
 Но лишь божественный глагол
 До слуха чуткого коснется,—

и происходит полное перерождение, полное преобразование поэта. Он по-новому видит и слышит, по-новому воспринимает жизнь, лукавый и празднословный в жизни, он становится нечеловечески мудрым, и сердце в груди превращается в жарко пылающий уголь. Наблюдая процесс пушкинского творчества, мы находим, что для Пушкина вдохновение не есть только внешне заплодотворившаяся способность высказать то, что есть в душе; вдохновение, это—какое-то своеобразное перерождение самой души, способность совершенно по-новому воспринять и пережить впечатления, однажды уже полученные и почувствованные в жизни. Это—основное свойство пушкинского творчества.

И бога глас ко мне воззвал...

Глас того единственно-истинного бога, которому Пушкин никогда не изменял, к которому всегда относился с подлинным религиозным трепетом. Этот бог—вдохновение, творчество. Когда Пушкин начинает о нем говорить, у него все время выражения: «святая лира», «божественный глагол», «признак бога—вдохновение». В «Египетских Ночах»: «Но уже импровизатор чувствовал приближение бога».

И бог этот говорит поэту: виждь, внемли и исполнись моею волею,—державною волею творчества, отрешившегося от всех житейских соображений, «немотствующего» перед земными кумирами. «Служенье муз не терпит суеты». «Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум». И так далее. То требование верховной, неограниченной свободы, которое Пушкин не уставал предъявлять для поэта.

Глупец кричит: «Куда? куда?
 Дорога здесь» — Но ты не слышишь,
 Идешь, куда тебя влекут
 Мечтанья тайные...

Это не только право, это—обязанность поэта, и эту-то обязанность налагает на пророка-поэта его бог: «исполнись волею моею».

А дальше—самое непонятное и загадочное:

Глаголом жги сердца людей!

Что это значит? Что значит—«глаголом жечь сердца людей»? Ну, ясно: это значит—словами воспалять сердца людей. Когда оратор или проповедник потрясает и воспаляет сердца своих слушателей, то говорят, что он глаголом жжет сердца людей.

Но разве жечь—значит воспалять?

Я проделал такой опыт: поэтов, беллетристов, публицистов и вообще людей, любящих русскую речь и вдумывающихся в нее, я просил ответить на такой вопрос:

— Что это значит: «своими словами вы мне жжете сердце»?

Точно употреблено пушкинское выражение, но по возможности замаскировано, чтобы не вспомнились пушкинский стих и зашаблоненное в нем понимание слова «жечь». У некоторых из опрошенных, тем не менее, явилась реминисценция пушкинского стиха, и они ответили: «это значит— глаголом жечь сердца людей». Такие ответы, конечно, не имели никакой ценности. Все же остальные ответы, без единого исключения, были приблизительно такого рода: «Своими словами вы мне жжете сердце, это значит: своими словами вы мне обжигаете сердце, мучаете его, доставляете острое, как ожог, страдание». Это вполне понятно. На свежее восприятие иначе и невозможно понять пушкинские слова. Совсем в этом же, указанном нами, смысле сам Пушкин употребляет их и в другом случае. В черновиках к «Борису Годунову» читаем:

Как ласки их мне радостны бывали,
Как живо жгли мне сердце их обиды!

Жгли,—т.-е. мучили, обжигали страданием.

Но какой же в таком случае смысл в этом обращении бога к пророку? Он поручает ему—обжигать, мучить сердца людей? Ну, да! Разве этим вносится что-нибудь новое в основное понимание Пушкиным существа поэзии и ее задач?

Нельзя требовать от поэзии какой бы то ни было пользы,—хотя бы самой возвышенной, хотя бы «жжения сердец» «чистыми учениями любви и правды», хотя бы «смелых уроков» «любви к ближнему».

И толковала чернь тупая:
Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато, как ветер, и бесплодна:
Какая польза нам от ней?

И Сальери говорит о Моцарте:

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес к нам песен райских,
Чтоб, возбудив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь.
Так улетай же! Чем скорей, тем лучше!

Итак, «глаголом жги сердца людей»,—да, это значит: волнуй, мучай людские сердца, как своенравный чародей, обжигай душу чад праха бескрылым желанием улететь с крепко держащей их земли.

В вопросах политических, общественных, религиозных Пушкин был неустойчив, колебался, в разные периоды был себе противоположен. Эти все вопросы слишком глубоко не задевали его. Но искусство—оно составляло самую душу Пушкина, им он жил, в нем для него был весь смысл его существования. И в основных вопросах искусства Пушкин не колебался, всегда был один и тот же. А самым основным вопросом для него был тут вопрос о державной самостоятельности искусства, о неслужебной его роли. Польза, даже самая возвышенная, представлялась Пушкину мелкой и ничтожной в сравнении с той огромной, сверкающей стихией, какую представляет из себя искусство. В 1825 году Пушкин писал Жуковскому: «Ты спрашиваешь, какая цель у «Цыганов»? Вот на! Цель поэзии—поэзия. Думь Рылеева и целят, а все не в попад». Через два—три года в замечаниях на статью Вяземского об Озере Пушкин писал: «Поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем иное дело. Господи Иисусе! Какое дело поэту до добродетели и порока? Разве—их одна поэтическая сторона?». И в 1831 году в рецензии на Делорма он заявлял: «Поэзия, по своему высшему, свободному свойству, не должна иметь никакой цели, кроме самой себя». И в 1836 году («Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности») он называет мелочную и ложную теорию, утвержденную старинными риториками, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности.

Как с этим взглядом совместить пушкинского «Пророка» в обычном его понимании? Со своей точки зрения Овсянко-Куликовский был вполне прав, говоря: «Идея «Пророка», поскольку она сводится к страстному желанию «глаголом жець сердца людей», именно «глаголом» обличительной проповеди, представляется нам, так сказать, не «натуральной», не «лично-пушкинской» идеею: это—идея «байроновская», «лермонтовская», «некрасовская», но не «пушкинская» (Соч., IV, 138). Ну, конечно же. Что в этой «идее» пушкинского?

В свидетельстве признания Пушкиным служебной роли искусства, кроме «Пророка», приводят еще его «Памятник». На одной стороне — «Пророк» и «Памятник», на другой — весь Пушкин со всеми многочисленными его высказываниями и в стихах, и в прозаических статьях, и в письмах.

Рассмотрим еще «Памятник».

И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,
 Что в мой жестокий век восславил я свободу
 И милость к падшим призывал.

Если бы спросить кого-нибудь незнающего: чье это стихотворение, кто из русских поэтов мог бы так говорить о себе? — то всякий бы ответил: Рылеев, Некрасов, Никитин, ну, — Надсон, П. Якубович. И уж самым последним назвал бы Пушкина, разве только раньше Фета.

Чувства добрые я лирой пробуждал.

Чрезвычайно затруднительно указать, где именно Пушкин пробуждает «добрые» чувства. Существо его глубоко-благородной поэзии вовсе не в специально-«добрых» чувствах.

В мой жестокий век восславил я свободу.

Это — в «Оде на вольность» и в «Кинжале»? Но ведь какой же это крохотный и не полноценный осколок в огромном пушкинском творчестве!

И милость к падшим призывал.

Если вы очень хорошо знаете Пушкина, то с некоторым напряжением памяти вспомните: да, да! В «Стансах» Пушкин призывал Николая I оказать милость декабристам:

Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращурю подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

И в этом Пушкин мог видеть существо своей поэзии, и в этом почитать свою заслугу!

Раньше четырехстишие это приводилось в качестве несомненного доказательства приверженности Пушкина к тем «великим заветам», которые так характерны для русской литературы вообще. С. А. Венгеров, напр., писал: «Сердито говорит Пушкин в одном из своих писем: «цель поэзии — поэзия». Но не говорит ли нам последний завет великого поэта, — его величественное стихотворение «Памятник», — о чем-то совсем ином? Какой другой можно из него сделать вывод, как не тот, что основная задача поэзии — возбуждение «чувств добрых»? (Соч. Пушкина, изд. Брокгауза-Ефрона, т. IV, 45). Однако теперь приходится встречать все больше признаний, что в стихах этих нельзя видеть полной самооценки поэта. П. Н. Сакулин в известной своей обстоятельной работе о «Памятнике» полагает, что разбираемая строфа говорит о значении поэзии Пушкина «в глазах прежде всего ближайшего потомства» («Пушкин», сборник первый. Изд. Общ. Люб. Росс. Слов. М. 1924, стр. 60). В прениях по поводу этого доклада Н. Л. Бродский отмечал, что «всего Пушкина мы тут не можем видеть. Пушкин неизмеримо шире и глубже того образа, который нарисован в «Памятнике» (там же, 260). Остроумно замечает Н. К. Пиксанов: «Термины, которыми определяет Пушкин дело поэта, — какие-то периферийные, — «восславление свободы», «милость к падшим», «чувства добрые», — это все можно отнести и на долю моралиста, политического деятеля, но это не является делом поэта» (там же, 259).

Но если так, то ведь нужно из этого сделать какие-то выводы. Пушкин, в сознании своих заслуг, подводит итог всей своей поэтической работе, пред'являет, так сказать, свои права на бессмертие, — и указывает только на заслуги, за которые его будут ценить ближайшие потомки, на самые «периферийные» заслуги, в которых его легко мог бы побить и Рылеев, и Некрасов, и Никитин. Почему же он не говорит о том, в чем сам видит свои заслуги и существо своей поэзии? Не посмел? Однако он посмел сказать: «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас!» Почему же тут он не может или не хочет дать себе полную и глубокую оценку? Говорят, Пушкин был связан традицией, формой горадиева и державинского «Памятника». Но и Гораций, и Державин полно и исчерпывающе перечисляют в своих

стихах заслуги, дающие им, по их мнению, право на бессмертие. Традиция несколько не мешала Пушкину сделать то же.

А затем — заключительная строфа «Памятника»:

Веленью божию, о муза, будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Поэт, в гордом сознании заслуг, говорит о своей посмертной славе в народе, и вдруг: «хвалу и клевету приемли равнодушно». При чем тут клевета? О ней ведь и речи не было. Зачем было с гордостью говорить о своей будущей всенародной славе, если поэт хочет относиться к ней равнодушно? «Не оспаривай глупца». В чем? Откуда вдруг этот глупец?

Загадочная, волнующая свою непонятностью строфа, совершенно не увязывающаяся со всем строем предыдущих строф.

Большую брешь в общепринятом понимании «Памятника» пробил М. О. Гершензон в своей статье о «Памятнике» («М у д р о с т ь П у ш к и н а», К н - в о П и с а т е л е й в М о с к в е, 1919). Он в ней указывает на несоответствие последней строфы со смыслом всего стихотворения при обычном его толковании. И пишет дальше: «В «Памятнике» точно различены: 1) подлинная слава среди людей, понимающих поэзию, — а таковы преимущественно поэты: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит»; и 2) слава пошлая, среди толпы, смутная слава-известность: «слух обо мне пройдет по всей Руси великой»... В строфе «И долго буду тем любезен я народу» Пушкин говорит не от своего лица, — напротив, он излагает чужое мнение, — мнение о себе народа. Эта строфа — не самооценка поэта, а изложение той оценки, которую он с уверенностью предвидит себе. Пушкин говорит: «Знаю, что мое имя переживет меня; мои писания надолго обеспечивают мне славу. Но что будет гласить эта слава? Увы! Она будет трубным гласом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне не за то подлинно-ценное, что есть в моих писаниях и что я один знаю в них, а за их мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы»... Всю жизнь поэт слышал от толпы требования «сердца собратьев исправлять» и всю жизнь отвергал его; но, едва он умолкнет, толпа объяснит его творчество по-своему... «Я утверждаю, — продолжает Гершензон, — что лишь при таком понимании первых четырех строф становится понятной пятая, последняя строфа «Памятника». Ее смысл — смирение перед обидой. Поэт как бы подавляет свой невольный вздох. Горька обида, — но таков роковой закон, — «божье веление». Хвала толпы и клевета ее — одной цены: обе равно ничтожны. И не силясь опровергать клевету, т.е. объяснить толпе ее ошибку. Пушкин в прежние годы не раз пытался «оспаривать глупца» относительно подлинной ценности искусства, — теперь он признает эти попытки тщетными и ненужными».

Во всем этом много верного, но чего-то окончательного не хватает. Очень натянутым кажется объяснение, что Пушкин предвидит два рода славы: подлинной — среди поэтов и «пошлой» — в народе.

Необходимо обратить внимание вот еще на какую странность. Стихотворение Пушкина по форме является подражанием горацеву «*exegi monumentum*» и «Памятнику» Державина, — особенно последнему. Державину Пушкин подражает неприкрыто, даже подчеркнуто. И у Пушкина, и у Державина — одинаковое количество строф, одинаковое количество строк в строфе. Первые три строфы начинаются у Пушкина совсем так, как у Державина. Державин: «*Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный...*» Пушкин: «*Я памятник себе воздвиг нерукотворный...*» Державин: «*Так. Весь я не умру...*» Пушкин: «*Нет, весь я не умру...*» Державин: «*Слух пройдет обо мне...*» У Пушкина в рукописи написано так же, а потом уже над «пройдет» написана цифра 2, а над «обо мне» — 1: «*слух обо мне пройдет...*» Ясно, что Пушкин как бы все время имел перед глазами стихотворение Державина.

Почему? Какой в этом был смысл? Почему Пушкин в таком ответственном, серьезном произведении, подводившем итог всей его поэтической работе, счел нужным стать рядом с Державиным и заговорить его словами? Было бы еще понятно, если бы нечто в роде «Памятника» написали, скажем, Шекспир, Гете или Байрон, — мировые гении, высоко ценившиеся Пушкиным. Говоря о себе их словами, Пушкин как бы ставил этим себя рядом с ними, на один с ними уровень. Но — Державин! Вспомним, как отзывался о нем Пушкин еще в 1825 году в письме к Дельвигу: «Этот чудака не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка, он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, — ни даже о правилах стихосложения... Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы... Читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника... Державин, современем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем о нем. У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь». Очень сомнительно, чтобы через одиннадцать лет мнение Пушкина об «этом чудаке» много изменилось в хорошую сторону. Бесспорно: в отличие от большинства новаторов в искусстве, Пушкин с уважением отзывался о своих литературных отцах и дедах; с большим уважением относился, в общем, и к Державину. Но очень трудно представить себе, чтобы Пушкин за такую уж большую честь считал для себя стоять в глазах потомства на одном уровне с Державиным.

Недавно мне довелось слышать «Памятник» Пушкина в исполнении декламаторши Эльги Каминской. Эльга Каминская исполняет стихотворение так: первые четыре строфы она произносит повышено-торжественным, слегка даже напыщенным, чуть-чуть насмешливым тоном; потом пауза; и потом — почти полушопотом, глубоко-интимным, как бы к себе обращенным, голосом:

Веленью божию, о, муза, будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Слушаешь, — и вдруг встает ошеломляющая мысль: да не пародия ли все это стихотворение? Прославленное стихотворение, в котором Пушкин,

«в горделивом сознании своих заслуг», дает себе должную оценку, отрывки из которого вырезаются на постаментах пушкинских памятников, — не пародия ли оно? Ясно выраженная, неприкрытая пародия на «Памятник» Державина. Неприкрытая, даже подчеркнутая намеренным повторением выражений Державина.

Прочтите еще заключительную державинскую строфу и сравните ее с пушкинской. У Державина последняя строфа — совсем в том же тоне, как все стихотворение:

О, Муза! Возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай.

Державин сумел выдержать тон до конца, а у Пушкина на это умения не хватило: ни к селу, ни к городу приплел и клевету, и равнодушие, и глупца какого-то... Совершенно ясно: в заключительной строфе Пушкин протivoпоставляет свое отношение к славе отношению державинскому. Так и видишь, как Пушкин перечитывает самохвальные державинские строфы, и как по губам его пробегает насмешка: «а что бы я написал, если бы захотел тоже возгордиться заслугой? Вот бы я что написал, вот бы какие заслуги приписал себе: чувства добрые пробуждал, восславил свободу и проч.». И потом гаснет на губах насмешка, глаза становятся глубоко серьезными: неужели поэта может серьезно тешить какая-то посмертная слава? Неужели он не понимает, что обида и венец, хвала и клевета — равноправные спутники славы, что они взаимно уничтожают друг друга, что не для славы творит поэт, и что ему должно быть глубоко безразлично, что будет говорить о нем глупец?

Последняя строфа «Памятника» во многих возбуждала и продолжает возбуждать недоумение. Некоторые откровенно сознаются, что просто не могут ее понять. П. Н. Сакулин в вышеуказанной статье толкует ее так: «Поэт, оторвав взор от перспектив далекого будущего, обращается к своему настоящему и делает по отношению к нему мудрый вывод: спокойно творить, не обращая внимания на суд современников (48)... Перед лицом будущего малозначительным представляется настоящее с его тревогами и обидами. В конце концов венцы присуждают не современники, а потомки (54)... Во второй половине тридцатых годов Пушкин поднялся на сионские высоты духа и оттуда созерцает жизнь и людей (58)... «Памятник» — углубленная оценка творческой жизни *sub specie aeternitatis*. Отрешившись от минутных интересов дня, вещим взором прозревает поэт будущее. Он — пред вратами вечности. Лучи бессмертия уже коснулись его творческого чела» (75).

Если не видеть — по-моему, бьющего в глаза — контраста между пятою строфою и первыми четырьмя, то единственным объяснением пятой строфы может быть объяснение, даваемое П. Н. Сакулиным. Но тогда совершенно непонятно, почему Пушкин, умеющий быть таким точным, не отметил в пятой строфе, что венца он не требует только от современников, и что только их хвалу он приемлет равнодушно. А главное, — какая же качественная разница между хвалою и клеветою современников и хвалою и кле-

ветою потомства? Почему к первой славе Пушкин равнодушен, а ко второй неравнодушен? П. Н. Сакулин славу в потомстве рисует, как нечто очень величественное, — «врата вечности», «луч бессмертия». Почему она более величественна, чем слава прижизненная? Если «сионские высоты», на которые в последние годы поднялся Пушкин, заключались в ожидании признания его поэтических заслуг со стороны потомства, — то, право же, эта «высота» — очень небольшой высоты!

П. Н. Сакулин приводит выдержки из стихотворений Пушкина, — не случайно все из отроческих и юношеских, — в которых поэт мечтает о славе в потомстве. Между прочим, один черновой набросок, относящийся к 1823 г.:

Быть может, этот стих небрежный
 Переживет мой век мятежный.
 Могу ль воскликнуть...
 Exegi monumentum я
 Воздвигнул памятник.

«В этом наброске, — замечает П. Н. Сакулин, — содержится прямое указание на идею «Памятника» (56).

Да, в молодые годы Пушкин мечтал о славе, он желал «печальный жребий свой прославить». Но чем дальше, тем все выше и выше поднимался Пушкин на «сионские высоты духа», — на высоты удивительного благородства, целомудренной простоты и глубокого равнодушия к славе. Вся жизнь его и все счастье были в творчестве. В поэтическое творчество он уходил от жизни, которой не умел творить и в которой не умел жить. И этот творческий труд давал ему такое счастье, перед которым ненужной, суетной и смешной казалась всякая слава. В черновом наброске 1833 г. читатели обращаются к поэту, видимо, повторяя его слова:

«Вы нас морочите, — вам слава ненужна,
 Смешной и суетной вам кажется она, —
 Зачем же пишете?» — Я? Для себя! — «За что же
 Печатаете вы?» — Для денег. — «Ах, мой боже!
 Как стыдно!» — Почему ж?..

И поэту Пушкин говорил:

Твой груд
 Тебе награда. Им ты дышишь,
 А плод его бросаешь ты
 Толпе, рабыне суеты.

И еще говорил поэту:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
 Иди, куда влечет тебя свободный ум,
 Усовершенствуя плоды любимых дум,
 Не требуя наград за подвиг благородный:
 Они в самом тебе...

Вот те подлинные «сионские высоты духа», на которые все выше с каждым годом уходил созревший Пушкин.

Пушкин любил тонкую, еле уловимую пародию, которую бы простодушный читатель принимал за вещь, написанную вполне серьезно. Такою несомненною пародией является «Подражание Данту» («И дале мы пошли...»). Пародию же, повидимому, представляет и «Сцена из Фауста». Хорошо по этому поводу говорит Вас. Вас. Розанов: «Все «уклоняющееся» и «нарочное» Пушкин как-то инстинктивно обходил; прошел легкою ирониею «нарочное» даже в «Фаусте» и в «Аде» Данте, в столь мировых вещах. «Ну, к чему столько», например, мрака и ужасов — у флорентийского поэта? К чему эта задумчивость до чахотки у туманного немца:

И думал ты в такое время,
Когда не думает никто».

(В. В. Розанов. — Возврат к Пушкину. Среди художников. СПб. 1914, стр. 409).

Таковыми же «нарочными», «уклоняющимися» должны были казаться Пушкину и пышные самовосхваления Державина. И на его гордостный «Памятник» он ответил тонкою пародией своего «Памятника». А мы серьезнейшим образом видим тут какую-то «самооценку» Пушкина!..

Пушкин — один из самых непонятных поэтов. «Ясный», «прозрачный» Пушкин... Эта кажущаяся ясность обманывает и не вызывает повелительного стремления вдуматься, углубиться в такие на вид легкие, в действительности же только обманно-прозрачные стихи. А сам Пушкин говорил:

Стихи неясные мои...

И еще говорил про себя:

Исполнен мыслями златыми,
Непонимаемый никем...

Пушкин настойчиво — и в стихах, и в письмах — твердил, что пишет он для себя, а печатает — для денег. И это, действительно, было так: писал он для себя, потому что в творчестве для него было высшее и единственное счастье. И ему совсем было неважно, как будет понимать его стихи публика. Он, повидимому, считал нужным доводить их лишь до той степени понятности, на которой они для него самого, для Пушкина, выражали то, что он хотел выразить. А поймут ли его другие, — до этого ему было мало дела.

IV

„Стихи неясные мои“

Пушкин писал для себя и очень мало заботился о том, поймет ли его публика, и как поймет. Мне кажется, это необходимо всегда помнить при чтении Пушкина и читать его внимательнее, чем мы это обыкновенно делаем.

Как легко и поверхностно мы читаем Пушкина, показывает стихотворение его «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»). Все дружно видят в этом стихотворении выражение какого-то раскаяния,

каких-то угрызений совести, мучающих поэта. Разногласий на этот счет нет. Лев Толстой выделял «Воспоминание» из всех остальных стихов Пушкина и отзывался о нем с неизменным умилением; со смущением и почти с мистическим страхом писал о нем Василий Розанов, Анненков по поводу этого стихотворения говорит о «муках и слезах раскаяния»; Гершензон — о «пламенных признаниях, где Пушкин дал волю своему стыду и своему раскаянию»; Щеголев называет стихотворение «покаянным псалмом».

Вот в каком виде стихотворение было напечатано при жизни Пушкина:

ВОСПОМИНАНИЕ.

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

В таком виде стихотворение, действительно, как-будто изображает раскаяние. Прямо даже сказано: «угрызения». А раз угрызения, то ясно, что угрызения совести. Но ведь у Пушкина только — угрызения «змеи сердечной» под этим нельзя еще обязательно разуместь совесть. Если вчитаться в стихи, то как-будто ряд неточностей: «Мечты кипят»; «Проклинаю и горько жалуясь»; «Строк печальных не смываю», — печальных, а не позорных. Но, конечно, все это должно производить впечатление мелких придинок. В общем ясно: поэт глубоко и горько раскаивается в том, как прожил жизнь.

В посмертных бумагах Пушкина нашлось окончание этого стихотворения. Оно было опубликовано еще Анненковым. И мне совершенно непонятно, как, зная все стихотворение, можно продолжать говорить, что в нем идет речь о каком-то моральном раскаянии.

Вот это окончание:

Я вижу в празднествах, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях
Мои утраченные годы!
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды.

И нет отрады мне — и тихо предо мной
 Встают два призрака младые
 Две тени милые — два данные судьбой
 Мне ангела во дни былые!
 Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
 И стерегут... и мстят мне оба,
 И оба говорят мне мертвым языком
 О тайнах счастья и гроба.

В чем же, выходит, раскаивается Пушкин? В том, что он расточал время в праздности, в пирах, в безумстве свободы. Это понятно. Но дальше: поэт «раскаивается», что годы его утрачены были «в неволе, в бедности, в чужих степях». Это же не от Пушкина зависело. Как можно раскаиваться в своей бедности или неволе? «Друзей предательский привет; «сердцу вновь наносит хладный свет неотразимые обиды». Во всем этом поэт является лицом страдающим, и никакого тут места не может быть раскаянию. Если понимать стихотворение, как «покаянный псалом», то все оно представляется переполненным неточными и совершенно произвольными выражениями.

Совершенно ясно, что стихотворение нужно понимать не так. Пушкин здесь не раскаивается, что прожил свою жизнь не морально, — а тяжело скорбит о том, как его жизнь прошла не благообразно. При таком понимании каждое слово становится на свое место, становится вполне оправданным и необходимым. Да, «мечты кипят», — мечты о том, как жизнь могла бы быть прекрасна. Да, «проклиная и горько жалуясь», — жалуясь на судьбу, наполнившую жизнь мраком и низменностью. И, конечно, — «строк печальных», а вовсе не позорных.

Стихотворение написано 19 мая 1828 года. Через неделю Пушкин пишет стихотворение «Дар напрасный, дар случайный», полное совсем того же настроения:

Жизнь, зачем ты мне дана?
 Иль зачем судьбою тайной
 Ты на казнь осуждена?

«Воспоминание», это — не восстание совести, не горькое покаяние человека, стыдящегося неморальной своей жизни; это — тоска олимпийского бога, изгнанного за такую-то вину на землю, томящегося в тяжелой и темной земной жизни. И все тут одинаково тяжело: и отсутствие собственной нравственной высоты, — праздность, неистовые пиры, разнузданность страстей; и нравственная низость кругом, — предательство друзей, неотразимые обиды холодного света; и внешние тяготы, так унижающие душу, — неволя, бедность, вынужденные скитания по чужим степям. «И нет отрады мне»...

Замечательно, что круг явлений, заставляющих Пушкина так глубоко страдать, был для него точно определенный: к нему же он опять возвращается воспоминанием в 1835 г., в стихотворении «Вновь я посетил»:

Я еще
 Был молод, но уже судьба
 Меня борьбой неравной истомила;
 Я был ожесточен! В уныньи часто
 Я помышлял о юности моей,
 Утраченной в бесплодных испытаниях;

О строгости заслуженных упреков;
О дружбе, заплатившей мне обидой
За жар души доверчивой и нежной, —
И горькие кипели в сердце чувства.

Как видим, все совершенно то же самое, что и в разбираемом стихотворении: «о юности моей, утраченной в бесплодных испытаниях», — «в неволе, в бедности, в чужих степях мои утраченные годы»; «о строгости заслуженных упреков», — за годы, утраченные «в празднестве, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы»; «о дружбе, заплатившей мне обидой», — «друзей предательский привет». «И горькие кипели в сердце чувства», — конечно, не чувство раскаяния, а чувства обиды, сожаления, ожесточения. «Проклинаю и горько жалуюсь».

Все стихотворение «Воспоминание» носит глубоко интимный характер. Как-будто поэт вслух думает про себя, и мы с трудом улавливаем намеки на что-то, нам неизвестное, и во что поэт нисколько не заботится нас посвящать.

«И тихо предо мной встают два призрака молодые, две тени милые, два данные судьбой мне ангела во дни былые». Кто это? Что это? Каким образом и за что они ему мстят? Что могут говорить мертвым языком о тайнах счастья и гроба? Да, о тайнах счастья. Раньше Пушкин написал: «о тайнах вечности и гроба», но потом вместо «вечности» поставил «счастья».

Всего вероятнее предположить, как все комментаторы и делают, что поэт имеет в виду призраки двух когда-то ему милых женщин. Но и в таком случае в призраках этих трудно видеть каких-то укоряющих ангелов-хранителей, мстящих поэту за его нравственное падение. Ни в поэзии, ни в жизни Пушкина мы почти не видим, чтобы какая-нибудь женщина имела на Пушкина глубокое нравственное влияние, поднимала бы его выше, будила бы его совесть. А. П. Керн пишет: «Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное». Это наблюдение подтверждается и самою женитьбою Пушкина. Щеголев убедительно доказывает, что таинственную N. N., тою, которую Пушкин «не смел назвать» и которую он любил глубокою, чистою любовью, была Мария Раевская, жена декабриста Волконского, женщина редкой нравственной красоты. Пушкин преклонялся перед ее подвигом (см., напр., его посвящение к «Полтаве»). Однако, при воспоминании и об ней Пушкина больше волнует не ее нравственная красота:

Одна была, — пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там, где тень, где шум чудесный,
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный,
Сгорая жаждою любви.

Ах, мысль о той души завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить.

«Сны поэзии», — вот что будит в нем воспоминание о любимой женщине. И к этому же, повидимому, имеют отношение и два мстящие ангела «Воспоминания». В черновиках к стихотворению «Вновь я посетил», из которого я уж приводил цитату, поэт, после приведенной цитаты, продолжает:

И бурные кипели в сердце чувства,
И ненависть, и грезы мести бледной...
Но здесь меня таинственным щитом
... святым прощеньем осенила
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня..

И тот же образ, — ангел...

Все это очень мало понятно. Но одно мне кажется совершенно несомненным: ни о каком «покаянии» в разбираемом стихотворении не может быть и речи.

Понять же подлинный смысл загадочного этого стихотворения мы сможем лишь в том случае, если удастся отыскать или вскрыть биографическую его подоснову. Пушкин, повторяю, писал для себя и очень мало был озабочен, будем ли мы его понимать.

Исполнен мыслями златыми,
Непонимаемый никем...
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные. Твой труд
Тебе награда: им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.

Потанин

(Отрывок из неизданной повести)

Н. А. НЕКРАСОВ

Предисловие

Праведный бурмистр Потанин, изображаемый в повести, есть в глазах Некрасова идеальный правитель; он самоотвержен, бескорыстен до святости. Опора его власти—пресловутая сельская община, которая по тогдашнему ощущению Некрасова—как бы идеальный парламент. Эта община для Потанина есть высший закон, и он чуть не на каждой странице твердит:

— Всякое дело мир решает... Я в мирские дела не вхожу, на то мир. Мир в потемках видит, за тысячи верст слышит...

В 1853 году, когда Некрасов писал свою повесть, изобразить крепостного крестьянина чем-то в роде президента республики было неслыханной дерзостью. Уже одно указание на то, что крепостные рабы способны управлять и командовать, должно было показаться цензуре потрясением государственных основ.

Чтобы провести сквозь цензуру эту дерзкую мысль, Некрасов придал своему повествованию характер крепостнической идиллии: помещик, которому принадлежит этот мудрый крестьянин, изображен необыкновенно добрым и милостивым; его рабы богобоязненны и кротки, и сам благочестивый бурмистр набожно учит их рабьей покорности богу, царю и помещеку.

Впрочем, не следует думать, что вся идиллия с начала до конца была уступкой цензурному ведомству. Иные ее черты отражали в себе подлинные убеждения Некрасова. Он, например, сделал своего любимого героя зажиточным мужиком и торговцем. Тут органическое пристрастие Некрасова к хозяйственным, зажиточным крестьянам, которые в ту пору казались ему лучшими представителями русской деревни. Эта тема исследована мною в моей недавней книге о Некрасове (стр. 234—243), и образ бурмистра Потанина служит новой иллюстрацией к выдвинутым там положениям.

Главная ценность вновь найденной повести в том, что ее герой является прототипом одного из героев знаменитой поэмы: «Кому на Руси жить хорошо». Выведенный там бурмистр Гирин есть плоть от плоти бурмистра Потанина. С таким же величавым бескорыстием управляет он огромною вотчиною. Даже название вотчины осталось в поэме такое же: Адовщина. Даже число крестьян, подвластных Гирину, сохранилось то же, что и в повести:

Ну, мы не долго думали,
Шесть тысяч душ, всей вотчиной
Кричим: «Ермилу Гирина!».
Как человек один!

Нет никакого сомнения, что Гирин списан поэтом с Потанина.

Но поэма писалась Некрасовым через двенадцать лет после того, как была написана повесть—и знаменательно, что образ деревенского праведника подвергся в поэме самым коренным переменам.

Раньше всего Некрасов сделал его почти бедняком. Этот бывший писарь-бессребренник, державший сиротскую мельницу, едва ли мог бы похвалиться такими «важными капиталами», какими обладает Потанин.

И куда девалась благочестивая рабья покорность этого деревенского праведника! Ермил Гирин уже не только не требует от крестьян повиновения богу, царю и помещику, но, напротив, во время крестьянского бунта сам становится на сторону бунтующих, за что и попадает в острог. Таким образом, по прошествии двенадцати лет, для поэта необходимым условием праведности стало революционное чувство.

И еще одна большая перемена: Потанин, сделавшись героем поэмы, помолодел ровно втрое. В повести он был патриарх, седоволосый хранитель старинных основ крепостничества. А Гирин молодой человек. Некрасов настойчиво подчеркивает это несколько раз:

— Одно скажу: не молод ли?..

— И молод, да умен!

Двадцатипятилетним юнцом начинает Гирин свою службу народу — и это омоложение праведника тоже не случайная черта: Некрасов понял, по прошествии двенадцати лет, что ставка на стариков невозможна, что в деревне, как и в городе, истинные борцы за народное счастье могут вербоваться только среди молодежи.

Вот как изменился благолепный Потанин, когда Некрасов, по прошествии двенадцати лет, снова ввел его в литературу.

Эти изменения произошли потому, что и сам Некрасов, и вся Россия страшно изменились в течение этих двенадцати лет.

То были годы колоссальных событий. Разразился сева­стопольский погром, вскрывший постыдное бессилие самодержавной России. Произошло «освобождение» крестьян. На общественную сцену хлынули «новые люди» — разночинцы, нигилисты, Базаровы. Началась знаменитая схватка отцов и детей. Дети, как всегда, победили: Чернышевский и Добролюбов, вытеснив из Некрасовского «Современника» либеральных дворян, стали энергично вести разночинную молодежь к революции. Некрасов, не колеблясь, порвал со своими былыми соратниками и перешел на сторону «детей».

Мудрено ли, что, пережив эти бурные годы, он уже не мог восхищаться рабским патриархом Потаниным, а придал деревенскому праведнику черты революционера, борца за народную волю.

Сравнение найденной повести с поэмой «Кому на Руси жить хорошо», наглядно показывает, как сильно изменились убеждения Некрасова в течение шестидесяти годов: в повести он — дворянин-либерал, друг Тургенева, Дружинина, Анненкова и других постепенцев. В поэме он — разночинец-бунтарь.

Повесть найдена нами в одном частном архиве. Написана она рукою Некрасова на больших листах писчей бумаги. В рукописи нет ни конца, ни начала, но к ней приложен порыжелый, разорванный, засиженный мухами лист, на котором (тоже рукою поэта) сделано такое заглавие:

ТОНКИЙ ЧЕЛОВЕК.

Его путевые, охотничьи и сердечные
приключения в 1853 году.

Из этого явствует, что найденная рукопись есть продолжение той неза­конченной некрасовской повести, которая была напечатана в «Современнике»

72 года назад: в январской книжке этого журнала за 1855 год; Некрасов поместил там первые четыре главы этой повести, дав им такое заглавие: «Тонкий человек, его приключения и наблюдения».

В этой повести, под именем Тросникова, поэт изображает себя — и вообще вся она есть описание охотничьей поездки поэта из Петербурга во Владимирскую губернию в свое новое имение — сельцо Алешутино, близ города Мурома.

Другой отрывок этой повести был недавно напечатан нами в сборнике «Охотничье сердце» (Москва, 1927). Там в особом предисловии мы подробно изложили обстоятельства, при которых эта повесть могла быть написана.

К. Чуковский.

Наконец, прибыли в Фоминку, обширное и богатое село, в котором друзей наших поразило одно обстоятельство: все строения были в нем новые; причина скоро выяснилась: месяца два тому назад все селение выгорело, и крестьяне выстроились вновь, на что отпущено было каждому из них безвозмездно потребное количество леса. Эти подробности приятели наши узнали от своего ямщика, который тут же объяснил им, что помещик в деревне не живет, а управляет имением один из его крестьян, живущий в Фоминке.

— А велико имение? — спросил Грачев.

— Да не малое. Во всей-то Адовщине, чай, тысяч шесть душ будет.

— Шесть тысяч душ! — воскликнул Грачев. — И мужик управляет!

— О какой ты упомянул Адовщине? — перебил его Кротов, обращаясь к ямщику. — Так у вас зовут деревни, принадлежащие к одной вотчине, что ли?

— Нет, а только деревни, что принадлежат к Алексею Дементьичу, так прозываются.

— Да почему же так? Барин, что ли, дал такое прозвание?

— А господь знает. Вишь ты, раскольников у них много. Ну, спокон веку так и прозвали: адовщина, да адовщина не мрущая.

— А кто такой Алексей Дементьич?—спросил Грачев.

— Да он-то и есть управляющий.

— Хороший человек?

— Уж какой человек! Мужик, то-есть, каких в редкость; кажись, и нет другого такого—приди малой ребенок—он и с малым ребенком будет говорить.

— А строг?

— Как сказать? Да вот уж, почитай, тридцать лет сидит управляющим, пальцем никого не тронул, а строг, точно строг. И-и-и, беда у него, коли мужик фальшь какую сделает — лучше и на глаза не кажись.

— Что же?

— Да так, беда, просто беда! И не приведи бог!

— Все-таки я не понимаю, братец, — сказал он, желая заставить его выразиться определеннее. — Чем он вам так страшен, что такое за сила особенная?

— Чем страшен? Правдой страшен, — резко сказал ямщик. — Правдой страшен, правдой и силен, — прибавил он, как бы раздумывая сам

с собою. — Да правдой же и люб! — заключил он вдруг, стегнув по всем ло трем. — Эх, вы, соколики!

— Как так, правдой?

— Да уж так, — отвечал ямщик, обнаруживая явное нерасположение продолжать разговор с таким непонятливым слушателем.

Однако ж Грачев не оставил его в покое.

— Что ж, к барину отписывает, что ли? А барин-то, видно, того?

— И нет! Куда к барину! Станет он барина беспокоить... Ему нечего к барину отписывать. Он сам, то-есть, волен с ослушником распорядиться.

— Ну?

— Ну и распорядится... и выходит, то-ись, плохо тому, кто порядков не соблюд, в чем ни-на-есть проштрафился.

— Что же то-есть?

— Да так... — Ямщик остановился и долго думал. — С одного стыда сторишь, — произнес он, наконец, скороговоркою и прикрикнул на лошадей, помахая кнутом.

Как ни допытывался Грачев, расспрашивая о мерах строгости управляющего, ничего более ямщик сказать ему не мог.

— Видно, он вас балует! — сказал он, пробуя ямщика с другой стороны. — Так вот вы его и хвалите.

— Кто, он, Алексей Дементьич нас балует? — с жаром возразил ямщик. — Вишь, таковского нашел! Балует. Да он и самого-то себя, небось, не балует... Да и как ему нас баловать? Ведь он тоже человек подначальный.

— А что ж, может, и барин добрый, — так вот и терпит.

— Да что терпеть, нечего терпеть, — заговорил ямщик, задетый за живое, к удовольствию Грачева и его товарищей. — У нас, то-ись, как он стал управляющим, с того, то-ись, дня ни казенной, ни господской недоимки, то-ись, каков есть медный грош, не было. Так что тут выходит терпеть? А барин точно доброй. Видишь ты, прежде мы были, то-ись, другого барина, а теперешнему достались вот с зимнего Николы тринадцатый год пойдет... Вот как стал новой барин, — он, было, прислал управляющего — барин, что ли, какой тоже, ну, известно: не первый сорт; как его? Мудреное такое прозвание, Едуард Кондратьич, что ли... Ну, и тоже доброй, нечего сказать... Да как стал он свои порядки вводить, — так и пошло все через пень колодой! Не то, чтобы и строг, да господь знает отчего? Пошли недоимки у крестьян промеж собой, то-ись, всякие своры, да перекоры... и не приведи бог! С роду стыда такого не было, что бы кто из Адовщины с кошелом ходил, а тут, вишь, уж как оно случилось, — гляди — иной последнюю коровушку со двора ведет: податей нечем платить. А мужики все справные, заживные... Бились так с год с новым управляющим, и его тож, сердечного, жаль; совсем, сердечной, голову потерял, извелся, похудел даже немец, — вестимо, вотчина большая! Думали, думали, — собрали сход: и порешили итти к барину просить старого управляющего. Пошли, то-ись, человек двадцать — все народ на выбор богатой, да толковой... Барин послушался, потребовал к себе Алексея Дементьича, да как поговорил с ним, так тотчас и послал его к нам: будь же ты, говорит, у меня управляющим, мне другого не надо.

Ну, и пошло опять все, что любо посмотреть. Так вот он каков у нас Алексей Дементьич! — с гордостью заключил ямщик.

— Что ж он, колдовство, что ли, какое знает? По-твоему простой мужик, поди и грамоте плохо учен, а получше немца управил?

— Нет, не колдовство знает, а бога боится, да мужика бережет, — отвечал ямщик.

— Как солдатство у вас? Видно, солдатством он держит вас?

— У нас солдатство известно как: коли нет, кто бы охотой шел, так очередь... В каждой теперича деревне обявит, то-ись, через старост, так и так дискать: набор, — собрали бы, дискать, сход, да порешили промеж себя: кому? и дали бы знать в контору — к такому-то, понимаешь, времени...

— Ну, и что же?

— Ну, мир и решит кому: кого выходит по очереди, кого за вину какую, кто сам пожелает, а коли спор какой выйдет, так жеребий кинут... Таким-то манером порешат и дадут знать в контору. А сам Алексей Дементьич и не вступает в мирские дела: как мир решит, так и он. Ему лишь бы правда была. Да у нас и всякое дело мир решает. Сбор ли какой ненароком случится, перемена ли какая по земле — велит собрать мир: расскажет в чем дело — и *(не подписано)*.

— А так чтобы взять, то-есть, с богатого мужичка, да вместо него бедного поставить — не водится? — спросил Грачев.

— Коли водиться! да мало того сам, а коли узнает только, что фальшь нам сделал другой — не приведи бог, да вот третьего года случай вышел; подлинно вся вотчина сокрушалась — да уж так, видно, было господа богу угодно. У него, понимаете, у самого три сына. Вот как пришел набор — ну, мужики со всех деревень и повестили, как следует, в контору, кому, то-ись, очередь приходит, по мирскому приговору. Только вот наше-то село, фоминские, не подают повестки, сходятся каждой день, гуторят, спорят, а все не решают — и уж Алексей Дем(ентьевич) понуждение раз и другой сделал, а они все мешкают. А дело, видишь, было такое: что выходила очередь сыну его родному. Вот мир, понимаешь, и стал втупик; судили-судили, рядили-рядили, да и порешили, наконец, что пропустить, то-ись, сына-то Ал(ексея) Дем(ентьевича) и сдать, который в порядке, слышь, за ним следует: Михеева сына Силантия. Ну и подали весть в контору, а промеж себя, то-ись, строго положили: молчок! и чтобы Силантий не ргачился, да горла не драл, награду ему положили и большую, а не то, мол, коли станешь у нас горло драть, и так уйдешь, стало, лучше молчи! Ну, и молчит парень...

Собрался, двести рублей мужики ему надавали, все почитай матери отдал, и старуху уломали молчать. Ну, так бы и сошло дело, да как уж совсем собрались везти его в город сдавать, старуха-то и не выдержит: подняла вой, хляпнулась в ноги Ал(ексею) Дем(ентьевичу) да все ему и рассказала: за твоего сына, говорит, идет! Как рассердился Ал(ексей) Дем(ентьевич), мы, то-ись, никогда его таким не видели, словно гром, голос его по миру прошел; душегубцы, говорит, криводушники! И, то-ись, тут же пятого человека со всего миру розгами хотел наказать... Да спасибо уходился, — покричал, покричал — и ни словечка; словно у него язык вдруг отнялся, этак с полчаса

будет, я думаю, все стоял перед всем миром, голову потупивши, да как вдруг закричит: — «Гришуха! (так его сына звали) полно ободья гнуть (они торгуют санями, так Гришуха ту пору на задворках гнул ободья) — будет-ста, собирайся в город! — Да у меня, смотри, живо!» — И Силантия велел ослободить... Выборной было к нему: кого же, мол, Ал(ексей) Дем(ентьевич), прикажешь вместо Силантия? — Молчит. — Не твое дело! А сам такой строгой. И хозяйка его вышла. «Гришуху, — говорит, — в город посылаешь?». — «Да, говорит, сам повезу», — и ничего больше и ей не сказал. Да, знать, сердце у старухи сказалося: как взвоят она, да как бросится ему в ноги: «Что, мол, хочешь делать, родное детище губить!» — «Молчи, говорит, старуха, ты дела не понимаешь!».

И все торопит: скорей, да скорей. Собрался старик, и сын собрался, старуха так вот и убивается: «Скажи-де, да скажи, не видать, что ли, мне больше моего ясного соколика, Гришутку-то моего?» — Молчит, погрозил старухе: «Я те, говорит, в клеть запру, коли будешь бабиться. Вынеси, говорит, икону, благослови, да проводи с Христом, да с богом». В горницу вошли (а у него горницы важные, вот сами увидите: когда становой ли приезжает, приезжие ли господа, — всегда у него останавливаются — и уж как хвалят), и весь народ не выдержал, тоже хлынул в горницу. Взял он образ, и старухе велел взять другой: «Молись!» — говорит сыну. Сын положил три земных поклона, и потом в ноги отцу и матери... И тут уж как стал он его благословлять и говорить, таково жалобно, да складно, — так весь мир в слезы — всех прошибло — и мужики, то-ись, многие подошли к нему, в пояс кланяются и говорят: «Сами пойдем, детей служить пошлем, только не замай ты сына родного»...

Ямщик остановился; нельзя сказать: затем, чтоб отереть слезу (слезы едва ли были на его глазах), но в голосе его было что-то такое, что говорило, что он тронут более, чем до слез.

— Ну и что же? Ничего не понимаю!

— Свез сына в город да сам и сдал в некруты, — коротко отвечал ямщик.

Последовало продолжительное молчание. Теперь только поняли наши путешественники выражение ямщика: «Правдой страшен, правдой силен». Заинтересованные этим необыкновенным стариком, они пожелали его видеть. Грачев сказал:

— Ты говоришь, что к Ал(ексею) Дем(ентьевичу) заезжают проезжие господа?

— Как же, заезжают! Намедни губернатора возили в Муром — у него же останавливался. Попытайтесь.

— Не обеспокоить бы его?

— А не знаю как? Он добрый такой. Чай, не откажет.

— Ну, так вези нас к нему.

— Так его сын и ушел в солдаты? — сказал Кротов, возвращаясь к прежнему разговору.

— Так и ушел.

— Да что ж ему за охота была сына отдавать? Ведь, чай, у него деньги есть? Мог бы купить рекрута...

— Да уж так, видно, судьба! Сам барин, говорят, жалился, как узнал,—и ему, слышь, пенял крепко: я бы, говорит, своих денег не пожалел. Да вишь мужики-то пока прохладжались на мирских сходках, время той порой подошло так вкруте, что уже некогда было думать покупать некрута: вези да ставь! Вот и поставили. Да бог, вишь, не оставил старика за его правоту. Вот третьего года Гришуха был в побывке: бравый такой молодец— и крест уж у него на груди. «Я, говорит, братцы, на свою судьбу не жалюсь: можно, говорит, и солдату жить».

Так разговаривая, приятели наши прибыли в село, сопровождаемые сотней ребятишек, сбежавшихся со всего селения, и под'ехали к дому управляющего. Ямщик остановился и, поочередно запустив пальцы в рот лошалям, дал им, как он выражался, профыркаться.

Грачев отправился к управляющему — жилище его состояло из большого деревянного флигеля, крытого тесом, и снабженного довольно большого размера светлыми окнами. Через крылечко с навесом войдя в небольшие сени, он увидел две двери,—одна вела направо, другая налево. Не встречая никого, Грачев толкнулся в дверь налево, отворил ее и остановился на пороге. Глазам его представилась сельская контора, находившаяся на ту пору в полном составе своих членов вокруг большого письменного стола, покрытого полинялым зеленым сукном. Заседало несколько мужиков с бородами. На столе находились все принадлежности для письма, несколько счетных книг, господская печать. В углу, под образами, стоял огромный сундук, окованный железом; у стены шкаф, на ту пору раскрытый, в котором помещались кипы бумаг и толстые шнуровые книги. В простенке между двух окон — помещался портрет государя императора. Против этого простенка на главном месте сидел человек, лет шестидесяти пяти; ростом он был невелик, худощав, сед, как лунь, и бел лицом необыкновенно; он что-то выкладывал на счетах, и Грачев невольно заметил, что рука его, отличающаяся такой же мучной белизной, как и лицо, мала и красива, как женская. По правую руку его сидел высокий черноватый парень лет тридцати, в коричневой свитке — это был решительно красавец; по левую руку седенького старичка помещался другой парень в синей сибирже; по уверенной манере, с которою он держал перо в руке, прислушиваясь к словам старика, тотчас видно было, что он мастер писать, и точно; то был писарь Потанина, земский, как их называют в наших сельских управлениях. Прочих лиц ассамблеи Грачев не успел рассмотреть, потому что седенький старичок, привлеченный появлением его, встал и повернулся к двери. Грачев поспешил предупредить его недоуменные вопросы.

— Извините. Я проезжий. Еду в свое имение, здесь неподалеку, и желал бы видеть на минуту Алексея Дементыча, если можно...

— Отчего не можно, — отвечал старичок, и, сказав что-то своему соседу справа, продолжал: — Пожалуйте.

Он вышел в сени и, указывая Грачеву на противоположную дверь, обязательно повторил:

— Пожалуйте, пожалуйте, милости просим!

Жилище Потанина (читатель догадывается, что седенький старичок, встретивший Грачева, был сам Потанин) напоминало убранством своим постоянные дворы средней руки, встречаемые в уездных городах и больших селах, с одним только исключением: в нем было столько же чисто, сколько в постоянных дворах такого рода бывает грязно. Два дивана и дюжина стульев, обитых кожей, простой стол и два ломберных, образа в серебряных ризах в переднем углу, на стенах литографии — издание г. Логинова — религиозного содержания, и гербовник Российской империи, занимавший весь простенок между двумя окнами, — вот убранство комнаты, в которую ввел Потанин своего гостя. Сказав старику свое имя и цель путешествия, Грачев объявил, что с ним есть два приятеля, которые так же были приглашены в комнату, после чего старик исчез и не появлялся четверть часа.

Вошел высокий парень, тот самый, которого видел Грачев в конторе, по правую руку старика, накрыл стол и поставил чашки; потом он принес самовар.

— Да вы, пожалуйста, не хлопочите сами, Ал(ексей) Дем(ентьевич): мы, кажется, помешали вам, — сказал Грачев. — Пожалуйста, не церемоньтесь с нами! Мы люди дорожные, сами распорядимся. Вас, может быть, ждут в конторе...

— Ничего-с, ничего-с, не извольте беспокоиться. Мы уж все покончили — только хотели запирать контору.

— Запирать! — заметил Кротов. — Да вы, я думаю, только сошлись. — Всего седьмой час!

Потанин улыбнулся.

— Нет, мы сошлись, чуть солнышко встало, — сказал он. — Теперь пора рабочая, так иной раз и до солнышка отпираем контору: мужик не барин, ему не рука дожидаться, каждый час дорог. Коли пришел по делу по какому, — опросил его поскорей, в чем примерно нужду имеет, и отпуская с богом, а держать не приходится!

— Так, — сказал Грачев. — А много, я думаю, у вас хлопот: вотчина не малая, говорят: шесть тысяч душ!

— Да, шесть тысяч душ, — сказал Потанин, — шесть тысяч, как есть.

— Признаться, мы подивились, когда узнали, что вы одни управляете такой огромной вотчиной.

— Как один? — возразил Потанин. — Помощники есть: два выборные, два земские, старосту в каждой деревне имеем; рассыльных и почтарей при конторе держим.

— Оно так, а все же вы всему голова.

— Как есть. До всего сам должен дойти. Ну да ведь и делать больше нечего: от оброку избавлен; только и думы, чтобы управить, как покладнее.

— И управляетесь?

— Да, пока бог грехам терпит, управляемся, в добрый час молвить...

— Говорят, у вас и недоимок нет?

— Нет, батюшка. Да и с чего им быть? Оброки не большие: нашим мужичкам нужно бога молить: господа добрые...

— В вашей стороне, как мы вот спрашивали дорóгой, оброк во многих вотчинах не больше, однако ж, как послушать, так далеко до вашей исправности...

— Господь знает, отчего так, — отвечал Потанин. — Кажись, народ все один, и угоды одни.

— Вот тут-то, Алексей Дементьич, и видна разница в управлении. Значит управлять не умеют!

— Да чего тут не уметь? — возразил Потанин. — Нашим мужиком, то-есть, малой ребенок управит, да он и сам-от что малой ребенок: ему только надо растолковать, да вразумить его, а коли он вразумился, так вот-те и все: против своей пользы не пойдет, стало, и хорош будет.

— Все так, да вразумлять их трудно!

— Как примешься: конечно, не знаючи, да не умеючи, ничего не сделаешь. А прежь всего правда: коли он видит, что по правде требуешь, так не бойсь: в ину пору, коли нужда приведет, он и то сделает, чего и сам не чает, что сделать сможет. Сказал: нельзя иначе, братцы! и примерно растолковал им, почему-де иначе нельзя, — ну, глядишь: и сделано. У нас народ богобоязный и господ почитает...

— А все же иногда, я думаю, необходимы меры строгости, — заметил Кротов. — Вот что меня удивило: у вас, говорят, так и пальцем никого не трогают.

— По мирскому приговору, — отвечал Потанин, — случается не то, что пальцем, и прутиками постегают, да я в мирские дела не вхожу: на то мир! Сегодня, примерно, мир мужика наказал, а завтра он, то-есть, приходит ко мне, я и знать ничего не знаю: он у меня все тот же, каким был и как есть другие, а уж какой он будет мужик, коли я сам его накажу, и ему, как придет, — куда глаза девать, места не сыщет: мужик, мужик, — а тоже стыд иметь должен, а потерял стыд, так куды он годен, да и мне какой уж с ним толк: будет ли слово мое силу над ним иметь, коли он, примерно, в моих глазах срам принял. С таким нечего и слов терять. Да спасибо таких бог миловал...

— Ну, я думаю, в семье не без уroda, — заметил Грачев.

— Конечно, так, что говорить! Да я таких и не знаю. У меня вся вотчина как один человек.

Потанин замолчал; приятели наши тоже молчали, раздумывая о слышанном. В рассказе его многое показалось им невероятным и, однако ж, факт был налицо: перед ними сидел простой русский мужичок, едва знающий грамоте, который с помощью одного здравого ума и знания среды, в которой мудрая проницательность владельца дала поприще его деятельности, — управлял шестью тысячами подобных себе, действуя исключительно кротким словом и добрым толком и достигая результатов благодетельных и прекрасных: стар и мал любили его, как отца, и все кругом него благоденствовало и благословляло судьбу свою¹⁾.

¹⁾ Факт этот не сочинен, и в главных чертах совершенно верен действительности, желающий может при случае удостовериться в нем. Имя, о котором здесь говорится, находится Вл(адимирско)й губернии (Г-м) и смежных уездах, и при-

— Зато уж как ваши мужички и любят вас,—сказал Грачев.

— А за что им не любить меня! Худого я им ничего не сделал. Супротив правды с ними не поступал. Храни бог!

— Однако ж мы слышали: дорогонько вам стоит любовь их,—заметил Грачев, вспомнив рассказ ямщика о сыне Потанина.—Вы им родным сыном пожертвовали!

— То-есть, как пожертвовал? Жертвуется, то-есть, коли дается по доброй воле, а тут закон. Так следовало, и так богу угодно было. Сыновей у меня трое: один и пошел за семью царю служить... и служит,—прибавил старик, по лицу которого пробежала легкая тень задумчивости.

— А все же, я думаю, жаль было?

Старик помолчал.

— Старуха много ревела, — наконец, сказал он, — да их дело, известно, бабье.

— Однако ж, Алексей Дементыч, правду сказать: в вашем положении легко было избежать...

— Избегнуть? То-есть, как: очередь миновать? Чего легче! Стоило примерно так счесть (и старик показал пальцами) первой, другой (тут он пропустил средний палец и, пригнув следующий, договорил), четвертый... хе, хе!

Он засмеялся тихим серебряным смехом и продолжал:

— Не мудрено, да и та еще выгода: счет спорей пойдет. Хе-хе! Да только что народ скажет? Скажет: «А где же третий?» — «Да третий — он, братцы, мой, так вы его не замайте!» — Ну и не тронут, да завтра что будет? Завтра, опять, глядишь, пойдет счет на ту же статью: первой, другой... четвертый и опять: моего не замайте! Да как вся-то вотчина закричит: моего не замай! Так тут что?.. И какой ответ я тут дам? Как взыщу? Коли сам со счету всех сбил, так не спрашивай, зачем криво считают? Хе-хе! Хорош счетчик, в пяти пальцах заплутался, а еще других брался считать обучить... хе-хе! — Старик опять посмеялся и окончил: — Очередь святое дело, храни бог сбиться! Все мы равные у помещика. Последний мужик в вотчине покоряется очереди — жертвует, по-вашему, — так, стало, я был бы, выходит, хуже последнего мужика...

— Ну вы бы как-нибудь будто ненароком сбились! — сказал Грачев с сладкой улыбкой. — Ведь нельзя же не сознаться: своя рубашка к телу ближе...

— Ненароком? — возразил Потанин с жаром. — Нет, уж коли бы думно было, то-есть, душой покривить, так уж делай, выходит, прямо.—А то ненароком! Нет, стало, не знаете, что такое мир — мир в потемках видит,

надлежит одному из русских вельмож. До какой степени помещик умел оценить этого замечательного крестьянина, видно из той постоянной доверенности, которою он удостаивает его. В последнее время П—нин, по старости и болезни, просил увольнения от своей должности; помещик прислал ему отпускную и некоторые награды, но на просьбу его согласился только на половину: дозволил ему сдать управление старшему по нем, но оставил П—ну главный надзор за управлением, облегчая таким образом труды старика.

за тысячу верст слышит... Хе-хе! Обмануть мир! Не приведи бог никого обманывать, а коли одна голова, да целый мир думаешь провести — так стало в той голове не только, выходит, правды, — в ней, значит, и разуму нет! — заключил Потанин с особенным ударением.

— Ну, наш мужичок довольно прост,—заметил Гр(ачев), желая вызвать возражение старика.

— Прост? — с улыбкой отвечал Потанин, очевидно, угадав неискренность этого замечания. — Шутите, барин! Вот бог приведет, поживете в деревне, сами увидите, как он прост!

Разговор продолжался, но, с которой стороны ни заходили приятели наши к старику, они уже ничего более не могли узнать касательно главного вопроса, интересовавшего их, именно, касательно его системы управления огромным имением. И не потому, чтоб старик таил что-нибудь: простота этой богатой природы сохранилась так целомудренно, что, казалось, мысль скрывать что-нибудь не могла притти и в голову старику: он не видел в том ни пользы, ни нужды, но, в сущности, и говорить ему было больше нечего: в главном он совершенно высказался, что ж касается до частных, то он так свыкся с своим делом, постоянно пребывая в нем всей деятельностью своей души, что не видел в этих подробностях ничего особенного, ничего такого, о чем стоило бы говорить, хотя, нет сомнения, эти подробности представляли бы много любопытного и уяснили бы характер самого Потанина. Приятели наши догадались, что за дальнейшими сведениями нужно адресоваться к лицам посторонним, и прекратили свои расспросы. Продолжая беседовать со стариком (он был любопытен и в свою очередь закидал их вопросами о Петербурге, — преимущественно о тамошнем климате, о пароходах и железной дороге, о сравнительной ценности различных житейских потребностей, о холере), они имели много случаев дивиться его ясному уму, здравому смыслу и быстрой сметливости. Они заметили тоже, что старик был глубоко религиозен, и узнали, что он уже седьмой год не брал в рот мясной пищи, строго исполняя обет воздержания, наложенный с отдачи сына в рекруты. Вина он не брал капли в рот, но любил чай и пил его много. Жена его, появившаяся на несколько минут и ни слова не сказавшая, была простая русская баба, в сарафане и повойнике. Сыновей на ту пору не было дома. Один ловил рыбу, другой услан был в ближайшую деревню Баландино, по делу, касавшемуся наших приятелей.

Надобно заметить, что еще при самом начале разговора Потанин объяснил Грачеву, что добраться ему до своей деревни сухим путем нет никакой возможности: вся та сторона была затоплена разлитием Оки и других рек; до сорока деревень на пространстве 40 верст находились в воде, так что жители имели сообщение с гористым берегом Оки не иначе, как на ботниках, садясь в них прямо с порога своей избы. Некоторые деревни были так затоплены, что мужики вовсе принуждены были оставить свои жилища и перебрались со всем имуществом и скотом на места, более возвышенные. В иных деревнях вода подходила под самый пол избы, в иных на четверть и более выше пола. Приятели наши не без удивления выслушали рассказ о несчастном ребенке, который утонул в избе. Он выпал из колыбели и, пока

мать, отлучившаяся доить корову, воротилась в избу, захлебнулся, барахтаясь в луже, стоявшей на четверть выше пола.

— Неужели каждый год разлив бывает так силен? — спросил Грачев.

— Нет, не всегда. Однако ж лет в пять однажды, наверно, бывает, вода не ниже нынешней.

— И долго это продолжается?

— Да с месяц. Вода прибывает быстро. В два дни иногда так все кругом затопит, что не видать, где был ручей, где лес, где гора, где яма, а сбывает медленно, понемногу. Нынче, я думаю, долго продержится. Жаль бедных мужиков; совсем останутся без хлеба.

— А разве разлив и хлебу вреден?

— А как случится, — отвечал Потанин и сообщил нашим приятелям, что жители этих бедных деревень, расположенных на низменном берегу Оки, постоянно ведут жизнь, подобно азартным игрокам, ставящим на карту все свое достояние: или пан или пропал! Если вода не слишком высока и продержится не долго, то хлеб о т р о д и т с я и будет превосходный, лучше, чем родится на горной стороне, если ж вода высока и сбывает медленно, то ничего не будет: зерно вымоет или оно сопреет и не в состоянии будет дать ростков. Тогда эти самые поля, уже раз бесполезно возделанные, удобренные и засеянные, по слитии воды возделываются снова, и на них сеется я р и ц а (неперезимовалая рожь), — потому что надо же крестьянину чем-нибудь питаться. Из всех произрастаний земли, на этих полях постоянно хорошо родится только лен, который не боится воды, и сметливые мужички пользуются этим. Однако ж обыкновение засеять поля льном на продажу мало распространено между помещичьими крестьянами.

— И много деревень подвержено таким неудобствам? — спросил Грачев.

— Да вот, начиная с Баландина, все деревни по луговой стороны, — до самого Мурома верст на 50 в воде. К Гороховцу также место низменное, и ежегодно потопляется водой; да и не к одним деревням теперь доступу нет, по милости разлива. До Муромы теперь иначе не доберетесь, как водой — под самой город вода подошла и низменные улицы потопила. А по Гороховцу, так иначе и езды нет, как в лодках — вот еще вчера наш почтарь воротился оттуда: письма сдавал, да дельце до суда было; так, говорит, и присутствие теперь не бывает; присутственный дом по самые окна в воде, а лодка — дело понятное, не у всякого писца есть...

— Ну, забрались же мы в порядочную глушь! — заметил Кротов Грачеву. — А ты-то еще мечтал, что через твою деревню шоссе пойдет.

— Шоссе! — сказал Потанин. — Какое тут шоссе. Да как матушка Ока расходится, разольется, да в подспорье ей пойдут гулять малые реки (а их тут по луговой стороне и не перечеть), так тут хоть железное шоссе смастери, — и оно не поможет: искоробят и бог весть как раскидают! И признаку его не будет. Вот уж куда бы хорошо шоссе провести — с Муромы на Гороховец или на Вязники к Нижегородскому тракту — и хотели, видно: года с три все пытали землю: покопают, да померяют, вехи поставят: да вот что-то и затихли: видно, Ока не свой брат — и инженеров в тупик поставила!

Итак, другой сын Потанина был послан отцом в Баландино нарядить мужиков с ботниками для доставления наших друзей в Грачево. До Баландина же старик обещал дать им лошадей с надежным ямщиком. Когда все это было переговорено и условлено, Потанин простился со своими гостями (и) ушел, посоветовав им подкрепиться снова, потому, — говорил он, — хотя до вашей деревни не более 9 верст, однако ж вы вряд ли доберетесь туда ранее вечера, если выедете в полдень. Это известие озадачило наших друзей.

— По часу на версту! — воскликнул Грачев с ужасом. — Хороша должна быть дорожка!

— Но зато местечко, куда ведет такая дорожка, ведь рай; не правда ли? — спросил его Кротов.

— Мой дом стоит на возвышенном холме, который никогда не затопляет, — отвечал Грачев обиженным тоном.

— Большое утешение! А кругом вода, вода, вода! Чему же быть больше? Я уверен, что мы будем сидеть на этом возвышенном холме, как сидел капитан Кутль, поджав ноги на стуле, когда хозяйка мыла его комнату. Помнишь Диккенса? Только картина будет несколько величественнее, потому что хозяйка здесь — мать-природа, вздумавшая обмыть твои владения к приезду их помещика, а вместо стула мы будем сидеть, как голуби, на крыше твоего дома, до которой, надеюсь, не дойдет разлив? Жаль, забыли спросить у Потанина!

— Поди ты с своим Диккенсом! — резко отвечал Грачев. — Я нисколько не раскаиваюсь, что приехал сюда: потому что более счастливого соединения обстоятельств, благоприятных охотнику, невозможно требовать.

— Так ты полагаешь, что здешние бекасы и дупели, подобно уткам, держатся на воде... равно тетери и куропатки?..

— Я такие глупости предоставляю думать другим! — сухо отвечал Грачев.

— Я знаю, что ты всегда думаешь умные вещи.

— Я думаю, что теперь всего лучше лечь спать...

— И вот одна из них! — подхватил Кротов. — Только жаль, не твоя: ты украл ее у Потанина.

Они бы непременно поссорились, — чем обыкновенно кончались их разговоры, если б усталость, сытный завтрак и опорожненная за ним бутылка портвейну неожиданно не погрузили их на этот раз в глубокий сон.

В полдень Федор их разбудил, и они тронулись в дальнейший путь, сожалея, что им не удалось проститься с хозяином, который не показался при их отбытии, а вызвать его они не решились, думая, что он спит. Однако ж он не спал. Проехав селение, они увидели гурьбу мальчишек и девочек, усевшихся под тенью старого великолепного вяза, стоящего тут, по уверению ямщика, с начала света. В самом деле, этому почтенному вязу было по крайней мере триста лет: он прикрывал своею тенью юное поколение всего села, а село было большое и малолетнего населения в нем считалось не менее полутора ста душ. Любуясь этим прекрасным деревом, Кротов невольно подумал, что хотя народ наш обвиняют в отсутствии всякой искры поэзии, однако ж подобное обвинение едва ли справедливо: эти престарелые

деревья, встречаемые почти в каждой деревне, нередко одиноко и торжественно возвышающиеся среди бесконечных полей безмолвными свидетелями трудов земледельца, — эти деревья, никому исключительно не принадлежащие и, следовательно, принадлежащие всем, а между тем хранимые, как святыня, — так, что не было примера, чтоб кто-нибудь посягнул на подобное дерево, — не указывают ли одни эти деревья на присутствие поэтического чувства в народе, охраняющего их из поколения в поколение вернее всякого запрета и надзора?

В последнее, пожив в деревне и поприсмотревшись к делу ближе, Грачев встретил не одно еще подтверждение своей мысли, о чем мы в своем месте скажем. — Друзья наши были не мало удивлены, когда среди ребятшек и девочек, столпившихся под густыми ветвями вяза, увидели Потанина: он сидел среди их и говорил, ювидимому, с жаром, размахивая по своему обыкновению левой рукой, и некоторые слова неожиданно вскрикивал так громко, что они доходили до наших приятелей, которые только что еще спускались с горы, от которой вяз был еще довольно далеко.

— Ба! Да никак тут и сам Алексей Дементыч! — вскричал Тросников, обращаясь к ямщику.

Ямщик был видный русский парень в красной рубашке, лет девятнадцати, служивший почтарем при конторе Потанина.

— Он и есть, — отвечал ямщик.

— Что ж он тут делает? — спросил Грачев.

— А говорит.

— С мальчишками?

— С мальчишками, да с девочками. Он говорит, а они слушают; вишь, как притихли, пострелята; иной раз им угомону нет, а тут молчок — словно кулак проглотили.

И он глуповато усмехнулся.

— Да о чем же он говорит?

— А кто его знает. Он часто так. Пойдет по деревне, а они гурьбой за ним, да за ним. За полы его хватают, а он ничего! Вот и начнет им говорить, усядутся вокруг него — и уж, как говорит: словно пишет. Все бы слушал. Я сам как мальчишкой был, так, бывало, пряником не корми, дай его послушать...

— Что ж он говорит?

— А все, — отвечал ямщик и замолчал, поравнявшись в ту минуту с группой, в центре которой находился Потанин.

— Доброго пути! — сказал Потанин, встав и направляясь к экипажу, при чем маленькие слушатели его быстро и почтительно расступились.

Ямщик остановился.

— Позвольте, Алек(сей) Дем(ентьевич), засвидетельствовать вам почтение и поблагодарить за гостеприимство! — сказал Грачев, приподнимая фуражку.

То же сделал и товарищ его.

— Неначем, батюшка, — отвечал старик. — Дай бог благополучно добраться до места. Впредь милости просим.

— Благодарствуйте, будем теперь мы близкие соседи. К нам, Ал(ексей) Дем(ентьевич), сделайте одолжение.

— Как вода сольет? С моим удовольствием. Счастливого пути!

— Прощайте!

— А скажите-ка нам, Алек(сей) Дем(ентьевич), что вы тут поделяете? — спросил Тросников. — Вишь, у вас какая публика собралась — и все народ такой крупной!

Потанин усмехнулся.

— А так, ничего не делаю. Мне, старику, иной раз скучно, так я вот в досужий час с ребятишками... известное дело, и пословица говорит, что старой, что малой — все одно! Сказочки им сказываю...

Прятели наши дружески пожали старику руку, и тарантас тронулся. От'ехав несколько шагов, они невольно оглянулись: группа под вязом пришла в прежний порядок, старик говорил, маленькая публика внимательно его слушала.

— Скажи ты мне, наконец, что ж он им говорит, братец? — спросил Грачев ямщика.

— А рази я отсель слышу? — отвечал парень, потеряв, повидимому, расположение к словоохотливости.

— Ах, братец! так ты, выходит, вахлак! — возразил Грачев. — Кабы отсель было слышно, так я те и спрашивать бы не стал, свои уши есть! А ты говоришь, сам слыхивал его речи, как мальчишкой был, а спросили: и стал в тупик! Хорошо, видно, слушал: спал, значит!

— Спал? Ну нет, барин, слушавши его, не уснешь, не таков человек.

— Ну, так что ж он вам говорил?

— Что говорил? Говорил все. Мне по его не сказать!

— Ну, как умеешь.

— Да никак не умею. Говорил известно: кто таков бог есть, кто таков царь, кто таков барин.

— Ну, а еще?

— К чему какая вещь служит, говорил. Есть у него книжка, в ней все, выходит, описано, как до чего люди дошли; как сеять хлеб начали, как огонь добыли, ну и разное — возьмет ее и читает: послушать любо и занятно так, словно сказку слушаешь! Псалтырь тоже читал.

— Ну, а еще что говорил?

— Да всего не припомнишь. Отца, говорит, почитай, бога бойся, старших слушайся — и все расскажет: почему так должно выходить. Для чего царству воинство нужно, говорил; известно, он все знает: хоть целый день его спрашивай, — все будет говорить... Да вы, чай, сами слышали.

— Как же, братец. Умный человек ваш управляющий. И добрый такой.

— Такого человека, кажись, весь мир изойди, другого не найдешь, — отвечал ямщик, — душа божеская! — Тпррр!

— Что такое?

— Да вот сами, чай, видите, — отвечал ямщик, останавливая лошадей.
1853.

5—6 января 1918 года¹⁾

Из воспоминаний бывш. эсера
Н. СВЯТИЦКИЙ

1

Это было в один из тех вечеров, о которых говорит Блок в своей гениальной поэме:

Черный вечер,
Белый снег,
На ногах не стоит человек.

Словом, это было в один из последних декабрьских вечеров 1917 года. Метелило. На безлюдной и темной Морской намело сугробы. В черном молчании застыли стены домов. Возле телефонной станции горят костры и стоит воинская охрана. Мы пробираемся дальше, туда, где сквозь метельную пыль сияет огнями «Астория».

Мы—это официальная делегация фракции с.-р. Учред. Собрания. Нас всего трое: я, доктор Павлов и, если не ошибаюсь, Д. Донской. Пробираемся же мы к дому Советов, к «Астории», в которой, между прочим, находилось тогда помещение Центрального Комитета партии левых эсеров. Мы шли договариваться с последним.

Еще недавно шикарнейшая, роскошнейшая из гостиниц, предназначенная для знати, походила теперь на корабль, севший на мель и покинутый своими пассажирами: все было сбито со своих мест, все потеряло свой смысл. Нас угрюмо встречают: куда и зачем? Встречается кто-то из левых эсеров, берущийся проводить нас в помещение своего ЦК.

Небольшое уютное appartement de luxe, с хрупкой мебелью стиля moderne, с большой альковной кроватью, хранящей воспоминания... Здесь нас встречают: Карелин, Штейнберг и Калегаев. Вступаем с ними в переговоры.

¹⁾ По новому стилю—18—19 января. Настоящий очерк представляет собой главу из подготавливаемой мною к печати книги «Воспоминания эсера».

От редакции. В прошлом месяце исполнилось 10 лет со дня смерти Учредительного Собрания. Печатаемые здесь воспоминания, отображающие тогдашние настроения правых эсеров, показывают в то же время полную беспомощность У. С., умиравшего естественной смертью. Октябрь, переросший в социалистическую революцию, отбросил буржуазно-республиканский парламентаризм, развертывая борьбу за Республику Советов.

Спорим долго и с тяжелым напряжением. Мы желаем знать—пойдут ли они в Учред. Собрание, если мы, эсеры, самочинно, помимо большевиков, откроем его. Еще месяц назад мы принадлежали к одной партии. А теперь вот события не только раз'единили, но и столкнули нас лбами. Мы, собственно, интересуемся одним: в той схватке, которая, очевидно, суждена между нами и большевиками, с кем будут они, наши бывшие друзья и товарищи? С нами? Против нас? Против Учредительного Собрания?

Штейнберг сидит с злобно закушенной губой. Татарские глаза Калегаева меряют нас презрительно вызывающим взглядом. Только горячий Карелин — «душа-парень» — пытается еще перебросить какой-то мостик.

Но тщетно. Обе стороны уперлись: нет!

Они будут там — по ту сторону баррикады. Переговоры потерпели фиаско. Это ясно. Но уходить трудно. Все шестеро, наклонив головы, молчат. Наконец, я поднимаюсь и говорю своим:

— Что ж... Очевидно, нам здесь больше нечего делать. Мы уже не товарищи. Пойдемте.

Мы встаем и молча, не попрощавшись, уходим. Те тоже молчат. Уже в передней нас догоняет Карелин. Он хватает меня за руку:

— Неужели ж так?.. И больше ничего... Неужели же мы... враги?

Не отвечая, мы уходим. Тяжело ступаем по снежной целине. Нет слов. Из трех оставшихся позади—двое мои личные приятели. Метелица крутит, резкий ветер захлестывает. Нам трудно итти в темноте.

2

Поздний вечер. Боковая комнатка в здании на Б. Болотной улице. Это здание раньше было училищем, потом лазаретом, а теперь — общежитием членов Учред. Собрания, штабом его эсеровской фракции.

Сейчас заседает бюро фракции, совместно с ЦК партии. Редкий посетитель — Чернов и тот явился. Даже скрывающийся Гоц пришел. Предстоит решить вопрос: где, когда и как открыть Учред. Собрание?

Лица хмуры и угрюмы. Для легального открытия Учред. Собрания надо пойти в Каноссу. Больше месяца длится уже наш саботаж комиссии Урицкого. Большевики не уступили. Теперь, для того, чтобы открыть Учред. Собрание, необходимо зарегистрировать у Урицкого все три сотни наших депутатов. Уступить — это значит расписаться в своей ошибке. Кому нравится это?

И оттого предлагаются химерические проекты: а что если открыть Учредилку самочинно, без большевиков? Ведь нас большинство. Кто-то предлагает даже сделать это нелегально. Иные высказываются за перенесение открытия в другое место: в Киев, на Волгу. Один из присутствующих заговорил даже о Доне, о защите Каледина. Туда, дескать, приглашает ехать Савинков. Я лично стою за то, чтобы вообще отложить открытие до лучших времен.

Чувство безвыходности владеет всеми. Ясно, что большевики разгонят нас. Скомпрометируют. Но ждать дольше тоже нельзя: настроение падает, еще несколько дней — и депутаты разбегутся. Надо решаться. Надо кончать.

Приступают к голосованию. Кажется, я один голосую против немедленного открытия У. С. в Петрограде. На меня, упорствующего, набрасывается Чернов:

— Чего же вы хотите? Что предлагаете?

— Ждать. Найти подходящее место и реальные силы для защиты. Итти на открытие сейчас — это безумие. Или вы верите, что через три дня обстановка изменится? Чепуха.

На меня шикают: я говорю о том, о чем не принято говорить во фракции — об анти-большевистском перевороте. Постановлено, фракция большинства У. С. не может устраивать восстания даже для самозащиты. Мы, дескать, только депутаты, представители народа. Защищать нас может только сам народ.

От этих положений веет всей рутинерской и догматической пылью либерального государствоведения. И какое лицемерие: фракция не может организовывать восстание, но отдельные члены ее могут. Всем ведомо, что вот даже сейчас, в третьей комнате направо, сидит «Военная Комиссия» во главе с депутатами Ониккой, Соколовым, Утгофом и др., занятая подготовкой переворота. Уходя с собрания, я вижу в соседней комнате группу военных, говорящих о чем-то вполголоса. На лестнице я вижу каких-то посторонних и тоже военных, снующих вверх и вниз. Готовятся, значит... Посмотрим.

3

Вечер 4 января. Завтра — решительный день: открытие. В большой зале гимназии на Бассейной в последний раз перед открытием собралась вся фракция.

Ищут Чернова и не могут найти. Правые недовольны, что его кандидатура выдвинута на пост председателя Учред. Собрания. Во фракции царит засилье правого крыла, не доверяющего Чернову, который должен завтра произнести программную речь. А что, если он будет об интернационализме говорить? Подать сюда Чернова, пусть он прорепетирует завтрашнюю речь.

Послали за Черновым гонцов во все концы. Нашли его где-то на железнодорожном с'езде и приволокли оттуда. Вот и он сам, усталый, измученный. Конечно, он не готовился к речи. Растерянно и вымученно начинает экспромтом излагать ее содержание. Постепенно увлекается и произносит уже не программу, а целую полторачасовую речь. Она не удовлетворяет ни правых, ни левых. Начинается перепалка.

...Уже поздняя ночь. Все обсуждено, но никто не расходится по домам. Настроение у всех приподнятое. Что будет завтра? Победа, поражение? Но, правду сказать, в победу не верит никто. Все думают о завтрашнем дне, как о мученичестве. И о том, чтобы быть на высоте исторического момента.

Старая рухлятина — Егхор Егхорович Лазарев, семидесятник, двадцать лет проживший в эмиграции, архиправый и ура-патриот, комическая фигура в нашей среде, гнусава, затянул нескладную, но сильно патетическую речь:

— Этого дня мы ждали... ждали десятилетия, дети мои... Погибло столько людей... Их тени с нами... История посылает нам испытание. Будем

же достойными... Завтрашний день... будем готовы! Держите знамя. Лучше смерть, чем...

Старик плачет. И нет уже ни правых, ни левых. И уже не смешон, как обычно, Егхор Егхорович. Видение чего-то огромного умягчает глаза. Что-то вспоминается. Да, да, помните, как раскольники поют в «Хованщине»:

Одевайте
Одевайте ри-зы бе-лые...

4

Утром 5-го января я выхожу на Литейный. Все, решительно все, как обычно: простой серенький день. Что же восстание? Существуют еще большевики?

О, да, существуют — из наших планов ничего не вышло. Большевики оказались предусмотрительнее, они сняли замки с броневиков в Семеновском полку, который должен был «начать». Тот самый Семеновский полк, который 12 лет назад разгромил революционную Москву, теперь должен был громить советский Петроград.

Да, день серый, обычный. Но в душе трепетная приподнятость. Я бегу на угол Литейного и Фурштадтской, в какую-то столовую, назначенную сборным местом для фракции. Ибо решено было, что мы должны быть все вместе и все итти в Таврический дворец.

Фракция уже в сборе. У всех необычные лица, такие лица я видал у приговоренных. Глаза не замечают ближних вещей. Руки машинально прикрепляют к петлицам розетки. Сдержанный, взволнованный говор. Посмотрели на часы: пора.

Две с половиной сотни человек скученной толпой шли по середине Шпалерной улицы. Шли, мрачно углубившись в себя. Вот встретился воинский раз'езд и подозрительно оглядел нас. Почему-то мы ускорили шаг. Старики спотыкались и увязали в снегу. Прохожие останавливались и с удивлением смотрели на странную и угрюмую толпу с красными бантиками в петлицах. Кто это? Красные бантики? Очевидно, большевики. И всем было невдомек, что эта черная, нестройная куча людей с бледными лицами, спешащих, спотыкающихся, есть не что иное, как большинство членов Всероссийского Учред. Собрания...

5

Пришли. Возле Таврического дворца много солдат, охраны, но почти совсем нет народа. Даже любопытных мало. Замечаешь этот факт, но не хочешь на нем останавливаться. Скорее, скорее туда, в зал, на свои места. Уже два часа — время открытия.

Было решено сразу же итти в зал заседания и самим распределить места в нем. Поэтому все, как были, в шубах и галошах, устремились к дверям, ведущим в зал. Но возле дверей оказалась охрана, не пропустившая нас. Мы пришли в ярость: кто смеет нас, большинство У. С., не пускать в зал? Возникла брань, суматоха, чуть было не перешли к рукопашной. Более благоразумные убедили горячих товарищей пойти во фракционное помещение.

Эсеровской фракции была отведена самая задняя комната в Таврическом Дворце, возле буфета. Снова нами овладело возмущение: как смел Урицкий отвести самой большой фракции самую дальнюю и неудобную комнату!

Волнуясь и негодуя, собрались все же в отведенном помещении. Началось беспорядочное заседание под председательством, как обычно, В. В. Руднева. Фракция бунтовалась. Было предложено силою ворваться в зал заседаний и, воспользовавшись отсутствием большевиков и левых эсеров, открыть заседание. Но бюро фракции настояло на том, чтобы действовать осторожно, не давая самим повода к разрыву, с тем, чтобы осуществить свой план: во что бы то ни стало в первом же заседании принять законы о республике, о земле. Наметили дирижерскую тройку, которая должна была, сидя на первой скамье, руководить действиями фракции. В эту тройку вошли Зензинов, Ельяшевич и Руднев.

Сообщают вести, идущие из города. Кто-то вбегает и истерически кричит о расстрелах манифестаций, о десятках жертв (чего не было в действительности). Эти сообщения взволновывают всех до-нельзя.

Уже пятый час, а заседание не открывается все по той же причине — нет еще большевистской фракции. Наконец, все мы гурьбой идем в зал заседаний, и на этот раз нас впускают туда. Оказывается, что большевики и левые эсеры находятся уже на местах, их впустили первыми, и они заняли отведенные для них Урицким места. Нам пришлось занять правую и центр, поделив его с украинскими эсерами. Я оказался в правой части сектора. Никогда мне не снилось, что я буду сидеть на одной из октябристских скамей.

Зал заседаний отремонтирован и расширен, но того уюта, какой был в Думе, нет. Давит на впечатление обилие пурпурного цвета в украшениях и отделке. Депутатские места заняты далеко не все — вся задняя половина зала пустует. Это объясняется задержкой в выборах: в Петроград к этому дню съехалось всего около 450 депутатов из 800. Крайние правые места, увы, заняты эсерами же. Впрочем, я вижу там трех—четырёх кадетов — Винавера, Родичева и единственного энесовского депутата — тобольчанина Суханова. На их лицах застыла ирония. На первой скамье немного полее сидят три меньшевика: Церетели, Скобелев и Трояновский. Они держатся вместе, не разлучаясь. В дальнейшем они принимают участие во всех выступлениях нашей фракции: вместе голосуют, вместе аплодируют и т. д.

Ложи печати, правительства, дипломатов переполнены публикой. Хоры — тоже, они заняты красногвардейцами и матросами, явившимися почему-то с винтовками...

6

Итак, все в сборе. Почему же не начинают? Оказывается, что отсутствует еще председатель ВЦИК'а Свердлов. Но это отсутствие наруку эсерам. Кто-то из передних рядов нашей фракции возглашает:

— Товарищи, время для открытия истекло давно. Пусть старейший депутат откроет заседание.

И, — как нами было заранее условлено, — с места поднимается депутат Донской области, старик-эсер Швецов, и направляется к председательской

трибуне. Что тут поднялось в зале! Невообразимый свист, вой, крики «дойлой!». Неистовствуют те только большевики и левые эсеры, но и публика и хоры. Бледным поднимается Швецов на председательское место, беспомощно и неслышно звучит в его руке колокольчик. Так продолжается несколько минут. Вдруг вой и свист сменяются оглушительным «ура!». Сбоку к председательской трибуне четко и быстро подходит Я. М. Свердлов и властным движением руки отстраняет Швецова. Последний растерянно отходит в сторону. Но тут начинает неистовствовать другая половина депутатов — эсеры. Несколько минут Свердлов не может начать говорить. Он резко трясет колокольчиком. Наконец, шум стихает, и Свердлов торжественно звенящим голосом объявляет от имени ВЦИК Учредительное Собрание открытым. Он зачитывает принятую ВЦИК декларацию прав трудящихся и гражданина и предлагает Учред. Собранию обсудить эту декларацию, — а затем принять ее или отвергнуть. Тогда рабочим и крестьянам будет видно, с кем пойдет Учред. Собрание — с революцией или против нее. Это был ловкий стратегический ход большевиков, которого мы, эсеры, не предвидели. В самом деле, кроме разве пункта о войне и мире, нам было трудно принципиально возражать против этой декларации. В то же время, конечно, правое большинство эсеровской фракции никогда не подписалось бы под такой декларацией. Положение для эсеров облегчалось тем, что они могли встать в этом вопросе на формальную точку зрения: не может, дескать, У. С. обсуждать и принимать что-либо по предписанию ВЦИК. Разве У. С. не суверенно? А вопросы, затронутые в декларации, будут обсуждены каждый в отдельности.

После речи Свердлова левый сектор запел «Интернационал». Этот гимн для многих эсеров — и для меня тоже — был такой же заветной и боевой песней, как и для большевиков. Не помня себя, я вскочил и запел с ними. Смотрю вперед и вижу, что Чернов тоже вскочил со своего места и жестом призывает всю фракцию встать. Делать было нечего, кто охотно, а кто вяло, привстали. Все же большинство фракции пело «Интернационал» под дирижерством Чернова, вместе с левым сектором. Это была величественная картина, когда Всероссийское Учредительное Собрание в целом, без разграничения фракций, единодушно пело боевой гимн революционных социалистов.

Приступили к выборам председателя и секретаря У. С. Комическое впечатление в нашей среде вызвала кандидатура М. А. Спиридоновой.

Процедура выборов заняла довольно много времени. Просто на взгляд трудно было определить, у кого большинство. Хотя цифры выборов были известны, все же фракция с.-р. волновалась. А вдруг ненависть к Чернову побудит некоторых правых воздержаться? Я был послан фракцией для контроля выборов и удовлетворенно кивнул головой своим, когда выяснилась наша победа. Чернов получил на 100 голосов больше, чем Спиридонова.

Я. Свердлов во все время выборов сохранял полнейшее спокойствие. Он шутил и острил. С любопытством вертел в руках песочные часы, очевидно, доселе им не виданные, и, осведомившись, что это такое, сказал:

— Эк, до чего додумались. Занятная буржуазно-парламентская штучка.

7

Чернов занял председательское место. Правый сектор устроил ему овацию, правда, не столь шумную, какая была устроена Свердлову левым сектором и публикой. Вступительная речь Чернова заняла около двух часов. Надо сказать, что вчерашняя предварительная речь Чернова носила более левый характер, чем сегодня. Как-то неловко было слушать из уст Чернова приветствия (хотя и официальные) всем империалистическим державам-союзникам. Противно было участвовать в овациях, устроенных по этому поводу.

Когда теперь, через десять лет, вспоминаешь об этой программной черновской речи, то прямо диву даешься, до какой слепоты нас, эсеров, могло довести поклонение Учред. Собранию, как некоему фетишу, превращая его из формального средства борьбы трудящихся за свои интересы в какую-то самоцель, в нечто самодовлеющее. Чернов патетически возвещал наступление мира и спокойствия в стране с открытием Учр. Собр. Он забывал, что корниловское и калединское движения возникли раньше большевистского выступления, возникли в пику революции. И у Чернова хватило духу приветствовать в своей речи Дон и казатчину!

Я не буду касаться других речей. Вопреки нашему желанию, прения развернулись. Проникновенно говорил Церетели, стараясь действовать на чувства слушателей, умалчивая о главном — о целях революции. От большевиков говорил И. И. Скворцов-Степанов, говорил четко и веско, с тем пафосом, который является только в исторические моменты высокого напряжения. Он снова и категорически настаивал на рассмотрении декларации ВЦИК'а. Указывал, что нежелание большинства рассмотреть эту декларацию само по себе уже является недвусмысленным ответом. Говорил меньшевик Трояцкий и некоторые крестьяне. Наступала уже ночь, а конца заседанию не предвиделось. Левый сектор явно нервничал. Публика тоже. Мы старались сохранить полнейшее спокойствие. Вообще, с внешней «парламентской» стороны у нас обстояло все как-будто благополучно. Это сказывалось даже в мелочах: большинство эсеровской публики было приедто в свои лучшие платья, даже в сюртуки. А левый сектор щеголял блузами. А вот Ленин даже не удостоил сесть на места, отведенные для правительства. Охватив свои ноги руками, он запросто сидел на ступеньках лестницы, ведущей к председательской кафедре.

Наконец, большевики и левые эсеры потребовали небольшого перерыва. У нас же было заранее принято решение не устраивать никаких перерывов. В самом деле, устроим перерыв, разойдемся, а там уже нас не впустят обратно в зал, разгонят. Большинство отказало в перерыве. Тогда большевики и левые эсеры покинули заседание и удалились в свои фракционные комнаты для совещаний.

8

Через некоторое время появляется Н. И. Бухарин и требует слова для заявления во внеочередном порядке. Большинство членов большевистской фракции уже не возвращалось на свои места, они расположились в ложах и на хорах.

Бухарин огласил декларацию большевистской фракции, в которой было заявлено, что она уходит из Учред. Собрания, большинство которого становится на контр-революционный путь, отказываясь принять декларацию прав трудящегося и гражданина. Я слыхивал Бухарина раньше. Но никогда я не слышал такого ожесточения в тоне его речи. Фразы были отчеканены, слова отвешены.

Левые эсеры некоторое время еще оставались в зале, но вскоре ушли. Их декларацию оглашал Штейнберг, он говорил волнуясь, обжигая словами. Итак, в зале остались одни мы, правые эсеры. Было уже за два часа ночи. Оставалось неизвестным, что предпримут в отношении нас ушедшие большевики, но мы помнили одно: не расходиться до последней возможности, до последней крайности. Наша «тройка» запретила депутатам выходить из зала. Большую речь говорил по поручению фракции В. В. Руднев. Он должен был говорить о необходимости заключения скорейшего мира, должен был звать союзников на мирные переговоры. Он сделал это блдно, вяло, неопределенно.

Наконец, на трибуну вошел Фундаминский, чтобы обосновать внесенные эсеровской фракцией основные положения закона о земле. Но при первых же его словах о земельном законе зал забушевал. Послышались свист, крики:

— Долой! Кто вы такие? Узурпаторы! Не имеете права! Долой!

Особенно шумели хоры. Оттуда несло улюлюканье. Защелкали затворы ружей. Мы теряем свое хладнокровие и тоже начинаем орать. Некоторые из нас бегут вниз, чтобы защитить Фундаминского. Тот, блдный, продолжает говорить, несмотря на шум. Толпа внизу, беснуясь, окружила трибуну. Я слышу, как мой старый знакомый по эмиграции, когда-то с.-р., а теперь большевик, кричит неистово Фундаминскому, размахивая руками:

— Миллионер! Буржуй! А еще о земле. Вон! Долой!

Понемногу шум стихает, но уже до конца заседания мы сидим под непрерывные крики и ругательства, несущиеся с хор из публики. Мы сидим, как обреченные. Видим, что страсти разгораются, что нам не хотят дать довести заседание до конца. Красногвардейцы наверху угрожают нам. Я сижу рядом со стариком Минором и вижу, как один парень, слева от нас, все время, очевидно, шутя, целится в его лысину.

В таком положении мы сидим не менее часа. Кажется, достаточно одной искры, чтобы все вспыхнуло, чтобы раздались выстрелы и пролилась кровь. Как раз в такой момент вспыхивает какая-то ссора между правым и левым эсером. Тот, кажется, оскорбил Церетели. Оба противника схватывают наганы. Возникает шум, перебрасывающийся на весь зал. Снова стучат о пол винтовки. Снова несутся оглушительные крики: долой! Судорожно сжимаются наши бессильные кулаки: нет возможности, нечем ответить. В своих дальнейших злоключениях я знавал не мало отвратительных, тяжелых часов. Но мучительнее этой ночи уже не переживалось ничто.

Я был послан в кулуары на «разведку». От одного из левых эсеров узнал, что большевистская фракция, покинув заседание, устроила фракционное собрание, в котором решалась наша участь. Победил Ленин, высказавшийся за то, чтобы дать нам разойтись по домам.

Я вернулся в зал заседаний. В этот момент Чернов готовился приступить к голосованию основных положений о земле. Вдруг к трибуне подскакивают три или четыре матроса с винтовками наперевес. Тот, что был впереди, негромко что-то говорит Чернову. Последний переспрашивает. Матрос Железняк настойчиво продолжает:

— Пора кончать. Устали все. Будет митинговать. Сейчас потушим свет.

Я вижу, как Чернов смущается, вижу, как он ищет глазами Вишняка (секретаря У. С.), как тот подскакивает и что-то энергично шепчет Чернову. Последний выпрямляется и с пафосом отвечает матросам:

— Никакая усталость не может помешать Учред. Собранию обсуждать закон о земле. Товарищи депутаты, я продолжаю голосование. Кто за принятие первого пункта, прошу встать...

Мы поднимаемся. Подсчета не нужно — единодушно. Матросы торчат тут же, наблюдают. Голосуются все пункты под ряд. Голос Чернова иногда дрожит, но наружно он спокоен. Вот положения о земельном законе приняты. Голосуется короткий закон о республике. Я вижу, как наша руководящая тройка шлет Чернову записку, он прочитывает ее и кивает головой. Тотчас же по принятии закона о республике он объявляет:

— Позвольте теперь объявить перерыв до двенадцати часов завтрашнего дня.

По залу несется крик:

— Наконец-то! Убирайтесь подобру, поздорову!

Мы в недоумении расходимся. Удивляемся, почему перерыв, ведь решено было не расходиться. Правда, главное, т.-е. закон о земле и о республике был принят. Кроме того, заседание длилось уже 13 часов без перерыва. Но ясно и то, что нам теперь не дадут собраться. Оказалось, что наша дирижерская тройка велела Чернову закрыть заседание, опасаясь, что в зале будет потушен свет.

Мы с любопытством шли к выходу: задержат ли? Но выход был свободен.

Был седьмой час утра, брезжил рассвет. В церквах зазвучал крещенский звон. Я возвращался домой по Таврической с депутатом Дедусенко. Обоим было как-то стыдно, неловко. Сжимались кулаки с досады:

— Ну, мы еще посмотрим. Это еще не конец.

Правда, потом было много событий, много борьбы. Некоторые из нас погибли. Был фронт Учред. Собрания на Волге. Но наша беспомощность, крушение идеи Учред. Собрания чувствовались уже в то утро. И оттого такой тяжелой грустью ложились на душу удары церковного колокола.

Учред. Собрание бесславно погибло в ту ночь. Погибло не потому, что у нас не было индивидуальной решимости погибнуть вместе с ним. А потому, что большевикам не надо было и стараться создать такие обстоятельства, которые исключали бы нашу героическую смерть. Они, эти обстоятельства, были налицо и заключались они не в матросском окрике, а в том равнодушии, с каким отнесся народ к нашему разгону и которое позволило Ленину махнуть на нас рукой:

— Пусть себе расходятся по домам!

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ.—Борис Пастернак. 2. Е. ЛАНН.—Литература современной Америки. Вальдо Фрэнк. 3. Вал. ДЫННИК.—Кенозеро. 4. П. КОЗЛОВ.—Тибет. 5. П. ПАВЛЕНКО.—Азия Анатолийская. 6. Н. А. ГАЛКИН.—В собачьем царстве.

И. БОРИС ПАСТЕРНАК

И. Поступальский

I

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево глины слижет Инд
И вправо уйдет Евфрат.

Эта строфа из первой книги Б. Пастернака («Близнец в тучах», изд. «Лирика», 1914 г.) определила достигающее теперь своего апогея развитие творчества поэта. Начавший свою деятельность в годы брожения русской литературы, — в годы, когда незаконный отпрыск футуризма — Игорь Северянин уже стал излюбленным «гением» буржуазного мещанства, а крайние отрицатели старого искусства будоражили еще достаточно благополучные окрестности скандальной желтой кофтой, — в годы эти Б. Пастернак, стоя в непосредственной близости к новому литературному движению, избрал для себя особую, сложную и неблагодарную по виду дорогу интимного углубления в «лабиринт» поэзии.

Биографы и историки литературы впоследствии подробно расскажут о бесчисленных затруднениях поэта, не желавшего терять свое лицо и поставленного в необходимость упорно бороться с долго не признававшим его работу временем. Задачи же настоя-

щей статьи скромны. Тем не менее, безусловно необходимо и в этом вступлении отметить ту исключительную по своей настойчивости линию литературного поведения Б. Пастернака, которая лишила его возможности «протавальсировать к славе, шутя».

II

Б. Пастернак — поэт прежде всего лирический, склоняющийся к эпосу только в последнее время, и потому с наибольшим вниманием надо отнестись именно к его лирике, как к явлению устоявшемуся и могущему дать обстоятельный материал для суждений о творческой дороге поэта, — дороге, как уже говорилось выше, сложной и трудной.

Однажды, отвечая на вопросы анкеты, придуманной редакцией журнала «На Литературном Посту», Б. Пастернак написал: «В своей работе я чувствую влияние Пушкина. Пушкинская эстетика так широка и эластична, что допускает разные толкования в разные возрасты. Порывистая изобразительность Пушкина позволяет понимать его и импрессионистически, как я и понимал его лет 15 назад, в соответ-

ствии с собственными вкусами и царившими тогда течениями в литературе. Сейчас это понимание расширилось и в него вошли элементы нравственного характера» («На Литературном Пос-ту», № 5 — 6, 1927 г.).

Крайне ценным представляется это признание Б. Пастернака в том, что, чувствуя влияние пушкинской эстетики, он в свое время понимал и его импрессионистически. Поэтом-импрессионистом, умеющим видеть самые повседневные картины под совершенно неожиданным зрительным углом, был Б. Пастернак в начале своего поэтического пути.

Впоследствии же он стал своеобразным реформатором импрессионизма, выработав при помощи личной психической предрасположенности к особому взгляду на вещи и в силу сознательной художественной логики собственную систему импрессионистического мирозерцания.

Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над бумом, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом
Узких свистков паровые клубы.
Пасмурный день растерял паруса.
Снасти крепки, как раскуренный кластер,
Дегтем и доками пахнет ненастье,
И огурцами — баркасов кора.
С мартовской тучи летят паруса,
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского плака,
Тлеют по черным следам колеса.
Облачно. Шелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжники: обокрывши, лошадь
Глухо везжает на мокрый песок...

Нарочито привожу именно эти отчетливые стихи из второй книги Б. Пастернака («Поверх барьеров», изд. «Центрифуга», 1917 г.). Они сразу удивляют своей красочностью, они немедленно ощущаются, как проявление серьезнейших поэтических способностей, но далеко не сразу замечается их импрессионистичность. Только взглядевшись, мы разгадываем причину такого неподдельного воздействия данного отрывка на слух и зрение читающего. Неожиданно подмечаем, что «свистки» у Б. Пастернака «узкие», что день по-адмиральски «растерял паруса», что снежные «хлопья» летят с тучи наподобие «парусов», а «пристани бьют в ледяные ладоши».

Но после того, как мы осмысливаем это открытие, нас уже непосредственно восхищает какое-нибудь до великолепия странное описание влюбленного состояния:

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал на зубок,
Шатался по улицам и репетировал...

III

В дальнейшем, всматриваясь еще пристальней, улавливаем, что импрессионизм Б. Пастернака в одной своей части чрезвычайно продуман и осознан, как прием.

Оказывается, Б. Пастернак в своем художественном мирозерцании не далек от первобытного анимизма. Пространствуем его стихи в хронологическом порядке и в конце концов привыкаем к пастернаковской манере переносить человеческие ощущения на все, окружающее поэта.

За окнами давка, толпится листва...
.....
Устает кустарник охать...
.....
Небо гадливо касалось холма,
Осенью произносились проклятья...

Строки эти, выхваченные наугад из той же ранней книги «Поверх барьеров», кажутся не только простыми метафорами. Осенняя листва толпится и устраивает давку, кустарник охает, небо гадливо касается холма, это — действительно, импрессионистический, но до странности постоянный угол поэтического зрения.

Еще внимательней отнесясь к позднейшим стихотворениям Б. Пастернака, окончательно убеждаемся, что мы столкнулись с подлинным приемом, выросшим, конечно, на заранее развившемся и, возможно, вне литературы лежащем, первоначальном свойстве ощущать кровную связь со всем внешним миром. Дабы избежать голословности, привожу дополнительные выдержки из «Сестры моей жизни» и «Тем и варьяций».

Снег валится, и с колен
В магазин
С восклицаем: «Сколько лет,
Сколько зим!..»
.....

Ночи считают до брезгу
 Через заборы на мускулах.
 Возятся в вязах, падают,
 Не удержавшись, с деревьев...

 Бывало — нагулявшись власть,
 Закат сдавал цикадам
 И звездам, и деревьям власть
 Над кухнею и садом.
 Не тени — балки месяц клал,
 А то бывал в отлучке,
 И тихо, тихо ночь текла
 Трусдой, от тучки к тучке...

 А затем прочалось лето
 С полустанком. Снявши шапку,
 Сто слепящих фотографий
 Ночью снял на память гром...

 Весна, я — с улицы, где тополь —
 удивлен,
 Где даль — пугается, где дом — упать
 боится,
 Где воздух синь, как узелок с бельем
 У выписавшегося из больницы...

 Открылся в жару, в лихорадке и в
 насморке
 Больной горизонт — и дворы озирал...

Таков первый прием Б. Пастернака, прием анимизма, краугольный камень его импрессионистического мирозерцания. Перейдем к второму.

Одним из наиболее выпуклых художественных качеств Пушкина справедливо считают его умение живописать стихом. Восстановив в памяти читателя хотя бы кавказские стихотворенья Пушкина, полные убеждающей изобразительности, установим законность не случайного упоминания Б. Пастернака о том влиянии, которое оказывает на него пушкинская эстетика — самым характером уже приведенных отрывков, преимущественно — живописующих. Способность рисовать явно присуща обоим поэтам.

Б. Пастернак, однако, не утрачивает самостоятельности. Выработав собственный прием анимистического подхода к окружающему, развивает оп еще и вторую отличительную черту своей художественной природы. Обогащенный в первую голову опытом западных и русских символистов, тонко разработавших звуковую сторону стиха, Б. Пастернак возводит в стройную и своеобразную систему фонетические ассоциации.

Для начала опять возьмем старые стихи поэта.

Что почек, что клейких заплывших огарков
 Налеплено к веткам! Затеplen
 Апрель. Возмужалостью тянет из парка,
 И реплики леса окрепли.

Сознательно ничего не подчеркиваю. Но внимание само собой обращается к обилию фонетически сходных слов: «налеплено», «затеplen», «реплики», «окрепли». Не видим ли мы тут особого звукового мышления, от ассоциаций которого может зависеть и смысловая нагрузка слов?

Дальнейшим исследованием предположение подтверждается. На протяжении всех книг Б. Пастернака эти фонетические ассоциации, почти всегда неожиданные, встречаются в изрядном количестве.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
 И фата-морганой любимая спит...

 Гипсового эпопею лепит,
 Лепит никем не лепленный бюст...

 И рожь горела в воспаленьи,
 И в роже пух и бредил бог!..

 Забором крался конокрад,
 Загаром крылся виноград...

 Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
 Трогал так, как трагедией трогают зал...

И так далее. Повидимому, и здесь мы имеем дело с вполне осознанным приемом, стоящим, безусловно, в тесной связи с общими художественными особенностями поэта.

Обязательно упомяну о том, что фонетические ассоциации Б. Пастернака очень редко бывают легковесной игрой в неоправданную «звукופись». Суть в том, что Б. Пастернак одинаково импрессионистичен и в семантике, и в фонетике. Поэтому его смысловые и звуковые ассоциации теснейшим образом связаны между собой. Крайне случайны у Б. Пастернака звуковые фокусы «заумного» характера, — пожалуй, даже в этом плане сделана только концовка стихотворения «Заместительница»:

Так сед бы вихрь, чтоб на пари
 Порыв паров в пути,
 И мглу, и иглы, как мюрид,
 Не жмура глаз, снести.

И объявить, что не скажун,
 Не шалый шопот гор,
 Но эти розы на боку
 Несут во весь опор.
 Не он, не он, не шопот гор,
 Не он, не топ подков,
 Но только то, но только то,
 Что — стянута платком.
 И только то, что толь и ток,
 Душа, кушак и в такт
 Смерчу умчавшийся носок
 Несут, шумя, в мечтах...

Но сейчас оспаривать право поэта пользоваться заумью очень трудно (вспомним, что недавно скончавшийся Федор Сологуб задолго до появления у нас разработанной теории зауми умудрялся уже достигать неслыханных в то время эффектов: «белей лилей, алее ла́ла, бела была ты и ала»), тем более, что в этих стихах Б. Пастернака наблюдается явно субъективная установка на исключительно музыкальное воздействие.

Третий характерный прием поэта обусловлен его литературным диапазоном. Б. Пастернак — поэт большой, во многом изысканной, культуры. Кроме того, он представитель городского поэтического фланга, которому, конечно, принадлежит будущее, и которым, конечно, определяется сегодняшняя наша поэзия. Естественно, помимо наличия у него большой, а иногда даже изощренной стихотворной техники, еще и присутствие языковой сознательности. При общем преобладании городского словаря, Б. Пастернак жадно подбирает все полезное для его стихов. Он безбоязненно срифмует «крупой» и «Эдгаром По», — может быть, только потому, что для поэта-горожанина хороши все слова. «Пульты» и «флейты» могут у него находиться в ближайшем соседстве с русской сентенцией — «ан вселенная — место глухое». «Титаны» и «Клязьма» созданы для взаимного существования. Бесчисленны у него и провинциализмы.

Я и непечатным
 Словом не побрезговал бы...

Раньше его «не брезговал» любимыми словами Игорь Северянин (работы Маяковского над смешанным словарем всегда носила свой особый характер); но у Б. Пастернака значительно больше вкуса, и это словарное обилие к

нему более подходит: стилистические провалы у него отсутствуют в виду его продуманной импрессионистической установки (чего почти не было у Северянина...) на смешанный словарь, который устраняет мертвую пригаженность выветрившейся интеллигентской речи. Я даже напираю на тот факт, что эта рискованная работа над созданием нового поэтического языка, проводимая сейчас по разным принципам большинством передовых поэтов, имеет и свои эпохальные корни. Старый литературный язык за время своего существования логически отличался и еще в дореволюционную пору никакими усилиями присяжных пуристов нельзя было уберечься от вторжения на его территорию порожденных последними десятилетиями полчищ органически вошедших в живую речь неологизмов, барбаризмов и т. д.

Четвертым основным приемом Б. Пастернака является нарочитое затруднение стихотворного синтаксиса, — прием вообще свойственный всем современным поэтам.

Г. Шенгели в своей популярной книжке обмолвился занятной для всякого мало-мальски сведущего в стиховедении человека фразой: «Занос слова, тесно по смыслу слитого с предыдущим, в следующую строку — называется enjambement или перебросом и вообще должен избегаться» («Практическое стиховедение», изд. «Прибой», 2 издание, 1926 г. стр. 14).

Цитата из книги Г. Шенгели приведена мною отнюдь не по причине каких-нибудь необдуманных соображений. Дело в том, что стихотворный синтаксис Б. Пастернака до конца враждебен всяким догматическим указаниям.

Представители классической поэзии, действительно, обычно старались соблюдать в пределах строфы полное спокойствие переходов. Берем первый попавшийся образчик ничем не стесненного стихотворного синтаксиса, дающего самостоятельность каждому стиху.

Для берегов отчизны дальней
 Ты покидала край родной.
 В час незабвенный, в час печальный
 Я долго плакал пред тобой.

Но у того же Пушкина сколько угодно можно найти эти, не нравящиеся Г. Шенгели, перебросы. Хотя бы в «Цыганах»:

Между колесами телег,
Полузавешенных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле...

Поистине, время — жуткая вещь. Оно лишило всех чутких поэтов наших дней права подделываться под классиков и заставило их идти вперед, развывая живые элементы старой поэзии, и оно же — породило эпигонствующих теоретиков, которым, конечно, неясна и историческая законность затрудненного синтаксиса Б. Пастернака.

Стихи Б. Пастернака перебросами обильны. В «Счастье», стихотворении из книги «Поверх барьеров», это делалось даже с очевидной подчеркнутостью:

Там мир заключен. И, как Каин,
Там заштемпелеван теплом
Окрани, забыт и охаян,
И высмеян листьями гром.
И вьюсь. И капель никотой,
И внятной тем более, что
И роцам нет счета: решета
Стряслися в одно решето.
На плоской листве. Окееане
Расплавленных почек. На дне
Бушующего обожанья
Молящихся в вышине...

Порою на помощь этим перебросам приходили и рассмотренные уже фонетические ассоциации Б. Пастернака:

Вихрь, что, как кучер, облеплен, как он,
Снегом по горло набит и, как кучер,
Звят, перевязан, спален, ослеплен,
Задран и к тучам, как кучер, прикручен...

По такой линии, с неизбежными крайностями, двигалась работа Б. Пастернака над стихотворным синтаксисом, приобретавшим постепенно особую пастернаковскую остроту и приспособленность к темам поэта. Только на первый взгляд кажется теперь трудным, скажем, стихотворенье «Шекспир», вся синтаксическая свежесть которого ощущается после повторного чтения с двойной силой. Вот как ора-

торствует «написанный ночью, с огнем, без помарок» сонет Шекспира:

Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Боченка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то-есть выше по касте,
Чем люди, — короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш
кнастер?..

IV

Итак, в лирике Б. Пастернака является явным и безусловно оригинальным в своих приемах представителем импрессионизма. Лирика его основана на спаянных ассоциациями деталях («всесильный бог деталей»...), всегда подчиняется цельной и продуманной художественной системе. И лирическая сила Б. Пастернака ни в коем случае не заключается в какой-либо новой, необычайной еще, тематике (наоборот, он даже традиционен, и его увлечение природой, всегда, впрочем, специфически городское, даже сближает его с поэзией Фета—вплоть до соловьев...). Б. Пастернак может свободно писать о самых затаскапных вещах, но в лучших своих стихотворениях (ясное дело, у него есть слишком субъективные или чрезмерно технически изощренные произведения, интересные только для лиц, соприкасающихся с литературой вплотную) он непременно будет оригинальным.

Поэзия, когда под краном
Пустой, как динк ведра, трюизм,
То и тогда струя сохранна:
Тетрадь подставлена — струись.

С импрессионистическими методами работы Б. Пастернака можно не соглашаться (он сам допускает такое отношение к его поэзии: «У старших на это свои есть резоны, бесспорно, бесспорно, смешон твой резон, что в грозу лиловы глаза и газоны и пахнет сырой резедой горизонт»...), но невозможно не считаться с могуществом его лирического таланта при чтении таких, насквозь пастернаковских, стихотворений:

Чирикали птицы и были искренни.
Сняло солнце на лаке карет.
С точильного камня не сыпались искры,
А сыпались — гасли, в лучах сгорев.

В раскрытые окна на их рукоделье
 Садилась, как голуби, облака.
 Они замечали: — с воды похудели
 Заборы — заметно, кресты — слегка.
 Чирикали птицы. Из школы на улицу,
 На тумбы ложилось, хлынув волной,
 Немолчное пенье и шелканье шпудлек,
 Мелькали косички и цокал челнок.
 Не сыпались искры, а сыпались — гасли.
 Был день расточителен; над школой
 свежей
 Неслись облака, и точильщик был
 счастлив,
 Что столько на свете у женщин ножей.

V

Я постарался дать подробную формальную характеристику именно лирики Б. Пастернака потому, что, как уже говорилось, к эпосу он перешел только в последнее время. Как все крупные художники, Б. Пастернак любит ошарашивать неожиданностями. Он писал лирические стихи, читатель и критика с ними постепенно свыкались.

А позади, а в стороне
 Родился эпос в тишине.

Оказалось, что Б. Пастернаку стало тесно в его лирических рамках. Сначала в 1924 году в № 1 журнала «Лэф» появляется его поэма «Высокая болезнь», обойденная вниманием, вероятно, именно в силу своей неожиданности. Позднее стали печататься в журналах и альманахах поэмы о 1905 годе и отдельные главы из широко, повидимому, задуманного романа в стихах — «Спекторский». Недавно вышли отдельным изданием две поэмы Б. Пастернака, собранные в одной книге («Девятьсот пятый год», ГИЗ, 1927 г.).

Именно эпические произведения Б. Пастернака представляют чрезвычайно удобными для определения его идеологического лица, о котором я до сих пор умалчивал преднамеренно.

Мне кажется, что на основании мелких стихотворений Б. Пастернака выяснять его социальные симпатии несколько затруднительно. В лирике его преобладают пейзажи, темы любовные и литературные, порою исторические и чрезвычайно редко можно столкнуться с произведениями открыто политическими. Замечу, конечно, что к империалистической войне Б. Пастернак отнесся отнюдь не восторженно (педа-

ром же военная цензура вычеркнула в книге «Поверх барьеров» наиболее выразительные строфы). Могу утверждать, что Б. Пастернак с уверенностью сближает его материалистическая привязанность к реальному миру и отсутствие всякого мистицизма. Могу также показать, что неоправданная холодность к поэту нашей литературной общественности, длившаяся до недавнего времени, не вызвала у него вражды к новому социальному порядку. Читатель статьи только выиграет, если я напомню ему одно характернейшее стихотворение Б. Пастернака:

Я их мог позабыть? Про родню,
 Про моря? Приласкаться к плацкарте?
 И за оргию чувств — в западню?
 С ураганом — к ордалиям партий?
 За окошко, в купе, к погребцу?
 Где-то слезть? Что-то снять? Поселиться?
 Я горжусь этой мукой. — Рубцуй!
 По когтям узнаю тебя, львица.
 Про родню, про моря. Про абсурд
 Прозябанья, подобного кадре.
 Так не мстят каторжанам. Рубцуй!
 О, не вы, это я — пролетарий!
 Это правда. Я пал. О, секи!
 Я упал в самомнении зверя.
 Я унизил себя до неверья.
 Я унизил тебя до тоски.

О раздирающей искренности этого стихотворения следует подумать многим...

Были, правда, и в лирических вещах Б. Пастернака отдельные прямые высказывания по поводу революционных событий. Интеллигент, он видел, что его «родину буря сожгла». Мерещился «Распад» и «дух солдатских бунтов и зарниц». Но Б. Пастернак всегда протестовал против обывательской «облепугушечьей икры», и среди буржуазной интеллигенции ему было, очевидно, как-то не по себе («я с ними незнаком»). Потому и к первому грому 1917 г. он отнесся скептически и в Февральской революции видел, пусть довольно неопределенно, только «весенний дождь» и «слепающий выход на форум из катакомб, безвыходных вчера», за которым могло и должно было последовать нечто другое.

Полное же литературное оформление интимно пережитые идеологические взгляды Б. Пастернака получили, повторяю, только в его эпосе

VI

«Высокая болезнь» — повесть о разрыве голодных лет гражданской войны и о рождении нового мира. За перетасовкой событий Б. Пастернаком в этой поэме отчетливо показан погибающий герой русской общественности.

А сзади, в зареве легенд,
Идиот, герой, интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.
Над драмой реял красный флаг.
Он выступал во всех ролях,
Как друг и недруг деревенек,
Как их слуга и их изменник...

Так Б. Пастернак развенчивал двурушника нашей революции. При его этических воззрениях («Я не рожден, чтоб три раза смотреть по-разному в глаза»), эта двусмысленная фигура, естественно, не могла долго казаться ему привлекательной. Он отчетливо чувствовал, что тут больше, чем где-либо, «сумерничала смерть».

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.

Действительно, Б. Пастернак уже в этой первой поэме «сошел со сцены» колеблющихся и двурушничавших, навсегда порвав с детьми «предательства и каверз», которые не захотели узнать «свою страну» в ее новом облике. Но и очутившись временно в положении деклассированного интеллигента, поэт очень хорошо понимал свое право дерзко и совершенно как свой заботиться о чистоте наиболее ответственного времени. И он не соглашался с неудачными — «агитпрофсоюзескими лубками»:

В зияющей японской брешу
Сумели различить дашеши
(Какой неожиданный водолаз!)
Класс спрутов и рабочий класс.
А я пред тем готов был клясться,
Что Геркуланум факт вне класса.

Думается, что так рассуждать наскоро причалившему к пристани человеку не свойственно...

Иные думают, что всякое художественное произведение, не являющееся злободневным, далеко от современ-

ности. Конечно, неверно. Темы двух других поэм Б. Пастернака, вышедших отдельной книгой, — темы исторические, но история эта принадлежит сегодняшнему дню. И доброкачественная работа по уяснению революционного прошлого имеет громадное значение не только для художника, приобретающего в процессе такой работы чувство слияния с революцией. А в этих поэмах Б. Пастернака мы сталкиваемся с верным показом событий и отличным внешним оформлением. А ведь дело у Б. Пастернака было нелегкое.

Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится,
Точно во сне.

Замечательно сказано. Поэту делает честь его понимание и чувство истории, сказывающееся в блестящих характеристиках эпохи. Насколько метко, например, в коротких словах обрисована пореформенная Россия:

Барабанную дробь
Заглушают сигналы чугунок.
Гром позорных телег —
Громыканье первых платформ.
Крепостная Россия
Выходит
С короткой приструйки
На пустырь
И зовется
Россиею после реформ.

Поэма «Девятьсот пятый год», сделанная в виде отдельных зарисовок революции, пзобилует памятными картинками и выразительными эпизодами. Нельзя не выписать лаконическую, но много говорящую, зарисовку бомбиста:

И в чаду за стеклом
Видит он:
Тротуар обезродел.
И еще видит он:
Расскакавший
На снежном кругу,
Как с летящих ветвей,
Со стремян
И прямящихся седел,
Спешась, градом,
Как яблок,
Прыгают куртки драгун.
На девятой сигаре,
Тряхнув театральной дверью,
Побледневший курильщик
Выходит
На воздух,
Во тьму.

Хорошо б отдышаться!
 Бабах...
 И — как лошади прерий —
 Табуном,
 Врассыпную —
 И сразу летчает ему.

Сложнее композиционное строение поэмы «Лейтепант Шмидт». Тут сюжетно использованы письма, описания, различные отступления и т. п. Уже в этом смысле «Лейтенант Шмидт» заинтересовывает. А правильное понимание исторической роли Шмидта («В те дни, — а вы их видели, и помните, в какие, — я был из ряда выделен волной самой стихии») нигде не принимает голо-публицистической формы, и тип революционера живет в таких, скажем, строках из его, мастерски Б. Пастернаком написанных, писем:

Вера в раз'езд по фабричным районам,
 В новую стачку и новый под'ем,
 Может, сплеталась во мне с затаенным
 Чувством, что ездить будем вдвоем...

Эпос Б. Пастернака обличает в нем зрелого художника, могущего превосходно справляться с продуманным и прочувствованным материалом. Любопытно, что сложившимися в лирике импрессионистическими навыками в поэмах своих он пользуется осторожно и никогда не теряет чувства меры. Импрессионистическая изобразительность поэта достигает наибольшей мощи, главным образом, в описательных местах.

Над Очаковым пронес
 Ветер тучу слез и хмари
 И свалился на базаре
 Наковальнею в навоз.
 И, на всех остервенясь,
 Дождик, первенец творенья,
 Горсть за горстью, к горсти горсть,
 Хлынул шумным увереньем
 В снег и грязь, в снег и грязь,
 На зиму остервенясь.
 А немного погоды,
 С треском распахавши крычья,
 Шлепнулся и всюю тучей
 Водяной бурдюк дождя...

Все приведенные цитаты из поэм сами собой убеждают в том, что отход Б. Пастернака с лирической позиции и его резкий поворот к обществу не привели поэта к какому-нибудь сомнительному снижению эмоционально-эстетических достоинств его поэзии.

Следует упомянуть о «Спекторском». Этот роман в стихах еще не закончен. Отдельные главы, встречавшиеся в печати, еще не позволяют судить с достаточной определенностью о дальнейшем движении Б. Пастернака. Несомненно, он будет и впредь создавать превосходные лирические стихи. Но похоже, что именно эпические задания на его сегодняшнем пути доминируют и определяют собою характер будущих достижений поэта.

VII

Б. Пастернак пишет и прозой.

Прозаические произведения его рассмотрим в хронологическом нарастании.

Ранний рассказ Б. Пастернака называется «Il tratto di Apelle» (1915 г.). Бросаются в глаза его начальные строки.

«В один из сентябрьских вечеров, когда Пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев и косых теней приступом на Пизу, когда от всей, вечерним ветром разуженной Тосканы пахнет, как от потертого меж пальцев лаврового листа, в один из таких вечеров...» («Рассказы», изд. «Круг», 1925 г., стр. 61).

Может быть, эта густая красочность и уже как-будто знакомое нам умение неодушевленных предметов жить одушевленной жизнью («Пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев и косых теней приступом на Пизу...») — явление проходящее и не характерное? Посмотрим, найдутся ли аналогичные вещи в позднейших произведениях.

Рассказ «Воздушные пути» написан в 1924 году.

«... Туча окинула взглядом низкие запекшиеся жнивья. Они стлались до самого горизонта. Туча легко вскинулась на дыбы. Она простиралась и дальше, за самые лагери. Туча опустила па передние ноги и, плавно перейдя через дорогу, бесшумно поползла вдоль четвертого рельса раз'езда. Кусты, пообнажав головы, всей насыпью двинулись за пей. Они теки, кланяясь ей. Она им не отвечала» (стр. 95).

Только теперь мы окончательно узнаем литературный анимизм Б. Пастернака, импрессионистически разрабатываемый им в стихах. Хорошо ли, худо ли, поэт, очевидно, не поступает перед прозаиком своими испытанными методами.

Свойственно Б. Пастернаку в прозе и «обнажение приема». Так, в «Il tratto di Apelle» спит оригинально задуманный двойник Гейне («Случайное совпадение. Прискорбное даже...»), и автор оповещает читателя: «Сейчас он проснется. Сейчас Гейне вскочит, помпаште мое слово. Сейчас. Дайте ему только до конца доглядеть последний обрывок сна» (стр. 66). Точно такое же «обнажение приема» отыщем и в «Воздушных путях», развитое еще подробнее («Ради этого ли спорного наблюдения скрывает автор от читателя то, что ему так хорошо известно...» и т. д., стр. 99).

Удельный вес прозы Б. Пастернака покамест определяется скорее эстетической выразительностью. «Детство Люверс» — повесть о медленном созревании женской психологии, обставленная бытовыми подробностями, во многом примыкает к психологизму «Котика Летаева» Белого. «Il tratto di Apelle», ранний рассказ, оригинально задуманный и опытно выполненный в стремительном импрессионистическом плане, равно как и характерные для поэтического исповедания Б. Пастернака «Письма из Тулы» («Какое горе родиться поэтом! Какой мучитель воображение! Солнце — в пиве, опустилось на самое донышко бутылки»), в свою очередь не достигают абсолютной значительности в виду отсутствия в них отчетливого социального стержня.

Остроумный и положительный замысел «Воздушных путей», рассказа, вообще, выполненного удачно, и более определенный материал этой вещи предполагают, однако, в авторе возможного победителя и на трудной для поэта — импрессиониста прозаической арене.

VIII

Таково в совокупности своих художественных приемов и в своем до конца честном сближении с идеями эпохи диктатуры пролетариата творчество Б. Пастернака, поэта и беллетриста. Его самовоспитание, о котором он так прекрасно писал в стихотворении «Кремль в бурю конца 1918 года» («За морем этих непогод предвижу, как меня, разбитого, пенаступивший этот год возьметесь сызнова воспитывать...»), оказалось победоносным.

Показательно, что поэзия Б. Пастернака имела и имеет глубокое влияние на многих современных поэтов, не отступивших вовсе от революции или естественно спаянных с нею без различия поэтических возрастов и репутаций. Тихонов, Мандельштам, Асеев, Антокольский, Эренбург, Зенкевич, Петровский, Обрадович, Сельвинский, Багрицкий, Светлов, Ушаков, Кирсанов и длинный ряд совсем еще молодых и обещающих поэтов усвоили или усваивают те или иные элементы поэзии Б. Пастернака. Интересно, что даже такой отстоявшийся и сложившийся классик, как покойный Брюсов, всегда бывший трезвым ценителем поэзии, в конце своей художественной деятельности испытывал совершенно недвусмысленное воздействие пастернаковской лирики.

2. ЛИТЕРАТУРА СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКИ

Вальдо Фрэнк

Евгений Ланн

1

Когда Соед. Штаты в 1917 г. выступили против Германии, редактор журнала «Seven Arts» В а л ь д о Ф р э н к объявил себя принципиальным противни-

ком войны. Со дня на день он ждал ареста, но случилось так, что до ноября 1918 г. Штаты не успели провести мобилизацию сверстников Фрэнка. Последний избежал тюрьмы и всех неприятностей, связанных с отказом от

военной службы. Неприятности были весьма значительны — стóит только вспомнить, в каком патриотическом угаре пребывали стопроцентные янки, руководимые «четырёхминутными» патриотами. И пока эти four - minute men, испросив у почтеннейшей публики в театрах, концертах и кино три - четыре минуты внимания, разжигали ненависть к немцам, — Вальдо Фрэнк, рискуя в любой момент сесть за решетку, писал свой роман «Темная мать».

У нас Вальдо Фрэнка почти не знают. Две его книги — «Праздник», лирический роман высокого мастерства, и «Квартал», сборник повелл — прошли незамеченными нашей критикой. Одна — две рецензии, и только. Едва ли это говорит в нашу пользу.

Из всех современных художников Америки, Париж и Мюнхен признали «своим» одного Фрэнка. Только в этом году появился во Франции «Уайнсбург, Огайо» Шервуда Андерсона и в журнале один из рассказов Эрнеста Хемингуэя; в Германии совсем недавно узнали Джона Коурнса; Вудворда еще на континенте не знают. А уже через год после первого романа Фрэнка «Лишний человек», девять лет назад, «Nouvelle Revue Française» издает его книгу «The Art of the Vieux Colombier» — монографию о французском передовом театре «Старая Голубятня». В 1919 году Фрэнк пишет свою замечательную книгу «Наша Америка», а в начале следующего года ее переводят в Париже, и в 1922 году — в Мюнхене. Уже с 1921 года для него открыты страницы двух лучших европейских журналов — «N. R. F.» и мюнхенского «Der Neue Mercur», в коих он печатает свой очерк «L'Année Americaine». В 1925 году выходит во Франции «City Block» — «Квартал», и в том же году на страницах «Еггоре» Фрэнк дает свой великодушный этюд «L'Amérique primitive».

Эта сухая библиография весьма показательна. Французы умеют не интересоваться чужими литературами и с великой неохотой переводят иностранцев. Издавна Франция учила художественному письму народы Европы, и на правах учителя позволяла себе узнавать об успехах «учеников» с ве-

ликим опозданием. «Мистерии» Гамсуна, например, она узнала три года назад, а «Ошибку Ольмейера» Коппада, по воспитанию француза, — через двадцать пять лет после появления ее в Англии. Эти примеры, почти для нас невероятные, можно было бы умножить без труда.

Вальдо Фрэнка ждала иная участь. Неповоротливые французские издательства выпустили две его книги с необычной быстротой, хотя меньше всего могли рассчитывать на пятизначные тиражи. Это не случайно, как случайно, хотя бы, появление перевода «The great Gatsby», романа Скотта Фитцджеральда, вскоре после выхода книги в Штатах. В лице Фрэнка французские художники слова, а за ними и передовые издательства приветствовали подлинного европейского мастера. В кругах «высокой литературы», т.е. в кругах, близких «N. R. F.» и «Еггоре», Фрэнк получил признание отнюдь не на титуле «популярного американского писателя». Фрэнк не видит у своих ног читающей Америки, да, разумеется, никогда и не увидит. Для этого он слишком тонкий художник, единственный в Штатах стилист европейской школы, и за это именно награжден признанием требовательно Парижа, — того литературного Парижа, который окружил Джемса Джойса исключительным вниманием.

2

Родился Фрэнк в 1889 году. Отец его — юрист, от матери писатель унаследовал музыкальные способности, позволившие ему позже уметь разобраться в творчестве композитора Leo Ornstein'a. Учился Фрэнк в нью-йоркском колледже, при чем в шестнадцать лет написал роман, который одно из издательств приняло к изданию. Только благодаря вмешательству отца, этот отроческий роман не был издан, — разумеется, в интересах самого же автора. По окончании колледжа Фрэнк уехал на год в Швейцарию, где учился в Лозанне, а затем, вернувшись в Штаты, поступил в Йейльский университет, который кончил двадцати двух лет, после чего занялся газетной рабо-

той и попробовал писать пьесы. Пьесы были слишком необычны для нью-йоркских театров, и ни одна из них раппы не увидела. В 1913 году он уехал снова в Европу. Жил в Париже, побывал в Германии и, всплывшись до начала войны в Нью-Йорк, принялся за систематическую писательскую работу, а в 1915 году дебютировал этюдом об Орнштейне в апрельском номере «The Onlooker».

В американских *magasin*'ах ему было не место. Снижать себя до их уровня он не пытался, и очень скоро понял, что выйти в литературу он сумеет только в том случае, если поставит себя, хотя бы на первое время, вне зависимости от редакторов этих *magasin*'ов. Следует помнить: вкусы среднего американского читателя, по свидетельству такого компетентного судьи, как Вудворд, не возвышаются и в настоящее время над уровнем семнадцатого века. Гипербола? Быть может, но во всяком случае двенадцать лет назад в Штатах не было ни одного органа, который хотя бы информировал американца о состоянии современной литературы, живописи и музыки, не предназначенной для подписчиков «Субботней Вечерней Почты». А силы «молодой Америки» — тех писателей, которые несмотря на всяческие «Почты» творят подлинную литературу, — силы эти накапливались. Кроме Фрэнка, появился Андерсон; Джон Коурнс, отрываясь от газетной работы, готовил «Маску», Ван Вехтен написал уже «Почему и что» и свои книги по музыке, Вильбур Даниэль Стиль работал над сборником «Конец земли». Нужно было заставить читателя вспомнить о замалчиваемом Драйзере и о поэтах Сэндберге, Лимастерсе, Роберте Фросте, чья известность едва ли выходила за пределы литературных кругов. Нужно было расчистить дорогу перед таким культурпейшим и своеобразным критиком, как Менкен, возглавлявшим группу тошких историков литературы, — группу, в которую входили — Ван Вик Брукс, Пауль Розенфельд, Рэндольф Бури и др. Нужно было, па-

конец, показать О'Нэйля — лучшего драматурга современной Америки, — словом, необходимо было создать такой орган, который не являлся бы кристальным зеркалом культурной жизни наподобие ходовых журнальчиков с двухмиллионными тиражами.

Так создан был журнал «Seven arts» — «Семь Искусств». Во главе его стал Фрэнк.

Роль этого журнала, который формально прекратил существование через год, — огромна. Сотрудники его не принадлежали к какой-нибудь одной школе. Целью журнала являлась консолидация всех живых сил американского искусства. Фрэнк этой цели достиг. Литературный мир Европы увидел подлинную «молодую Америку», которая имела все права представлять в искусстве от имени великого народа. Почти все имена, встречающиеся на страницах «Seven Arts», останутся в истории американской культуры. Фрэнк познакомил читателя с подлинными мастерами и умел бороться за них. Его первая статья, в первом же ноябрьском номере журнала, посвящена была литературному дебюту Шервуда Андерсона, роману «Ветренный сын Макферсона», значительность которого он подчеркивал с особенной силой. Великолепную статью дал он в одном из следующих номеров: статья направлена была не только против Беннета и Уэльса, прельстившихся «поверхностной цивилизацией», но и против европейского снобизма, разившего нью-йоркскую богему. Не менее интересным являлся этюд его о Жюле Ромэне, о котором ничего в Америке не слышали, — «первое глубокое исследование унаимизма», по словам André Cuisenier.

До прекращения «Семи Искусств» Фрэнк успел поместить серию театральных очерков, совершенно необычных для американской театральной критики, ибо они насаждали принципы нового европейского театра. Все без исключения критико-исследовательские статьи обнажали во Фрэнке не только большую культуру, но и огромный вкус и художественную зор-

кость. Не прерывая работы над своим первым романом и являясь чистым художником, он по-исследовательски копил для своей будущей книги «Наша Америка» наблюдения над духовной жизнью своей родины. Эти статьи являлись для него тренировкой — в них он разрешал отдельные художественные проблемы, чтобы в книге разрешить проблему американской культуры, внутренний строй которой отразился в национальном искусстве.

В семнадцатом году появился его роман «Лишний человек» — «The Unwelcome Man».

А в следующие годы — монография о театре Vieux Colombier, книга о духовной жизни Америки, романы: «Темная мать», «Рахаб», книга новелл, объединенных воедино и названных им романом «Квартал», роман «Праздник» и т. д.

И первый роман, не говоря о последующих, не оставлял сомнений: в историю американской литературы вошел большой художник.

3

В первом же романе «The Unwelcome Man» Фрэнк поставил проблему американской культуры.

Кондовая американская семья из Род-Айленда. Нам это происхождение ничего не говорит, но каждый стандартный американец чтит своих сограждан, умеющих доказать происхождение от род-айлендских предков. Ведь именно южнее Бостона, в районе маленького штата Род-Айленд, осели первые поселенцы-пуритане, высадившиеся с *Mayflower*'а. Именно отсюда шли колонизационные пути изгнанных Яковом пуритан, — пути, ведущие на юг к стыку с джемстоунскими авантюристами и купцами, пробивающимися сквозь непроходимые леса Виргинии. Дворянства не было и нет у янки. Место дворян заступают потомки нью-плимутских пионеров, переключившие пафос пионеризма в горячий культ доллара. Пусть на пути материального благополучия какой-нибудь чужеземец, осевший недавно в Штатах, добьется головокружительного успеха, — для бостонской «знати»

он — *parvenu*, а для рядового американца, несмотря на весь пиетет последнего к доллару, этот чужеземец много проигрывает. Ибо упомянутые предки, обращенные к небесам, научили стандартного американца мертвой хватке в борьбе за блага земные. Они еще не знали целей наживы, кальвинистский свой запал они пронесли до самой своей смерти, но уже сыновья их и внуки, сильные той же волей, не знающей компромиссов, познали от виргинских купцов сладость стяжания. И, познав, призвали грозного бога своих отцов на помощь, а свою волю, воспитанную девственной страной, отдали всю, целиком, делу своей жизни — культуре материальных ценностей. Они — потомки род-айлендцев — были первыми из первых среди учеников Франклина, который видел залог крепкой американской государственности только в одном: в борьбе со всеми теми силами, какие мешают накоплению материальных ценностей. Ведь именно он, Франклин, основал «Saturday Evening Post» — «Субботнюю Вечернюю Почту», — знамя, под которым боролось не одно поколение стопроцентных американцев за заветы своего учителя. Заветы принесли плоды: индустриализм капиталистического нашего современья, выросший из пионерства¹⁾, вытравил из души род-айлендских потомков всякое представление о том, что лихорадочная погоня за наживой должна иметь какую-то цель, внеположенную этой наживе. Ради чего наживать?

На этот вопрос отец Кэнси Бёрта отвечает, ибо, во-первых, не умеет, а, во-вторых, отвечать считает излпшним. Смысл жизни — в материальном преуспейании, а в чем смысл этого преуспейания? Мать Кэнси Бёрта в далекой молодости робко пыталась задавать себе вопрос, но очень скоро от попыток отказалась. Воля мужа и сила семейных традиций заставили ее в самом корне задуть несвойственную род-айлендцам любознательность.

¹⁾ Более подробно мы останавливаемся на этом в очерке «Стандартный янки», «Красная Новь», 1927 г., январь.

Мэрден, брат Кэнси — сын своего отца — воля и цинизм стяжателя. Сестры — беспомощны и духовно выхоленные. Такова семья — рядовая, сегодняшняя, а мериканская семья. И соответствующая атмосфера, в которой вырастает Кэнси.

Кто он? Юноша, Род-Айленду чуждый и лишний. Не может он принять отца, брата Мэрдена, крепкоголового бизнесмена Кэгеллера. Отец чувствует в нем врага, но Кэнси — не опасный враг.

С великолепной психологической убедительностью Вальдо Фрэнк показывает: трагедия Кэнси Бёрта порождена отнюдь не тем, что юноша сомневается в существовании не-род-айлендского «смысла жизни». Своей семье Кэнси чужд; он знает: человек не смеет подменивать цель средством, не смеет в материальном благосостоянии находить оправдание жизни. Он знает, что доллар не заместит «нематериального идеала», но каков этот идеал, какова внеположенная наживе цель — ни он, ни другие юноши не знают. Но если трагедия молодых Кэнси и порождается этим незнанием, то Вальдо Фрэнк не успокаивается на таком диагнозе. Кэнси не знает к чему идти; тяга его к чему-то духовному — spiritual — источник подлинных страданий; воспитание и обстановка калечат живую душу, но сила сопротивления его невелика. На стезе Франклина потомки пионеров совершали и совершают чудеса. Этими чудесами обязаны они своей воле; в шорах строили они государство, дабы воля не расплывалась, — по сторонам они не умели смотреть. А когда у одного из потомков наглазники упали, он оказался беспомощным. Предки его шли, упрямо и без колебаний, шли к одной — только к одной — цели, упорство не изменило бы и ему, не будь он «лишним» человеком, но, повидимому, слишком яркий свет, непривычный для глаз, ранее защищенных шорами, отразился на зрении. На открывшихся горизонтах Кэнси не увидел ничего, кроме каких-то расплывчатых «духовных идеалов». О путях, ведущих к этим туманным пятнам, стандартная Америка

ничего не знала, а сам он бессилён был представить себе яснее смысл своего существования. Искания его ни к чему не привели, ибо привести и не могли: он умел бы действовать, но не мог познать — сказалась род-айлендская кровь. И Кэнси сдался: поток — the stream — американской жизни захватил его и понес, как щепку. Но Кэнси ни от чего не отказался, и своих мечтаний не предал. Он сломался и поплыл по течению — только. Традиционный Бостон никакою выгоды из победы не извлечет — в своей среде Кэнси остался «лишним человеком».

Анализ поставленной социальной проблемы Фрэнк уже в этом первом своем романе провел в плане тонкого, изощренного психологизма и в манере, необычной для американской литературы. Все свое внимание психолога он сконцентрировал на смутных, неоформленных эмоциях Кэнси. Фрэнк был очень скуп на действие — композицию романа он выдержал в духе традиционного жизнеописания Кэнси, медленно и как-будто с трудом развертывая сюжет, а борьбу бостонской Америки с героем отказался облечь во внешне-драматическую форму. Единоборство Кэнси с семьей и самим собой он перенес в подсознание юноши, — подсознание, в котором сплелись неясные влечения, недоношенные мысли, бледные, немощные желания. Свободно ориентируясь в этом мире Фрейда, он проследил постепенное разложение юношеских порывов, благодаря род-айлендскому яду, отравившему кровь «лишнего человека».

Несмотря на недостатки, из которых главнейший — растянутость романа и перегруженность фрейдяниским психологизмом, «Лишний человек» — книга примечательная. Она вызвала много недоумений (ибо, действительно, местами анализ Фрэнка слишком сложен, а потому и туманен), но бесспорным для критики оставалось одно: великолепный стиль романа и важность для «мыслящей» Америки поставленной Фрэнком социальной проблемы. О стиле — ниже, а на проблеме следует нам остановиться подробнее. Ибо она является центральной проблемой интересней-

шей книги Фрэнка — «Наша Америка» — о «сущности американской культуры».

«Америка — беднейшая из всех стран. Два столетия энергия Америки изливалась наружу: истекала из почвы и души человеческой. Никогда мы не были склонны воспитывать в себе созерцательность и раздумье. Не было у нас традиций, на которые наша душа могла бы опереться, чтобы отдохнуть и набраться сил. Всегда мы были народом центробежным (centrifugal), нервным и нетерпеливым. Энергия не хранилась у нас в потенциальном состоянии: пионерствуя и совершая подвиги, мы изливали ее непрерывно. Внутренне опустошенные (depleted) мы переживаем теперь кризис. Мы — умны. Мы — образованы. Мы — материально обеспечены. Но лицом к лицу с заказом (the mandate) сегодняшнего дня — преобразовать мир — мы отстали, на много отстали, хотя бы от мадьяр, ибо нет у нас той духовности (spiritual substance), которая творит веру и двигает горами. Но в этом наша задача. Уитмэн ее предугадал, пел о ней и о ней нас предостерегал. Мы должны пройти сквозь страдания — внутренний наш рост. Мы должны сломать привычку — знак слабости — размениваться на мелкие дела».

Этими словами Фрэнк подытоживает в «Нашей Америке» свое исследование о духовной жизни своей родины. Вся книга — волюнтаристский обвинительный акт против стандартного янки, несравненного героя «мелких дел», убившего ради материальных благ раздумье и созерцательность, загипнотизированного идеей преуспевания. Шаг за шагом Фрэнк проследживает тот путь, каким пионер из дремучих лесов Массачусетса шел к Бродвею и Пятому авеню. Причины колонизации слишком для него ясны: «история колонизации Америки — есть отраженный рефлекс экономических взаимоотношений европейских стран». Не менее ясны для него и причины, породившие пуританизм, под знаком которого текла и течет духовная жизнь Штатов: «Даже такой чистый жест, как пуританизм, вызван аграрным и промышлен-

ным непокоем (unrest) Англии». И дальше: «Америка была колонизована, ибо Испания являлась экономической соперницей Англии, и с той же Англией экономически конкурировали Франция и Голландия». Не экономическую историю Штатов он задается целью описать. Его интересует анализ той идеологии, которую принес и взлетел поселенец — крепкий собственник, опираясь на строгого кальвинистского бога, своего помощника, в борьбе против Якова I, посягнувшего не только на совесть своих непокорных подданных, но и на их имущество. Он проследживает губительный, но интереснейший процесс — просачивание тупого ханжеского морализма во все стороны культурной американской жизни. Он показывает, как окрашивались в цвет пуританского «yes!» (старинное — yes) все этические и конвенциональные нормы Штатов, как воспитывался пуританизмом стяжательский инстинкт рядового янки, и как бережливо охранялся Новой Англией принцип собственности, проникающий современную американскую государственность. Он набрасывает великолепные экспрессионистические характеристики Нью-Йорка и Чикаго, развертывая антитезу: «Нью-Йорк отстоялся. Нью-Йорк, столь совершенный цветок индустриализма, что ни один цветок ему не ведом. Промышленная анархия — его закон. И Нью-Йорк в ней задыхается. Но в Чикаго еще первобытный хаос. Материал еще груб, еще не обработан. Этот бурлящий город — таков, каким Нью-Йорк был много лет назад». Он показывает, как костенел свободный творческий дух американского художника, бессильного преодолеть навязанную рядовому американцу эстетике пуританизма, который сперва через «фундаменталистов» пресек искания религиозные и критику библии, а затем задушил ростки каких бы то ни было исканий, не направленных к целям Фрапплина. И Вальдо Фрэнк дает жертв и героев этой борьбы за подлинную культуру против пуританизма, ибо современный американский социально-политический строй весь пропитан идеологией духовных сыновей

Барроу и Грипвуда: «американский индустриализм — новый пуританизм, подлинный пуританизм наших дней».

Галлерея этих жертв и героев подана Фрэнком мастерски. Одной из жертв американизма, веры янки в пуританского бога и наивного преклонения перед конституцией пал Джек Лондон, разменявший свой талант на «мелкие дела» — на тысячи слов, которые он писал ежедневно, продавшись издательскому синдикату. Жертвой, еще более трагической, стал и Марк Твэн — человек значительно более одаренный, чем Лондон — горький писатель, которого янки заставили стать юмористом. И в острую гурмоновскую характеристику Твэна — юмориста поневоле — Фрэнк вправляет эпизод, который нельзя не привести. Однажды на вечере ассоциации слепых эжепромтом выступил с речью Марк Твэн. Вступительное слово председателя растрогало аудиторию, а участие слепых в концерте вызвало умиление. Твэн вышел на эстраду; за его спиной сидели слепые, перед эстрадой публика. Начал свою речь Твэн с печальных раздумчивых слов. В публике послышался смехок — ведь она так привыкла, чтобы Твэн ее веселил, но на этот раз он не собирался веселить и продолжал говорить серьезно и грустно. Смех усилился. Твэн отступил назад и, словно ища защиты у слепых, оглянулся. В невидящих глазах и в тусклых улыбках тех, кто сидел позади эстрады, казалось, он нашел одобрение. Слепые не смеялись. Тогда он снова начал говорить — все так же серьезно. Публика стала хохотать. И, смотря на Твэна, Фрэнк видел, как подергивалось лицо старика. Пять минут боролся писатель за себя и с собой, и уступил. Янки потребовал у него смеха, и у Твэна не хватило воли отказать: искалеченный задолго до этого вечера, он слишком слаб был для борьбы со своим читателем, цену которому хорошо знал. И он начал шутить, а закончил свою речь, которая, помимоего воли, превратилась в юмористическую, под бурные аплодисменты.

Янки сломпл слабого Марка Твэна. «Он проходил сквозь жизнь, заблудив

шись в горькой слепоте, которая еще более страшна, чем ненависть людей подобных Свифту и Шопенгауэру», — так кончает Фрэнк великолепную характеристику Твэна.

На фоне пуританской культуры Америки исключительную остроту и выразительность приобретают портреты тех, кто пытался раскрепостить творческий дух народа. Первым из первых был Уитмэн, которому посвящена целая глава. «Критики называют его «отцом социальной революции», «отцом свободного стиха», «отцом американского языка», «пропагандистом культурного освобождения Америки». Но все они его преуменьшают. Да, всем этим он был. Но он был еще чем-то неизмеримо большим. Сжато и экспрессивно он рисует Э. По — «самого замечательного американского художника, фантазии которого — не место в Америке», и Эмерсона (этого «простофилю», по словам По), бесплотный трансцендентализм которого привел к тому, что все его рассуждения о «поэзии и духе» нимало не мешали бизнесменам заниматься своим делом: отдохнув за созерцанием холодного эмерсоновского неба, они преспокойно шли делать деньги. Перед читателем проходят: Генри Дэвид Торо, чей духовный облик ясен хотя бы из одной фразы: «Ту роль, какую Руссо играл во Франции, а Толстой в России — в Новой Англии взял на себя Торо»; Генри Джемс, не имеющий корней в американской почве — «это странное, на мой пристрастный взгляд, чудовище, захватывающее очень широко, но не глубоко, — своеобразный опрокинутый навзничь спрут». Во весь рост встает Шервуд Андерсон, «человек, экономической необходимостью ввергнутый в промышленный хаос, человек, который после шумного визгливого дня вжалкал по тихой музыке», и Теодор Драйзер — «гигант с лицом столь же чувствительным, как у молодой девушки», — писатель, чьи книги дают лучшее отображение американской жизни, ибо Драйзер «бессознательно запечатлел великую эпоху жизни Америки — эпоху, ныне завер

шающуюся банкротством пионеризма». А рядом с Драйзером оживает для читателя известный поэт Ли Мастерс — поэт, на котором тяготеют знаки американского Запада, написавший «Антологию» — «великую книгу, великую именно потому, что она великолепно выражает бескрылость и слепоту того, кто ее написал и поколения, чьим голосом поэт являлся». Скупое намечен Генри Л. Менкен, играющий такую исключительную роль в создании подлинной литературной критики наших дней — человек, «начавший свою карьеру критика защитой теории Ницше в стране, переполненной методистскими церквями». Мастерски даны силуэты: Карл Сэндберг, — «любownik этого грубого мира и, благодаря своей любви, дистиллятор его красот», и тонкий новеллист Фредерик Бус, — «жрец новых американских богов Андерсон и Сэндберг шагают в дыму, навстречу битвам, Бус — молится» и многие другие — лучшие «intellectuals» современной Америки.

Но «Our America» не литературно-критическое исследование и не книга масок. Это — очерки по истории американской культуры, написанные большим художником. В пей нельзя искать беспристрастия автора. Не найти в ней и академической проверки социологических гипотез, выдвигаемых профессорами американских университетов. Цель ее — открыть нам глаза на специфическую окраску американской цивилизации, изобразить во весь рост воинствующего мещанина, чья гигантская тень падает на духовную жизнь Америки, а затем, показать одинокие фигуры тех, кто стремился и стремится разжать железное кольцо псевдо-религиозного, разбойничьего пуританизма, замкнувшее горизонты стандартного американца. Книга Фрэнка вводит нас в ту духовную атмосферу, которой янки дышат с момента возникновения американских колоний и по наши дни. Когда ее прочтешь, станет понятным непонятное: устройство в наше время «обезьяньих» процессов, вышвырива-

ние негров из спальных вагонов, ханжеский жест «сухого» закона. Поймешь, что все это — не случайно и вызывать удивление не может. Вместе с этим узнаешь и другое: некоторая часть американской интеллигенции переросла баптистские и методистские доктрины, равно как и социально-политическое учение Джефферсона. Давая характеристику Д. Лондона, Фрэнк бросает: «Как и его родина, Д. Лондон физически был взрослым, внутренне — ребенком». Америка собственно ков, творящая мещанскую культуру Штатов, остается и поныне — духовно — ребенком; оставив позади Европу достижениями своей машинной цивилизации, созревший физически на путях культуры духовной, она все еще пребывает в младенческом состоянии в сравнении с буржуазной Европой. Это — факт неоспоримый, а книгой Фрэнка великолепно подтверждаемый, да к тому же легко объяснимый. Перед Европой триста лет назад не простиралась девственная страна вновь открытого континента. Некогда было янки созерцать и предаваться задумчивости — вся его энергия уходила без остатка на «физическое» созревание. Из книги Фрэнка он выступает гигантским мужчиной с маленькой, карикатурной головкой. Эта головка еще не знает самоанализа и не контролирует самосознания (self-consciousness). К этим операциям — необходимой подготовкой для определения примитивных схем Нью Плимута — зовет молодая Америка. Но ее зов, как и зов Фрэнка, не глас в пустыне. Доказательство — герои Андерсона и самого Фрэнка — его романов. Этих героев они не выдумали. Не только на периферии, в тихих городках Среднего Запада, где медленный темп обывательской жизни оставляет время для размышлений, но и в промышленных метрополиях зашевелился «лишний человек». Это появление живых, не книжных Кэнси и андерсоновских персонажей заменяет трещину в пионеризме и подводит янки к тому порогу, за которым расстилаются искания «смысла жизни». Эту трещину автор «Нашей Америки» призывает углублять, а, об-

рачаясь к роману, не ограничивается занесением Кэнси на страницы «Лишнего человека», и создает «Темную мать».

4

«Темная мать» («Dark Mother») переключается с первым романом. Не только своим фрейдявским психологическим анализом и манерой письма. Последняя заострилась еще больше, чем в «Лишнем человеке», свидетельствуя о том, что Фрэнк окончательно нашел свой стиль, а анализ его стал еще глубже и изощреннее. Переключка эта сказала по той линии, какая — исследовательски — нас занимала выше. В «Лишнем человеке» Фрэнк показал нового для Америки (если не считать Андерсона) человека, враждебного заповедям Бостона. В «Темной матери» один из двух главных героев — Дэвид — всем существом своим — отрицание этих заповедей. Но при этом нет дублирования портрета, как нет ни малейшего тематического повтора. После Кэнси Фрэнк «открыл» противника род-айлендцам более страшного, чем Бёрт — лишний человек. И противопоставил он Дэвиду не примитивного род-айлендца, а сложный, несводимый к прямым линиям американского человеческого стандарта, характер другого своего героя — Тома.

Вместе со своей сестрой — Корнелией — Том восстал против своего отца, реверенда, — и прибыл из Огайо в Нью-Йорк утверждать свое право на жизнь. Юность прошла у него в борьбе против заплесневелых догматов реверенда, и из этой борьбы он вышел победителем. Психологию наивного пионизма он преодолел; союзником его была та мечтательность, которая Кэнси Бёрта обрела на обломовщину, вывернутую наизнанку (эта великолепная формула Кэнси принадлежит Ван-Вик Бруксу). Но победа досталась ему дорогой ценой. Живая жизнь поставила перед ним ряд проблем, разрешать которые «раздумчивость» не могла. Перейдя от созерцания к действию, он ощутил, что юношеский идеализм — плохой для него помощник в борьбе за жизнь. Он понял, что не может, если хочет жить, опереть-

ся на этот идеализм, но и отшвырнуть его он не мог. Сознательно его придумав, он вышел на торную дорогу успеха — стал известным адвокатом, — построив себе мирозерцание, которое назвал «реалистическим». «Реализм» его сложнее, чем программа род-айлендца, сложнее потому, что наедине с собой он искренен, знает сомнительную цену достигнутого успеха и внутренне колеблется, избирая пути, которыми он шел в юности. Он расколот надвое, при чем придуманный идеализм без борьбы не уступает игры «реализму». Но во-вне он не знает колебаний и раздвоенность свою скрывает: чем более умело удастся ему колебание скрыть, тем слышнее для него голос его юности. Цинизм Тома, быть может, слегка наигран, но, во всяком случае, защищая себя от себя же самого цинизмом, Том привык к своему циническому жесту и делает его свободно. Столь же легко носит он лицемерие, необходимое в той жизни, пути которой проложены его «реализмом».

С ним — с Томом — Фрэнк сталкивает Дэвида — фигуру не измышленную, очень живую и очень опасную традициям Бостона. Дэвид — прост, крайне прост — юноша, живущий всем своим существом в каждый данный момент. Он почти непобедим в своей ясной простоте. До краев переполненный эмоциями, он умеет воспринимать мир только эмоционально. Телеология Род-Айленда ему неведома, как неведома и рефлексия Тома. Он искренен до неприличия, фантазер и входит в жизнь с раскрытыми от изумления глазами. И тем не менее — это понятно и Тому — Дэвид интуитивно нащупывает в жизни тот путь, который не найдет умная трезвость. Сознание его не замутнено и не замутнет от столкновения с традициями янки: его спасает крепость эмоций, а внутренняя цельность отвращает от компромиссов с совестью и сложного маневрирования во имя бостонского успеха.

В его цельности — сила. Ее лишен был Кэнси Бёрт, не изживший до конца мешанских добродетелей, о ней не ведает расколотый Том. Но только она — эта цельность — опасный против-

ник «реализму» Тома, уводящему на Уолл Стрит.

Том это знает, и Вальдо Фрэнк разворачивает его борьбу против Дэвида во имя спасения «реализма». Молодые люди становятся друзьями, и Том тонко пытается расшатать детский идеализм друга. Ничего дьяволического в его поведении нет. Борьба за подчинение Дэвида — оправдание себя, своего «реалистического» миропонимания. Ибо Дэвид, одним фактом своего существования, не может не углублять травмы, о которой Том помнит всегда. Победа над Дэвидом необходима ему ради собственного его спасения, ибо Дэвид — мучительное напоминание о том, что изжить он до конца не может. В душе Дэвида он пытается выиграть на ту ставку, которую поставил в своей душе и сыграл в ничью. Но выиграть ему не удается. Сестра его — Корпелия — борется с ним за Дэвида и побеждает только для того, чтобы Дэвид ушел к Эллиен Дэндрию. А Том окончательно теряет друга; ставка «реалиста» бита.

Мы не знаем дальнейшей судьбы Дэвида. Быть может, не знает ее и Фрэнк. Во всяком случае Дэвиды еще не оформились окончательно в сегодняшней Америке. Появление их — сильных эмоциональной цельностью и неуязвимых для Тома — сигнализировал Фрэнк в «Темной матери». Пока мы не видим, к чему, к какой цели устремится их юношеская мечтательность. Но в «реализм» Тома она не переключится. В отличие от слабого Кэнси, они, быть может, научатся размышлять прежде, чем начнут действовать, а в этих размышлениях им откроются такие пути и такие средства борьбы с «реализмом», о которых не помышляет сам Фрэнк. А действовать они будут. Эмоциональный их запал уведет их и от андерсоновских героев.

Дэвид — чист. Чистоту его надлежит понимать в том смысле, что он никогда ни в чем себе не лжет, полнотой своих эмоций он правдив перед собой последней правдой. Этой теме духовной чистоты Фрэнк посвятил свой следующий роман «Рахаб», очень своеобразный по замыслу, очень причудливый по композиции и не страдающий длин-

нотами, от которых, кстати, «Темная мать» не совсем свободна.

Молодой поэт — еврей Сэмсон Бреннер в ожидании своей подруги-проститутки сидит в одной из комнат публичного дома. Против Сэмсона за столом — содержательница притона Фанни Дёрк. Поэт попивает вино и ждет подругу, Фанни начинает рассказ о своей жизни, начинает для того, чтобы тотчас же его прервать. А затем Фрэнк строит свой роман по типу фильма. Фанни как будто молчит, не повествует и автор о жизненном пути хозяйки публичного дома. Кадр за кадром проносятся перед Сэмсоном эпизоды ее многострадальной жизни, прерываемые статическим кадром: комната, стол с бутылками, по сторонам стола — Сэмсон и Фанни и короткие реплики их разговора. Сэмсон, словно зритель в кино, видит и переживает жизнь сводни. Эпизоды не скреплены по канонам литературного повествования, судьба Фанни дана фрагментарно, хронологические планы умышленно смещаются. Несмотря на такую композиционную сложность, мастерство Фрэнка не только обнажает тематические контуры романа, но и заставляет читателя почувствовать огромную взволнованность автора проблемой падения человеческой души и ее воскресения. В прошлом — пьяница муж, сближение с каким-то адвокатом, как «путь в Дамаск», изгнание евангелистом-мужем из дому недостойной жены. На руках ребенок. Приезд в Нью-Йорк. И два процесса параллельных: кривая внешней ее биографии неуклонно идет вниз, пока не упирается в профессию сводни, а душа женщины просветляется неизбежным страданием и в падении очищается. И снова, как и во всех своих романах, Фрэнк переносит анализ в подсознательное, где и разворачивается процесс очищения женской души, экзальтированной и мятущейся между страстями и девической мечтой о чистоте. Линия внешней судьбы приводит Фанни почти на дно Нью-Йорка, а душа ее «падает вверх», обретая право на искупление в боли и в недоуменном вопросе «за что?». И, когда вместе с Сэмсоном Бреннером читатель проходит все

этапы ее жизнеописания, концовка романа не кажется неожиданной: «И вот из изменившихся черт ее родилась улыбка. И эта улыбка сделала их чистыми и четкими, прекрасными и высокими. Свет воссиял в них». Можно не соглашаться с тем методом защиты «падшей», который Фрэнк избрал, покорный своему пристрастию к фрейдяноскому психологизму, но эту защиту он провел мастерски — читатель оправдает Фанни Дёрк.

Но едва ли он оправдает Виргинию — героиню другого романа Фрэнка — «Праздник», а, отказав в оправдании, тем самым осудит то злоупотребление привычным психологическим методом, которое Фрэнк в конце этого романа себе позволил. Стилистически «Праздник» — лучшее из написанного Фрэнком. Неожиданность метафор и сравнений, лексическое богатство, изобретательность в эпитетах, простой, но манерный синтаксис, — эти качества от романа неотъемлемы. Но фрейдяносский компас увел Фрэнка в такие психологические дебри, что последний жест Виргинии — ее отказ выступить в защиту своего возлюбленного-негра, — этот жест, при самом внимательном чтении, кажется неоправданным и художественно неубедительным. От Виргинии многого не требовалось: ей нужно было заявить, что она сама нанесла себе легкую рану ножом, подаренным возлюбленным, — и только. Читатель поймет и художественно оправдает ее истерический надрыв, который повлек за собой нанесение раны, но он останется в недоумении перед концовкой романа, когда Виргиния в прострации лежит у себя в комнате, а за ее окнами озверевшая толпа тащит к ближайшему дереву ее Джона, якобы посягнувшего на ее честь. Верный своему методу, Фрэнк и в «Празднике» показывает, что только совершаемые в подсознании процессы — они одни — обуславливают человеческие поступки. Эти процессы он стремится закрепить; по необходимости их огрубляя, он все же находит для них почти адекватное художественное выражение, как бы ни были неясны полу-эмоции, полу-мысли, входящие в состав человеческого под-

сознания. В целом, «Праздник» не является исключением; если не считать концовки, анализ Фрэнка убедителен, но за то концовка, заключающая узловую психологический пункт романа, говорит об опасности избранного Фрэнком художественного метода. В погоне за фиксацией тончайших изгибов человеческой психологии Фрэнк вел читателя через такие темные и смутные эмоции Виргинии, что читатель их просто не заметил. И, как следствие, — неоправданность жеста Виргинии, а вместе с этим ее осуждение; последнее, быть может, входило в планы Фрэнка; но, опять-таки, ничем автором не было мотивировано.

Этот конец «Праздника» показателен: психологический метод Фрэнка не каждому по руке, и только неоспоримое высокое мастерство (за исключением конца «Праздника») спасает Фрэнка от поражений. Последних он избегает и в сборнике новелл «Квартал», где особо следует отметить новеллу «Начало» с ее героем — пятнадцатилетним чистильщиком сапог, итальянским иммигрантом, Паоло Бенати, раздавленным непонятным Нью-Йорком и кончающим с жизнью счеты. Не меньшей психологической остроты достигает Фрэнк в новелле «Преступление», где женщина Софи Брэддан становится преступницей. Одержимая неутоленным материнским инстинктом, она медленно угасает на глазах мужа, ибо по предписанию врачей ей запрещено иметь ребенка. Однажды подруга оставляет на ее попечении своих детей, и не имеющий исхода материнский инстинкт прорывается у несчастной женщины с сокрушительной силой. В каком-то экстазе она прижимает к груди чужого ребенка и приходит в себя только тогда, когда задуманный ребенок начинает холодеть.

Эмоции героев «Квартала» звучат в таком же, как у Софи Брэддан, высоком, экстагическом регистре. Каждый квартал — Вавилон, и живут в этом Вавилоне люди, раздавленные мировым городом, как и чистильщик сапог Паоло Бенати. Средние, рядовые люди, обреченные страданию, — слабые мужчины и женщины, которым не по силам борь-

ба за жизнь и не по вкусу идеалы Пятой авеню. Действовать они не могут — слишком слабы. Не могут они надеяться, ибо не умеют смеяться. У них остается одно убежище — уход в мечту. Мечтой одержимые, они теряют чувство реальности, а, возвращаясь в реальный мир, наполняют его теми галлюцинациями, среди которых жили в мечте. Напряженно-бредовая жизнь течет в кварталах, открытых Фрэнком, — жизнь людей, бесцельных для борьбы, замкнувшихся в безумие мечтательности и взывающих к нашему состраданию. С подлинной виртуозностью обнажил Фрэнк душевное подполье этих обитателей «City Block», и если бы пришлось из всей американской литературы выбрать одну единственную книгу, напоминающую многие страницы Достоевского, — избранной оказалась бы «Квартал».

5

Стиль Фрэнка для Америки является открытием. Подробный его анализ, разумеется, выходит за рамки очерка, но если даже измерять Фрэнка не на американский, а на европейский масштаб, — придется признать, что вождь молодой Америки выдерживает сравнение с лучшими современными чеканщиками фразы. Мы не исключаем возможности влияния на Фрэнка автора «*Sur les quais de la Vilette*» — Жюль Ромэна. Выше упоминалось о том, что Фрэнк «открыл» Америке Ромэна, одного из немногих французов, приглашенных Фрэнком сотрудничать в «Семи Искусствах». Стилистическое влияние Ромэна сказалось в пристрастии Фрэнка к изысканным метафорам и к сравнениям, сближаемым по ассоциативным связям, которые нелегко прощупать. Жюль Ромэн любил и умел лепить фразу, не впадая в манерность Жироуду и надуманность Сандрара. Такая фраза, как: «Стол у него был на высоте пупка. И группа приятелей тянулась к нему, как светильня к своему пламени. И в мягкую ночь двойным сошником они врезывали радость» («*Les sorains*»), либо из «*Доногоо*»: «Уступая дружескому давлению, все-

ленная отказывается на один вечер от своей протяженности (*sa façon d'être*) и от всех своих привычек», — эти фразы, характерные для Ромэна, перефразируются, например, с такой фразой Фрэнка: «Рассвет разбил Назарет на мириады вещей. Каждая вещь шевелилась вместе с солнцем» («*Holiday*», р. 73. Цитаты из «Праздника» мы даем в точном переводе А. В. Кривцовой, изд. ЗИФ), либо с великолепным абзацем: «Белый Назарет тянется к бухте. Главная улица настойчиво суживается. Магазины, с фасада затянутые в жель, теряют свою гордость и — наполовину — свое бытие. Красная улица опускается, и вся воля ее направлена к бухте. Магазины, битком набитые, более лицемерны. Улица звенит. Это — какофония кавав и извилистых желобов» (*ibid.*, р. 31).

Сближаясь с Ромэном образной насыщенностью каждой фразы и основным своим стилистическим приемом — анимизацией вещного мира (фитиль, который тянется к пламени, и вселенная, отказывающаяся от своих привычек, — у Ромэна; живые вещи и воля Назарета — у Фрэнка), Фрэнк резко отличен от французского мастера тем жестом, с каким он подает образы. У француза легкая ироника («пупок» и «дружеское давление»), у американца — прекрасный серьез. Особо ярко сказывается это различие хотя бы по сопоставлению отрывка из «Темной матери» с приведенной из «Доногоо» фразой. В нем, в этом отрывке, Фрэнк тоже говорит о вселенной. «Вселенная — темная мать. Ночь мировых чудес — темная мать. В бесчисленных направлениях она проводит бесконечные тропы. Она недвижна. А он (Дэвид) — в ней и движется вместе с ней к недвижности рождения. Дэвид был нерожден. Но его рот высасывал мечту. Высасывая ночь, высасывал мечту. Он снова спал. Спал долго... Года. Но он жил». Вместо иронии Ромэна — патетика. Фрэнк не любит юмора и избегает иронии. Его неожиданные метафоры и сравнения никогда не выводят в улыбку. Как и Казимир Эдшмид, он всегда серьезен и с уверенностью подлинного мастера разбивает клише.

Его эпитеты не менее остры, чем эпитеты вождя экспрессионизма: «Она тащилась сквозь ослепительный, розовый снег» («Dark Mother»), и дальше: «Холодный, гладкий, как лед, мир замыкается перед глазами Джона... Мир не красный, он — лед; это мир, в котором ничто живое расти не может, мир, с'еживающийся и коченеющий, мир, где жизнь, как огонь, пробивается наружу, страстная, одинокая, прожигая дыры в темном саване смерти» («Holiday»). «Толпа разбивается на составные части. Это — толпа созревающая» (ibid.). Сравнения его поражают неожиданностью: «Под ней была великая пустота, в которой звуки дверей, шагов и слов, грохот экипажей бились, как маленькие целлулоидные шарики в огромном глухом котле...» («Rahab»). Ее руки свосились, как свешиваются головы зарезанных кур» (ibid.). «Улицы неслышно поворачивали углы. Площади за ними были приглашением, как рука раскрытая или разжатый рот» (ibid.). «Словно большая яремная жила, дорога истекает кровью, вползая на холм» («Holiday»). «Рана, как рот младенца, сосет ее грудь» (ibid.). «Она видит мол... Песок движется. Песок, это — щека смеющегося бога» (ibid.). «Город рассеялся по сморщенной улице, сухой, как щиток архаического жука, из которого просочилась черная кровь» (ibid.). Больше, чем Ромэн, больше, чем Эдшмид, любит Фрэнк метафоры, всегда парадоксальные и никогда не манерные: «Они ощущали ночь. Была она чистая и хрупкая, как скрипка. Издавала звук острый, проникаемый, деревянные. Сплетала свои голоса в шелковый канат. Это была темная, пылающая скрипка» («Rahab»). «Снова она была морем, взбалмученным ветрами ее дилеммы» («Dark Mother»). «Вестибюль — холодное молчание, которому ноги говорили со страхом» («City Block»). «Каждая частица его тела, к которой он прикасается, одеваясь... но-

ги, грудь, руки... отвечает, как колокол, на металлический зов свободы» («Holiday»). «Шатер (скиния. Е. Л.) отвратительно бел: слизистый мехок с паучьиными яйцами... мириады черных живых точек, которые хотят карабкаться, хотят расползаться» (ibid.). «Крик мула на миг заостряет небесную тишину. Шаги Джона оттеняют пурпурную неподвижность мпра» (ibid.).

Великолепные характеристики из «Нашей Америки» мы приводили выше. Ни на момент не ослабляет Фрэнк своего внимания к изобразительной стороне языка. Фигурами его можно было бы заполнить ровно столько книг, сколько он написал. Его проза часто превращается в ритмическую, как в экспозиции к «Rahab»:

Он чувствовал: Я исчезаю.
Молчание, как свет,
Почет на нас.
Как свет, колеблющееся молчание
На словах почует,
И будут слова, колеблемые в свете,
И будут просветленные слова.

Анализ образной и фонетической стороны Фрэнка — предмет специального исследования. Американские критики пока ограничиваются общими фразами, касаясь особенностей его стилистического мастерства. К примеру, Юджин Лайонс отзывается так: «Стиль Вальдо Фрэнка подобен стране, которую он описывает. Цветущий, словно девственные прерии, а часто скупой и обрывистый (staccato), словно Скалистые Горы. Эффект — удивительный. Или Эдна МакКурт: «Основные характерные черты его стиля — ритмичность, крайне простая структура фразы, тонкие, едва различимые аллитерации и ни а г а р а метафор». Можно думать, что в непродолжительном времени американские исследователи займутся более подробным анализом стилистических особенностей Фрэнка, показавшего Америке новую для нее манеру письма.

3. КЕНОЗЕРО

Валентина Дынник

На Кенозере белые почп. После бархатных ночей Украины они томят какой-то недовершенностью своего покоя. В молочно-бледном остывшем воздухе слышнее всплески весла, крепче пахнет сырой песок кенозерских наволоков. Но видно почти как днем, и только острые углы колодезных журавлей да деревянные рамы—«вешалá», на которых приходится здесь сушить овес,—стали совсем темные, как нарисованные тушью. Настоящая,—черная, как полагается,—ночь только там, в заповедных рощах: на берегах давно вырублены леса, давно сплавлены столетние стволы по весеннему половодью рек, давно сожжены и выкорчеваны под «пожню» даже жидкие поросли, но старые рощи стоят у воды, охраняемые древним, еще языческим суеверием.

Руки устали от гребли. Отдаю весла лодочникам. Перегибаюсь через борт и слушаю, как между пальцев поет вода. В такие ночи хорошо, должно быть, думать о несбывшейся любви или ловить рыбу. Кенозеры, конечно, занимают преимущественно последним. У островов и на открытой воде часами полощутся рыбацкие лодки. Несколько девок в смазных сапогах прозвенят нам в догонку частушкой, и не успеешь ответить, как они уже забыли о нас и бросают друг другу короткие, по-деловому отрывистые слова: подлаживают сети. Наши лодочницы сидят рядом, на одной паре весел. Не переставая грести короткими взмахами, они беспокойно вглядываются в темную зелень острова: оттуда плывет густой коровий рев,—хорошо еще, если только комары одолели, а то, может, и медведь гуляет. Кенозеры в постоянной тревоге за свое стадо. В деревне держать нельзя, пасты негде, приходится отвозить каждое лето на острова, в дальние низкорослые суземки. А там медведь то-и-дело режет скотину. Бабы причитают, мужики сокрушенно ругаются, но никто не возьмется за ружье—нет здесь настоящих охотников. Только и ограждаются пастушьими берегами—«от-

пусками». Пастух без «отпуска»—пе пастух. В Вершинине перед самым нашим приездом подрядили нового чужаго пастуха: кто-то взял у прежнего его трубу, а от этого «отпуск» теряет всю силу. Старый пастух покорно сдал свое стадо и пошел к «знающему» человеку добывать себе новый «отпуск»—засаленный бумажный лоскуток.

Наша лодка мягко прошуршала по песчаному берегу. Видна вся деревня, до самого погоста. В ночном, чуть приглушенном свете как-то еще необычнее—необычная и днем—нарядная красота деревянной резьбы, точеных балюсин у балконов и, над балконами, золотисто-лазоревого росписи подзоров: небо и частые звезды. К себе—в старую, земской стройки школу—пробираемся кратчайшим путем, между досок полуразрушенного забора. По узкой тропинке ступаем осторожно, как в детской, боимся попасть ногой в огород. Собственно говоря, это сентиментальность—из огорода все равно проку не будет: в самый разгар на редкость теплого лета на этом школьном ребьячем огороде торчат из земли только тощие зеленые хвостики, похожие на косицы деревенских девчонок. Но хвостики выросли под детскую песню,—так пускай растут.

Крепче, чем всегда, хочется спать после покачиваний неторопливой лодки и прохладной сырости задувшего под утро сиверка. Отгородившись каким-то «наглядным пособием» и черной доской с полустертými меловыми каракулями, мирно засыпаю под елисаветинским шрифтом лозунга: «Да здравствует Красная армия».

Назавтра озеро зацвело бабьими сарафанами—алыми штофниками, желтосиними атласниками. Цветные пятна медленно подплывают к берегу, и, хрустя добротными, «досюльными» шелками, показав из под круто приподнятых оборок не по-женски огромный сапог, гости уверенно высикакивают на мокрый песок. Петров день начался. Вокруг кладбищенской ограды деревян-

ные ларьки с несложным ярмарочным ассортиментом: архангельские конфеты, местные плохо пропеченные пряники и кожа. Неподалеку, в кооперативе звенят косы. Покупатели осмотрительно и долго выбирают, пробуют блестящий нож на палец, на волосы и, наконец, с довольным видом уносят свою покупку,—деловая часть праздника выполнена, теперь можно и погулять. У погоста людское месиво. В церкви—старческий говор священника, ладан, несколько женских фигур с высокими талиями, пахнущих старым сундуком,—но и туда уже донеслись первые пробные переборы гармонии. Все веселее девичья карусель вокруг ограды. Все чаще раскрываются двери изб, выбрасывая струю прелой прогорклой затухоли, и приезжие парни, отгостив у родных, слегка валкой походкой направляются к гульбищу. За визгом и подсолнечным лузгом почти не слышно, как шумит вечеряющее озеро.

Вот и кончается бедный деревенский праздник. Неугомонные озорники долгие еще будут разгуливать по опустелой улице, гремя руганью и поблескивая ножами. Но домовитые хозяйки уже прячут в крашенные шкафчики свои парадные фарфоровые чашки со старым, еще кузнецовским клеймом. А молодые рыбацки тут же, у «байны», снимают сарафаны и надевают синие рабочие «печатники»: пора на ловлю. За улывающими лодками гостей залпескали веслами и скромные рыбацки лодки, и вот праздник только и остался, что в этих, взлетающих с веслами, женских голосах:

Посмотри-ка, родна матушка,
Есть на улице диковинка,
Диковинка, сера козынька.

У козы-то, маменька, не козыя стать:
У козы, мамаша, с галошами сапоги.
Кабы эту серу козыньку
Ко батюшке на подворьце,
Ко матушке в нову горницу,
Ко мне, младой, на тесовую кровать.
Я б не стала бы ни спать, ни дремать,
Я бы стала серу козу целовать...

Но весла работают по-будничному сосредоточенно, и коричневые руки уже распутывают многосаженные сети, чтобы на берестяных поплавах «тортушках» спустить их в озерную прохладу.

А у нас в школе еще гости. Впрочем, гости у нас каждый вечер, не только по праздникам. «Бабий телефон» в один день разнес по лахтам и наволокам, по всему изборужденному берегу Кенозера весть о прибытии «телеграфистов», записывающих песни и старинны. Превжних собирателей не раз принимали за антихристов, чертей, колдунов. На нас тоже поглядывали с опаской, но уже менее мистической: не по поводу ли мы продналога. А затем успокоились и на этот счет. Тогда потянулись к нам гости, сначала молодежь, за нею старики и старухи. Фонограф встретил доверие и даже восторг. Старухи пели в картонный рупор со смелостью подлинных артисток. И только кой-кто называл его сакраментальным именем «Он», да одна восьмидесятилетняя певица усомнилась, не грешно ли петь в машину постом. Но когда труба, с граммофонной хрипотцей, обратно выбрасывала напетые слова, все одобрительно примолкали, сказители одинаковым движением прикладывали к уху ладопь и с веселым удивлением моргали подслеповатыми глазами:

— Да он лучше нас поет. Молодцы профессора!

И раннее изобретение Эдиссона, еще 70-х годов прошлого века, было принято деревней, как верный признак нашего ученого всемогущества. Когда один из нас назвал по имени какого-то парня, пришедшего из чужой деревни, тот ни за что не хотел поверить, что имя сообщили здешние, деревенские, и все лукаво подмигивал:

— Знаю уж, не рассказывайте. У вас, верно, такая машинка есть, чтоб имена узнавать. Мы тоже кой-что понимаем.

Взмывает к высокому потолку девичья песня. Школьная сторожиха, осторожно ступая босыми ногами, третий раз уже вносит зазеленелый двухведерный самовар. Правду сказать, ипогда устаешь от наших гостей, от их деревенской неторопливости. И не только вечером: по утрам, если мы остаемся дома, не раз и не два с вежливым, тихим скрипом открывается дверь, и, пока мы работаем, сверяя тексты, на отдалении часами стоит или сидит песколько молчаливых фигур в

созерцательной неподвижности. Кенозеры умеют работать настойчиво и по-своему ладно, но отдыхать, но проводить свой досуг они еще не умеют. Там, где молодежь поуходила «в бурлаки», на заработки, избы-читальни хранят неблагоприятную тишину, и лишь пытливый школьник иногда вспугнет у дверей задремавшую на посту старуху. Та торопливо задергает сплцами, но через минуту недовязанный чулок уже опять мирно опускается на старушечьи колени.

Бабье развлечение—только в песне. А из вершиницких песельниц—лучшая Матрена Александровна, наш добрый друг и верная почитательница. Пошли мы к ней сейчас же по приезде,—вся деревня указала нам на нее. Взошли на высокое, уже шаткое крыльцо, подеревенски, без стука, толкнули дверь,—запахло хлебом и новорожденным ребенком. Матрена Александровна, видно, только что вернулась «с пожни». Хватким движением стянула она с головы темный в крапинках платок, чуть приоткрыла висящую над люлькой старую ситцевую юбку, несколько раз качнула завозившегося внука и зашуршала к нам по некрашенному полу маленькими, до черноты заглубелыми ступнями:

— Пospела, значит. Пошла я за травой, а навстречу бабы идут, говорят,—заставай, там к тебе городские пошли, песни списывать. Так я—откуда рысь взялась,—весело объясняет она, вправляя еще не седые волосы под красный повойник.

Повойник-то прежде всего и привлек наше внимание. По Кенозеру их встречаешь уже не так часто, и красный кумач бабушкиных уборов переходит в руки внукам—на куклы. Но на повойнике Матрены Александровны отпечатан какой-то рисунок,—присмотрелись: земной шар в мелкой клетке меридианов и параллелей, а над ним, перевитая колосьями, надпись: «1 Мая—смотри сил мирового пролетариата». Матрена Александровна смущенно улыбнулась:

— Это у нас пионерам раздавали, так я из двух ляпаков себе повойник сшила. Все покрасивее, чем простой кумач.

С тех пор поваля наша знакомая каждый почти вечер приходила к нам в школу, спела нам «для науки» все свои бабьи, жалостливые былинки—про Василия и Софьюшку, про братьев-разбойников, про злую свекровь, спела и стих об Олисафии:

Повезли девицу далекошенько,
Ко Валдай-горы да ко лютóй змеи,
Ко лютóму змею да на с'еденьицё,
Ко пещерьскому зверю да на покрепь
ицё,—

Оставляли девицу да у дна моря,
Жалобнешенько ёна расплакалась,
Поезжал тут Егорий Храбрый:
— Поищи-ко, дитя, во головушке!

А потом, уже не для науки, а просто «для души» (песен мы не записывали), затягивала, с хором шестидесятилетних своих подруг, «Голубоцька» или «Смоленско Кладбище».

Приходили к нам и рыбаки, жаловались, с какой-то тайной надеждой на помощь, что рыба в озере убывает, а если и наловишь,—в удачный год,—все равно некуда сбыть, железная дорога почти за двести верст: «Вы бы там похлопотали насчет ветки от Нядомы, ваше дело городское!»—А после, поставив яловочный, выше колена, сапог на отполированное временен, длинное гузно рыбачьей прялки, показывали нам, как надо плести калеги, переметы, рижевицы. Всякой сети свое назначение: перемет — на сига, окуня, плотву, рижевица—на щуку и язя. Всякой сети свое время: рижевица только три недели и ловит—как щука пройдет, икру выметет, так больше и не забрасываешь до будущего года. Деревянная шуйка учительно-медленно овивает узкую доску ровным переплетом петель, а я все не могу подсчитать, сколько же раз должна нырнуть в затверделых стариковских пальцах эта гигантская игла, чтобы выплести, наконец, как-будто и немудреную рыбацью снасть.—«Да, работа не скорая.—Девки все артелью плетут. Так артелью и рыбу ловят. Все больше по четверо. С кем плетут, с тем и ловят»,—не подымая глаз от сети, раздельно говорит старик и затягивает тугие узлы, словно ставит точки.

Приходили к нам и с разоблачениями:—«Строчи, гражданка! Стеногра-

фия,—председатель у нас кулак, его раз'яснить надо»,—с хмельным упорством пристает ко мне какой-то приехавший на праздник дальний мужичонка, уже успевший к концу дня нагуляться до высшего градуса благородной откровенности. Кто-то протягивает ему недопитую рюмку нашего скромного угощенья:

— Пей, если не брезгуешь.

— Чего брезгать-то, ведь эта наша РСФСР. А вы, папаша, откуда?—И, найдя нового собеседника, забывает о борьбе с кулачеством.

Среди глухой деревни, закоснелой, закостенелой в давнем, по-своему завершенном, но полудикарском укладе, среди заболоченных пустошей, отделенных от культуры самым трудным препятствием — бездорожьем, среди упорных в труде, но упорных и в невежестве, селяниновичей, из года в год подправляющих самодельные первобытные сохи, из года в год ладящих из еловых ветвей свои бороны-суковатки (порою даже без гвоздей, на вьцах), среди постных старух, нашептывающих «на ногу» «красулюшкам и воронеюшкам» от «сирцёвы и ногтёвы, и нутряного припадка»,—трудно и медленно прорастает новая, деревенская интеллигенция. Да как-будто с нашей, городской точки зрения, и интеллигенцией ее назвать трудно, она корява в мыслях, в словах и в письме. Но она, как умеет, работает, и только ею сейчас и держится деревня. И, право же, можно простить кенозерским исполкомщикам их полуграмотность, на фоне деревни и полуграмотность уже завоевание. В Немытове одна старуха, отказавшаяся нам петь, потому что еще с болезни «обещание положено голосу не показывать», долго смотрела на наши тетради:

— Вот и в исполкоме все пишут. Не знаешь трем псам воды розлить, а к ним иридешь,—они тебе все дотогошно разыщут, листочек к листочку приколют. И как это еретики дела не спугают?!

«Еретики»-то, положим, иногда и путают, но неизмеримо меньше, чем в первые годы.

Рядом с высокими, старого покрова картузами, рядом с москвошвейными кепи, неожиданным пятном кажется грязно-серая фетровая шляпа, а под нею странный ее владелец, уже стареющий помещичий сын, неведомо как попавший в этот заболоченный край из южного приволья. Со скромным, но многозначительным видом протискивается он к нам в комнату, подчеркнуто-независимо пожимает нам руки, с опасливой решительностью запойного отказывается от рюмки и заводит разговор о своем знакомстве с Горьким. Но, все равно, имя Горького без того пришло нам на ум: персонаж кажется списанным с давних сборников «Знания». Однако эта литературная старомодность как-то живет, чем-то живет. Нам не пришлось и выпрашивать. В пять минут, забыв в руках стынущий стакан чая, рассказывает нам бывший человек о том, что у него еще осталась хорошая скрипка, что женат он на крестьянке, и жена ведет все хозяйство, что сам он занят изобретением усовершенствованного фотографического аппарата, снимающего при помощи обыкновенного очкового стекла, аппарат почти готов, остались детали:

— Докажу, что ум русский лучше заграничного.

И, возбужденный разговором, опять поверивший в себя, долго еще сидит за столом, и, не видя, смотрит в зарозовевшее окно, на прохладно-сверкающее озеро. Уже ушли степенно-дряхлой походкой, осторожно передвигая палку, девяностолетние розовые и коричневые старички-сказители, уже скромно и не по-городскому плавно, в своих длинных, бьющих по пяткам юбках, пропылили к дверям молчаливые девки, и тут же за дверью, сразу, словно сговорившись, хихикнули,—только тогда начинает прощаться и захолустный изобретатель.

А нам пора уже складывать свои чемоданы,—завтра в дорогу. Одолев измятые и словно распухшие вещи, втиснув их под кожаную крышку, удовлетворенно сажусь на чемодан и оглядываю приютившую нас классную комнату. Непохожий на себя Луначарский приосанивается из-под красного

бумажного венка. Стены оклеены старыми учебниками. Жирным шрифтом «слова па ять»; колонками берковцы, четверики и гарницы; под плакатом «Наша школа—путь к социализму» купец Иванов из задачника Евтушевского невозмутимо и как-то очень сложно продает купцу Петрову цыбники чая, а рядом кто-то заботливо настаивает, что, «смотря по чину и званию, пишутся различные адреса и обращения к лицам», что в письме к светлейшему князю надо подписываться: «преданнейший слуга», к «князю, не имеющему титула светлости»,—«всепокорнейший».

Утром школьницы уже запели на огороде, у нас под окнами, когда мы, снарядившись в дорогу, постучались в комнату учительницы. Она вышла к нам, бойко пожала руки и стала у дверей. Из-за ее плеча застенчиво улыбался муж—секретарь исполкома. И рядом с сухонькой фигуркой, в которой больше было отцветшего девичества, чем женского цветения, странным казался этот безусый, неотесанный парень, пахнущий дегтем. «Идейный брак»—пришло мне в голову излюбленное когда-то выражение. Но сейчас наоборот: жена «поднимает до себя» своего мужа, а тот с усердием слушает каждое ее слово и дает ей для исправления свои тетрадки. Не знаю, вполне ли это заменяет им любовь, но в исполкоме довольны: заметно грамотней ведутся протоколы, и нет бюрократизма: сегодня бумага получена, а на завтра уже ответ готов.

Деревня нас не провожала: все на сенокосе. Только ребятишки что-то прокартавили нам в догонку.

Проплываем мимо Тихвинской рощи. Сумрачно и неподвижно нависли серые от старости сосновые ветки над высоким округлым бугром, — должно быть, финский могильник. Из-за бугра выглядывает крест деревянной ветхой часовни. Кусты остановились высоко над водой; дальше берег осыпался, и голая глыба нависла над осыпью многослойным разноцветным срезом. Какие племена оставили свой след в этих бурых, изжелта-красных, иссиня-серых слоях?

Опять зеленые острова, провожающие нас дружным коровьим мыком. Опять просмоленные лодки—уже не с ловли, а с сенокоса. Узнаем расстояние по знакомым приметам: вот длинный Конь-камень, выгнутый сивой лошадиной спиной, вот, потемнее, Казимир-камень. Кенозеры уже не помнят о беспокойном чужеземце, занесенном, вероятно, сюда волною Смутного времени, оставившем здесь свои кости и нерусское имя,—зато всякий лодочник хорошо знает, что от Казимира-камня ровно полпути до Першлахты.

Везет нас Матрена Александровна и другая наша знакомая—еще молодая делегатка, работница женотдела. Они согласно и круто поворачивают лодку, бросают весла, и волна выносит нас на песок, у самого Казимира-камня. Теперь можно и выкупаться. Осторожно входят они худыми лоснящимися от загара ногами в воду, умывают запотевшее лицо, — и уже сидят на берегу, хозяйственно развязали ситцевые узелки и срезают ячменную корку со свежих, испеченных в дороге рыбок. Дают они рыбак и мне. Признаться, только по виду нравятся мне эти вылепленные в форме рыбы пироги: делаются они наскоро, особенно сейчас, в рабочую пору, рыба запекается в тесто целиком—с чешуей и внутренностями. Но в этом убогом краю и такое блюдо считается лакомым. Надо есть, а то обидишь. Отважно кладу в рот костистый кусок—он с душиком. Обе мои приятельницы уже удовлетворенно стряхивают с колен темные крошки. Ждут с купанья наших спутников, надо грести дальше. А пока Матрена Александровна на прощанье сообщает мне свои испытанные при-сухи и отсухи.

— Выйду не благословясь, пойду не перекрестясь, не дверями, не избой, а мышшей тропой, печьным окном...—раздельно, чтоб можно было запомнить, шепчут старые, уже побледневшие губы, а вздернутый нос лукаво смотрит на меня широкими ноздрями, и глаза блестят женской солидарностью.—Лучше запиши, а то забудешь. Может, пригодится.

Делегатка грустно улыбается. Уже три года, как ее бросил муж, и она на себе самой испытала бессилие деревенских заговоров. Только и осталось, что трое детей, да слишком просторная для скудного хозяйства изба, да волостные и уездные с'езды, где ее уже уважительно называют по имени-отчеству. Но сейчас она только улыбнулась и промолчала: Матрену Александровну не разубедишь, свои заговоры она знает еще с детства, от бабки, и слова про «опиум» на нее не действуют.

Пора и в лодку. Еще полдня,—и мы у устья Кены. Матрепа Александровна вкусно целуется и дает мне на прощанье старинный поясок.—Ручной работы плотная шелковая лента, и по блеклой ее желтизне черным узором вытканы старопечатные буквы. Тяну конец за голубую кисточку и читаю трогательные в старомодной своей напыщенности слова, искусно, хотя и без точек и запятых, запечатленные какой-нибудь мастерицей-скрытницей на этом когда-то ярком пояске когда-то молодой женщины: «Законным браком соединена любезная чета быть счастлива спокойна приятна весела судьбой своей довольна супругу век мила цвети алей в здорвьи как нежная роза носители щастливых как плодная лоза почтеннейшая Фекла Ильична нежная асоба носи ни теряй любви непрестай».

— Это еще теткин,—объяснила Матрена Александровна. Но мне как-то не захотелось расспрашивать о судьбе «почтеннейшей Феклы Ильичны»: я не любительница антитез.

Дальше, по Кене и Онеге в лодке сейчас не проплывешь; сплавливают лес, и бревнами загроздило и без того неудобные, уже по-летнему мелководные реки. На плоту, при слиянии Кены с озером, дощатая «харчевая»—маленькая фактория Русснорвеголеса. Человек сорок сплавщиков сидят на песке, дожидаются ужина. Только двое стрательных новичков все еще бегают по берегу, отталкивая баграми желтые трупы деревьев. Мы знакомимся со сплавщиками, рассказываем друг другу, кто мы такие. Сплавщики все кенорецкие, из ближних деревень. Торча-

щий из потрескавшегося экспедиционного портфеля зеленый уголок карты искусительно притягивает взгляды нескольких грамотеев. Карта вынута, и они, налегая друг другу на плечи, разскидывают серые и черные точки, севшие вдоль тонкой извилистой линии—Кены. «Наша-то деревня есть?» Кто-то своей точки так и не нашел.—«Эх, еще вы гордитесь своим положением, а вас и в плану-то нету». Затем они смотрят по карте, куда плывут их бревна: вот Кена, Онега, а дальше и за границу. Запахло разварной треской, и карта опять уложена в портфель.

А через день наши лошади уже бежали по твердой, хорошо подсушенной за лето дороге, уже обмахивались хвостами от комаров и поворачивали серьезные морды направо, лоя прохладный ветерок с Онеги. В просветах между зарослями, за маленькими полянами, розовато-лиловыми от иванчая, проплывали густой и медленной струей все те же голые желтые бревна.

Еще день,—и мы опять бросаем наши вещи на широкое устланное соломой дно лодки. Плыдем по Моше до станции Шалакуши. С берегов горьковато пахнет сенокосом. Моша узка, и оба берега совсем близко. Впереди, в полуверсте от нас, неслышно скользит по воде маленькая темная лодка; в ней стоит высокий, серый, как лодка, человек и отталкивается веслом от берега. Его лодка бежит вдоль береговой, еще не скошенной травы. Я узнаю с детства привычную картину: так плавают майн-ридовские индейцы. Так плавала здесь, по этим же рекам, уже совсем почти забытая даже былинными «белоглазая чудь». Забытая, но не исчезнувшая бесследно: до сих пор еще еще звучат в том краю пазванья рек и реченок: Лелма, Изакша, Нелзюга, Моша...

Осторожно подвигается в лодка по обмелевшей воде. Впереди, не исчезая и не давая себя догнать, настойчивой тенью скользит серый человек. Откуда-то издалека—и так неожиданно для чахлого и дикого пейзажа—прогудел паровоз. Лодочница оглянулась, крепче дернула весла и, подняв на нас белесые ресницы, пропелсявила: «Шалакуша».

4. Т И Б Е Т

Путешественник П. Козлов

I

В настоящее время для путешественников по Азии самым интересным районом является район Тибета.

Тибет — высокий, суровый, холодный, мало доступный край. Тибет по своей недоступности и изолированности может равняться только с Северным Полюсом. Первый манит исследователя своей оригинальной природой и, может быть, еще больше — таинственным буддийским центром — Ахасой с его высоким перерожденцем бодисатвы Арья-балло — Далай-ламой. Второй все еще продолжает привлекать к себе океанографов своим географическим положением, своей математической точкой, в которой сходятся все меридианы мира. К Тибету и к Северному Полюсу стремились и продолжают стремиться по большей части фанатически путешественники и в меньшей мере путешественники-спортсмены. В то время, когда исследователи Тибета указывали на километры или версты, отделявшие их от заветной цели, мореплаватели фиксировали свое проникновение на север отсчетом градусов, минут и секунд, проложенных среди вечных льдов и полярной ночи. В запретную дверь Тибета стучались многие, но немногим из них удалось в нее проникнуть.

И все же Тибет, Тибетское нагорье покрыто сетью маршрутов: на севере преимущественно русских путешественников, на юге — английских, на востоке и западе тех и других, с большим включением шведских, немецких, французских и даже американских исследователей. В Тибет, кроме того, проникли индийские пандиты и забайкальские паломники. Ученый мир знает о Тибете многое. Литература о нем растет. Достаточно взглянуть на капитальный труд — сводку литературных данных о Тибете М. В. Кюнера, чтобы убедиться в справедливости сказанного. Кому не известны имена географов-

путешественников: Пржевальского, Потанина, Грум-Гржимайло, Роборовского, Богдановича, Кэри, Литльдель, Йенгхёсбэнд, Бонвало с Принцем Орлеан, Свен-Година, Рогхилия, Тафеля, Фильхнера, и имена Сарат-Чандра-Даса и Цыбикова.

II

Бросим общий взгляд на Тибет, на эту все еще загадочную страну, ее природу, население, административное деление, тибетский ватикан — Лхасу, и его папу — Далай-ламу.

«Грандиозная природа Азии, проявляющаяся то в виде бесконечных лесов и тундр Сибири, то безводных пустынь Гоби, то громадных горных хребтов внутри материка и тысячеверстных рек, стекающих отсюда во все стороны, — ознаменовала себя тем же духом подавляющей массивности и в обширном нагорье, наполняющем южную половину центральной части этого континента и известном под именем Тибета. Резко ограниченная со всех сторон первостепенными горными хребтами, названная страна представляет собою, в форме неправильной трапеции, грандиозную, нигде более на земном шаре в таких размерах не повторяющуюся, столовидную массу, поднятую над уровнем моря, за исключением лишь немногих окраин, на страшную высоту 3962 — 4572 метра. И на этом гигантском пьедестале громоздятся, сверх того, обширные горные хребты, правда, относительно невысокие внутри страны, но зато на ее окраинах раздвигающиеся самыми могучими формами диких альпов. Словно стерегут здесь эти великаны трудно доступный мир заоблачных нагорий, неприветливых для человека по своей природе и климату и в большей части еще совершенно неведомых для науки».

Тибетское нагорье, где покоятся колыбели рек — Инда, Брамалутры, Салдена, Меконга, Голубой, Желтой, раскинулось, действительно, на громад-

ное пространство. Доступное, приблизительно, в средней своей части, в направлении от извилины Брамалутры на Куку-нор, влиянию юго-западного муссона Индийского океана, оно в этом районе летом богато атмосферными осадками. Далее, на запад, нагорье еще более возвышается, выравнивается, сухость климата постепенно увеличивается, и травянистый степной покров высокого плато сменяется щебне-галетной пустыней, справедливо называемой «мертвой землей». По мере же удаления от упомянутой климатической диагонали на восток и юг, по мере того, как реки, стремящиеся в эти стороны, вырастают в могучие водные артерии, нагорье Тибета все больше и больше размывается, переходя последовательно в горно-альпийскую страну. Долины рек, мрачные ущелья и теснины чередуются здесь с водоразделенными гребнями гор. Дороги или тропы то спускаются вниз, то ведут вновь на страшные — относительные и абсолютные — высоты. Мягкость и суровость климата, пышные и жалкие растительные зоны, жилища людей и безжизненные вершины величественных хребтов — часто сменяются перед глазами путешественника. У ног его развертываются или чудные панорамы гор, или кругозор до крайности стесняется скалистыми боками ущелья, куда путник спускается из-за облачной выси; внизу он слышит несмолкаемый шум, по большей части, голубых пенящихся вод, тогда как наверху тишина нарушается лишь завыванием ветра и бури.

В северной части Тибета расстилается высокое холодное плато. Спокойный, мягко-волнистый рельеф, прикрытый характерной степной растительностью, изобилует оригинальными представителями животного царства: дикими яками, антилопами оронго и ада, дикими ослами и другими, приспособленными к разреженному воздуху и климатическим невзгодам, копытными. Рядом с травоядными, на соседних глинистых увалах, во множестве населенных пищуками, бродят тибетские медведи, не только в одиночку, но нередко и компанией в два-три пищеухода. Окраска шерсти тибетского мед-

ведя сильно варьирует от черного до чалого и ярко-светлого, чтобы не сказать белого. На речках и озерах летом держится много плавающих и голенастых пернатых; среди первых наибольшего внимания заслуживает индийский гусь, и среди вторых — черношейный журавль, открытый Н. М. Пржевальским.

Кочевники-тибетцы, появляющиеся здесь лишь изредка в виде охотников, золотоискателей или просто грабителей-разбойников, не нарушают привольной жизни млекопитающих. Путешественнику в этих местах нужно быть крайне осмотрительным, чтобы не подвергнуть себя неприятным случайностям.

В летнее время в рассматриваемой части Тибетского нагорья погода характеризуется преобладающей облачностью, обилием атмосферных осадков, выпадающих в виде снежной крупы, снега и дождя. Ночной минимум температуры частенько ниже нуля. Однако, несмотря на все это, местная флора, веками приспособленная к борьбе за существование, произрастает сравнительно успешно, и в теплые солнечные дни ласкает взор своим ярким колером.

В другие времена года погода на севере Тибетского нагорья выражается господствующими с запада сильными бурями, в особенности весной, а, кроме того, несмотря на столь южное положение страны, соответственно низкой температурой и крайнею сухостью атмосферы; результатом этой сухости воздуха является почти полное отсутствие снега в долинах даже зимой (иначе было бы невозможно существование здесь многочисленных стад диких млекопитающих).

В южной части Тибетского нагорья характер местности круто изменяется: к голубой выси неба поднимаются скалистые цепи гор, между которыми глубоко залегает лабиринт ущелий с стремительно бегущими по ним ручьями и речками. В замечательно красивую, дивную гармонию сливаются картины диких скал, по которым там и сям лепятся роскошные рододендроны, а пониже — ель, древовидный можжевельник; на дно, к берегам рек сбегает ди-

кий абрикос, яблони, красные и белые рябины,—все это перемешано массою разнообразнейших кустарников и высокими травами. В альпах малят к себе голубые, синие, розовые, сиреневые ковры цветов из незабудок, генциан, хохлаток, *Saussurea*, мытников, камнеломок и других. По лесным, каменистым склонам кое-где красиво ниспадают тенистые, искрящиеся на солнце водопады.

В глубоких, словно спрятанных в высоких горах, ущельях водятся красивые пестрые леопарды, рыси, несколько видов более мелких кошек, медведи, волки, лисицы, большие летяги, хорьки, зайцы, мелкие грызуны, олени, мускусная кабарга, китайский козел и, наконец, обезьяны, живущие большими и малыми колониями нередко в ближайшем соседстве с человеком. Что касается пернатого царства, то среди последнего заметно еще большее богатство и разнообразие. Особенно резко бросаются в глаза белые ушастые фазаны, зеленые всере, кундыки или кулюны, рябчики, несколько видов дятлов и порядочное количество мелких птичек из отряда воробьиных. В поясе скал и россыпей, по утрам и вечерам, раздается звонкий свист горной индейки или уллара.

В ясную, теплую погоду в красивых уголках южного Тибета натуралист одновременно улаждает и взор, и слух. Свободно и гордо расхаживающие по лужайкам стаи фазанов или плавно, без взмаха крыльев, кружащиеся в лазури неба снежные грифы и орлы невольно приковывают глаз; пение мелких пташек, раздающееся из чащи кустарников, ласкает ухо.

Летом погода в южном Тибете непостоянная: то ярко светит солнце, то падает дождь; иногда неделями густые свинцовые облака окутывают горы почти до их подошв. Выглянувшее солнце жжет немилосердно в разряженной атмосфере. Лучшее время—сухое, ясное—наступает осенью. Зима сравнительно мягкая, малоснежная. Значительные реки не знают ледяного покрова, хотя второстепенные речонки и ручьи в декабре и январе бывают прочно скованы льдом. Редко падающий

снег или тает по мере своего падения, или же испаряется к вечеру следующего дня; словом, южные скаты гор всегда свободны от этого осадка, и только северные склопы или верхний пояс гор чаще покрываются слоем снега, хотя и не столь значительным по толщине. Вслед за выпавшим снегом атмосфера, и без того прозрачная, еще более проясняется, а небо принимает густую синеву, особенно перед закатом солнца. По ночам планеты и звезды ярко блестят; порою, проносятся по небу болиды. В конце февраля температура быстро повышается: горные ручьи журчат, франколины и кудыки токуют, ягнятники, бородатые поднимаются на солидную высоту, и там ликуют, наполняя воздух своими весенними голосами...

III

Территория с тибетским населением, подвластная с начала VII столетия Дайцинам и известная ныне под именем Тибет, пользовалась вначале,—да и теперь пользуется,—полною автономиею под верховным управлением Далай-ламы, и разделялась на четыре провинции У (Уй), Цан (Цзан), Кам и Нгари (Корсум).

В настоящее время территория, населенная тибетцами и раньше входившая в состав Китая, делится на ряд почти независимых друг от друга владений, которые в порядке подчинения центральному правительству распадаются на три следующих группы:

Северо-восточная часть указанной территории, включая сюда Куку-нор и Амдо, населенная, кроме тибетских кочевых поселений, еще и монголами, подчинена ведению Синина. Юго-восточный угол, включенный прежде в состав китайской провинции Сы-чуань, ныне находится в зависимости от Далай-ламы; в важнейших городах этого края—Батан, Лантан и Да-цзян-лу—расположены тибетские гарнизоны.

Вся остальная часть рассматриваемой территории, значительно превосходящая по своим размерам две других и составляющая Собственный Тибет, до последнего времени закрытый

для иностранцев, находится в исключительном ведении лхасского правительства. Доныне в памяти народа крепко держится деление Собственного Тибета на четыре, отмеченные выше, провинции, но в административном отношении это историческое деление уже утратило в значительной степени практическое значение. В действительности он является разделенным на несколько автономных владений, установить точные границы которых не представляется, однако, возможным в виду существования спорных областей.

Главную часть из этих владений составляют земли, признающие над собой власть Далай-ламы; общую численность подведомственного ему населения составляют около двух миллионов душ, в том числе триста тысяч лам или монахов. Центром этого владения является провинция У или Уй, но в состав его входят области и других провинций, и вообще далай-ламское правительство не упускает случая к расширению своей власти.

Затем следует область, подчиненная второму тибетскому святителю, перерожденцу будды Амитабы и «будды беспредельного Света» — Банчень-ринбочэ, пребывающему в монастыре Даший-лхунбо, близ г. Шихацзэ. Ему подчиняется до ста тысяч человек, проживающих преимущественно в провинции Цан; но его авторитет распространяется и на другие местности, как, например, Амдо, где он назначает настоятелей монастырей племени н'голок.

Все эти многочисленные владения Собственного Тибета об'единились между собою общим влиянием и могуществом желтошапочной буддийской секты гэ-лугка. Значение этой секты настолько велико, что ее глава Далай-лама распространяет, а теперь еще больше распространяет свой авторитет как духовный, так и политический, на всю территорию, населенную тибетцами.

Сношения Тибета с соседними странами, при описанных выше топографических его особенностях, представляют громадные трудности, и главную из них составляет отсутствие удобных путей сообщения.

Численность населения Тибета определяется свыше четырех миллионов, при чем на Центральный Тибет приходится около одной трети общего количества.

Тибетцы делятся на кочевых и оседлых.

Кочевые тибетцы имеют рост средний, реже большой, сложение плотное, коренастое, глаза большие, но не всегда косые, черные; нос не сплюснутый, иногда даже орлиный; скулы, обыкновенно, не слишком выдаются; уши средней величины; волосы черные, грубые, длинные, спадающие на плечи; подстригаются эти волосы лишь на лбу, чтобы не лезли в глаза; усы и борода почти не растут, притом, вероятно, их выщипывают; зубы отличные, белые, хотя встречаются и уродливо-посаженные; череп в общем более удлиненный, нежели округлый; цвет кожи грязно-светло-коричневый, чему отчасти способствует и то, что тело никогда не моется. В общем, тибетцы больше всего походят на цыган. Тибетцы издаю сильный, противный запах, более резкий и иной, нежели у монголов, которые также не отличаются «благовонием».

Что же касается до оседлых тибетцев, то они крупнее ростом, значительно благообразнее и чище кочевников, в особенности среди обеспеченного класса, в котором можно встретить довольно приличных молодых мужчин и грациозных, стройных румяных девушек; еще более интересными представляются дети с живыми блестящими черными глазенками и густыми, часто вьющимися, хотя и коротко подстриженными (у мальчиков), кудрями.

Одежда кочевого населения как мужчин, так и женщин, состоит из овчинной нагольной шубы и шерстяного халата; последний надевается только в летнее время, да и то не всеми и не всегда; в главном же употреблении — первый костюм, который мужчины, подобрав высоко, подпоясывают таким образом, что вокруг верхней части туловища образуется нечто в роде большого мешка, куда складывается чашка, запасы курительного или нюхательного табаку и проч.

Тибетки же поднимают свои длинные шубы или халаты при опоясывании лишь настолько, чтобы они не очень затрудняли движение и не касались земли. И мужчины, и женщины привешивают к поясному ремню «гирок» — связки ключей; мужчины, кроме того, — огниво, печать, нож, а спереди носят заткнутую за пояс саблю.

Со штанами знакомы лишь немногие тибетцы. Сапоги же из цветной шерстяной ткани, с подошвою из сыромятной кожи, носят все.

Большинство тибетцев — простолюдинов никогда не чешет своих длинных волос, отчего шевелюра нередко походит на плотно-сбитые пряди хвоста яка, и голова обыкновенно остается непокрытою не только летом, но и зимою. Иногда же тибетцы одевают на голову войлочную, с белой матерчатой покрывной шляпу, которая имеет высокую тулью и широкие поля; нередко на головах тибетцев красуются и целые шкурки, снятые мешком и связанные у головы и хвоста.

Чиновники, как равно и многие из состоятельных обитателей Тибета, в особенности молодежь, довольно внимательно относятся к своим волосам, расчесывая их большим деревянным гребнем и заплетая в целый ряд тонких косиц, сходящихся на затылке в одну большую общую косу, которая украшается солидным кольцом слоновой кости и небольшими, обыкновенными величинами, несколькими серебряными кольцами, со вставленными в них цветными камнями. Имеющие подобную косу тибетцы обматывают ею голову таким образом, что украшения косы ложатся выше лба в виде кокошника.

Только женщины заплетают свои волосы в тонкие многочисленные косицы, которые разделяются за спиной на две равные части, скрепленные посредине и по концам нитками стеклянных бус. На верху головы, к волосам, тибетки прикрепляют куски янтаря и коралла, которые располагают на голове в виде венка, при чем в центре его помещают небольшую искусственную серебряную или медную раковину. При одинаково длинных волосах, одинаково

подстригаемых только над глазами, а еще больше одинаковыми косицами у висков, мужчины нередко ходят на женщин, тем более, что усы и борода плохо растут у тибетцев, которые к тому же, на досуге, постоянно выдергивают эту растительность по одному волоску специальными щипцами, носимыми при поясном ремне вместе с ножом, ключами, печатью и прочими мелкими принадлежностями.

На шее тибетцы и тибетки носят ожерелье из цветных камней, а к ожерелью привешивают амулеты и ладанки или «гау», сделанные из серебра или меди. Очень немногие женщины носят на своих, большей частью грязных, руках серебряные кольца, а в ушах серьги; такие же серьги, но более массивные и тяжелые, носят и мужчины, — обыкновенно в левом ухе.

Курящие тибетцы имеют при себе огниво и металлическую трубку с длинным, деревянным или каменным и стеклянным мундштуком, хранимую за пазухой в мешочке с табаком.

Тибетские пастухи неизменно бывают вооружены пращей, саблей и кнутом. Сабля — вечная спутница тибетца — носится в видах вседневной готовности постоять за себя; праща же и кнут, — как средство для управления скотом. Тибетцы большие мастера в метании камней из пращи, которая, между прочим, входит в состав вооружения тибетских воинов низшего разряда. Часто приходилось наблюдать, как пастухи перебрасываются друг с другом речной галькой с одного ската гор на другой, через ущелье. Быстро пролетающие камни свистят подобно пулям, и, мне кажется, что этот-то самый звук и заставляет животных быть послушными воле пастухов. Иногда пастухи на большие расстояния перекликаются своими звонкими, высокими голосами, или в одиночестве упражняются игрой на местных дудочках. Кроме сабли, тибетцы располагают и другим холодным оружием — пикой, а из огнестрельного — фитильным ружьем с сошками.

Как женщины гордятся своими бусами и янтарным венком, так одинаково, если не больше, гордятся мужчины

своими воинскими доспехами, в особенности ружьем и саблей, на украшение которых серебром и цветными камнями тратится немало денег. Боевым видом, молодечеством, удалью в Тибете, как и вообще в Центральной Азии, главным образом, и оценивается достоинство людей, способных быть начальниками. Резвые кони, с хорошим звонким упряжью, уже издали привлекают внимание придорожного населения или встречного каравана. Пестрый — темно-красный, синий, желтый, отороченный леопардом — наряд очень красит гордых тибетских всадников, в особенности чиновников, перед которыми, как и перед каждым повелительным словом «пэмбу», местные простолюдины смиренно и низко склоняют головы.

IV

Жилищем для кочевого тибетца служит черная шерстяная палатка — «банга», формой своей представляющая несколько удлиненный квадратик. Сверху, вдоль всей палатки, находится отверстие, одновременно служащее и окном, и для выхода дыма. Земляной пол в палатке никогда ничем не покрывается, а потому очень грязен, в особенности в дождливое время. Люди спят в палатке либо прямо на земле, либо подослав под себя войлоки. Палатки тибетцев располагаются большими или меньшими группами то в долинах, то в ущельях гор и, непременно, на покатох. В сухую, ясную и теплую погоду кочевник и его, не знающие крова, стада чувствуют себя превосходно; другое дело — в холодное ненастье или в зимний снежный шторм. Впрочем, обитатели Тибета большие мастера выбирать наиболее подходящие места для каждого отдельного времени года. Зимой они сосредотачиваются на дне глубоких долин, по мере же наступления весны и развития свежей растительности, радостно стремятся в горы выше и выше — до границ альпийских лугов; затем снова постепенно спускаются в нижние зоны, и так из года в год.

Несколько иначе и, по-своему, лучше живут оседлые тибетцы, устраивающие постоянные жилища из тонких, реже толстых бревен, или просто из жердей и ветвей, обмазывая стены толстым слоем глины. Изредка тибетские дома возводятся и из дикого камня, в два или три этажа, с галереями, балконами и крепостными стенками с башнями над воротами. Нижний этаж дома тибетца служит исключительно для скота, а остальные — для жилья самих хозяев и склада их домашнего скарба; тут же всегда хранятся на подвешенных жердях необмолоченный хлеб и сено. Хлеб молотят на плоской кровле нижнего этажа, который для этой цели строится значительно шире верхних. Самая молотба производится деревянными цепами, напоминающими наши, русские. Заготовленное на зиму сено свивается в длинные жгуты и вешается на изгороди на ветви ближайших к дому высоких деревьев.

Относительно пищи как кочующие, так и оседлые тибетцы довольствуются, преимущественно, продуктами молочного хозяйства с значительным прибавлением цамбы — сухой муки, и кирпичного чая. Оседлые тибетцы едят так же репу в печеном виде, но мясом лакомятся не часто. Тибетцы едят мясо не только впросырь, но даже и в совершенно сыром виде. За отсутствием каких бы то ни было овощей, кроме репы, тибетцы копают корешки «джюмы» — гусиная лапчатка (*Potentilla anseria*), которая растет в изобилии по долинам, речек. В сухом виде этот продукт сохраняется прекрасно; в Тибете мы, лично, охотно питались им, и мне с товарищами неоднократно приходила мысль: почему бы у нас, на родине, где это растение так же обыкновенно, не сделать попытку добывать и заготавливать корешки *Potentilla anseria* в подспорье к ржаному хлебу, хотя бы в период голодовок?

Из горячительных напитков в Тибете известно вино «чан» или «чун», приготовляемое туземцами из распаренного голоосемянного ячменя, а из сладостей — нечто в роде нашего сахарного

песка и т. н. «прром», т. е. мучнисто-медовая твердая масса, в виде маленьких хлебцев, привозимая торговцами из Сы-чуани. Высшее духовенство и чиновники предлагают гостям вместе с прочим угощением и это лакомство.

Занятие кочевых тибетцев заключается, главным образом, конечно, в скотоводстве, — многие зажиточные «бокба» обладают огромными стадами яков, баранов, понемногу держат также лошадей, хайныков — помесь яка с коровой — и коз. Тибетские лошади, сильные и выносливые, ценятся довольно дорого, несмотря на свой небольшой рост и некрасивые стати. Хорошими иноходцами тибетцы так же гордятся, как и лучшим оружием. Как и в Монголии, лошадь служит здесь исключительно для верховой езды. В качестве же выючного животного является неизменный як, который в жизни тибетца вообще играет такую же важную роль, какую у монгола — верблюд.

Оседлые тибетцы держат немного скота и засевают свои небольшие поля ячменем, реже пшеницей, произрастающей не выше 1.219 метров над морем, а крохотные огороды — только редькой.

И кочевые, и оседлые тибетцы по отношению к труду вообще такие же лентяи, как и монголы. И здесь мужской элемент при каждом удобном случае норовит составить компанию для праздных разговоров. В лучшем случае тибетцы едут на охоту или на грабеж. Домашние же работы ложатся на женщин. В то время как женщина в течение дня трудится, что называется, не покладая рук, мужчина скучает от бездействия и идет к ней на помощь только тогда, когда женщина физически не в состоянии с чем-либо справиться. В качестве носильщика багажа или проводницы чиновника на расстоянии 16 — 21 и более километров также является женщина. Не надо забывать, что все эти работы исполняются в разреженной атмосфере на 3.658—4.572 метра над морем. Верхом на лошади тибетка так же ловка, как и тибетец; поймать из табуна любую лошадь, ухватиться рукою за гриву и, быстро вспрыгнув на спину неоседланного животного, лихо нестись

в желаемом направлении — в привычке каждой молодой тибетки; столь же ловко справляется она с упрямым яком при выючке или развьючке.

В Тибете, как и везде, имеются болезненные отпрыски человечества — нищие, в большинстве случаев поражающие своей худобой, грязью и рубищем. Одни нищие просят подавание молча или произнося что-либо шопотом, другие вполголоса, с поклонами, иные громко взывают к божествам, некоторые же одевают на головы маски, изображающие копытных животных или зверей, и пляшут перед жилищами; иные нищие ходят с нищенским атрибутом, называемым «дулдуй». Такие нищие состоят под непосредственным покровительством монастырей. Каждый тибетец может пожертвовать на убранство дулдуйа, что пожелает; один дает монету, другой раковину, третий четки, иной — кольца, бусы и пр. Нищие с дулдуйем громко поют или просто кричат, произнося отрывки из первоначальной истории жизни Будды, чем дают возможность последователям индийского великого учителя лишний раз вспомнить о том, что и Будда имел такой же образ, как и они, проповедуя свое учение.

V

Весною, в марте, в Тибете одновременно приступают и к вспахиванию поля, и к обсеиванию его зерном. Из земледельческих орудий тибетцы знакомы только с одной примитивной деревянной сохой с железным сошником, парной или одиночной запряжки; пашут здесь на быках-яках или хайныках, реже на лошадях. Интересно, что в период весенних земледельческих работ в каждом селении раздаются звонкие голоса детей, хором вызывающих к богу о ниспослании на землю хорошего урожая. В конце августа приступают к уборке хлеба; при жатве употребляют нечто в роде нашего серпа; сжатый хлеб почти тотчас же свозят к жилищам и, по мере просушки, его или обмолачивают, или складывают под навес.

Для перемола зерна имеются ручные и водяные мельницы.

В наиболее красивых, приветливых и вместе с тем уютных уголках Тибета устроены кумирни или монастыри, а при этих последних нередко и управления начальников и дома их приближенных. При монастырях же проживают и торговцы со складами своих товаров, словом, монастыри играют роль общественных и религиозных центров, и заменяют собою города, которых здесь вовсе нет.

Грамотность в Тибете, как в былые времена у нас в Руси, доступна лишь духовному классу, который составляет десять-двенадцать, а то и больше процентов всего населения. К светочу религиозных знаний тибетский темный народ обращается во всех более или менее важных случаях жизни.

Дороги, пересекающие Тибет, исключительно вьючные, пролегают не только по долинам рек и речек, но и через разделяющие их хребты и горы. В области оседлого населения через горные ручьи и речки устроены мосты; в район же кочевых обитателей переправы производят вброд.

Для переправы через главные реки Тибета служат оригинальные лодки, похожие на кузов саней. Деревянный остов тибетской лодки, связанный из нескольких обручей, прикрепленных к деревянной раме, обтягивается шкурой яка; при спуске на воду швы ее каждый раз смазываются салом. Переезд лодки сопровождается громким гиканьем, подобным тому, какое издают тибетцы при атаках на неприятеля.

В восточном и южном Тибете, в глубоких узких каменистых ущельях, имеются железные висячие мосты, а иногда и канаты, по которым скользят корзины с человеком, совершающие дугобразное рискованное путешествие с одного отвесного берега на другой. Подобные канаты служат довольно долго и заменяются новыми обыкновенно после очередной катастрофы.

Главные или большие дороги, которые связывают Сычуань с Лхасой, постоянно оживлены бычачьими караванами, везущими в столицу Тибета сычуаньский чай, шелк и проч. и вывозящими обратно шерсть, маральи рога,

мускус, тибетские сукна, ткани, предметы культа и немногое другое.

Вдоль всяких дорог, во многих местах сложены из сланцевых плит более или менее длинные валы «маньдон» или «мани»; также часто можно видеть высеченную огромными буквами на отшлифованных самою природою выступах скал мистическую формулу «ом — ма — ни — пад — дмэ — хум», что значит: «о, ты, сокровище на лотосе». Лотос, *Nelumbium*, — прекрасное растение, которое, согласно индийской мифологии, служит треном творцу мира, а также считается и символом земли. Помимо мани, встречается иногда и поясное изображение самих божеств буддийского пантеона.

На перевалах, как и в других местах Центральной Азии, сооружены «обо», а по горным ручьям — хурдэ — молитвенные мельницы, приводимые во вращательное движение, подобно мельничным жерновам.

Среди обитателей Центральной Азии и Тибета обращается китайская серебряная монета, доллар, с которым на юге страны конкурирует индийская серебряная рупия, которая чеканится англичанами в Калькутте. В центральном же Тибете существует своя национальная монета — серебряная, золотая и медная.

Во многих местах Тибета вообще, и в верхнем бассейне Желтой реки и Янцзы-цзяна в частности, тибетцы копают золото, применяя в работе самый простой способ и пользуясь самыми грубыми инструментами. Однако эксплуатация золота не вяжется с суеверным представлением тибетского народа, поддерживаемым ламами в следующем воззрении: «Если выкопать из земли самородок золота, то исчезнет все золото, находимое в речном песке; самородок — это корень золотоносного растения или само растение, золотой же песок — цветы или семена этого растения».

Нравственные качества тибетцев — лень, грубость, лицемерие, корысть в связи с ханжеством и суеверием. Тибетцы лукавы, вороваты; они никогда не могут удержаться от соблазна воспользоваться чужою собственностью. Барангачество развито очень сильно.

Все эти отрицательные стороны наиболее присущи тибетскому кочевому населению, среди же оседлых тибетцев нередки и порядочные люди с более мягким характером и некоторым понятием о гостеприимстве. На языке таких людей еще понятна пословица: «Как в тинистой глубокой воде рыбы больше, так у хорошего человека больше друзей».

Общей характерной чертой у тибетцев служит, между прочим, крайняя подозрительность, недоверие, основанное на применении народом древнего обычая избавления от ненавистного и преграждающего дорогу человека при посредстве яда, секретно вводимого в еду и питье, обыкновенно в местном вине. В силу этого тибетец решается вступить в дружбу не иначе, как только исполнив известный обряд «брата-танья», основанный на обмене гау и принесений клятвы перед бурханами.

В целях поддержания внутреннего порядка и гарантии безопасности извне тибетцы имеют постоянное войско, вооруженное английским скорострельным оружием и одетое в английскую форму. Командирами отрядов назначаются смелые, испытанные в боях хошунные начальники. Тибетцы по своему смелы и воинственны. Они счастливы, когда располагают хорошим конем и отличным вооружением. Превосходные, неутомимые всадники, тибетцы имеют привычку подтягивать стремя так высоко, что верхняя часть ноги—бедро—лежит у них совершенно горизонтально.

Летом, как только лошади успеют откормиться, тибетцы организуют партии для воровских набегов в соседние или отдаленные хошуну. Чаще воруют в чужих округах, при чем предметом самого воровства является скот, до баранов включительно. Нередко воровство переходит в открытый разбой. Уворованную и доставленную на место добычу делят, приблизительно, таким образом: половину из всего награбленного отдают в пользу своего хошунного начальника, а из остального—одна половина поступает предводителю партии, а другая всем остальным ее членам.

Общий процент смертности в Тибете невелик, не считая, конечно, неизбежных, периодических повальных болезней, как, например, оспа, случающихся сравнительно редко; тем не менее, притом населения в этой стране крайне ограниченный, что надо приписать, главным образом, существованию в Тибете полиандрии и присутствию многочисленного класса безбрачного духовенства, с одной стороны, и междоусобным войнам,—с другой.

VI

Самый интересный город по представлению европейцев и самый «идеальный» по представлению самих тибетцев—Лхаса—очаровывает путника издали, когда он впервые с ближайших предгорий видит лхасскую долину, окаймляющие ее горные цепи, а главное, Поталу и храм медицины, расположенные на отдельных горках, по преданию привезенных на вьюках из Индии.

После тяжелой монотонной дороги Лхаса, с дворцом Далай-ламы и массою храмов, ярко блестящих на солнце золочеными кровлями и ганчжирами, действительно производит сильное и вместе с тем обаятельное впечатление. Дивное сочетание долины и божественных холмов—Марбо-ри и Чжагбо-ри, прозрачных голубых небес и яркого солнца, оригинальных построек и красных, золотых и белых красок порождает живую сказку. Недаром буддисты при первом взгляде на Лхасу, на Поталу падают в иступлениии на колени и со слезами умиления приковываются к «святому святых» горячим молящимся взором...

Основание Лхасы относится ко времени хана Срон-цза-гамбо, жившего в VII в. по Р. Х. Рассказывают, что этот хан в числе своих жен имел царевен непальскую и китайскую, которые привезли с собою по статуе будды Шакьямуни, для которых и были построены храмы в Лхасе, а сам он поселился на горе Марбо-ри, где ныне красуется дворец Далай-ламы.

Столь любимые тибетцами сады или парки придают Лхасе красивый вид, в особенности поздней весною или летом.

Центром столицы-города служит храм, где покоится большая статуя будды, называемая чаще Чжово Шакьямуни. Лицо этой статуи со времени реформатора буддизма Цзонхавы красится золотым порошком. Другая, малая, статуя помещается в особом храме в северной части города, и называется «Чжово-рамочэ».

Украшением Лхасы служат также дворцы знатных хутухт или гэгэнов, занимавших должность ханов тибетских. Эти дворцы, с известным штатом лам, представляют собою небольшие монастыри, которых внутри считается четыре, а вне города — к юго-западу, расположен пятый дворец—Гун-дэ-лин, принадлежащий хутухтам Дацаг. Домов частных владельцев очень немного, и они находятся преимущественно на окраинах. И над всеми этими зданиями, в некотором отдалении к западу, царит дворец Далай-ламы, Потала, построенный на скалистой горе.

Дворец этот, вне всякого сомнения, является самым замечательным зданием не только Лхасы, но и всего Тибета. Начало этому дворцу было положено Срон-цзан-ханом, но он заново отделан, с добавлением главной центральной части, называемой «Побран-марбо» — Красный дворец, во время пятого, знаменитого Далай-ламы—Агван-Ловсан-чжамцо. Дворец — это замок, в постройке которого тибетский архитектор проявил все свое строительное искусство. В длину дворец простирается около двухсот саженей; станет более понятным, если мы возьмем в сравнение здание Ленинградского университета, которое имеет всего сто двадцать пять саж. в длину. В вышину же, по лицевой стороне, дворец имеет десять этажей.

В так называемом Красном дворце имеются покои самого Далай-ламы, ламы, который в хорошую погоду очень часто поднимается на самую высокую плоскую кровлю, откуда открываются красивые виды во все стороны. В этом же дворце хранятся самые высокие ценности как Тибета, так и Далай-ламы; в нем находится и золотой субурган — надгробие пятого Далай-ламы, около четырех саженей высоты. Здесь

же ютится и община монахов в пятьсот человек, составляющая «Намчжал-дацан». На обязанности этих дворцовых лам лежит богослужение о долголетии и благоденствии Далай-ламы.

Внутри дворцовой стены, у подошвы горы с юга, находится: монетный двор, здание суда, тюрьма и пр.

На берегу реки Уй расположен летний дворец Далай-ламы—Норбу-линха.

Медицинский дацан, едва ли не единственный в центральной Тибете, красуется на горе Чжагбо-ри. Он представляет собою небольшое здание, где в комнате, у задней стены, указывают статуи разных божеств, сделанных из коралла, бирюзы, малахита, белого сандала, и другие святыни, связанные с именами знаменитых врачей индийско-тибетской медицины. Этот дацан основан или коренным образом реформирован знаменитым пятым Далай-ламой. Штат монахов-студентов состоит из шестидесяти человек, коими ведают хамбо — лейб-медик Далай-ламы.

Помимо всего этого, в столице Тибета имеется два дацана, изучающих «мистицизм», с духовенством свыше тысячи человек.

Светское население Лхасы едва ли превышает 10.000 человек, при чем две трети падает на женщин. Несмотря на это, столица Тибета производит впечатление многолюдного города, что надо приписать, с одной стороны, соседству двух больших монастырей, с другой — огромному наплыву сюда паломников. По этой же причине, а еще и по сосредоточиванию здесь центрального управления Тибетом,—Лхаса является значительным торговым пунктом, а также посредницей в торговле Индии с Западным Тибетом и Китая — с Восточным.

Большую славу Лхасы, между прочим, составляют три соседних монастыря Тибета: Сэра, Брәбун и Галдань, известные под общим именем Сэ-нбрә-гэ-сум, с количеством лам до 20.000 человек. Все эти монастыри принадлежат господствующей секте Цзонхавы и основаны при его жизни, в начале XV века; верховным настоятелем этих монастырей считается, конечно, Далай-лама.

VII

Теперь о самом Далай-ламе, являющемся в настоящее время верховным правителем Тибета как в духовном, так и в светском отношениях.

Далай-лама считается, как это замечено выше, перерожденцем бодисатвы Арья-бало или Авалокитешвары.

После смерти пятого Далай-ламы в течение почти сорока лет Далай-ламы делают предлогом политических интриг разных властолюбцев, пока ряд исторических событий не уничтожил в Тибете власти монгольских и туземных князей, и пока, наконец, в 1751 году не было признано за Далай-ламой преобладающее влияние как духовное, так и светское.

Избрание Далай-ламы до 1822 года (года выбора десятого перерожденца) основывалось на предсказаниях высших лам и определений прорицателей, что равносильно выбору влиятельных лиц; но при выборе десятого перерожденца впервые было применено в практике установленное при императоре Цянь-луне метание жребия, — посредством так называемой «сэрбум» или «золотой урны». Оно состоит в том, что имена трех кандидатов, определенных прежним порядком, пишутся на отдельных билетиках, которые потом вкладываются в золотую урну; последняя ставится перед большой статуей Чжово Шахьямуни и возле нее совершаются депутатами от монастырей богослужения о правильном определении перерожденца. Далее она переносится в Поталу, во дворец Далай-ламы, и здесь перед дощечкой с именем императора, в присутствии высших правителей Тибета и депутации от главнейших монастырей, манчжурский амбань посредством двух палочек, заменяющих у китайца вилку, вытаскивает один из билетиков. Чье имя написано на этом билетике, тот и возводится на далай-ламский престол.

Избрание перерожденца обыкновенно приветствуется или точнее приветствовалось китайским богдыханом торжественной присылкой высшего духовенства или светского лица, хранившего императорскую духовную печать.

Означенное лицо привозило художественно исполненные из золота или драгоценных камней письменные знаки, означавшие имя и титул перерожденца.

После этого счастливый или несчастный ребенок с большими почестями переносился во дворец. С этих пор ему воздавался долженствующий почет и к нему стекались поклонники. При этом, с самых ранних лет, его начинали учить грамоте под руководством специального учителя — иодзинь, выбираемого из наиболее образованных знатных лам. Затем ему давали чисто богословское образование.

Для практических диспутов к нему приставлялись по одному ученому ламе из всех богословских факультетов трех главных монастырей.

По окончании курса учения, он получал высшую ученую степень по богословию в том же порядке, как и другие ламы, но, конечно, с обильной разницей денег монастырям и более осторожными вопросами к нему со стороны членов диспута — ученых лам, назначенных наперед.

После сего, с 21-летнего возраста, Далай-лама вступал в полную самостоятельность. Но надо помнить, что, начиная с 1806 года, сменилось пять Далай-лам.

Современный, по счету тринадцатый, Далай-лама, Тубдань-чжампо, родился в 1876 году и, следовательно, теперь ему 51 год. Двадцатилетним юношей Далай-лама кончил курс богословских наук и получил высшую степень лхарамба. Прохождение наук происходило под руководством его старшего учителя или так называемого иодзинь-ринь-богэ, что значит драгоценный учитель. Для упражнений Далай-ламы в каннидских диспутах к нему были представлены от семи богословских академий-монастырей — Брбуна, Сэра и Галданя — по одному цань-шаб-хамбо, в число коих от гоминского дацана Брбуна вошел наш забайкалец Агван Доржиев.

Вступив в зрелый возраст, Далай-лама открыто повел борьбу с своим регентом, знатнейшим из тибетских хутухт — «дэмо», и из нее вышел побе-

дителем, чем, без сомнения, избежал участи своих четырех предшественников, погибших в раннем возрасте, часто вследствие насильственной смерти, причиняемой регентами и представителями других партий, старевающимися подольше остаться у власти.

Нынешний Далай-лама обвинил демо-хутухту в составлении заклинаний против его жизни, конфисковал его громадное имущество, а самого его посадил под строгий домашний арест, в отдельной комнате, где демо-хутухту оказался мертвым...

Летом 1900 года происходило первое путешествие Далай-ламы по знаменитым монастырям южного Уя. Путешествие это было роковым для его предшественника, так как во время него он был отравлен. Так и на этот раз думали, что еще могут найтись сторонники низверженного хутухты, и Далай-лама сделается жертвой борьбы, но он благополучно совершил путешествие, хотя в монастыре Сам-яй ему пришлось перенести оспу, свирепствовавшую тогда во всем центральном Тибете.

Далай-лама объявил себя верховным правителем Тибета.

С 1904 по 1909 г., на протяжении пяти лет, Далай-лама отсутствовал из Лхасы. Около трех лет правитель Тибета провел в Монголии, частью в Урге, частью в Ван-журене; затем он переселился в Китай, в монастырь У-тай, откуда совершил длительную поездку

в Пекин. Пробывание Далай-ламы в Пекине особенно тяготило его потому, главным образом, что он должен был вести замкнутую жизнь, во многом стесняя себя; с другой же стороны, его бесконечно утомляли всякого рода посетители, в особенности представители дипломатических миссий в Пекине, старавшиеся во что бы то ни стало представиться тибетскому владыке. Правда, такого рода общение расширяло горизонт Далай-ламы и приучало его, что называется, владеть собою при официальных приемах у себя европейцев. Пытливый, любознательный, он обо многом говорил, ко всему прислушивался и быстро усваивал главное. И только осенью 1908 года Далай-лама отправился к себе домой, отдыхая по дороге в монастыре Гумбуме несколько месяцев.

В Гумбуме Далай-лама вел скромную и уединенную жизнь: вставал рано, ложился поздно, в полночь, когда придворный духовой оркестр слегка будил монастырскую жуткую тишину, внося в нее сказочную, ласкавшую душу, гармонию. Далай-лама, между прочим, очень любит природу и для него большое удовольствие, скажу больше, — потребность обозреть самые высокие горные хребты и вершины, по которым скользят ярким светом первый и последний приветственные лучи дневного светила.

Москва, 5. XII. 1927 г.

5. АЗИЯ АНАТОЛИЙСКАЯ

(Письмо из Турции)

П. Павленко

1

«Ворота Счастья» — Стамбул разбил свои шатры на морском шоссе Босфора, как хорошая бойкая корчма на проезжем пути.

В корчме Стамбула кормили византийской стариной.

Кормили экзотическими сказками.

Поили напитком лиловых закатов на скутарийском берегу. На земле Стам-

була вросла в века Айя-София с воображаемым славянофильским крестом на куполе и раскинул мраморные хламиды музей султанских киосков — Илдыз, мечта исламистских романтиков.

В корчме всесветных проходимцев, в Стамбуле, делают быт антиквары и гиды.

Здесь наспех торгуют женщинами и стариной, шелком и поддельными стерлингами.

А над всем этим в воздухе, насыщенном театральностью, живут мечты о Византии, страшные рассказы о Великом Турке и поколения полуправдивых анекдотов от дней послов Владимира до дней Рене Маршана и Мориса Декобра — «Несторов» сегодняшней французской улицы.

Так Турция сошлась клином у Стамбула. За его веселыми стенами лежит пустыня, глухая, скучная и нищая. Ее боится поэты и избегают романисты.

Читаешь ли дорожную хронику Теофиля Готье или путевые поэмы Лоти, серьезные анализы Элизе Реклю, Шарля Диля, Барта или Марселя Тинера, погружаешься ли в романтический хмель Фаррера или в лирику Шенье — всегда чувствуешь, как крепко, как неотрывно захватил их всех старый развратник и лицедей Стамбул — комиссионер и гид.

Стамбул лежит на краю страны, у берегов чужой ему Европы, посреди двух морей, и на перекрестке великих сухопутных дорог на Восток и торгует в шатрах, не оборачиваясь на Азию.

И долго нам всем казалось, что Турция — это Стамбул. Что он вобрал в себя, как паук, все соки страны, замлевшей в его паутине, обобрал ее, обезличил, раздел — и вот создал город-музей, свои мечети и рынки, лавки своих антикваров и галереи старины.

Но Дер-Саадет — «Ворота Счастья» — только ворота. Стамбул — простая корчма на пути между двумя морями.

А за Стамбулом, за его веселыми и страшными стенами, лежит в прострации нищеты великая малоазиатская страна, колодезь действительно чудесных явлений старины.

Тысячи туристов и путешественников ежегодно приезжают в Стамбул поглядеть на стены Византии, на развалины ее дворцов, на каменные мощи храмов. Они влюбляются в минареты, вычерчивают свои благородные имена на памятниках, умиляются саркофагом Александра Македонского в стамбульском музее, покупают фески и шелковое пестрое тряпье в Чарши, Великом базаре, ходят в «гаремы», открытые по ночам специально для сроч-

ных капризов заезжих гостей, фотографируют дервишей и ходж в кофейнях на Баб-а-Али и покупают розовое масло у старых арабов на площади Баязид в этом Латинском квартале старого Стамбула.

Вернувшись домой — в Нью-Йорк, Манчестер, Монреаль, — они рассказывают, что видели настоящий Восток; что они пили из родника его очарования и показывают знакомым янтарные чубуки и пестрые бархатные коврики, которые сотнями тысяч штук приготовляются в Вене и потом годами лежат в лавках Чарши, ожидая выхода в свет. Как те «индийские принцы» из парикмахеров, что пожинают успех в парижских шантанах, эти вещи тоже всех интригуют пышными рисунками и таинственностью происхождения.

Но за гранитом стамбульских стен, за холмами Босфора, — лежит страна, никем неизвестная. Только ученые археологи да немецкие скупщики сырья знали ее дебри.

Всем же остальным было сказано, что в Турции нет ничего краше Стамбула и что в Стамбуле есть все, чем замечательна Турция.

Но вот прошли караваны первых ученых. Приехали и уехали скупщики сырья.

Промчались кое-где вездесущие газетчики. И вот из пустыни глухой, голодной и безличной, малоазийская Азия и становится страной прекрасных открытий старины.

Она, как амбар за корчмой, завалена обломками исторических богатств, которые Стамбул веками собирал невежественно и столь же невежественно распродал за гроши.

Она беременна чудесными находками.

Ее занозили занозы, мраморные и металлические, и кирка землекопа стучит каждый день в холодные лбы исторических мощей и быстрые руки скупщиков старины каждый день вытаскивают на солнце вещи прошлого, ожидающие своих исследователей и поэтов.

Там, в Азии Анатолийской, штабелями лежат колонны классических зданий, боги Эллады торчат в полях, от-

меривая версты по воле нашедших их людей, а головы богинь служат гириями на крохотных станциях железных дорог.

Но еще многое осталось в земле. Много культурных сокровищ выкопают здесь люди, они найдут новые произведения искусства, разыщут записанные на мраморе и пергаменте мысли старых мудрецов — и на развалинах Магнезии Синклоса, в долине Леандра на стогнах Сард, Эфеса, Пергамы построят великую музейную страну.

Тому, кто любит Восток, кто ищет экзотические видения — нужно миновать Стамбул и одиноко и долго странствовать по рыжим плоскогорьям Анатолии, чтобы действительно видеть людей и вещи, как они есть.

Тому же, кто, закрыв глаза на старину, ищет другое — явления быта, наложения эпох, анахронизмы бытовых укладов, хаос этнических нагромождений, — Анатолия покажется еще более интересной.

В старом амбаре за корчмой Стамбула царит многовековое запустение и хаос. Жизнь как бы остановилась и пребывает в летаргии, и паутина времени осела на жизни, кладя на нее отпечаток мертвенности и небытия. Так было сотни лет и так было еще вчера, но сегодня свежий ветер национальной революции уже скомкал этот паутинный покров — и хаос начал жить.

Малая Азия принадлежала исторически.

Анатолия принадлежала султанам.

Малая Азия, пышная, яркая, вошедшая в историю культуры, опочила в книгах и обломках мрамора в Британском и Берлинском музеях. Археологи расписали ее по полкам, по графам, по отделам, разложили на отдельные элементы и бесплатно показывают ее каждое воскресенье ученикам средних школ.

А султан запер Анатолию от иностранцев, сжал ее обручами налогов и выбирал из нее хлеб для Стамбула, молодежь для армии и девушек для своих гаремов.

Так стали существовать одновременно две страны, хотя обе они — было одно.

Сейчас трудно себе представить, что Анатолия малоазийская была когда-то цветущим краем, что ее украшали великие и шумные города, что города эти были построены из мрамора, что здесь существовали величайшие библиотеки (Пергам) и храмы (Эфес) древнего мира, что здесь жили великие поэты и мудрецы — и философские школы распространяли отсюда по всему миру начала материалистического мышления.

«Все течет, все изменяется», — говорил Гераклит.

Все текло и изменялось и здесь.

Рыжие травы покрывают ее теперь на всем протяжении и лишь изредка в рыжий цвет вкраплены темные и зеленые заплатки крестьянских полей, пучки дерев или крохотные бородавчатые садики, поражающих своей игрушечной ненужностью.

Растет великое запустение просторств. Созидательный огонь, воспламенявший здесь некогда золотые дни эллинов, в пепел, в серый и жухлый пепел, обратил дни нынешних ее людей.

Все обыденное, все временное здесь непременно умирает. Стада дичают, поля пребывают в запустении, стены домов кажутся стенами склепов. Рельсовые пути внушают только чувство бесконечной удаленности, и самые недавние дела человеческие приобретают здесь раннюю и таинственную дряхлость.

Суша и местами бесплодна теперь земля, родившая когда-то бессмертную цивилизацию. Дряблое тело ее с трудом и в муках родит дыни, пахнущие нафталином, и арбузы с горбатыми семечками — последние зерна истории человеческого плодородия, последние крохи творящих сил.

Правда, на равнинах вокруг Эски-Шейра сеют хлеб и этим хлебом кормится вся страна, в речных долинах у Смирны растет табак и ползут необозримые виноградники, по холмам взбегают рощи смокв и оливок.

У Самсуна поля табачков кормят целую область, а возле Аданы — хлопок. Но на тощей и сухой земле анатолийской эти места пестреют, как отдель-

ные и редкие оазисы. Два больших железнодорожных пути пересекают ее с севера на юг, один из Парижа в Багдад через Гайдар-Пашу — путь туристов и концессионеров, другой из Пандермы в Смирну — путь безвестных провинциалов и скупщиков сырья.

Но стальные пути здесь не делают цивилизации.

Как длинные хирургические зонды, воткнуты они в тело Анатолии, чтобы выкачивать к портам кровь ее нутра — хромовую руду и уголь, табак и инжир, хлопок и шерсть — дары ее тяжелого крестьянского хозяйства.

Поезд идет по безлюдным пространствам, никто еще не осел возле стального тракта, не построил новых сел, ибо жизнь и поезда идут сами по себе, без всякой связи, без всякой органической зависимости.

При султанах Анатолию резали «на порции» и жаловали эти порции принцам и царедворцам.

Те сдавали подарки на откуп, и кто-то, всегда неуловимый, творил там жизнь, разную в каждом куске, в каждой порции.

Кто-то торговал. Судили судьи. Вели книги чиновники. А народ, сухой, как треска, и упорно нищий, как бродяга, ходил на войну, платил неизвестно из чего подати, временами играл в разбойники и потом послушно умирал где-то там, в бесконечных полях, насыпая новый слой трухи на ионийские мощи.

Сколько их было — людей этих? Никто никогда не считал, да и кто бы стал считать? Для чего?

Главное было известно — они жили.

В их быте не было, конечно, ни одной черты из тех прекрасных черт быта, что рассказаны поэтами и романистами, влюбленными в Восток.

В анатолийской сельской Турции давно уже не было даже гаремов. Женщины давно уже сбросили чарчаф, ибо чарчаф — убор белоручки, они же работали на полях, таскали на себе сохи, родили ребят и никогда в своей жизни не знали, что мир поет песни, где о них рассказаны слова прелестные и тонкие.

Вне труда, на досуге Апатоллия жила в бане.

В той удобной, солидной общественной бане, что осталась сельджукидам в наследство от эллинов и византийцев. Здесь встречались, курили опий, пели песни, любили, рассказывали новости, совершали сделки, а женщины создали из бани клуб, рынок невест и салон для терпких сексуальных анекдотов, — единственного из искусств, знакомого им в жизни.

Два пути идут в глубь Малой Азии от европейских берегов.

Один — из Айдар-Пашы через Ангору к Дамаску, другой — от берегов Мраморного моря к Смирне.

Есть еще другие внутренние пути, Самсун-Сивасский и Эрзерумо-Сарыкамышский, но те пути областные, они не соприкасаются с Европой, и они глухи, как степные перепутки.

2

Путь из Пандермы на Мраморном море до Смирны и дальше до Айдина, а от него до Аданы и Мерсины, идет по земле троянской и ионийской цивилизаций. Гранитные мосты гигантских развалин горячат воображение путешественника, и он бредит именами прошлого.

Очень трудно представить себе Анатолию малоазийскую страной организованного камня. Чувство камня, мне кажется, чуждо азияцам, гигантомахия пергамских мастеров не перешла в наследство людям позднейших веков — и сейчас здесь знают глину, кизяк (навоз с соломой) и кирпич, строят маленькие дома, а классические камни дробят на лом — мостить улочки или лепить заборы.

Но люди знают здесь интереснейшие вещи.

Из Пандермы поезд скользит по голым равнинам, спускается в ущелья, огибает реки и горы, вбегает в тоннели, и время от времени подолгу останавливается на станциях, как запаренный мул. В вагоне разговоривать можно только на остановках. На ходу говорить нельзя, можно только криком кричать: так адеки грохочут и дрэбезжат вагоны.

Люди все едут простые. Иностранцы редки.

Турки неистово курят, читают «Нарагез» — веселый журнал, оживленно беседуют о политике, о временах давно минувших и сегодняшних, доказывают друг другу «от лукавого» преимущества демократического строя над всеми прочими, грустно и пугливо кривят губы при упоминании о религии и, наконец, все, без различия званый, забывают взаимные разногласия, объединяясь в огне всеиспепеляющей ненависти к англичанам.

Потом поезд отходит и идет час — полтора, они молчат, дымят; вполголоса мурлыкают песни и, подняв высоко, к самому подбородку, колени, задумчиво перебирают руками пальцы ног, густо испаряющих скуку.

В это время европейцы ведут культурный образ времяпрепровождения. Отстегнув воротнички сорочек и сбросив пиджаки, они в одних сетках бессмысленно возлежат на диванах или слоняются по коридору вагона, стреляют кодаками в мертвые рыжие дали, записывают в книжечку названия станций, спорят о почве, климате или населении данного края и бросаются стаями к окну при появлении на дороге женской фигуры, чтобы потом долго и надоедливо уверять соседей в неземной ее красоте, критиковать национальный турецкий женский костюм, стесняющий движения, и вспоминать соответствующие теме анекдоты.

От жидких, дряблых арбузов и нафталиновых дынь, в перемешку с куском сыра «бри», случайно захваченного в дорогу, и плиткой мягкого, как тесто, шоколада довоенной давности, купленного на станции, — туристы к вечеру чувствуют себя очень нервно, и часто отвлекаются от удивления фольклора беспокойными экспедициями в маленькие, темные учреждения по краям вагонов.

Турист, впрочем, — уже по роду профессии своей, всеядное существо, он все пробует на зубок, и потому, когда часам к пяти поезд выскальзывает из горных лабиринтов на широкую Магнезию Синклоса — богатый край оливковых рощ и виноградных план-

таций, — турист омывает затылок прелой водой из уборной, отплеывает набегающую слюну, и похудевшими глазами изучает расписание поездов или пересчитывает пройденные версты.

А с долины Магнезии (Маниссы) начинаются, между тем, прекрасные ландшафты.

Темь идет теперь быстро. Горы тают синей краской, синие цвета ползут вниз на долины и, мешаясь с коричневыми тонами жилищ, рождают тонкое фиолетовое очарование. Так проходит час — другой, и вот, из синей ровной глубины на невидимом горизонте жутко вспыхивают сумеречные глаза гостеприимной Смирны.

Все дороги Западной Анатолии сходятся в Смирне. Сюда приезжают ученые: обследовать лидийские массивы у Сирийской границы, долину Меандра или таинственные склоны Булгардага; сюда приезжают купцы — проникнуть в глубь страны, где спят таинственные леса валонейного дуба; банкиры — поглядеть на руды и минералы, выпирающие из грязных шахт, вырытых римлянами и византийцами; сюда благоволенно приходят археологи — побродить по мертвым каменным городам, почитать на остатках стен стихи Анакреона, или афоризмы Гераклита, и историки, которым нужно послушать в Чанграх православную обедню на турецком языке или поговорить с турками-руми, наивными потомками эллинов, еще рассказывающими легенды о Павле-апостоле и Иване-Златоусте, епископах азийских.

Здесь турки-руми, христиане, потомки сельджукидов и последних византийцев, знают жития православных святых, а в церкви сидят в шапках и снимают башмаки, как это делают мусульмане в мечетях.

В нищих грязных кофейнях, заброшенных в деревушках около Ак-Шейра, родины ходжи Наср-Эддина, можно встретить светильники из древней глины, светильники ионийских мастеров, или кусок торса Аполлона, которым подпирают незакрывающиеся дверцы или используют, как табурет.

Здесь для приезжего еще сохраняется аромат путешествия, исчезнувший давно в Италии, в Афинах, в Стамбуле, даже в Смирне, в городах, обглоданных антикварами и туристами и уже навсегда распятых в графах бедкеровских путеводителей.

Аромат постоянной новизны путешествия здесь еще свеж.

Вы можете найти камень с надписью, непрочитанной человечеством, описать штабеля скульптур, случайно встретенных в степи, посмотреть кусок быта, застрявшего на пути между первой половиной девятнадцатого века и сегодняшним днем, и всегда сумеете послушать дивные песни азиатские, грубые пастушьи мелодии, грубые и курчавые, как шерсть азиатских коз.

Кто-нибудь понимающий мог бы написать здесь роман о судьбе вещей. Сюда, на дно жизни, стекается все, что выброшено на рынок жизни там — наверху, в Стамбуле. В крепких старых семьях берегутся пышные кринолины; стоят остроногие клавишины и глаз ласкают книжки, гордо указующие на ученость хозяина и на передовые его вкусы, — перевод пьес Мольера или Сарду от 1876 года.

В глубине страны этой, страны поистине музейной, должны бродить охотники за неизвестным.

О том, как бороздил Анатолию профессор Жуковский, ботаник и героический романтик, как он собирал коллекции семян и делал революцию в своем искусном деле, находя здесь диких предков наших культурных технических растений — свеклы, льна и др., мощно проросших через века, без людей и культуры, — о нем, о Петре Михайловиче Жуковском, можно написать роман, и тот, кто его напишет, станет новым Жюль Верном, не менее увлекательным. Еще романа ждут археологи, годами роющие здесь дикую почву, выкапывающие дрянь и добро, болеющие дизентерией, и мудро и молча добывающие нам следы дней и дел прошлого человечества.

Я начал писать этот очерк на развороченном черве Эфеса, «Светоца Азин». Землянки турецкого села об-

ступали урочище древнего города, и от них несло навозом и дымом, как бы говорящими, что все течет, все изменяется и все живет.

Вдали, под холмом Айя-Сулука, высились прекрасная мечеть сельджукидов, на верху холма белела цитадель лидийцев. А я сидел на камне, под которым погребен был некий римлянин, «мудрейший Юлий, покровитель варваров», и передо мною стояла мраморная колонна с барельефами христианской эпохи.

Кто-то сунул в ковш эфесской долины, крепко запертой горами у моря, — несколько эпох, и они живут рядом, бок-о-бок, как старые вещи на бесхозном чердаке.

Отчего, в самом деле, никому не придет в голову перенести античные музеи на их родину?

Отчего бы не создать музея на развалинах Эфеса? Тогда самый камень, на который ступит нога путешественника, — можно было бы сказать словами Шатобриана, — «заговорит с ним, и даже в пыли, которую ветер поднимет за ним, будут заключены какие-то человеческие свершения»...

Величием и серьезностью поражает Эфес.

Он открыл первый в мире банк и оборачивал при храме Артемиды Эфесской все добро малоазийских царств. «Эфес был городом жрецов и банкиров, городом дел, политики и общечеловечности, он был, словом, античным Сити», — говорит путешественник Сатурнино Хименец.

В Пергаме, городе ученых, высились библиотеки и музеи, сражались в диспутах первые географы, в Тео, на родине Анакреона, в этом маленьком Париже дионисийцев, пели новые оды поэты, и жрицы плясали эротические танцы, а в Эфесе делали самих жрецов, политику и деньги.

В складках между холмами копошатся люди. Вагонетка скрипит и мотается на худеньких рельсах.

Работает механический ковш-лопата. Мраморные стружья открываются изпод земли.

Рядом, вдоль хорошо сохранившейся степи театра, расплескивает темно-зе-

ленные струи роскошный плещ. Дальше открывается перспектива широкой улицы, вымытой дождями столетий.

И чередование дикой степной растительности с причудливыми обломками стен, с прорванными сводами, с покосившимися колоннами и портиками храмов и мозаичными полами, искривленными пробивающейся сквозь них травой, придают редкое очарование этому заброшенному историческому оазису.

Верблюды медленно идут с гор с поклажей. Глухой звон их колокольцев, так хорошо отвечающий настроению этих мест, кажется музыкой медлительных цикад.

Но вот в мелодию караванного пева врываются рожки фордов на станции

Айя-Сулак и свист быстрогобегущего поезда.

Поезд приходит в Смирну к вечеру, когда город вытекает на улицы, когда пахнет на улицах табаком от табачниц, покидающих фабрики, когда стоит над толпой смех и песни,—и хочется, несмотря на усталость, итти за толпой, глазеть на табачниц, слушать их смелые шутки, а потом, когда пылающий куст солнца скроется за заливом, сесть на набережной за маленький столик, медленно-медленно пить густое чудесное кофе и перебирать в уме, как четки, видения старины и откровения живой жизни.

Константинополь

6. В СОБАЧЬЕМ ЦАРСТВЕ

Из дневника

Н. А. Галкин

(Окончание¹)

17/XI. Вчера проехали до Соколовского. Соколовский—коммерсант, аляскинский золотискатель, в прошлом самарский колонист (немец), лет 12 живет на Чукотке. Жена—чукчанка с милымвидным европейским лицом. Одета по-европейски. 4 детей все с европейскими лицами. Девочка лет 7, с прекрасным цветом лица, большими карими глазами, характерное красивое личико. Соколовский живет в избенке из дерева, обложенной дерном. Деревянный чисто вымытый пол, два стола, табуреты и камбуз. Это первое за полярным кругом жилище, сделанное не по-чукотски; приятно посидеть за столом, есть из тарелки, и не озирайтесь на приготовление чая. Догнал отстававший, было, Косыгин, он решил дать отдых собакам, да и наши отдохнут. Корм в поселке есть. С вечера поросило и дуло, боялись пурги. У Соколовского умылся и, впервые за всю дорогу, почистил зубы.

Выехали не рано. Во время одеванья

у Соколовского было отчаянно жарко, и я вспотел, а тут дорога плохая и пришлось бежать, рубаха—хоть выжми. Боялся, что простужусь. Пока ничего. Доехали до Майнаатхыр. 7 яранг. Заночевали. Иоронга небольшая, тесно. Как бы не разыгралась погода. В семье роженица. Ребенок грязный невероятно. Сама роженица сидит отдельно в углу, в шкурье, куда ей дают и пищу. Груды сильно набухли, видимо, ей тяжело, пот струится ручьями, а она сидит прямо, как статуя, застыла в одной позе и молчаливо терпит. Рошелин говорит, что послеродовой период, когда женщина не работает,—6 дней. Косыгин опровергает—точных норм нет, зависит от наличия в семье других женщин. Пошел в ярангу, где остановился Косыгин, рассказывали местные поверья и сказки.

18/XII. Вместо 4 ч., как предполагали, выехали только в 7. Сегодня пересекаем Колючино—большую, глубоко врезавшуюся в материк бухту. Пили чай на улице у оленных, живущих на берегу. Это—тип смешанного хозяйства.

¹ См «Новый Мир», № 1 с. г.

Обе яранги имеют до 30 оленей, прокормиться не могут, поэтому недостающее компенсируется морской охотой.

В сумерки доехали до первой яранги. Яранга маленькая, бедная, вшей, говорят, феноменально много. Все наши уехали вперед.

Поехали дальше. 4 ч. дни. Густые сумерки. Скоро потеряли след за час до нас проехавшего Косыгина. Небо в тучах. Густо порошит. Ночь — как молоко, все сливается в белый цвет, другого и нет. Отсутствие зрительных контрастов парализует зрение, и я ничего не вижу, как в воде. Кружим налево, направо, поворачиваем обратно... Собаки черной, едва различимой, змейкой бегут мелкой рысцой, как-будто без ног, скользят, как мышь на веревочке. Несмотря на то, что уже проехали 8 часов, верст 75, энергия их не ослабевает. Ночью собаки всегда бегут лучше. Я, как и каюрный, почти не сходили с нарты; вижу ближайших псов, с укоризной оглядывающихся на нас. Теряем часто направление. Рошеллин то-и-дело останавливает нарты и ползает по снегу, чтоб или отыскать след или рассмотреть «заструги». Застругой называют волнообразно наметенный, затвердевший снег, который укладывается под влиянием однообразных ветров, преобладающих в это время, всегда в одном направлении — с севера на юг. Я утратил всякую перспективу, боюсь, что и мой каюрный тоже. По крайней мере, когда Рошеллин уезжал вперед, он, как и я, испытывал некоторое беспокойство. На улице тепло, и перспектива ночевки в тундре, в случае, если собаки устанут, не так уж пугает. Около 9 ч. как-будто блеснул огонек, и было это так неожиданно, что в первый момент даже не поверил. Приехали в Колючино. Ночуем в земляном домишке, обитаемом русскими, и с меньшими удобствами, чем в иоронге.

19/XII. Из Колючино выехали после 10 ч. День пасмурный, небольшая пороса. Momentами снег усиливался, и тогда без того не яркий свет становился совсем сумеречным. Заблудились. Рошеллин потребовал компас, и, повозившись с ним, заявил, что он

«врет». Поехали. Ветер чуть усилился, стало переметать дорогу, если за таковую признать почему-то выбранное нами направление. В глубине где-то гнездилась боязливая мысль: а если снег усилится, да еще с ветром?

Я спрашиваю:

— Рошеллин, может быть, мы заблудились?

— Ко-о (не знаю, может быть).

Рошеллин сосредоточен. Молчит. Обычно молчать он долго не может. При всякой остановке для раскурки трубок, он обязательно чем-нибудь рассмежит. Ум у него живой, подвижный, общительный. Через некоторое время он спрашивает:

— Ты думаешь, куда надо ехать?

Кладу на снег компас, выравниваю стрелку и указываю по-моему верное направление. Рошеллин ничего не говорит. Поехали. Через час мне показалось, что едем все же неладно. Кроме белой пелены тундры я ничего не видел, а мой спутник каким-то чутьем угадывал близость жилья. Собаки тоже, как-будто, ничем не обнаруживали предстоящей перемены. Проехали еще. Рошеллин взял бинокль, встал на нарты и начал исследовать тундру. Через несколько минут, показывая в белую мглу, где я ничего не видел, объявил: «Там яранги, компас твой правильный». Действительно, через полчаса собаки подхватили и вынесли к самым ярангам, где нас встретил многочисленный лай и приветливое «этти» хозяина. Поместительная яранга не обычной круглой формы, а в виде удлиненного дома. Здесь, по побережью, море выбрасывает лес, который и дает возможность иногда отступать от принятого типа построек, требующего минимум древесины. Семья из 2-х человек, — она производит впечатление спянной, дружной. Муж все время помогает жене в ее чисто женской работе — приносит воду, режет мясо, ставит чайники. По середине иоронги стоит таз с водой, из которого только что напились пролезшие под полог два пса. Оставшаяся вода пошла на хозяйственные нужды, а в тазу хозяйка приготовила «копальхен», кушанье из жира оленьего и перпичьего,

переминаемого со снегом. Хозяин показал на висевшие под потолком черепа пещера и вороны — домашние пенаты. Тыкая в них пальцами, чукчи смеялись и никакого уважения не обнаруживали. Потом притащили сохранившийся прибор для добывания огня. Как мне пояснили, он имеет употребление и теперь при каком-то празднестве. Яранга зажиточна. Есть даже швейная машина и примус. Впрочем, последние я видел и в других ярангах; попадались где-то и 2—3 ножных машины. Собак хорошо выкормили. В иоронге свободно, надемся хорошо отдохнуть. Выехать собираемся в 5 часов.

20/XII. Сегодня программа дня выполнена. Выехали в 5 ч. 10 м. Ехали морем, выступившая на льду соль разрыхлила снег и так тормозила нарту, что собаки плелись с трудом. Скалистый берег сбросил часть скал в море, острыми шпильками торчащих из воды. Обитатели иоронги, при ближайшем участии моих каюрных, чавкают и обсаивают пальцы — это пятый раз за 4 часа. Иоронга подозрительна. Есть больной-хроник, брат хозяина, с язвами на теле. Вид чахоточный, как и у хозяина. Он сидит отдельно в углу, куда подается пища. Видимо, страдает физически и угнетен душевно. Сосредоточенный, ушедший в себя взгляд, ни с кем не говорит. Стараюсь оказывать ему всяческое внимание. Он играл на каком-то своеобразном инструменте, в роде скрипки, с одной струной из оленьей жилы. Скрипящий звук, странная мелодия.

Видел сетку для рыбы, искусно сплетенную из тонко, как пряжа, парезанного ремня, работа прямо ажурная. Из более толстого ремня делают сетки для нерпы. Их ставят подо льдом, закрепляя концы в двух прорубях. Нерпа не может долго оставаться в воде и, вылезая в сделанные лунки подышать, запутывается в сеть.

По Ледовитому океану зимняя добыча нерпы сетками — наиболее распространенный способ охоты; иногда охотник в одну ночь ловит до 40—50 штук.

21/XII. Скверная была ночевка, хозяин какой-то неприветливый. Рошелин, спускаясь с обрыва, воспарил птицей и

сломал полоз. Пришлось задержаться и кое-как слепить нарту. Шел мокрый снег, а потом в течение нескольких минут дождь. Нарта скользила плохо.

Около 12 ч. приехали в Ванкарем. Я заехал к старику Олсену, а каюрные пошли к чукчам. Олсен, как и Вол, уже 20 лет живет здесь, приехав за золотом. У него маленькая избенка. Жена и дочь — чукчанки. Ел суп и свежий хлеб — не дурно. Догнал Косыгин. Завтра последние сутки, что день уменьшается. Появится опять солнце. Здесь зимой близко подходят оленеводы. Косыгин рассказывал про них. Воспитательный режим у оленных суровее, чем у береговых. Дети с утра до вечера должны проводить время на улице, несмотря на погоду, и помогать по хозяйству или быть при стаде. Возня со стадом очень тяжела. Пастух целые сутки на улице, почти без сна, голодает. Зато явившись в ярангу, с'едает невероятное количество мяса. Вчера, смеясь, рассказывали, как «чаучи» (оленный), приехав в гости, выпил 20 чашек чаю. Вечером выехали из Ванкарема. Рошелин мотивировал невозможность выехать рано неисправностью нарты. В действительности, починка была закончена утром, а явился он в 12 ч. в надежде, что не поедем. Теплая иоронга, хорошая пища, и он хотел еще «покейфовать». Я заявил, что поедем, все равно. Едем прямо на м. Северный. Перегон трудный, только два поселка будет на пути: одна яранга в нескольких верстах, другие две на полпути.

Дорога сносная. Добрались до жилья впотьмах. Тут живет русский — Сыропук. Случайно попав сюда, он решил попытать счастья в охоте на песцов. Набрал капканов и отравился в наименее людное место, но охота оказалась плохой. Сыропук давно проелся и сидит впроголодь, даже нерп нету, и вся семья чукч, где живет Сыропук, тоже голодает. Яранга сделана земляной — из бревен, обложенных дерном. Железные печурки топятя дровами. Во время топки жара нестерпимая, а так — холод, потому что дует из всех щелей. В куче грязных шкур лежит большая девочка, в жару, тяжело ды-

шит. Догнавший нас Косыгин поехал дальше. Решили ехать и мы. Темь непроглядная, все сливается. Сижу на нарте и клюю. За спину пробирается холод. Курю, чтоб встряхнуться. Перед утром пошел снег, ветер. Заблудились, и около часу крутились на одном месте. Рошелин вооружился компасом, долго возился, наконец, поехал куда-то. Скоро выехали на дорогу и доехали до русской землянки охотника. 20 часов пути. Свалился как мертвый.

24/XII. Утром выехали, и в 2 ч. были на мысе Северном. Мыс далеко выдается в море. Поселок из 14 яранг. Один из товарищей, С., заболел, и его с температурой в 40°, привязанного к нарте, 2 недели тому назад отвезли на зимующий в нескольких днях пути, у мыса Шелагского, пароход «Ставрополь», где есть врач. День прибавился на минуту; приятно сознавать, что подвигаемся к свету, к теплу. Тьма чадоеда. На мысе Северном (по-местному Рыркарпия) солнца не видят с ноября. День совсем сумеречный, но и тот незаметно как промелькнет. После 12 ч. смеркается. Без лампы в комнате совсем темно, и она весь день не сходит со стола. Из двух комнат только одна пригодна для зимнего жилья. Комната маленькая. В ней живут 3 человека, да нас двое. Камбуз топится целые сутки.

26/XII. Когда 21/XII, будучи у Олсена, я спросил его, которое число, он сказал: кажется, 18 или 19. Я смеялся и удивлялся, как можно потерять время. Но каково же было мое удивление, когда на мысе Северном мой счет не сошел на один день с ихним. Я уверен, что просчитали они. Уж очень было бы досадно, если б пропустил день я, от неожиданности я просто растерялся. Вернулся с парохода С. Поездка при столь необычной обстановке все же сошла благополучно, и он вернулся здоровым. На пароходе все здоровы. Судно отплыли, ведутся групповые занятия, ловят песцов, охотятся на медведей. Имеют радионую связь через Колыму с Владивостоком. Пароход часто навещают чукчи. Видел знаменитого Алитета — богатый чукача, усадьба которого представляет целое поместье. Мас-

сивная широкоплечая фигура, на короткой шее крупная голова, с большим выпуклым лбом. Хитрый, умный взгляд, характерный, резко очерченный рот и подбородок говорят о большой воле, энергии. Таков он и есть. Как только устанавливается дорога, его нарта, запряженная отборными колымскими собаками, носится из конца в конец. У него имеются агенты-чукчи, обезжающие побережье и ведущие торг, выменивая лахтаков, пыжиков и пушнину. Сам он забирается внутрь тундры к оленеводам, скупает оленью рухлядь, песцов, собирает долги, причем не останавливается перед силой, если должник упорствует или не считает себя должным. Чукчи его боятся. С. рассказывал, что у Алитета 3 больших яранги, несколько жен, которые встречают его при возвращении как владетельного князя. Раз в месяц Алитет производит закупки на фактории. При мне он купил рублей на 50 муки, макарон, кофе, масла, молока и прочих «деликатесов» северного стола.

29/XII. Сделала попытку тронуться в обратный путь, но неудачно. Отехали версты три и мои каюрные заявили, что ожидается большая пурга, которая может задержать нас в месте предполагаемого ночлега больше, чем надо, а там, говорят, нет корма для собак.

Вернулись. Идет снег, дует норд. Сидим опять у камбуза. Горит лампа. Слабый свет пробивающегося дня не в состоянии соперничать с нею, и в окно видна лишь синева приближающихся сумерек, а не светлого дня.

31/XII. В полдень выехали и, отъехав 20 верст, заночевали. Сестра хозяина была замужем за каким-то Дмитрием, говорит по-русски. Из всей семьи только она одета по-европейски в довольно хорошо шитое платье с вышитой шелком кокеткой. На сцену появилось даже полотенце, которым усиленно терли какую-то миску. Она сетует на родных, неодобрительно относящихся к стирке и умыванию. Опадение насчет отсутствия мяса в яранге оказалось неосновательным, собак выкормили по-чукотски хорошо. Во время поездки досьята не кормят, дают всего лишь 2-3 куска мороженой моржатины и нер-

пы, которую псы и проглатывают, почти не жуя. Да и дома никогда не дают есть досыта по причине нехватки мяса. Сегодня в иоронге оригинальный компаньон по ночевке: в углу на цепочке белый песец. Сидит довольно мирно, и только временами рвется и с опаской глядит на людей. Позволяет себя гладить, ест сухари, которые я ему протягивал, несмотря на то, что пойман только вчера. Песец пойман по заказу одного из товарищей. Вообще чукчи делают это неохотно — может быть несчастье — и в подтверждение приводят легенду о том, что когда в Дежневке, еще в давние времена, был пойман живой песец, то в отместку песцы напали на ярангу и уничтожили ее...

2/1—1925 г. Ехали весь день, часов 15. По пути нет ни одной яранги. Кипятили чай па берегу, на костре, здесь много выкидного леса. От мыса Северного с нами выехал старик, камочинский чукча. Едва разожгли огонь. Разводить огонь из дерева чукчам почти не приходится, и делают это они плохо. Спутники мои ели «пререм»¹⁾ и «копальхен», который резали, наступив ногой, потому что держать — рука мерзнет. Я рубил топором замерзшую в камень котлету и, кое-как оттаяв во рту, глотал, как льдину. С каким наслаждением выпил горячего чая! Руки высунуть нельзя, коченеют в момент. Жесткий северный ветер. Старик во время чапития, отойдя от нарты, топал и что-то говорил, оборотясь против ветра. Рошелин перевел: «Вот я еду, ветер перестань, дай проехать».

Однако делу это не помогло, и нос мой ежеминутно деревянеет; мало спасает и «малахай»²⁾.

Бесконечный утомительный перегон. Спросишь: близко? В ответ слышишь успокоительно: «чумча» (близко), «вот проедем гору». Оказывается, до горы час, да после два. Кругом мгла, озаренная бледным полумесяцем. Клонит ко сну. Наконец, собаки учуяли яранги и

подхватили. Собаки полезли прямо в двери яранги, их едва оттащили назад. Здесь живет Сыропук. Грязнее, неряшливее и беднее этой землянки еще не видел. Рассадник, питомник вшей. И все же после сегодняшнего переезда яранга показалась роскошным отелом со всеми удобствами. Тепло. Пока ездили на Северный, умер ребенок, но не та девочка, что была больна при первом заезде. За время дороги третий случай смерти. Приготовили чай. Чай я засыпал прямо в чайник, чтоб хозяйка не притрагивалась. Сахару и чаю давно не видели, а сухари, особенно на ребята, произвели ошеломляющее впечатление.

3/1. Проснулись рано. Мои каюры не склонны были спешить, тем более, что корм для собак захватили для этой ночевки с собой. Я же потерял терпение, захотелось скорее выбраться на воздух, ведь впереди отдых, горячий суп, стол, стул у Олсена. Не доезжая до Ванкарема, увидел, должно быть, солнце. Небо синее, горизонт зардел. Одно облачко засветилось ярче, хотя на него и можно смотреть невооруженным глазом. Неужели солнце? Тайонвот утверждает, что так, даже веселее выглядеть стал. Я еще сомневаюсь, как бы не ошибиться, а в душе уже нарастает целая волна звуков-настроений. Часа через три подкатили к Олсену. Старик вышел встретить, подтверждает, что солнце. День стал как-будто длиннее, да здесь и впрямь светлее, чем на Северном.

5/1. Вчера встретили несколько мест с остатками жилья — летние стойбища мелких оленеводов, не порывающих с морем, или вымершие выселки, а может быть, жители перешли в другие места. Тайонвот сегодня отличился, ночевал он в соседней яранге и поднялся утром раньше всех, этого с ним еще не случалось, торопится до дому, — больна жена. По побережью хорошая охота на белого медведя. В Колючино просил достать мяса. Принесли медвежины, которую и зажарил в дорогу. От платы чукчи отказались — это подарок, пришлось и мне подарить им табаку и чаю. Сегодня при одевании повешенный для просушки мой меховой чулок свалился в ведро с водой. Хозяйка,

1) «Пререм» — кушанье, сделанное из крови и сала нерпы и оленя, похожее по виду на ливерную колбасу.

2) Малахай — камчатское название теплой шапки, хорошо опущенной для предохранения от бокового ветра.

очень смущенная,—она уронила—принялась обсасывать мех, а потом запустила руку в «ачульхен», не вылитый еще с ночи, и хотела почему-то заполоскасть. Я завопил, говорю Рошелину: «Пусть она этого не делает, иначе я выброшу чулок». Чукчанка была удивлена и вместе с мужем принялись за просушку. Вечером готовился ужин из вареной оленины. Предварительно хозяйка из «ачульхена» помыла кастрюлю. Я испугался, что ужин готовится для меня, и давай насыщаться мерзлой котлетой, торопясь поесть до приготовления супа. Действительно, суп был предложен, но теперь со спокойной совестью я мог сказать: «уэлен какуй»,—я сыт. Чукчи самолюбивы, и отказ без удовлетворительной мотивировки может обидеть, зато я хладножротно созерцал, как «ачульхен» заменял половскательницу для чайной посуды.

8/1. Выехали в 7 ч. утра. Сидя на нарте, я грежу пельменями, окороками, что должны быть у нас на чердаке, свежей луковицей и прочими яствами дежневского стола. Последнюю неделю сижу на одном чае и сухарях, которые, к несчастью, облил керосином; ем без аппетита—других нет. Растворенный в стакане кубик «магги» дает некоторое питание, но не насыщает.

Остановиться пришлось у Вола—он перехватил меня и Теналья. Вол всегда хнычет, что он бедный, нечего есть. Иришел Рошелин, но Теналья не сказал ему «этти», и Рошелин, напившись чаю, ушел разобиженный. Его не приветствовали. «Теналья человек скупой, наверное, мяса собакам дали мало». Через несколько минут, придя обратно, он подтвердил свои опасения и пошел в другую ярангу просить еще мяса, где и остался ночевать. Вол и Теналья порусски не говорят, но, видимо, поняли возмущение Рошелина и несколько смутились. Ребята и взрослые с удовольствием рассматривали «Ниву».

Маленький мальчик, подсевший около, долго и внимательно рассматривал меня, пока, наконец, улучив момент, не потрогал незнакомую ему вещь—мою запущенную бороду. У чукчей растительности на лице почти нет. Один из чукчей брил бороду, растущую у него

по-европейски, и с гордостью показывал волосатую грудь, как у «белого», на что Рошелин бросил реплику: «Его давно работал американский мальчик».

9/1. Ночевали в Сечане. В передний путь Рошелин бросил здесь свою охромевшую собаку. Собака поправилась, и чукча уехал на ней на праздник в соседнее село, чем Рошелин был очень раздосадован. На пути, во время переписи, опрашивали через полог чукчанку. Она давала определенные обстоятельные ответы не только в отношении своего хозяйства, но и соседних яранг, хозяева коих отсутствовали. Рошелин пояснил, что она была женой кавказского «мальчика». Интересно было посмотреть на семью «кавказского мальчика», и я просунулся за полог. Молодая, тоненькая женщина с тонкими чертами лица, в обычном «макка», застыдилась, не глядя на нас, отвечала на все вопросы. Мальчик, чукотско-кавказского типа, выглядел не по-чукотски опрятно, как и вся иоронга. Жила она с отцом, и, может быть, надеялась на возвращение мужа. Это не первый случай, и в таких иоронгах вы найдете пробивающиеся сквозь толщу принятого жизненного обихода некоторые зачатки культурности, привитой «белым» человеком и тщательно охраняемой от посягательств со стороны. Ночуя у Гайздарова, наблюдал его жену и его сестру, бывшую замужем также за европейцем. Они то-и-дело мыли руки, тщательно вымывали посуду. Костюм стал уже привычной принадлежностью, и я не мог убедить их не стесняться, снять платья и оставаться в «макка», потому что было отчаянно жарко.

Ночуем сегодня в большой иоронге Темген или Чарли, как его окрестили американцы и что ему очень нравится. Когда-то был «товарным человеком», говорит Рошелин, торговал в компании с дядей и братьями, пока те не погибли во время шторма. Темген плавал на китобойных судах, однажды зимовал в Сан-Франциско, но никаких следов цивилизующего влияния незаметно, кроме английского языка, на котором он объясняется довольно бойко. Темген — американофил. Провели интерес-

ный вечер. Сперва темой служили воспоминания о прежних временах, когда полуостров был всецело в руках американских ушкуйников, когда было все дешево, говорит Темген. У него это был единственный аргумент, доминировавший над всеми теориями построения государственной системы. Потом перешли на сказки. Рассказывал Рошелин. «Был в Наукане большой шаман, «доктор». Пошел эскимос на море, где в прорубях у него стояли сетки на нерпу, и во время работы уронил пешню в воду. Как тут быть? Приходит шаман и говорит, что он может достать пешню. Стал шаман над лункой и давай шаманить. Через несколько минут он вытащил из рукава утопленную пешню».

«Этот же шаман задумал уйти из жизни, поэтому порезал всего себя ножом и отправился на тот свет. Попадает ему «келя» — чорт — и говорит: «Ты что... — следует нецензурная ругань, — изрезал себя, как нерпу?..» — Я не могу удержаться от улыбки и перебиваю Рошелина вопросом: «Позволь, да как же чукотский чорт ругался русской матушкой?» — «Ничего, так, так, «кайгва, кайгва» (правда, правда), — подтверждает и Чарли. Ну, ладно, соглашаюсь, что наша матушка международна. — «Почему ты перестал мне мяса давать, — продолжает келя, — хочешь, чтоб я с голоду пропал?» — Взял чорт жилу и сшил ему раны, стянув кожу в местах разрезов, так что шаман не мог стать прямо. Келя обещал его исправить совсем, если он принесет ему мяса. Так и пошел шаман согнувшись опять на землю».

Потом рассказывал Темген, но говорил он по-русски и понимал я очень плохо. Я рассказал сказку про старика, лисицу и волка. Сказка больше понравилась взрослым, чем детям. Видимо, им, как охотникам, была знакомее психология зверей. Как они радовались, когда коварный волк, опустошитель оленьих стади злейший враг оленеводов, попал в неловкое положение: был бит и лишился даже хвоста. Еще назавтра, вспоминая отдельные детали, возобновляемые в памяти несколькими штрихами Рошелиным, чукчи смеялись до слез.

10/1. Остается два дня до Дежнева. Сегодня весь день прыгали по торозам, и я клял все на свете. Собаки измучились, да и все мы. Перевертывались самым неожиданным образом и бесконечное число раз. Прыгавший где-то впереди Рошелин, наконец, угомонился — сломал полоз и на этот раз безнадежно. Пришлось нарту бросить со всеми вещами, собак подпречь в пашу, и вот на 20 рысаках, плохо поддававшихся управлению, понеслись вперед. Это была дикая езда, какие-то скачки с препятствиями, то-и-дело кто-нибудь срывался с нарты и летел кубарем. По приезде никак не мог согреться, чувствовал себя неважно, пока, воспользовавшись отсутствием в «иоронге» взрослых и заняв ребят «Нивой», не хватил двух глотков водки. Сразу согрелся, и плохое самочувствие как рукой сняло. Баночку спирту я возил с собой всю дорогу в сумке через плечо, вместе с дневниками. Показать чукчам спирт нельзя, они будут приставать до тех пор, пока не получат, поэтому, чтоб не портить отношений, предпочитал не прибегать к спирту, даже когда нужно было, и грелся чаем. Послали за брошенной нартой, за что заплатили 2 кирпичика чаю и 4 баночки трубочного табаку.

11/1. У Тайновота гениальный замысел — сегодня добраться до Уэлена. Ночью в той же яранге, что и в передний путь. При входе в иоронгу хозяйка показала мне на повешенную в углу, забытую мной, бутылку денатурата для примуса. За сохранность каких угодно ценностей, забытых или потерянных у чукчей, можно быть спокойным, только не за спирт, так что этот маленький случай — во всяком случае не заурядный. Выехали мы с Тайновот, а Рошелин оставили ожидать его собаку. Погода стоит хорошая, и чукчи раз'езжают то в гости, то на праздники. В Инчоуне напились чаю, дали собакам по куску мяса и тронулись.

Ночь была очень красива. Небо, покрытое легкими перистыми облачками с ласково льющим мягким светом звезд; полная луна, рождающая причудливые тени, настраивает мечтательно. Долго поднимались в гору, на-

конец, спуск. Масса волчьих следов. Спрашиваю Тайонвот, может быть, достать револьвер, запрятанный где-то в вещах на дне нарты, но он философски отвечает: «Ничего». Ну ничего, так ничего. Наконец, когда в голове начали роиться сомнения в правильности пути, блеснул огонек Уэлена. Радужно встретили. Остался ночевать.

12/І. Л. решил сам свезти меня в Дежнев. Заложили легкую нарту. Собаки застоялись, и с места же взяли крепкий шаг. Выехали в тундру. Дорога укатана, ни одной задоринки. В виду дороги паслось стадо оленей. Собаки, еще не видя их, вытянули носы и ловили нагоняемый воздухом запах животных, а когда увидели, помчались, как бешеные. Синее небо, чистый воздух, прекрасная дорожка, бешеный бег подействовали и на нас. Собачье возбуждение заразило. Балансируя, перегибаясь всем корпусом то в одну, то в другую сторону, по тому, как раскачивалась нарта, словно спаянные с ней в один живой организм, слились в порыве бега и собаки, и нарта, и седоки. Дважды нарта опрокидывалась, но в мгновение поправляли и мчались дальше. Оленей проскочили мимо, не бросая дорожки. В это время далеко в тундре увидели собачонку, и вот вся свора, свернув с дороги, ринулась за ней. Собак остановили, но сломался остол¹⁾. В этот момент я обронил сумку с дневниками, оставшуюся сзади в нескольких саженях. Нарту положили на бок, и Л. лег на нее грудью, чтоб собаки не понесли. Возвращаясь через минуту, вижу: Л. стоит склонившись, а кровь льет с лица, собаки бешеным аллюром летят за собакой в тундре, а потом, бросив ее, повернули к оленям. Оказываются, они выдернули из-под Л. нарту, а он сунулся лицом на острые снежные заступы и разрезал лицо. Кос-как остановили кровь. Собак, к счастью, переняли увидевшие их во-время оленеводы, иначе плохо пришлось бы стаду. Мы возвращались назад без остола, обескураженные, рискуя быть выбро-

шенными, и с перспективой десяти-верстного пешего хождения. Однако, доехали благополучно. Поездку в Дежнев пришлось отложить до следующего дня.

17/І. Зима пока стоит хорошая, даже ветру мало. Обычно в это время много снега, пурги. Чарли только качает головой, уверенный в коварстве чукотской природы, и говорит: «Вот посмотрим потом, потом». Я дал ребятам бумаги, и вот теперь они одолевают рисунками. Лева и Янек (Карпендель), Анкакуме, — они постоянно караулят меня, чтоб вручить «плоды своего творчества». Рисуют пароходы, каких-то фантастических «белых», судя по трубкам и шляпам, американцев, различные моменты из охоты и быта.

2/ІІ. В 10¼ часов утра вместе с Л. выехали на Анадырь. У него своя нарта и каюрит¹⁾ он сам. Мой возница, горбатый Уэмте, живет в 15 верстах, где мы и решили заночевать, — на этом настаивает Уэмте. (Везет меня не он сам, а наш председатель.)

Мороз больше 30°. Доехали хорошо. Уэмте — хозяйственный чукач. Его зовут горбатым, но горба у него нет, а есть сильное искривление позвоночника, образовавшееся, как говорит он, от работы. Завтрашний день внушает опасения. Ветер свистит. Иоронга у Уэмте чистая, опрятная. Вечером Уэмте осмотрел всю собачью сбрую, с большой тщательностью пригнал стельки из сухой травы; обувь чулки носят хорошо пригнанную и плотно облегающую ногу. Я же сделал себе торбоза с запасом, чтоб можно было натянуть лишнюю пару чулок. Потом Уэмте раскладывает пасьянс, перенятый от американцев; Л. уже спит; я читаю и слушаю вой ветра. В иоронгу заглянула сестра Уэмте — интересная чукачанка. У нее правильные черты лица, смуглый матовый цвет кожи, черные, аккуратно заплетенные косы и большие выразительные глаза с синими белками. Даже зубы не были с'едены и резцы сохранились в целости, что у чукачей редкое явление.

4/ІІ. Два дня сидим — и ни с места. Сегодня неожиданно приехал Кенка из Уэлена в сопровождении Калягырхын.

¹⁾ «Остол» — палка толщиной 2 — 2½ дюйма, длиной в метр, с железным наконечником. Назначение его тормозить нарту и останавливать таким образом собак.

¹⁾ Каюрит — ямщикать.

Там прослышали, что мы сидим и, не смотря на непогоду, послали Кенку за нами по какому-то делу к Л. Чем сидеть в 15 верстах от дому в чукотской яранге, решаем двинуться обратно. Кальягырхын боится и остался ночевать. Взяли проводником брата Уэмте и тронулись. Ветер свистел с отчаянной силой, подымая с земли тучу мелкого, как пыль, снегу. На ногах невозможно стоять. Мороз около 30°. Л. поехал с проводником впереди, я с Кенкой сзади. Под гору собаки бросились со всех ног, сразу же опрокинув нарту. Кенка попал под нарту и остался позади, я зацепился сзади и тащился волоком до спуска, пока не попали в глубокий снег. Стало смеркаться. Торопимся засветло добраться до обрыва, где обычно объезжают морем, а теперь лед может быть сломан. Через несколько минут останавливаемся и кричим, чтоб не растеряться. За нартой у нас волочится длинный конец, чтобы схватиться, если вывалимся, и удержать собак. В одном месте, действительно, наехали на льдину и опрокинулись, а собаки убежали, мы не успели и схватиться за веревку. На счастье первая нарта была близко, услышали наши крики и собак задержали. Ориентируемся по застругам и направлению ветра. Нарта то лезет наверх, то скользит вниз. Не знаем, где едем: морем или землей. Вдруг совсем близко что-то зачернело — море, «живая вода» говорит Кена, и мы шарахаемся в сторону. На момент становится жутко. Отстать сегодня от нарты, заблудиться, если это не гибель, то это, несомненно, сопряжено с обмороживанием, может быть, с серьезным увечьем. А попасть в «живую воду» — пожалуй, не оживешь, превратишься за несколько минут в ледяную сосульку. Собаки удивительно нечутки, — не хочется сказать глупы, — они лезут вперед, не считаясь ни с чем — вода ли, обрыв ли, — все равно. Быть может, снег забивает глаза и они бегут по инерции?

Подъезжаем к скале. Остановились. Подхожу к передней нарте и вижу нарту и только двух собак, — где же остальные? Убежали? Говорят: здесь; и тревоги никто не проявляет. Не по-

нимаю. Кенка говорит: «Садись на нарту и бери остол». Он тянет передних, и не успел я сообразить, как лечу куда-то вниз и шлепаюсь вместе с нартой в мягкий снег. Все целы. Потерянные собаки, оказывается, спустились под обрыв. Взираемся в гору. Едем. Спрашиваю Кенку: «А с обрыва не сорвешься»? Он отвечает эпически спокойно: «Наверно, нет», и молчит. Плохо, что молчит, думаю, — раньше смеялся. Значит, и он не спокоен? По времени где-то вот-вот должны быть яранги Рошелина, а там 3 версты берегом. Наконец, Кенка тычет в темноту пальцем и говорит: «Вот яранги». Смотрю и ничего не вижу. Доехали. Пальцев на правой ноге не чувствую, они были совсем белые и потеряли всякую чувствительность. Плохо дело. На счастье, на факторию приехал один старый северянин. В течение часа растирал он ногу в ледяной воде и спас мои пальцы. Значит опять могу ехать.

8/II. Температура 30°. Чарли говорит, что это много для Чукотки. Сегодня пытались гулять, прошли кое-как боком сажен полтора, дом стал еле заметен. Пятясь задом, вернулись. Идя против ветра, в 1-2 минуты можно познобиться. В нашей «яранге», как только ослабевает огонь в камбузе, становится прохладно. Кукуль остался у Уэмте, и я всю ночь не могу согреться. В углах лед, труба у камбуза дрожит, на улице вой, свист. Сидим как мыши в мышеловке; Чарли дал нам граммофон, — приятно, под рев полярной вьюги, слушать нежные голоса неведомых и невидимых итальянок. А вот Шалаяпинский бас, Карузо. Они свывают нас с жизнью и напоминают обо всем оставшемся там, за захлопнувшейся дверью, не дают подпасть под влияние снежного мрака. Утешаем себя тем, что середина зимы минула. Природа спешит выбросить весь запас энергии, оставленной для Чукотки и до сих пор не израсходованной. Она ревет, а нам не страшно...

11/II. Встали рано, чтоб успеть до Яндагая — 60 миль. Начали уже одеваться, но пошел снег, запорошило, и опять сидим и слушаем мелодию полярной музыки. Досаднее всего, что в

Яндагае при этом ветре тихо, даже в Уэлепе — за 15 верст — спокойно. Л. рассказывал, что в Уэлепе было устроено общее собрание поселка, на котором сделали доклад «об актах гражданского состояния». Вопрос, мало интересующий чукчей. С гораздо большим интересом говорили на тему о снабжении, о необходимости получать товары прямо из Америки. Вторым вопросом был вопрос о ценах на нерпу. Вокруг следующего вопроса — о ценах на нерпу — разгорелись страсти, и Гамилькот, председатель Уэленского общества, бывалый, умный чукча, предложил прекратить разговор, заявив: «Вам важно золото, нам нерпа; золото в земле, нерпа в воде». Смысл сказанного таков: «Для вас золото все, а для нас нерпа».

Ведем с Уэште разговор, пользуясь словами чукотского, английского и русского языков. Жена и сестра Уэште в платьях. Пальцев не обсащывают, пользуются если не полотенцем, то все же тряпичей. В пологе проделана отдушница, которая в течение дня не раз открывалась. Мы пытались и ночью вытаскивать из нее тряпку, но всякий раз кто-либо из проснувшихся снова затыкал — может войти «кедя». Мускулы рук Уэште перетянуты ремешками, через плечо нитка мелких бус, как и на шее, только крупнее. На «стене» тикает будильник, показывающий, по обыкновению, несуразное время. Ачульхен целый день стоит в иоронге, но мы так «обнюхались», что не слышим его.

12/II. Выехали при весьма относительной тишине. Холодно. 8 собак Уэште вызывают восхищение. Крупные как телки, в хорошем теле, сильные, спокойные. Помесь с американской породой. Уэште совсем их не бьет (очень редкое явление). На полпути делали остановку в с. Поутэн. Близ селения заброшенная ломка гранита, использованная некогда американцами. Чарли говорит, что выработано несколько десятков тонн. Графит очень высокого качества. Дорога трудная, снег идет все время, убрдно. Последние 10 верст к Яндагаю ехали морем, торозами, впотьмах. Опрокидывались бесконечно. Бежать почти нельзя было, потому что

спегом засыпало все трещины и легко оступиться.

15/II. Три дня живем в Яндагае и ждем хорошей погоды. Живу на фактории и неудобств не испытываю. В Яндагае 27 яранг, район богат морским зверем и сюда ежедневно приезжают с разных концов за мясом. Подыскал каюрного до Анадыря. Он сначала охотно согласился за условленную плату, а потом начал придумывать всякие поводы к отказу. Пришлось добавить 10 рублей и пообещать еще, если хорошо съездим. Не уверен, что завтра не явятся новые препятствия. Они как дети: поддаются первому впечатлению, а, пораздумавши, начинают бить отбой. Чукчи очень привязаны к своему месту, к дому и дальних поездок избегают.

Вчера во льдах заметили белого медведя. Нужно обладать чукотским зрением, чтоб за несколько верст среди льда и снега усмотреть белую шкуру. В несколько минут мобилизовалось все село. Когда я пришел, 4—5 нарт обходили зверя с двух сторон. Женщины быстро закладывали собак, пока мужчины одевались. Через минуту еще несколько нарт ринулось в море. Все население высыпало из яранг и в бинокли и трубы, с живейшим интересом, следили за гонкой, оживленно комментируя событие. Однако «умка» (медведь) добрался до воды и вплавь ушел от преследователей.

Перепись, которую я сделал в Яндагае, никаких возражений не встретила. В одной яранге видел красивую женщину, шатенку с прекрасной косой, совершенно европейского обличья.

Л. рассказал несколько случаев из своей административной практики.

С жалобой в уревком обратился чукча из Меткулина Паягырхын, жаловался он на своего знакомого за то, что тот во время его отсутствия спал с его женой. Ему кто-то сказал, что обидчик будет оштрафован в его пользу; и как только Паягырхын убедился, что в его пользу штрафа не будет во всяком случае, от жалобы отказался. Большого преступления против морали совершенно не было, если принять во внимание, что до сих пор существует обычай, дозволяющий друзьям временно меняться

женами. А в неособенно давние времена хозяин предлагал на ночь гостю жену. Некоторые местные старожилы говорят, что обычай и сейчас держится у оленных чукчей.

Второй случай, рассказанный Л. Чукча украл у своего соседа песца. Потерпевший пожаловался в уревком, виновный сознался и был наказан 30-ю днями принудительных работ. На ночь его сажали в пустую шхуну и замыкали каяту (летом). Председатель поселка чукча просил не давать наказанному мяса. Сидел он на хлебе и чае, но через несколько дней взмолился дать «копальхена». Наказание отбыл. Случаи воровства очень редки. На фактории всю зиму, день и ночь, висели на улице сотни песцов, никем не охраняемые, и случаев пропажи не было.

19/II. Сегодня приехали в Инраккинут. Не доезжая поселка, увидели маленькое деревянное строение, принадлежавшее некогда американскому торговцу. Здесь и решили заночевать, устроиться самостоятельно и отдохнуть от яранги. Кое-как приспособили трубу камбуза, зажгли все лампы, какие нашлись там, фонари, керосиновую грелку, камбуз подтопили ящиками, так что теперь спать сносно. Через 3 часа сидели без кулянок и наслаждались теплом, чаем, пельменями из оленины, которые мне поделали в Яндагае. Бульон также был заморожен в кружки и, по мере надобности, оттаивали нужный кусок, разогревали и едали. Чувствовали себя до крайности самостоятельно. К утру был холод, но кукули и тут спасли положение.

20/II. В 8 ч. выехали из Инраккинут. Дорогой часто попадались яранги. Чтобы попасть к б. Провидения, нужно одолеть крупную гору. Я мог подниматься уцепившись за нарту, ноги скользили, оторвавшись, можно было скатиться до самого основания. Тем не менее все обошлось благополучно. Один из сотрудников фактории, старик К., заболел. Дело, видимо, было безнадежно, он уехал купаться на горячие ключи в Чаплин. Над кроватью его висел сверток со странной надписью «мой дом», сказавшийся приготовленным им к смерти саваном. Смерти его ждали,

и другой его товарищ с жившим там милиционером подражали уже нарту, чтоб везти покойника с ключей. Оказалось, что перевозка обойдется не дешево: по обычаю эскимосов, в нарте, перевозившей мертвеца, нужно убить передовую собаку и разломать саму нарту.

В Провидении ночевали 2 ночи. Здесь преимущественно эскимосский район. Среди эскимосов не редкость встретить грамотного. Имеющаяся у них школа когда-то функционировала. Многие одеты в рубахи, из карманов которых иногда высовывается записная книжка и карандаш.

23/II. Сегодня приехали в с. Имтук. Селение на берегу Берингова моря, с другой стороны подходит большое озеро «Яйвох». До последнего года оно имело сообщение с океаном, пока речка, впадавшая в него, не обмелела. Озеро рыбное, водится треска. Здесь 23 яранги, из них 10 семей имеют, помимо общего эскимосского языка, свой собственный, понятный только этой группе. На языке этой группы говорят и 8 яранг соседнего селения Сегейнах. При господстве на полуострове чукотского языка, при наличии общеэскимосского, существование своего языка — изумительно. Язык, видимо, продолжает жить. Новые слова, сравнительно позднейшего происхождения, имеют собственное обозначение, напр.: дробь, порох, свеча, спички и др. Как это могло быть, что удержался язык для такой ничтожной группы людей? Старики никаких объяснений дать не могли; других людей, кроме 18 семей. двух этих селений, они не знают. Вероятно, во всем мире они являются единственными обладателями собственного языка.

25/II. Две ночи почуем в Имтуке. Ветер здесь небольшой, а дальше, говорят, сильнее. На пути лежит речка Курубка, которую нам предстоит пересечь. Постоянные ветра сгоняют с ее поверхности весь снег, и лед становится настолько скользким, что, попадая на него во время ветра, вы не в состоянии держаться. Ветер гонит и нарту, и собак, и седока. Сможем тронуться, когда ветер стихнет или изменит направление.

В яранге, помимо нас с Л., провиденский милиционер и Павлов. Сегодня сообщили, что в Сегейнак приехал из Анадыря русский,—целое событие. Начинаем гадать—кто? Л. знает всех анадырцев — и скоро нащупываем, должно быть, Синицкий.

Посылаем за ним. Мальчуган лет 14 быстро оделся, взял палку от лыж, без которой туземцы пешком никогда не ходят, и быстро побегал по озеру в гору,—он и в гору поднимался бегом. Приехал Синицкий. Он везет почту в уревком и фактории. Вернули его назад. Теперь нас в иоронге — пятеро. Иоронга, по-эскимосски «агра», достаточно вместительна. У хозяев своя большая семья и, конечно, мы их стесняем, но они так же любезны и предупредительны, как и в первый час нашего приезда. Нам не препятствуют возиться со своей посудой и примусом даже в иоронге. Хозяйки почему-то стесняются и, за неимением платьев, не решаются ходить в «макка», обливаясь потом в своих, хотя и приспущенных до пояса, кухлянках. На этот раз я не протестую против погоды, дающей возможность несколько ближе познакомиться с жизнью эскимосов. Вместо чукотского «эти» и «ы» — «тагызи» и «ла». Больше всех пристаю к Павлову, но и другие не отказываются от беседы.

У эскимосов не в обычае выгонять на улицу женщину, родившую девочку. Женщина-девица, родившая ребенка от случайного мужа, поношению не подвергается, но составить партию с холостым и молодым труднее; ее удел — или вдовец, или пожилой, или роль второй жены. Если женщина умирает во время родов — новорожденный подлечит удушению. Капризному, плаксивому ребенку прокалывают кожу над переносицей и продергивают жилу с завязанным на конце узелком; по мнению родителей, это помогает ребенку избавиться от недостатка. То же делается и при болезни глаз. Женитьба обычно происходит через сговор родителей. В Имтуке есть семья, где взрослый жених вступил в семью и ждет, когда подрастет невеста. Впрочем, при сопротивлении одного из

молодых, свадьба может и не состояться.

Обряд похорон сходен с чукотским. Покойника обмывают, одевают новую одежду мехом вверх, обвязывают черным ремнем, приделывая из него же ручки, привязывают соломинку, которую впоследствии режут и раздают родственникам. До выноса трупа на нем едят и пьют, после чего выносят ногами вперед. Приносят на гору, где раздевают донага, закапывая одежду в яму; половой орган у женщин прикрывают камнем. Родные часто навещаются, едят ли звери труп; беспокоятся, если этого нет. Вынос покойника совершается не через двери, для этого проделывается в яранге специальное отверстие.

Обычай обмена на время женами здесь также существует. Причиной обыкновенно служит отсутствие детей и желание иметь ребенка.

Месяцесчисление есть, считают 13 месяцев, приравливая названия к определенным моментам, как и у чукчей: месяц нерпичий, олений (время рождения этих животных).

Молитв специальных нет, жертв не приносят.

Воровство очень редко. Никакого возмездия со стороны общества не бывает.

26/II. Сегодня дует еще сильнее. Председатель поселка Нотауе имеет русское имя Алексей. Когда-то его окрестил русский миссионер из Аляски. У Нотауе красивое стильное лицо с тонким носом, и мягкий взгляд, с какой-то затаенной грустью. Он грамотный, по-русски говорит плохо, но понять можно. У него есть тетрадь, в которой записаны все односельцы и сегейнахские, их оружие, семейный состав. В семье у него много женщин, каких-то родственниц, дети; держатся все удивительно непринужденно и обращение его со всеми мягкое, ласковое. Маленького 4-летнего сына он научил читать; мальчуган читает бегло, но не знает языка и не понимает смысла прочитанного. Нотауе записал время рождения всех детей.

Сегодня воскресенье — Нотауе ведет календарь — и он решил развлечь нас

танцами и пением. Сам он и другой пожилой человек, вооружившись бубнами, тонкой палочкой ударяли в такт по их ободьям, сопровождая удары пением в унисон. Под эту музыку шли танцы. Танцевали дочь и сестра Нотауе. Было жарко, и танцовщицы спустили с плеч меховую одежду, прикрыв грудь камлейкой. Ноги оставались неподвижны, они слегка приседали корпусом и производили руками пластические движения. Лица без какой-либо мимики. Женщин сменили мужчины. Танцевали ребята, парни и взрослые мужчины. Музыканты обливались потом, и то-и-дело промачивали горло снегом, стоящим в чашке перед ними. Танцоры в одних штанах, босые. Танец мужчин интересен, в нем много экспрессии, движения глубже, резче, выразительнее. Одни изображали охоту, показывая руками в легких намеках отдельные моменты — стрельбу, ранение и т. д. Их танец захватил внимание зрителей, музыканты воодушевились и продолжили пение с подбадривающими выкриками до хрипоты. Поддавшись настроению, Нотауе, отложив бубен, танцевал и сам. Потом было одно пение. Уловить разницу в мелодии одной песни и песни при танце я не мог. Певец пел: «Лети, ворон, в море и посмотри, нет ли на льдинах моржей, я пойду и буду стрелять и колоть гарпуном».

27/II. Время идет очень медленно. Книжный запас подходит к концу; скоро закончим и хлебный, а ветер ничуть не унимается, небо в тучах, порошок снег. Море чернеет рябью. У берегов зимуют утки.

1/III. Наконец, гостеприимный Имтук остался позади. Небольшой ветер. Дорога идет перевалами; спускаемся в узкие долинки и обледенелые русла речек. На льду чистое мучение, гладкая поверхность не держит совсем...

Перед Курубкой заночевали. Это была первая ночевка у оленеводов, к которой поэтому я отнесся с особым интересом.

Иоронга имела площадь немногим больше 1 кв. сажени, и была настолько низка, что стоять можно лишь на коленах. Семья состоит из мужа, жены, де-

вочки лет 2 и новорожденного, люлька которого, сделанная из кожи, подвешена по середине. Вонь ужасная. Если мы в другой яранге, несколько просторнее, а сюда пришли с Павловым спать. Прижались к стенке как можно теснее, чтоб дать место хозяевам. Измученные трудным перегоном, мы скоро заснули. Но в полночь я проснулся от сильного удущья. Спать больше не могли и ежeminутно поднимали кусочки полога, чтоб пустить воздуху. Выбравшись на улицу, я почувствовал себя так, как-будто вышел из-под колокола воздушного насоса, под которым выкачали воздух. Оказалось, что и остальные провели такую же ночь. Настроились мы решительно и готовы пойти на героические усилия, чтоб не повторить сегодняшней ночи.

2/III. Морозит, ветер дует порядком. Спустились на пресловутую Курубку. Она — словно зеркальное стекло. С большими трудностями перетаскились на другую сторону. В'ехали в лабиринт узких горных проходов, ветер свистел с бешеной силой, но стоило повернуть в другом направлении, как попадали в абсолютную тишину, словно в другую климатическую полосу. И так весь перегон. Дорога — с горы на гору, изрезанная застругами. Моя нарта едва тащится. Верстах в 10 от б. Преображенья, где расположено чукотское селение Нонлиырэт из 29 яранг, встретили стадо оленей. Собаки учуяли издали и их нельзя было узнать. Откуда сила взялась!

3/III. Хорошо выспался в большой и чистой иоронге Тайруе. Тайруе — коммерсант, вращался среди белых и знает «хороший тон». Здесь я ел и оленину и деликатес чукотского стола — олений язык с сырым, мороженым мозгом. Тайруе имеет даже кофе и консервированное молоко. У него две яранги: вторую, вместе с женой, унаследовал от брата. Нанял его в качестве каюра прямо до Анадыря. Тайруе не раз бывал там и зимой и летом, знает дорогу. Собаки у него хорошие, говорит по-русски.

10/III. Ветер изменил направление. Дует с юга. Каюрные наши беспечно наслаждались в иоронге, когда мы,

потеряв терпение, решили воспользоваться случаем и выбраться из Редкин. В Беринге предупредили, что после Редкин — будет плохое место, поэтому меня снабдили особыми железными подковами. Лед в бухте сломан и волны яростно кидают в нас брызги и мелкий лед. Лыдины со сточенными верхушками, похожие па огромные блины, плавающие среди мелкого льда словно в сале, то погружаются, то снова поднимаются. Дорога идет по наклону, обращенному к воде, и сползти вниз по обледенелой поверхности совсем не трудно. Через несколько часов сделали привал в выемке горы, защищенной от ветра, выпили чаю, закусив собачьей юколой. Остановились уже при луне, часов в 6.

11/III. Выехали в 4 ч. утра при лунном свете. Дорогой заезжали к оленеводам. Подъехали к самому стаду. Большой старый олень с глупой мордой уставился выпуклыми глазами. Собаки, получив несколько тумачков, нервно взвизгивали и прыгали на месте. Оленеводы дали нашим несколько кусков мяса.

Здесь — тип комбинированного хозяйства: оленно-берегового.

После небольшого привала двинулись к Крестам. День сегодня тихий, солнечный; солнце так припекало, что было жарко сидеть, но стоило повернуться лицом к северу, как вся иллюзия весеннего дня пропала мгновенно. Ехали открытым берегом, довольно хорошей дорогой. Не доезжая Крестов, наша свора бросилась в сторону и схватила песка, которого едва отняли. Оказалось, песец попал в капкан. Впереди ехавший Л. рассказал следующее:

Когда они под'езжали к этому месту, заметили лисицу, сидевшую на песце и давившую его. С приближением нарты она бросилась в тороза, показав им пушистый хвост, и скрылась. Капкан при постановке сильно маскируется, чтоб зверь не видел его совершенно, иначе далеко обойдет его. Особенно осторожна лиса, — но в данном случае она понимала, что **захлопнувшийся** за песцом капкан ей не опасен, хотя он громыхал цепью и весь был наружи.

Тайруе говорит, что завтра едва ли поедем, — будет пурга. В Кресты приехали в 4 часа. В двух маленьких комнатах при общей кухне разместились две семьи. В полувосте живет русский, Близииков. Когда-то пришел искать золото, с тех пор и живет в полуразрушенной землянке, питался моржом, без каких-либо перспектив на дальнейшее. Близииков — человек большого роста, крупный и сильный человек, очень застенчив, что так не гармонирует с его внешностью. Близииковым и исчерпывается все общество живущих в Крестах. Наш приезд внес некоторое оживление.

С момента ухода парохода, после Синицкого, мы были первыми белыми, попавшими к товарищам на их необитаемый остров.

15/III. Тайруе был прав, — сидели из-за пурги. При тихой погоде, но сильном тумане выехали из Крестов. Переезжаем бухту, ориентируемся по компасу. Еще в Крестах сообщили, что в одной из яранг по ту сторону бухты курят самогон. Хозяин яранги уехал к оленеводам. Жена на требование выдать аппарат сперва сослалась па незнание, а потом выкатила боченок заваренной бражки, банку готового продукта и аппарат. Все было уничтожено. Женщины, видимо, были довольны: при пьянстве мужей они терпят больше всех. Чукча хмелеет быстро и становится совершенно невменяемым.

В этом поселке надо было ночевать или хотя бы напиться чаю, здесь родственники наших каюров, но решили ехать дальше и остановились в следующем поселке, состоявшем из выселенцев — эскимосов с Чаплино.

16/III. В 4 часа утра выехали. По пути до Анадыря нет жилья, и две ночи предстоит ночевать в тундре. До ночлега 2 раза пили чай. Чайник кипятили на примусе в палатке. В 5 часов вечера остановились на ночь, проехав верст 90. Среди белого поля поставили две палатки. Одну предоставили нашим чукам, в другой разместились сами. Чтoб не поддувало, обсыпали снегом. Чукам дали один примус, 2 оставили у себя. Уставшие собаки, которым не раз попадало в пути, свер-

нулись колечком; даже возня около нарт с кормом не нарушила их покоя — они остались неподвижными.

Вечер тихий, слегка морозит. На небе загорелись звезды. Нарты темнеют пятнами; причудливыми фигурами вздымаются над снежной пустыней палатки. Четко шумят в вечерней тишине примуса. И всю природу, и спящих собак, и палатки обливают мягкие ласкающие блики северного сияния. В палатке разостлан белый медведь. Примуса, которые сперва исползовали по прямому назначению, оставили гореть на ночь для тепла. Температура держится настолько высокой, что сидим без кухлянок.

18/III. Около 12 ч. дня увидели высоко вздымающиеся мачты радио.

Через несколько часов свяжусь с жизнью, узнаю приятные и неприятные новости. За 8 месяцев отвык от многолюдства. Несмотря на радио, информация в Анадыре получается довольно скудная, агентских телеграмм не имеют. Население живет местными интересами. Самый незначительный факт из жизни одного становится темой для остальных. Царит классическая сплетня. Играют в преферанс и в шахматы. Имеется школа, помещением которой пользуются изредка для устройства вечеринок и спектаклей. Я был на одной такой «вечорке». В танцах принимают преимущественное участие местные девицы и женщины, а в качестве кавалеров — сотрудники учреждений — народ приезжий. Совсем еще молодой человек, начальник одного из учреждений, мило улыбаясь, убеждал свою даму не отступать от обычая танца и подарить ему поцелуй. «Ленька», посыльный и страж, обутый в изящные сапожки с высокими каблуками, распустив длинный шнур револьвера (возможно, что был только один шнур), лихо откалывал «восьмерку», приглашая поочередно, как того требует обычай, всех дам. Довольно пожилых лет бабушка, в длинной опушенной бобром кухлянке, в мягких торбазах, утицей плавала по залу. У «Леньки» уже пот струилась со лба, а бабка все не унимается.

В нескольких верстах от селения имеется каменный уголь, которым и отапливается местное население. В этом году предприняли заготовку для всех учреждений. Выработку и возку угля отдали местным анадырцам. Марковские, жители с селения Марково по р. Анадырю в нескольких стах верстах от поста, узнав о заработках, приехали на нескольких нартах сюда и заявили свои претензии. В целях полюбовного распределения было созвано собрание заинтересованных. Довольно большая для Анадыря комната, уставленная по стенам скамьями, занята чинно рассевшимися камчадалами, «старозилами» (старожилами). За председательским столом с карандашом в руке предуревкома. Обут в валенки, на нем американская, в клетку, куртка «макино», на голове массивный «малахай» с распущенными ушами и болтающимися завязками. Распределяют уголь.

— Да-к ты, Ванюшка, уступил бы марковцам-то две тонны, а то ведь люди специально приехали.

— Согласен.

— Тозно (тогда) ты мне узо (ужо) дай други-то две тонны.

В результате этих мирных переговоров тонны распределили, отдав остатки марковским. Марковцы, как и вообще камчадалы, — отъявленные лентяи, и только полное отсутствие пищи побудило их приехать на заработки.

14/IV. День солнечный, снег ярко блестит, без очков (желтые консервы) невозможно смотреть. Человек 30 товарищей и «старозилов», окружив нарты, пожимали руки, желали счастливого пути. Тронулись.

15/IV. Ночевали в палатках. Мои каюрные кукулей не взяли и спят, подбросив короткие олени шкурки, одеты они чрезвычайно легко. Я надел двойную кухлянку, ноги — в торбазах со «щеткой»¹⁾, а все же холод дает о себе знать.

Едем два часа. Наконец, Прохор начинает заводить: «Сто зе, пора, однако, цай варить, собацки-то устали,

¹⁾ Щетка от ног оленя подшиваются для тепла подошвы торбазов.

мольца¹⁾, станем палатку ставить?». Поставили, сварили, попили. Поехали. Через два часа опять та же песня...

16/IV. Выехали в пять утра. Намерзшись вчера за день, не мог согреться и ночью.

Заблудились в тумане и несколько часов крутились в горах. Около 9 добрались до эскимосов и заночевали. Дорогой наткнулись на какую-то снежную могилку, тщательно утоптанную. Оказывается, лисица убила песца и, с'ев внутренности, остатки закопала в снег в надежде покушать после. Следы крови аккуратно засыпаны, словно возился тут человек, и только лисьи следы изобличали «автора». Песца положили на нарту, а Прохор смеялся, что «обдурили» лису. Под'езжая к Крестам, услышали, что, за время нашего пребывания в Анадыре, здесь умер один из сотрудников, бывший вполне здоровым, когда мы его видели. Предполагают воспаление легких. Беременная жена его с мальчиком только что проехала в Анадырь²⁾. Жена другого товарища ждала рождения ребенка и мы застали бабу, приехавшую дня за два из Анадыря. В одной из деревенок, где мы ночевали, мне передали забытый мной в яранге шарф и серебряную ложку, которую потерял в тундре во время чаепития.

19/IV. Проехали речку Чеутыкэм, которая по чукоцким сведениям ведет к б. Колочипо. Едем опять косогором по берегу. Дорога испортилась, ехать довольно неприятно. Раскинули палатку для очередного чаепития. Палатку привязали между двух нарт. Собаки свернулись, спят. Прохор сидит в палатке и ковыряет из-под ноги снег, набивая его, наверное, рукавицей в чайник — я не смотрю. Шумит примус. Вдруг наши своры, придя в сильное возбуждение, с громким лаем бросились, сорвав палатку и опрокинув чайник с примусом. С берега бежали три зайца. Поминутно останавливаясь, садились на задние лапы и смешно хлопали ушами, вытаращив глупые

глаза. Собаки пришли в еще больший азарт, и мы едва перехватили нарты. Чаю все же напились. Проехать много не пришлось. Часа за четыре до Редкии разыгралась большая снежная пурга, и в 3 часа, мы, спешно поставив палатку, заночевали. Ветер свистит. Снег хлопьями валит, то-и-дело отряхиваем палатку. Собаки завалило, у некоторых торчат только морды, других засыпало совсем и присутствие их можно определить только по легкой дымке дыхания через снег.

20/IV. Доехали до Беринга. Получили письмо от Павлова. Сообщает новости. У него умер сын, в Имтуке унесло с байдарой эскимоса, предполагают, что погиб. В Имтуке и Эстихете была голодовка, в некоторых йоронгах ели ремни. В прошлом году в это время была охота на моржа, а нынче нет льда, много ветра, и морж держится далеко в море. Здесь взял новых каюрных.

26/IV. Доехали до яранги оленевода, оказавшегося братом нашего хозяина, Непэуга. Говорят, дальше ехать нельзя, потому что успеем добраться до стойбища оленных, где население 4-х яранг — сплошь больные. Довод неопровержимый.

У оленевода интересное лицо. Тонкий с горбинкой нос, цвет лица кирпичный, он похож скорее на индейца, жена его эскимоска.

В яранге развели костер. Дым отчаянно ест глаза, нежуда избавиться, на улице холодно и ветер. Йоронга так мала, что о ней нечего и думать. Сижу и лью слезы, как и приехавшие со мной. Только хозяйка, как ни в чем не бывало. Привыкли.

27/IV. В ближайших ярангах действительно были больные. В двух болели все члены семьи. Навстречу никто не вышел, кроме двух девочек, принесших в наших чайниках воды из речки, которую скипятили на примусе. В ярангах нет сала, сидят без света и тепла. Обещал прислать, если достану. Проклятую Курубку с ее лабиринтом гор проскочили благополучно. Проехали еще оленных. На гребне довольно высокого увала стояли два мальчугана — пастухи.

¹⁾ «Мольца» — присловие «молча», равнозначнее нашему: «что ли», «дескать», «мол».

²⁾ По возвращении во Владивосток она умерла на другой день от туберкулеза.

Чукча никогда не проедет мимо живого человека не разузнав всех «нынгл» (новостей). Как только стали под'езжать, мальчишки ловко с'ехали по насту с довольно крутого спуска, подогнув одну ногу под себя, другую вытянув вперед. За ними волочился распущенный «маунт» — лассо с петель на конце для ловли оленей. Каюры разговаривали с ними как со взрослыми, отвечая на все вопросы. Я видел, как они смеялись, измеряя ступни моих солидных торбазов, наподобие слоновьего следа. Через минуту они ловко карабкались, втыкая в землю ножи, на свой наблюдательный пункт.

Ехали рекой. Вода поднялась высоко, то-и-дело попадали в наледь ¹⁾ и бедным собакам приходилось плохо, мокрые лапы, попадая на сухой лед, примерзали, и приходилось с болью стрывать их. Около 9 часов выехали куда-то на сухое место и поставили палатку. Я продрог и, воспользовавшись отсутствием каюрных, ушедших добывать воду, проглотил глоток спирту со снегом и согрелся, а ноги растер денатуратом.

28/IV. Мы выбрали обходный путь, минуя Провидение и Имтук. Здесь обычно не ездят, и мои чукчи едут на-авось.

Встали поздно, и я не торопился, чтоб дать отдых собакам, так намутившимся вчера, тем более, что сегодня предстоит не легче. Довольно широкая долина, которой ехали до сих пор, кончилась, — мы начали подниматься в гору, вступив в лабиринт узких межгорных проходов. Снег глубокий, собаки еле плетутся. Мой каюрный надел лыжи и идет впереди, протоптывая дорогу, собаки за ним идут охотнее.

Временами открывается интересная картина. Целая масса сбегавшихся в одну общую гряду сопкок сияла своими белыми, высоко скользящими в небо верхушками. Наконец, ущелье становится шире, горы ниже, виднеющееся в перспективе сопки отходят на задний план; к вечеру выбрались в долину неизвестной речки и начали

быстро спускаться. Вдали зачернели точки и скоро явственно различили 3 остова яранг. Выехали не туда, куда нужно. Попали к оленеводам. Яранги разбросаны в удивительно уютном местечке на пологом склоне горы, на берегу бухты. Бухта засыпана снегами; бело, бело — ни одна черная точка не нарушает гармонии белизны, и только высокие горы, обрамляющие бухту, вздымаются темнеющими силуэтами на еще светлом, отливающим синевой, горизонте. Полярный апрельский вечер. Из горы четко вырисовался тонкий лик полумесяца. Вечер еще чуть сгустился в сумерки, ночи уже нет, в 12 часов я различаю циферблат часов. Напились чаю, собаки передохнули, — тронулись дальше.

2/V. Выехав из Яндагая, через 3 часа добрались до Нунамо, где серьезно обсуждали вопрос о дальнейшем движении. После долгих разговоров, старики решили, что морем ехать можно, высокий берег защитит от пурги, не на шутку опять разыгравшейся. Остановились в Чини, в нескольких часах от Дежнева. Говорят, в Дежневе сей час пурга.

3/V. Около двух часов увидели дежневские яранги, и скоро нарта стала. Снегу навалило так много, что от всех наших домишек только крыши торчат. Как ни интересно было путешествие, все же вздохнул с облегчением, что больше не буду мерзнуть, ночуя в палатке или сидя на нарте, борясь с усталостью и дремой, избавлюсь, наконец, от маленьких, но злых ползучих врагов, не буду пить чай с «шарой», собранной со всех чашек. Буду терпеливо следить за очищением моря ото льда, караулить дым пархода. Так хочется носить чистое белье, сбросить шкуры, вымыться в бане!

Встретили нас и свои и чукчи приветливо. Все здоровы и, вообще, все благополучно.

8/V. На-днях в Наукане убили белуху и гонялись за китом. Во время моего от'езда около фактории убили белую медведицу с медвежонком. Попав под обстрел, она мужественно прикрывала собой детеныша, пока не пала под выстрелами. Шкуру полу-

¹⁾ Наледь — вода, выступившая поверх льда.

чил науканец, потому что он первым увидел ее и спугнул к Дежневу, мясо досталось нашим. Получил письмо из Яндагай, что море очистилось, и чукчи собираются на охоту. Там тоже было плохо. Я не мог купить сала, обещанного большим оленеводам, о которых писал. Чукчи живут впроголодь. Выходит, что население здесь слишком густо по состоянию промыслов.

Погода неустойчива: то туман, то ветер, поднимающий обычную снежную кутерьму. Днем я хожу работать в свою хату. Через каждые два-три часа берусь за лопату, освобождаю дверь, а потом и окно. Домишко, наконец, попал в снежное окружение, чего я так хотел в течение зимы. Чарли говорит, что нынешний год очень похож на 20-й год.

9/V. Появились утки; вот уже несколько дней, как начался перелет. Дежневский район, видимо, является этапом птичьей дневки с дальнейшим направлением на север. Какой инстинкт заставляет птицу бросать, казалось бы, более удобные места, затрачивать такую массу энергии; и какую пищу находят они сейчас на таком далеком пространстве от берега в глубинах океана, а между тем утки жирны.

Приезжие из Наукана говорят; что там мяса совсем нет — голодают. Администрация обследовала положение, и факт голодовки подтвердился — голодают 30 яранг. Люди голодают, а не слышно ни одного слова жалобы, сетования, не идут со своим несчастьем, мольбами к «белым». Если придется — также молча будут и умирать.

Приехали 11 нарт во главе с председателем Ипак из Наукана. Выдали в кредит муку и гречку. Бережно молчаливо сложили муку на нарты и уехали, — ни слова благодарности. По их обычаям, всякий имеющий пищу обязан дать голодному без какой-либо компенсации или возврата. До последнего времени Яндагай имел запас мяса, и вот отовсюду туда тянулись нарты, пока ямы не стали пустыми.

13/V. Днем темпер. $+1^{\circ}$, вечером -3° . В Уэлене хорошая погода, а у нас

снежная пурга. На-днях к нам прикочевал Уэмте со своими родственниками. Какие причины? Скучно, по другой версии — малолюдство неудобно для охоты, третье объяснение — распоряжение шамана.

Скоро час ночи, а в комнате можно читать без лампы. День в течение круглых суток действует на нервы. Появляется раздражительность, плохой сон, чего-то не хватает.

В комнате хаос. Все надоело. Посуда стоит с обеды грязной кучей или разбросана по разным углам. Стол, как замазали сковородой в саже несколько дней назад, так и стоит невымытый. Комната метется не каждый день. Поддержанием чистоты никто не хочет заниматься. Все равно, эта закопченная, жалкая комната не станет уютней. Скучно.

21/V. Несколько дней, как ночью в своей «яранге». Окруживший ее снег поддерживает сносную температуру. Утрами я уже не дрожу собачьей дрожью, как было зимой. Сегодня 3-й день как отчаянный порд со снегом метет — свету белого не видно. В течение зимы я не раз задавал Чарли вопрос, как он мог прожить 24 года в таких условиях, жить под вечный аккомпанемент бури. Он смеется, разводит руками и отвечает по чукотски: «ко-о» (не знаю), — на следующий год он непременно уедет. А люди, давно живущие здесь, говорят, что он лет 10 собирает уезжать!

24/V. Вот уже шестой день, как на улице пурга. Конца не видно. Как-то трудно себе представить, что на материке теплое солнышко, распустилась зелень, цветут цветы. Я думаю, что пусть лучше льет нудный чукотский дождик, все же будешь знать, что это не зима, а лето. Не знаю, чем живут чукчи — поели все. Ветром разломало лед, и теперь, если подует с севера, берега очистятся, улучшится и охота. В Наукане опять убили белуху и 2—3 нерпы. Выданная мука должна была бы давно кончиться — давали на 50 дней — а они больше не просят.

25/V. Пуржит, но не сильно. Утки полетели снова, может быть, предвещают хорошую погоду. Ипак из Нау-

кана говорит, что понемногу бьют нерпу, муку дают только остро нуждающимся и она еще не кончилась.

27/V. Сегодня впервые увидел чаек. Наши убили белуху и растащили в момент. Сегодня, наконец, тихо, солнечно, тепло, +6°. После 8-дневной пурги один такой день стоит многих материковых. Вереницы нарп потянулись в море, к открытой воде, на уток и нерп. При потрошении утки нашли зародыши яиц. В Наукане убили моржа, 3 маток и нескольких нерп. Сейчас из южных морей пошли в Ледовитый киты, поэтому стараются меньше стрелять, чтоб не пугать их. Авось, убьют.

1/VI. Вчера сломало лед в Уэлене, вода близко. Дует южный ветер, поэтому уэленцы боятся итти в море — унесет. Охота на уток закончилась. Июнь месяц, а у нас как были, так и стоят сугробы снега под самую крышу. Все же снег подтаивает и оседает. Из Яндагай вернулись кое-кто из наших европейцев — ездили на горячие источники. Ставили палатку под ручьем, выкапывали яму и купались. Говорят, чувствуют себя лучше. Питаемся скверно, солонина надоела, а о свежем нечего и думать. Достал нерпичьи почки, и хотел обмануть товарищей, выдав за олени, поджарил с морковным соусом и томатом. Вкусно, но как то непривычно. Б. говорит, что его тошнит. Это уж воображение работает.

4/VI. Полчаса тому назад, в половине второго, взошло солнце. Тишина. В природе праздник, но как же он короток! Мы не спим, бодрствуют и чукчи. С тундры доносятся голоса птиц, а какая-то певчая пичужка, сидя на крыше, среди снега, так и заливается. В эти короткие моменты все зовет к жизни, вот почему никто и не спит, повинуюсь громкому зову природы. В иных широтах люди всю жизнь наслаждаются красотой мира, а здесь хорошие дни мелькают, как зарницы...

15/VI. Получил в час ночи бумажку из Уэлена, администрация по просьбе чукчей просит прибыть для разрешения ряда вопросов снабжения. На легкой нарте, без снегу, по мокрой траве поехали, мой каюро бежит почти

всю дорогу пешком. Нарта скользит довольно легко. Речки распустились от массы тающего снега и обильны водой. В двух местах переходили в брод, вода ледяная, сапоги выдержали, но залило через голенище. Собрались все чукчи Уэлена. Гамилькот, Франк и Млетке — главные ораторы. В чем дело? Теренкеу переводит. На фактории нет китобойных патронов, мало ружейных, нет сахару, чаю, табаку. Нерпа принимается дешево, за пачку патронов нужно отдать 8 штук — нерпа сейчас только мелкая. Кто-то из них с'ездил на остров Диомид и привез оттуда всякие сведения о ценах и пр. Чукчи несколько возбуждены. Вопрос сводится к тому, чтоб позволить им самим поехать на русский Диомид и выменять на ус (китовый) товары, которых нет на фактории. Отвечаю по пунктам. Китобойных патронов нет, но если, они говорят, они имеются на нашем Диомиде, я достану. Ружейных патронов 6½ тысяч и беспокоиться преждевременно нечего. Чай кирпичный есть в избытке, табак листовой пока также есть. Сахару нет, но что же делать, мы и сами пьем чай без сахару. В России, говорю, был неурожай и люди хлеба не имели, а там хлеб все, все равно как здесь нерпа. Пароход скоро придет и привезет все. Теренкеу переводит ответ.

«От кирпичного чая у некоторых болит живот, табак-манчжурку многие не любят и хотят американского, что вы сами пьете без сахару — для вас один год ничего, а нам, живущим здесь всю жизнь, хочется, чтоб чай был слаще».

Я ответил, что все возможное сделаю, но приобрести байховый чай и американский табак — не могу, с меня за это могут взыскать. Разве Млетке будет отвечать за меня, если меня накажут, спрашиваю? Остается вопрос с нерпой. В течение зимы нерпу покупали в среднем не ниже 1 р. 30 к. За 2 кожи могли купить пачку патронов. И тогда возражений не было. Почему, когда ездили в Анадырь, и я мог сообщить по телеграфу, молчали?

На этом и порешили.

18/VI. В Уэлене пробыл 2 дня. Ехал ночью в оба конца, потому что ночью

таяние меньше и речушки не так многоводны. Сегодня собрали первые цветы. Мелкие, синие, синие незабудки, какие-то еще, видов 8—10, цветут, чуть поднявшись над землей, а кое-где еще белеют плешины снега. Ночью в тундре местами попадались лужицы, подернутые пленкой льда. В Уэлене солнце совсем не сходит с горизонта. Лед там настолько очистил побережье, что мог бы пристать пароход.

Повсюду появилась нерпа. В Наукане хорошая охота на моржей. Патронов у нас науканцы берут мало, видимо, взяли на американском Диомиде.

25/VI. Погода меняется несколько раз в день: солнце сменяется туманом или дождем, тишина — ветром. Температура от 0° до +12°. Сообразно с состоянием погоды, нет устойчивости и в настроении.

Калягырхын убил лахтака и нерпу. Их внесли в ярангу и положили головой на порог. Мальчик принес чашку воды и напоил мертвых зверей, полив водой крест накрест головы. Они пришли из воды, их и угощают водой, как дорогих желанных гостей. Чукчи и эскимосы начинают погашать долги фактории.

26/VI. Сегодня с утра начало очищаться наше побережье.

Впервые за этот сезон приезжали на байдаре северяне, взяли только 10 пачек патронов.

Оказывается, наши предположения о приезде С. в связи с ремонтом шхуны в Номе оправдались. Получил бумажку из Уэлена и сегодня же отправился туда. Мне предстоит плавать и торговать на этом судне. Тоннаж его не более 40—45 тонн. Торговали в Уэлене. Чукчи очень рады приходу шхуны, да и мы тоже — кризис с патронами и прочим изжит. Пошли в Дежнев с остановкой в Наукане.

27/VI. В Наукане я впервые. М. Дежнев, его конечная точка, именно здесь. Поселок из 61 яранги — самый крупный на полуострове — расположен на предгорье, по обе стороны оврага. Много домиков американского типа. Большая часть из них исполняет служебную роль складов. Науканцы довольно прилично одеты. У многих

видны рубашки, штаны, у женщин платья, камлейки сделаны из матерьяла, явно полученного по ту сторону пролива. Большого интереса к шхуне не проявили, видимо, нередко бываю на Диомиде; отсюда ежегодно кто-нибудь попадает в Номе. К Дежневу едва пристали, подперло льдом и затерло — стояли 16 часов. На счастье погода тихая и лед не напирает. С баграми и топорами вылезли на лед, рубили, толкали, но пока не потянуло ветром с берега, пройти не могли.

28/VI. Вышли на Север. В Инчоуне забереги версты на 1½, в остальных местах чисто.

Остановки делаем в каждом жилом пункте. Как только шхуна бросила якорь, от берега отделяются байдарики. Женщины, дети, старики — все едут к нам, чтоб купить или просто поглазеть. На фоне бедной впечатлениями жизни, приход шхуны — большое событие. Тащут песка, лисицу, клык, туфли, обломок какой-нибудь кости — авось, сойдет! Покупатель-продавец не смущается, если что-либо из принесенного им бракуется, едет на берег и привозит что-нибудь еще.

12 ч. ночи, а солнышко скользит над самым морем, скоро начнет подыматься. Море тихо. Насколько хватает глаз — все лед и лед. Отдельно вздымающиеся глыбы-горы идут медленно мимо, отбрасывая тень. Какая бесконечность! «Какой простор, какая ширь!»

6/VII. Северный рейс закончили до б. Колючино, дальше, говорят, есть лед, забиты берега. Зашли на Диомид, купили у эскимосов китобойных патронов и свезли в Дежнев. На американском Диомиде школа с учителем-эскимосом, миссионер. Эскимосы не хотели сперва торговать — был воскресный день — грех, но их соблазнили пыжики и они пренебрегли советом о. миссионера. Чарли говорит, что сейчас еще может быть охота на безусого кита. Вышли в Номе.

Номе в 20 часах от Дежнева, на Аляске. Вот она, Аляска... Теплое течение, проходящее здесь, делает кли-

мат' мягче. Льду и снегу не видно. Температура градусов 16.

Подбрились, помылись. У меня, кроме нерпичьих штанов, да высоких болотных сапог, никакого костюма нет. Как-то неловко, все-таки Америка. Воспользовавшись приливом, вошли пустой шхуной прямо в речку. Сейчас же подплыл какой-то джентльмен в форменной фуражке и подтяжках наружу. Несколько минут разговора, — и мы идем в город. Город деревянный. Тип, принцип построек тот же, что у нас на Дежневе. Встречаются и 3-этажные дома. Жителей тысяч 5. Многие дома выглядят старовато. Главная улица вымощена деревянными плахами и тоже пришла в ветхость. Сообщение автомобильное. Шоферов нет; ездят сами хозяева; вон едет девочка лет 14 и ловко правит. Навстречу мчится седой человек с засученными рукавами, без шапки и пиджака — врач городской больницы. Главная улица вся из магазинов. Когда-то Номе был центром золотой промышленности, притягивая авантюристов всего мира. Сейчас золото сверху выбрали и доставать из глубин земли «проспекторам» (золотоискателям) не под силу, и золотоносная площадь откуплена крупной компанией, работающей драгами. Почва мерзлая, часть года затрачивается только на оттаивание, часть года, зимой, работа не производится. За время владения Аляской американцы успели выкачать ценностей на миллиарды рублей.

Явились к властям. Посмотрели на меня, и больше, говорят, ничего. Гостиница в 3 этажа. Большой, выдавший лучшие дни, номер. Умывальник, 4 полотенца, мыло, вода. Нужно бриться, а воды горячей нет. Прислуги нет, кроме приходящей, которая утром убирает жомнату и уходит. Спускаюсь вниз со стаканом и растолковываю хозяину, толстому немцу, чего надо. «Ол райт, ол райт». Тащит воды, дружелюбно улыбается, кивая головой. Внизу, вместо вестибюля, зал со сценой и роялем, стоит большой стол с газетами и журналами. Некоторые, не снимая шапки, откинулись на спинки стульев, и, задрав ноги на стол, чи-

тают. Прежде всего отправляюсь в магазин и снимаю свои нерпичьи штаны и сапоги. Здесь так не ходят. В кафе — появление русского из Сибири бывает в Номе не каждый день, поэтому чувствую на себе пытливые взгляды обедающих. Обедает человек 30 и их успеваешь обслуживать одна женщина. Мило улыбаясь, подает карточки и спрашивает, что я хочу? Я твердо знаю одну фразу, что я не говорю по-английски, я русский. Убегает. Приходит человек в поварском костюме и приветствует на каком-то славянском наречии. Оказывается, он серб, хозяин и повар кафе. Поняли друг друга, и скоро я ел и суп и «печену свиный» (печеную, жареную свинину), запивая прекрасной родниковой водой. Земляки, прослышав о моем приезде, являлись в кафе или в номер, а то и просто ловили на улице и расспрашивали о России. Все они живут здесь по нескольку лет, приехав еще в довоенное время, но не могут свыкнуться и скучают по родине. На одном месте они не живут, раз'езжая по всей Америке. По манере одеваться, держаться, по своим настроениям они никак не могут ассимилироваться. Почти все они вплетают в русскую речь английские выражения.

Русских в Номе человек 20. В Номе имеется радио, летом два раза в месяц приходит пароход из штатов. Зимой, кроме радио, сообщения нет, если не считать почты, раз в месяц доставляемой на собаках и оленях.

Городок напоминает нашу глухую провинцию. Имеется кино, дважды в неделю дающее сеансы. Большой зрительный зал (кажется, мasonicкой организации) используется для вечеров. — Танцы под рояль, скрипку и барабан (!), вместо барабана бьют еще палкой по деревянной дощечке. В этом сочетании звуков я никак не мог уловить гармонии; мне казалось, что без барабана и этого стучанья в доску было бы лучше. С начала вечера был солидный номер слепой эскимосской девушки, довольно чисто сыгравшей какую-то вещь. Танцуют только фокстрот и вальс. В танцах участвовали глубокие старики и старухи. Предсе-

датель суда, 72-летний человек, вальсировал, не отставая от молодежи. Время от времени подходил новый танцор к уже танцующей паре, хлопал по плечу кавалера и получал его даму. В танцах нет живости — лица серьезные, движения степенны; вероятно, на это занятие смотрят как на мочию, который должен быть выполнен, потому что стоит в «порядке дня». В перерыве был аукцион корзиночек с лакомством, в пользу школьной организации. Под конец вечера все столики сдвинули и устроили чаепитие с бутербродами, принесенными из дому.

В свободное время обыватель старается развлекаться, — едут на автомобиле за город, ловят рыбу. В ясный день, как по команде бросаются купаться в море, температура которого не думаю, чтоб была высока. Спиртные напитки в Америке запрещены, пьют самогон — отвратительную сивуху, но можно достать по высокой цене и виски.

Большой магазин с десятком отделений, хорошо снабженных товарами, обслуживается всего лишь двумя людьми, а в нем товару больше чем на 300 тыс. долларов. В другом, тоже большом магазине, 2 человека; в нужный момент хозяин, одетый в синюю «робу» (рабочий костюм) правит грузовиком, таскает какие-то бочки, а в воскресенье, засучив рукава, с мокрой тряпкой стоит и моет окна и стену своего магазина.

Эскимосы, которых довольно много сейчас в Номе, одеты в европейские костюмы, женщины — молодухи ходят даже на высоких каблуках, в белых чулках, заходят в кафе — пообедать. На лето они съезжаются сюда на случайные заработки. Как раз в это время была забастовка грузчиков, и эскимосов использовали в качестве штрейкбрехеров. Постоянной организации грузчиков нет, погрузочной работы мало, и забастовка провалилась. На погрузочную работу идут временно, пока не устроятся на прииски.

24/VII. Выехали и пошли к Анадырю. Заштормило. Наш корабль бросает, как скорлупу... «Кают-компания» вмещает 2-х человек, тут же плита-кам-

буз и столик для еды. Сидеть невозможно — срывает с места. Чайник, привязанный на плите, танцует фокстрот. Вода катит через всю палубу; проходя из рубки до кухни, крепко держусь за тоненькие перильца и с отвращением смотрю в разверзшуюся пасть океана. Стол наш нарушен стихией — никто ничего не готовит. Один чайник с кофе кипит не переставая. Питание предоставлено каждому по его усмотрению.

30/VII. Добрались до Анадыря. Прежде всего, получил баню. В этом году, кажется, третий раз получаю такое высокое удовольствие. Дважды имел баню в зимний приезд в Анадырь. Здесь нам тоже обрадовались. На шхуне были овощи, фрукты, консервированное молоко, анадырцы в этом очень нуждались — здесь были цынготные (европейцы). У чуждей цынгы не бывает. Местные люди говорят, что мясо, да еще сырое, как едят они, предохраняет от заболеваний.

7/VIII. В Анадыре пробыли целую неделю, частью из-за дурной погоды. Сегодня вышли, и едем опять в Номе за товаром.

9/VIII. Ночь прошла спокойно, а сейчас опять качает. Походим к Берингу, идем вдоль красивого скалистого берега. Масса дичи; возле самого борта проследовал большой кит. Я ничего не имел, что он не обратил на нас внимания, еще неизвестно, кто бы победил.

20/VIII. Опять Номе, и опять как и в первый приезд, ясный, солнечный и чуть не жаркий день. Вокруг некоторых домиков разбиты огороды, растут морковь, лук, салат, редиска, видят даже капусту.

Во время разборки табака в сарай к нам зашел редактор местной газеты, с которым меня познакомили. Мы оба кивали головами и приятно улыбались. Мне сказали, что он сможет указать, где возможно достать сборник законодательных актов по золотопромышленности Аляски. Он обещал и просил зайти в редакцию. Зашли в редакцию и еще раз пожали руки. Содействие его выразилось в том, что

оп позвонил в аптеку, единственный в то же время и книжный магазин, и сказал, что мы придом за книгой. На другой день в его газетке появилась заметка, извещавшая мир о том, что в Номе приехал мистер Г.—интересующийся законами о золотопромышленности Аляски, и что М-г С. fine gentlemen. И откуда он это узнал? (!). Теперь на мне поставлен штамп общественного признания—red gentlemen...

28/VIII. Наконец, сегодня вышли. Хочется поскорее стать хоть на мерзлую чукотскую, но родную почву.

29/VIII. Пристать в Дежневе не могли из-за южного ветра, поэтому меня высадили в Уэлене. Идет дождь, а нужно бы попасть в Дежнев, вот-вот, придет пароход.

31/VIII. Ждать хорошей погоды не могу, взял проводника, отправились пешком. Тундра в воде, и нога утопает на четверть в насыщенном мхе. Образовалась масса ручьев, через которые то-и-дело переходим в брод по колено. Сапоги раскисли, и сам я промок до нитки. 15 верст шли 6 часов. Недалеко от Дежнева встретили двух ребят, оказывается, пришел пароход и их послали за мной. Вот и пароход, чуть видимый из-за завесы дождя. Много людей. Скоро поедем!

Письма, газеты, люди начинают втягивать в материковые интересы и настроения, от которых я так хотел поскорее отрешиться год тому назад!..

Книжное обозрение

1. „НЕДРА“, сборник 13-й. Д. Горбова.—2. П. ШИРЯЕВ. „Цикута“. А. Лежнева.—3. А. БИБИК. „Жесткая учеба“. С. Пакентрейгера.—4. Анна КАРАВАЕВА. „Золотой клюв“. Е. Мустанговой.—5. Алексей ТВЕРЯК. „У зеленого озера“. Виктора Красильниковца.—6. Н. ЯРОВ. „Деятнадцатый год“. Арк. Глаголева.—7. Сергей БУДАНЦЕВ. „Японская дуэль“. А. Р. Палея.—8. К. ТРЕНЕВ. „Батраки“. В. Гольцева.—9. Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ. „Галка“. И. Поступальского.—10. Борис СОЛОВЬЕВ. „Веги“; Геннадий ФИШ. „Разведка“. И. Поступальского.

«Недра». Лит.-худ. сборники. Книга XIII. Изд-во «Недра». 1928. Стр. 185.

В тринадцатой книге «Недр» нет центральной вещи — «гвоздя». Но составлена она все же интересно. И. «Климчук» А. Бирика, и «Гость» Гл. Алексева, и «Три встречи» Мих. Мирова — повести, написанные вдумчиво и серьезно. Последняя принадлежит молодому писателю, которому еще много нужно учиться, — обстоятельство, отчетливо обнаруживающееся в его манере вести повествование («Три встречи» лишены цельности, наполовину — это воспоминания автора об испытанном на фронте гражданской войны) и в стиле (напр.: «Сорвал Андрей с головы фуражку, рванул высокую прядь белокурых кудрей... поглядел на них и бросил на землю?»). Но лепка образов (главным образом, мужских, — женские в повести слабы), умение заострить драматический интерес положения (сцена игры в карты в теплушке), живость батальных сцен, теплота общего колорита — все эти черты повести говорят о том, что Мих. Мирова — человек ода-

ренный. Можно надеяться, что внешнее (хотя все же довольно заметно) использование описательных и драматических приемов И. Бабеля примет у него в дальнейшем более самостоятельный характер и поможет молодому писателю выработать свою собственную — реалистическую — манеру, черты которой уже теперь начинают определяться.

Повесть А. Бирика «Климчук» — о борьбе председельсовета с кулаками на селе — интересна цельно выдержанным этнографическим (украинским) колоритом и центральной фигурой Павла Климчука — земледельца, борца и строителя. В отличие от многих писателей, Бирик счастливо избегает здесь трафарета. Его Климчук, действительно, пахнет «не то запахом торбы и хлеба, не то широким, степным пригревом». Портят хорошую повесть случающиеся порой срывы со сказово-образительного тона. Напр.: «щемило сердце и беспокоила какая-то мысль. Хорошая и важная». Хорошество и важность мысли Климчука о школе следовало бы показать энергичными, окрашенными словами, а

не фиксировать ее интеллигентски — морализующими терминами.

Повесть Гл. Алексеева «Гость» — об одиноком угасании старухи, внутренне целиком принадлежащей прошлому и неспособной под влиянием своего горя (она потеряла единственного близкого человека — дочь, погибшую под трамваем) связаться с окружающей жизнью, — окрашена в цвета скорби, почти отчаяния. Последнее обосновано в повести тем обстоятельством, что Гл. Алексеев, взяв положение исключительное, пытается, исходя из него, произвести переоценку всего окружающего. Повесть знаменует, несомненно, лишь этап в творчестве талантливого, но как-будто еще не вполне нашедшего себя художника.

Четвертая повесть сборника — «Попутно» Д. Крутикова — выдержана в лирических, бунинско-гамсуновских тонах. Как эпическое полотно, она представляет «рассыпанную композицию». Отдельные яркие фигуры (лесник Скусной, пастух Макар Изосимович) служат лишь обрамлением для основной интриги, в центре которой — дочь лесника Фалька. Она служит здесь лишь неким объектом, поводом для чувств и поступков влюбленных в нее доктора, агронома и лица, от имени которого ведется рассказ. Сама же она обрисована крайне бегло и к тому же приемами довольно банальными. Стержневой образ, таким образом, выпадает из композиции, и вся повесть как бы рассыпается на ряд лирических отрывков, объединенных очень неотчетливой направленностью.

Кроме перечисленных повестей, в отдел прозы включены отрывки из романа А. Веселого «Россия, кровью умытая» и «Детские рассказы» В. Вересаева. Новый роман А. Веселого обещает быть значительным. Об этом говорят главы, которые были опубликованы в книге десятой «Недр»: это подтверждает и отрывок в книге тринадцатой. Значительность нового произведения подтверждается языком — более точным, экономным и мужественным, чем в «Стране родной», где язык отличался своеобразием и прихотливостью; подтверждается она и легкой образ

(что, конечно, связано с языком очень тесно). Резкий драматизм положения (напр., в главе «Суд скорый») в свою очередь говорит о возросшем мастерстве внутреннего зрения у писателя. При всем том, судить о целом, разумеется, пока что невозможно. И если мы вспомним, что самым слабым местом в «Стране родной» была композиция — раздерганно-импрессионистическая, — то станет вполне понятным наше нетерпение прочесть «Россию, кровью умытую» в законченном виде.

«Детские рассказы» Вересаева представляют из себя не беллетристическое произведение в собственном смысле, а то, что принято называть «человеческим документом»: это записи детских разговоров, выдержки из детских сочинений и т. п. Сделаны они с большой наблюдательностью и изобилуют тонкими психологическими штрихами, подмеченными у детей. Все же это скорее материал для произведения из жизни детей, и было бы желательно, чтобы эти разрозненные куски столь близкой и все же мало знакомой человеческой стихии были обобщены единой художественной мыслью.

Среди стихов, помещенных в сборнике в изрядном количестве, необходимо отметить стихотворение Н. Зарудина «Пумра», сильное по колориту и оригинальности замысла, и «Походную кавалерийскую» А. Ясного, интересную умелым использованием ритмов и «заготовок» солдатской песни.

Д. Горбов.

Петр Ширяев. — «Цикута». Изд. «Недра». Стр. 141. Ц. 1 р. 20 к.

Автор «Освобожденных вод» здесь выступает с несколько неожиданной стороны. Темы его рассказов трагичны, мучительны. В особенности одна привлекает его внимание. Это тема предательства. Ее он касается в 3-х рассказах из 7-ми, составляющих книгу («Цикута», «Хмель», «Музыкант»). В первом из них герой — провокатор, во втором — брат выдает брата, чтобы спасти себя, в третьем — выведен мелкотравчатый шкурник, готовый при первой возможности предать, донести, возвести поклеп. При всей разности ис-

торического и бытового оформления темы (революционное подполье, восстановившая деревня и т. д.) она всегда берется в одном разрезе: индивидуально-психологическом. Автора интересует психология, вернее сказать, внутренняя механика предательства. Спорить против такого подхода не приходится: он вполне закономерен, хотя и односторонен. Автор не игнорирует общественного «момента»: все его коллизии разворачиваются на фоне обостренной общественной борьбы и могут быть понятны только в связи с нею. Но акцент поставлен у него на личном, на индивидуально-психологическом.

Надо отдать Ширяеву справедливость: рассказы его читаются с тем обостренным вниманием, которое соответствует остроте их тем и положений. Если «Цикуту» можно обвинить в известной сентиментальности, то в «Хмеле» и «Музыканте» сентиментальность исчезает, уступая место резким штрихам и жесткой прямоте. Быть может, даже и здесь нажимы ширяевского карандаша чересчур сильны и преувеличены. Та же манера сказывается и в рассказе «Мураш», хотя и выходящем за романтический ряд, о котором я выше говорил, но очень близком к нему по темному, жесткому колориту и трагизму сюжета. Несколько не в тон большинству рассказов звучит «Хорошенькая женщина», вещь сама по себе не плохая, написанная тепло и с мягкой иронией, только, пожалуй, чуть-чуть поверхностно и с выглядывающими порою белыми нитками. Но вовсе выпадает из книги последний рассказ «Кобоев» (едва ли не в стиле Алексея Толстого первого периода, только без его отчетливости и бытовой сочности), рассказ об оскудевающем дворянстве, о суровой тоске нищающей усадьбы и ее обитателей, кажущихся сейчас какими-то фигурами из кунсткамеры.

В целом же последняя книга П. Ширяева привлекательна своей простотой и способна не только занимать, но и волновать читателя тем правдивым, обнаженным и трагическим, что заключено в ней и жестко подчеркнуто ее автором.

А. Лезнев.

А. Бибики. — «Жесткая учеба». Изд. «Недра». 1927. Стр. 186. Ц. 1 р. 50 к.

Рассказы этой книги Бибики могут быть разделены на две категории. Одни взяты в двух планах — бытовом и психологическом, другие — только в плане бытовом. Но не все рассказы той и другой категории выходят за пределы наблюдательского реализма. Автор не обобщает, не комбинировывает элементов действительности, не синтезирует их. Он берет их такими, какими приобрел в порядке личного опыта. Они поэтому приобретают характер достоверных записей, сделанных вдумчивым наблюдателем, с интересом и любовью изучающим бытовые и психологические изменения в той или иной среде. Ближе всего и понятнее автору среда трудовая и сюда, главным образом, направлено его внимание. Но изобразительные средства автора порой отстают от захватывающей глубины его тем, порой не выражают в полной мере сути того или иного персонажа. Это отставание сказывается как раз в первом рассказе, недостаточно ясно раскрывающем волнующую борьбу старой психологии и морали с психологией и моралью нового трудового человека. Наибольшую ясность и четкость изобразительную Бибики обнаруживает в рассказе «Сёмка-промышленник» и «На паровозе». В первом он прозрачно и внятно обнажает процесс формирования трудового сознания в подростке, которому приходится пройти через всяческие испытания, через мытарства эпохи голода и теплушек. Во втором писатель проливает свет на отношения между спецом и машинистом, как они складывались еще в старое время. С любовью, тщательностью и волнующей прямоотой разработаны Бибики рассказы о детях. Из них выделяется «Предатель», — рассказ о маленькой девочке, которая невольно спровоцировала мать, скрывающую оружие мужа, ушедшего в подполье. Рассказ этот поднимается над уровнем наблюдательского описательного реализма. Тонкой передачей интимных волнений матери и дочери автор раскрывает большую значимость того дела, которое муж проводит где-то в подполье.

То же следует сказать о рассказе «На пасху», где автор обнаружил умение схватывать свежесть и новизну в таких трудных моментах, как борьба созревающего антирелигиозного сознания юноши с инерцией бытового, религиозного уклада своей семьи.

Этот прорыв в область психологического реализма очень симптоматичен для Бибика. Автор усложняет свои художественные приемы и делает это серьезно, углубленно, но пока в небольших пределах.

С. Пакентрейгер.

Анна Караваева. — «Золотой ключ». ГИЗ. М.-Л. 1927.

Исторический роман А. Караваевой отличен и по замыслу и по выполнению от романов О. Форш и Ю. Тынянова, упорно возрождающих этот забытый в последнее время жанр.

Впрочем Форш и Тынянов не столько возрождают, сколько создают новый исторический роман, являющийся одновременно романом психологическим. Исторический фон играет в их романах служебную роль. В центре — исторический герой, являющий собой не столько историческую, сколько индивидуально-психологическую проблему (Кюхельбекер — «Кюхля», Грибоедов — «Смерть Визир Мухтара», Гоголь и художник Иванов — «Современники»).

У Караваевой основное — в «массовом» историческом материале, наполняющем роман до краев. Тема — крепостническая Россия эпохи Павла I — развернута социально. Отдельные герои, быт, психология — все это дано на глубокой социальной и даже социально-экономической основе. В центре — не помещики, а крестьянская масса, показанная как целое и в ее отдельных индивидуальных представителях. Помещичий быт дан не в обычном «семейном» разрезе, а в социальном (крепостническая фабрика и производственные отношения на ней); освежается роман местным колоритом. Очевидно, автором проработан большой документальный материал, который частично включен в роман.

К недостаткам романа следует отнести мелодраматические сюжетные коллизии, наводящие на сравнение с исто-

рическими романами 30-х г.г. (Лажечников, Загоскин). Местами слишком уж механически стилизован язык. Вот к примеру диалог:

— Что у тебя за привычка, милая моя? Кличешь тебя, а ты не идешь.

— Я кружева к синему вашему платью подшивала.

— Все равно надобно сей секунды итти.

— Платье тяжелое весьма, трудно сразу его...

— Silence! Ты молчать должна, а не тянуть язык. Ах, сколь привередлива ты. В кого, боже мой праведный, характер у тебя настоль строптив?» и т. д.

На фоне усложненной «осовремененной» стилизации Тынянова и Форш такое обращение с языком несколько наивно. (Этот же путь, между прочим, избрал и Чапыгин в «Степане Разине».) Но все внешне старомодные особенности романа Караваевой ощущаются лишь в начале. Постепенно сам материал овладевает читателем и ведет его за собой. В повой социальной трактовке старой темы, в освежении стертого в литературной традиции исторического материала — ценность «Золотого ключа» А. Караваевой.

Е. Мустангова.

Алексей Тверяк. — «У зеленого озера». Рассказы. Изд. «Недра». Москва. 1928 г. Стр. 208. Цена 1 р. 55 к.

В сборник включены рассказы 1923—27 годов, далеко не равные по художественным достоинствам. Рядом с экспериментами больших сюжетных вещей («У зеленого озера», «Чудаки») встречаются сценки, зарисовки, примитивность построения которых изобличает в авторе вчерашнего селькора («Шарыга», «Парамоникина смерть»). В области композиции Тверяк делает шаг вперед по сравнению с романом «Передел». В «Переделе» материал современности подавался почти в необработанном виде, жизнь фотографировалась вся, как она видна через окна крестьянской избы, без отбора характерных фактов и мелочей. Действие рассказа «У зеленого озера» разыгрывается по заранее составленной партитуре, читатель за-

интересован поворотами и судьбами героев. Только—увы—герои-то очень случайные люди; они совершенно не типичны—это студент и студентка Ленинградского Сельскохозяйственного Института, задумавшие на берегу лесного озера создать «Лунную Долину» по Джеку Лондону. А писатель даже не удосужился рассказать о причинах возникновения этой странной затеи. Он удовлетворился одним заявлением героя: «Я мечтаю о том, чтобы уйти от городской суеты, от этого движения—к природе, к солнцу, к травам и лесам». Где и как вырос этот Алеко XX века, сумевший сагитировать Земфиру—студентку Феню, непонятно. Вместо художественной мотивировки— уход Алеко от Земфиры, таинственное преступление и развитие рассказа в авантюрном плане (вплоть до мнимых попыток жителей села Хохоталова бунтовать против советской власти). Убедительнее мотивирован сюжет рассказа «Чудаки»; муж и жена, отправленные на партработу в деревню, решают жить на разных квартирах. «Надоело. Это интересно, когда люди не знают и думают чорт знает что». Только опять беда—очень уж этот самый муж, кооператор Горкин, глубокомысленен, не верится, чтобы он мог выкидывать глупости.

Норма провинциализмв в языке Тверяка попрежнему остается преувеличенной. Ненужно осложняют чтение выражения—«намотал сестренку», «оторопно поглядел на окно», «взбудил», «затарбарыкали овцы» и т. д. Уж пускай так говорят действующие лица, на то их крестьянская «планида», а вот зачем автор в своем сказе ломает язык?

Виктор Красильников.

Н. Яров. — «Девятнадцатый год». Изд-во «Пролетарий». Год не указан (1927). Стр. 385. Ц. 1 р. 95 к.

Первая книжка Н. Ярова не выявляет этого беллетриста, как сколько-нибудь интересного и своеобразного художника. Эта книжка литературно бледна, невыразительна и неоригинальна. Неоригинальна, разумеется, не потому, что Яров темой своего повествования взял эпоху гражданской войны, момент

преобразования стихийной партизанской массы в стройные отряды Красной армии, переход крестьянства от равнодушного аполитизма к осознанию своей кровной близости с пролетарской революцией. Хотя эпохе гражданской войны, крестьянству в ней, партизанам посвящено уже не малое количество произведений—и среди них не мало отличных,—и в памяти каждого читателя живет уже не один десяток художественных образов бойцов за революцию, несмотря на все это, первые героические годы Октябрьской революции не только могут, но и должны быть запечатленными в новых произведениях, которые бы углубляли, дополняли имеющиеся сейчас у нас художественные зарисовки гражданской войны. Роман же Ярова никакого художественного углубления темы о партизанах и крестьянстве в гражданской войне не дает, он не обогащает читателя ни новыми интересными образами, ни какими-либо существенными социально-бытовыми деталями; нет в этом романе какого-либо подлинного драматизма, который бы искренне взволновал читателя и заставил бы его вновь сильно и глубоко пережить недавно прошедшие годы.

Примитивное описательство, неразработанные образы, тоскливый и скучный трафарет и шаблон, порой обличающие власть над автором литературщины самого невысокого дореволюционного образца,—вот что характеризует роман Н. Ярова.

«Высокий, гибкий и стройный, как горец, с красивым хищным лицом»,—таков внешний облик одного из центральных действующих лиц романа. Но, ведь, это—шаблон, и очень скверный. Так описывалась внешность у первых любовников во всех дамских литературных рукоделиях до революции.

Имеются у Ярова и штампы так сказать советского образца. Сюда нужно отнести довольно значительное количество персонажей—белое офицерство, фигуры некоторых партизан, образ кулака «Пала Митрича». Облик последнего—чистейший шаблон.

«Борода—лопата, на две стороны расчесана, все на нем прилажено,

все уметано и голосок ласковый» (стр. 145). Почему наши некоторые беллетристы полагают, что изображать кулака надо непременно с сусально-лампадно-елейной внешностью, неужели волка надо всегда одевать в овечью шкуру?!

Мало выразительны и остальные образы романа, например, комиссар Брагги, которого автор па собрании в деревне, перед началом его речи «о молодистых руках», заставляет «разодрать» рубашку и стукнуть себя кулаком «в голую грудь».

Очень плохо обстоит дело у нашего автора и с языком. С одной стороны, изложение романа щедро усыпано такими невнятными выражениями и словами, как — «насупрять» (198) и др., с другой стороны, внешний стиль Ярова не свободен от таких ультра-банальных и тривиальных выражений, как: «Замирали в истоме волны вальса», «больные нервы», «минуты мечты», «буйная волна радости», «стройный античный стан», «сверкающие глаза» и т. п. Само собой разумеется, что в романе Ярова наблюдается усиленная стилизация под партизанский жаргон. В романе безмерное количество «кобелей», «олтухаев», «купырьков», играющих на «пузе» ладонями, обильно расставлена буква «б» с многоточием и т. п. Такая стилизация дает повод к обвинению автора в отсутствии у него чувства художественной меры.

Стилистика Ярова не обличает в нем хорошей литературной школы.

На общем тускло-бесцветном фоне повествования Ярова можно положительно отметить разве только образ батьки Чубарого. Автор делает попытку показа внутренней эволюции батьки от партизанского анархизма к революционной дисциплине. Образ намечен — но только намечен — довольно правдиво.

Арк. Глаголев.

Сергей Буданцев.—«Японская дуэль». Рассказы. Изд-во «Прибой». Ленинград. 1927 г. Стр. 215. Ц. 1 р. 35 к.

Сергей Буданцев холоден и изыскан, рассказы его запечатлены до-

статочной степенью словесного мастерства. Он может дать резко-выразительный штрих, который почти равен скульптурной позе или жесту: «Девушка ответила покорным поцелуем и вышла с таким видом, словно ее уши остались на подносе». Ярче нельзя передать эту жажду подслушивать. Или вот почти материализованное ощущение — мальчик сорвался и летит в пропасть: «Время остановилось, пропускающая мальчишку».

Темы этой маленькой книжки — всего восемь рассказов — изумительно-разнообразны: фанатик работы над книгой («Японская дуэль»), старая революционерка («Сын»), историческая стилизация («Завещание внукам»), коммунист и женщина старого мира («Неравный брак»); советская служащая («Юг»), восток («Лунный месяц Рамазан», «Форпост Индии»); фантастика («Эскадрилья всемирной коммуны»). В каждом рассказе — многообразие людей, явлений, обстановки, очерченных с неизменной точностью и ясностью.

Можно представить себе и еще большее разнообразие в выборе тем, но при этом необходимо, чтобы все темы незримо были скреплены каким-то единым мироощущением автора. У Буданцева этого мироощущения не чувствуется. Его темы и люди всегда случайны. Читая его, нельзя отделаться от впечатления, что имеешь дело не с художником, согретым любовью к жизни и людям, а с коллекционером — умелым, умным и бесстрастным знатоком.

И потому загнанный самодуром-чиновником честный и ценный работник в «Японской дуэли», и одинокая в своей семье революционерка в рассказе «Сын», и прекрасно обрисованная гордость униженной («Юг») — возбуждают в нас больше холодного внимания, чем искреннего чувства: автор не может заразить читателя теми переживаниями, которых он сам лишен. И восток в рассказах Буданцева — не живой край, а лишь великолепная панорама с хорошо сделанными и даже движущимися, но восковыми фигурами.

Вот почему лучше всего выходят у Буданцева те вещи, в которых преобладает формальное задание: самый удачный рассказ — «Завещание внукам», где, стилизованной речью эпохи, от имени брата Швабрина, повествуется якобы об обстоятельствах написания «Капитанской дочки». Так как главное действующее лицо здесь явно выдуманно, да и вся эпоха далека от нас, то авторское холодное любопытство представляется оправданным, а отчетливое изящество формы прельщает своей спокойной законченностью.

А. Р. Палей.

К. Тренев. — «Батраки». Рассказы. Изд. «Недра». М. 1927. Стр. 174. Ц. 1 р. 40 к.

К. Тренев собрал «воедино» несколько своих стареньких рассказов, относящихся к 1914—17 гг., и прибавил к ним кое-что новое. В результате получилась книга неинтересная и довольно заурядная.

В выборе материала у К. Тренева можно обнаружить некий «сельскохозяйственный» уклон автора: с любовью останавливается он на различных деталях обработки земли, употребляя то там, то здесь «технические» выражения. Темы деревенские преобладают над городскими. Симпатии автора к простым людям, ведущим трудовую жизнь, выступают довольно отчетливо.

Сколько-нибудь напряженного и развитого сюжета нет нигде. Неспешно и вяло, без особых событий, ведется К. Треневым повествование. И вдруг оно неожиданно преподносит читателю какое-нибудь стремительное и малоубедительное завершение. Таков, например, старый, известный еще по сборнику «Слово» (1918 г.), рассказ «Батраки». Едва ли можно признать тематически оправданным внезапное убийство Левки.

В большинстве вещей К. Тренева, вошедших в рецензируемый сборник, сюжет отсутствует вообще. «Начало», «По Днепру», «У великой могилы» (т. е. могилы Тараса Шевченко), «У великой мужи», «Пассажиры», «Вы-

боры», «Тихий город» представляют собою не сюжетно-оформленные произведения, а лишь отрывочные путевые заметки, белгды, местами даже небрежные, зарисовки с натуры.

Язык автора — простой, крепкий, реалистический — не отличается в этой книге ни особыми достоинствами, ни особыми недостатками. Кое-где встречаются неловкие и неудачные обороты, в роде следующих: «темная кожа его дрожала от страха и учиненной неправды» (стр. 32); «Вдали за полустанком перелетным цветком мелькнул на повороте поезд и бесследно исчез за бугром, этот вылетевший откуда-то стук человеческой силы и знания» (стр. 54).

С другой стороны, Тренев обладает несомненной наблюдательностью, умением живо передавать разговорную речь. Эти свойства обнаруживаются и в рецензируемой книге. Но ничего яркого, волнующего и запоминающегося в ней нет.

Виктор Гольцев.

Дмитрий Петровский. — «Галька». Стихи. Изд. артели писателей «Круг». 1927. Стр. 108. Ц. 1 р. 25 к.

О стихах Дм. Петровского судить по первому впечатлению нельзя. К нему надо привыкнуть, надо перечитывать его книгу не однажды, — и только тогда возможно наяву видеть достоинства и пороки его усложненной поэзии.

Усложняет Д. Петровский свои стихи обдуманно. Как все передовые поэты, он вынужден неустанно бороться со старыми поэтическими навыками. Ясно, что в такой борьбе подчас достается и самой поэзии, нередко выходящей за пределы понятности. Однако, эта забота о постоянном омолаживании стиха вполне законна, и встречающихся в «Гальке» смысловых темнот пугаться не надо уже потому, что сам Д. Петровский указывает на нелегкость своего дела:

Найти язык, — не растеряться
В то время, как века уж он,
Старорежимный, — рад стараться
Учись словесности закон.

Мы суффиксы введем в глаголы,
 Деепричастия в предлог,
 Дабы бы не могли монголы
 Так скоро изучить наш слог.
 («Установка»).

«Галька» Д. Петровского, отличающаяся от ряда других книг своей языковой свежестью (приобретающей иногда фольклорный оттенок), интересна еще и как свидетельство борьбы автора с жанрами. В стихотворении «Языческое» — Д. Петровский пишет, что он сознательно «убежал от направлений и от школ», что он не хочет свой «восторг» выдавать за «жанр». Тем не менее, новые его стихи нередко продолжают уже не новые мотивы партизанщины и военной доблести. Но характерно властное вторжение в этот тематический круг стихов пародийных («Песня о бедном Наполеоне»), стихов, обладающих элементами поэтического фельетона, и стихов, лирически трактующих искусство («Моцарт и Сальери», «Одна ночь», цикл о Врубеле).

Для того, чтобы стать подлинным поэтом дисциплинированного времени, Д. Петровскому не хватает некоторой социальной уравновешенности. Он очень индивидуалистичен и до сих пор во власти анархических эмоций. Этим он повторяет прошлое своего брата по поэзии — прошлое Николая Тихонова. Может быть, и Д. Петровский впоследствии преодолет самого себя. А сейчас его стихи близки современному сознанию лишь одной литературной организованностью и большим жизненным оптимизмом, переполняющим всю книгу.

Как клетка, свободная до полноты
 Дыханья, — до самых окраин
 Лежит в котловине земли и воды
 Цветник — и его мы вдыхаем.
 («Пробуждение»).

Этим четверостишьем живо определяется мироощущение поэта.

Среди стихов, посвященных военной романтике и песенному фольклору, наиболее убедительны «Песня червонных казаков», «Абрам Беркович», «Песня гулевой феодосийской», «Тюремная разбойничья песня», «Данило Дамбас в Чарторыжске» и «Мы». В

этих вещах Д. Петровский часто достигает значительного песенного эффекта:

А попереду идут,
 Дудудукают в дуду
 Песенники с бубном,
 А позаду в поводу
 Пана белого ведут, —
 Фанаберию ведут
 О песнею по Дубну.

(«Абрам Беркович»).

Отчетливо написаны и «Моцарт и Сальери», и стихи о глухом Бетховене, перед которым «умирал весь мир» на партитуре, неистовствуя топотом баллад. Темпераментны «Песня в доме», «Дерзость», «Пробуждение», «В горах», «Морская баллада». Интересны и психологические детали в цикле о Врубеле.

И. Поступальский.

Борис Соловьев. — «Вехи». Стихи. Июль 1924 — июнь 1927. Раб. изд. «Прибой». Ленинград. Год не указан. (1927). Стр. 96. Ц. 1 р. 25 к.

Геннадий Фиш. — «Разведка». Стихи. Раб. изд. «Прибой». Ленинград. 1927. Стр. 64. Ц. 90 к.

В сборнике Б. Соловьева обнаруживаются влияния различных поэтических направлений. Многие он усвоил от крестьянской поэзии; об этом свидетельствуют образы («здесь рожь молодым жеребенком скакала в цветущую даль») и стилизованные речевые обороты («не с того ли такую дремотой», «не о том ли туманятся зори» и т. д.). Есть у него и блоковские интонации, особенно сказавшиеся в стихотворении «Из этого окна». От символистов же взяты всевозможные «неведомые гулы водопадов», «серебряные рокоты ручья» и «всесильные заклатья любви». Встречаются штампы, выработанные в наше время, например: «девушка с раскидистой блузкой, радостно встречающая май». Без труда узнается асесский стих, когда Б. Соловьев пишет что-нибудь в роде «стынь, сталь форм». Наконец, в последних стихотворениях книжки можно уследить сильнейшее влияние тихоновской поэзии, воочию наблюдаем

мое в ритмике и в таких, примерно, «трофах:

И боек трактирщик—он сразу ведет
По лестнице старой и шаткой,
Кровать на двоих, неоплаченный счет,
Герань на окне—для порядка.

При всей зыбкости поэтического стиля и при отсутствии собственной, никем не затронутой, темы,—Б. Соловьев, все же, кажется поэтом способным и благоразумным. Он по-настоящему хочет работать. И некоторые стихотворения Б. Соловьева, особенно же те, в которых «скрежет и скрип шагов и колес бьет с четырех сторон,—довольно интересны и содержательны.

Более ровным представляется сборник Г. Фиша. Слова свои он почти всегда взвешивает расчетливо.

...Слова здесь жесть,
В них жесткое брэнчанье есть.

Традиции у Г. Фиша вполне определенные, его поэзия многим обязана акмеистам и их продолжателям. Как и у Б. Соловьева, заметно на его стихах сильное для большинства ленинградских поэтов давление Тихонова. Вообще же говоря, у Г. Фиша определенно чувствуется наличие интеллектуальной работы над стихом. В некоторых произведениях он становится элементарным и скучным (таковы, к примеру, «Семнадцатое октября», «Подпешное», «В казарме»). Но эти вещи не являются в сборнике стержневыми,

и его ценность определяется стихами иного порядка.

Надо заметить, впрочем, что формальная сторона стихов Г. Фиша не везде одинакова. Наивны иногда восходящие к Бальмонту обнаженные аллитерации, и не новы, конечно, после деятельности Пастернака и его учеников фонетические сближения:

Со штурмом шторма море в споре...
.....
Но встречным ветром ветер встречен...
.....
В пролет с пролетки прокричали...
.....
Смолсою у Смольного пахнет канат...

О незрелости мастерства говорят и такие строки, как «только новый бой тот встанет» (где слово «тот» не мелко вставлено исключительно для заполнения метрической пробоины¹ и случайно звуковые погрешности (например, скопление гласных «с моею юностью»...).

Пожалуй, «лирически» бред» свойственен Г. Фишу только отчасти. В «Разведке» наиболее значительны стихи, направленные прежде всего на рассудок («Побег», «З букиниста», «Ток с Волхова», «Садык Хаджаев» и др.). Почему бы Г. Фишу не попробовать взяться за продолжение заброшенной у нас брюсовской традиции научной поэзии? Представляется, что его дарование в таком направлении могло бы развиваться.

И. Поступальский.